

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

1998

7

1998

НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издаётся с января 1925 г.

№ 7(879)

Июль, 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

МАРИНА КУДИМОВА — Поворот ключа в замке, стихи	3
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Веселые похороны. (Москва — Калуга — Лос-Анжелос), роман	8
ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ — В беспредельном космосе обочины, стихи	74
АНДРЕЙ ВОЛОС — Дом у реки, маленькая повесть	84
ТАТЬЯНА БЕК — Девочка с бантом, стихи	102
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА — Зимний зной, стихи	106
АЛЕКСАНДР ГЕНИС — Довлатов и окрестности. Главы из книги	109

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ОЛЕГ ЛАРИН — «Югд ва»	137
-----------------------	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ВЕРА И НЕВЕРИЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО. Беседа писателя Вячеслава Репина с епископом Вашингтонским и Сан-Францискским Василием (Родзянко)	150
ИЗАБЕЛЛА Ф. ХЭПГУД — Прогулка по Москве с графом Толстым. Перевод с английского, вступительная статья и примечания Валерия Александрова	164

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«НЕ ВЕРЮ В ПРОСТРАНСТВО, НЕ ВЕРЮ ВО ВРЕМЯ, РАЗДЕЛЯЮЩИЕ НАС». Письма Л. Ю. Бердяевой к Е. К. Герцук. Публикация, вступительная заметка и примечания Т. Н. Жуковской	172
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Иван Шмелёв и его «Солнце мёртвых». Из «Литературной коллекции»	184
---	-----

ОПЫТЫ

СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ — В русском жанре	194
------------------------------------	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

По ходу текста

- НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Что не дозволено ученому. Просто напоминание 200

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

- Евгения Воробьева. Марсель и Обломов 211
Владимир Абашев. Между телом и текстом 215
Валерий Липневич. Одинок пронизанный счастьем 219
Игорь Кузнецов. Под черным знаменем свободы 222
Алексей Смирнов. Оппозиции в истории и языке: конфликтность культуры 224

-
- Юрий Кублановский. — I. Георгий Флоровский. Из прошлого русской мысли. II. Александр Боханов. Николай II 229
Михаил Горелик. — Российская Еврейская Энциклопедия 233
Валентин Оскоцкий. — Исторические сборники «Мемориала». Выпуск первый. Репрессии против поляков и польских граждан 235

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

- АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ — Письма швейцарского путешественника 237

НЕКРОЛОГ

- ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ — Последний урок 241

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- ЧИТАТЕЛИ — О «НОВОМ МИРЕ» 243

БИБЛИОГРАФИЯ

- Книжная полка (составитель Сергей Костырко) 247
Периодика (составитель Андрей Василевский) 249
SUMMARY 256

Редакция журнала «Новый мир» выражает искреннюю признательность радиостанции «ЭХО МОСКВЫ» (УКВ — 73,82 МГц, FM — 91,2 МГц) за постоянное и доброжелательное внимание к новоязским публикациям. Желаем всем ее сотрудникам творческих успехов и процветания!

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2350 экземпляров журнала «Новый мир».

МАРИНА КУДИМОВА



ПОВОРОТ КЛЮЧА В ЗАМКЕ

* *
*

Поворот ключа в замке,
Тайная его природа...
Нет ни в стуке, ни в звонке
Этакого *поворота*.

Поворот в замке ключа —
Подается двери глыба...
Судорога вдоль плеча,
Как разминка перед дыбой.

В укрошенном сквозняке —
Запах тюрем и окраин...
Поворот ключа в замке
Значит, что пришел *хозяин!*

* *
*

Меня не любит зеркало одно —
Лицо мое в нем жалко и грешно,
Крива фигура, коробом одежда.
А ведь в иное поглядишь стекло, —
Не ах, конечно, но в глазах светло
И не крива пословичная рожа.

Зачем опять я подхожу к нему,
Пристрастному к уродству моему,
Раскрывшему обман благообразья?
Зачем тьмократно кану в эту тьму
И глаз не отведу ни в коем разе?

Чтоб жидкой ртутью смоченный металл
Предательски врасплох меня застал
И мертвенно отобразил на глади.
Насильно мил не будешь — и не лезь, —
Вся правда о тебе таится здесь —
В нелюбящем, *отсутствующем* взгляде.

* *
*

Дети ближе нас к небытию,
Все еще с оглядкой, на краю
Сладкого провала, но спиною
К бездне безответной — не лицом,
В тяжбе меж началом и концом,
Меж безмолвием и тишиною.

И дитя пугает образ сна,
В одурь впавший взрослый, чья вина
Первородна и ясна лишь Богу,
Из-под спуда выпроставший ногу,
Коей неживая желтизна
Вызывает смутную тревогу.

Будет двигать стул, истошно петь,
Об пол бить мячом, дверьми скрипеть,
Размывать пельменные зеницы
Пальцами, чтоб только добудиться,
Гнев навлечь — пускай! — но убедиться
В том, что здесь не смерть, еще не смерть...

* *
*

Рассыпья, виденье, исчезни!
И грех уж прощен, а меня,
Как после тяжелой болезни,
Все тянет соснуть среди дня.

И с приторным снадобьем рюмка
Мутна между праздных бумаг,
И в шелковой наволке «думка»
Тверда под щекой, как кулак.

За что же бессилием мает
И недоумением бровь,
Как бес, выгибает, ломает
Спаленная страстью любовь?

* *
*

...И охладела я великим охлаждением,
И гордость разлилась, что вешняя река.
Как предается мир истошным наслаждениям,
Так предавалась я всеведенью греха.

А жизнь как бы извне пришла, растормошила,
И стало горячо на грани забвения.
Жалею обо всем, чего не совершила,
И не стыжусь всего, что совершила я.

* *
*

Грех — это мера одиночества.
Нет праведничества на всех.
Рискнувшему на иноходчество
Во вспомоществованье — грех.

Что устоявшему в прощении!
А падшего суди молва...
Благодарю за попушение, —
Его заботами жива.

* *
*

Когда, истощены виною,
Мы пошатнемся на стезе,
Несовершенное дурное
Нас подпитает, как НЗ.

Был некто. Он людей извечно
Не понимал и не любил,
Но не теснил движеньем встречным
И дальним светом не слепил.

* *
*

— Уходи, я тебя не держу!
(Чем, коль руки дитенок ей вяжет?)

Зубы стиснет, внушительно скажет:
— Не гони — я и так ухожу.

— Да ведь я и в дому как в лесу,
Ведь меня и слепой изобидит!

(Не выносит, терпеть ненавидит.)
— Я не Бог, я тебя не спасу. —
И застрявшую в молнии ткань
Рвет на куртке угрюмо и туго...

Если б солнышком брезжила рань!
Если б так не любили друг друга...

* *
*

Вкруг рта усугубляют алость
Закушенные удила.
Душа смиренная осталась,
Душа смятенная ушла.

Сперва поблизости бродила,
А после подалась блуждать
И всех на грех опередила,
Чтоб никого не осуждать.

* *
*

Втяну, привставши на носки,
Потустороннюю прохладцу...
Пусть там не видать ни зги!
Смерть — тоже способ повидаться.

В гроб, точно ива в водоем,
Клонюсь, клонюсь — и все мне мало.
С тех пор, как не были вдвоем,
Я головы не подымала.

Едва ли вживе был ты ближе,
А вот сейчас — заподлицо.
Смотрю на мертвого — и вижу
Перемещенное лицо.

* *
*

Вместе и по одному
Средь удолий и угодий
Не изменим ничему —
Даже пушкинской погоде.

И пребудет все точь-в-точь —
Без опоры под пятою.
...И вакхическая ночь
С византийской запятою.

* *
*

Спаси, Господи, тех, кто в пути,
А меня накажи и прости, —
Я плохого Тебе не желала,
И до самого света жилило
Сердце, бьющееся в клети.

Накажи всевеликим сиденьем,
Сухооким невидящим бденьем
За дерзание встать и уйти, —
Я плохого Тебе не желала,
Далеко не ушла, хоть восстала...
Спаси, Господи, тех, кто в пути!

* *
*

Цепляясь ногтями за оскользи, лезть
Из раструба или колодца
За сполохом Слова, Которое Есть, —
А что же еще остается!

И — сквозь жестковыйный поток силовой —
Нырять, как на дно за монетой,
Как новорожденные — вниз головой —
За словом, которого нету.

* *
*

Вниманья — ноль на то, что зубы скалю
Средь призванных невест.
Пронзилась вертикаль горизонталью —
Образовался крест.

В клубок страстей унылые ранжиры
Слепились сгоряча.
Мне ключ давали от пустой квартиры, —
Я не взяла ключа.



ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ



ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ (Москва — Калуга — Лос-Анжелос)

Роман

1

Жара стояла страшная, влажность стопроцентная. Казалось, весь громадный город, с его нечеловеческими домами, чудесными парками, разноцветными людьми и собаками, подошел к границе фазового перехода и вот-вот полужидкие люди поплывут в бульонном воздухе.

Душ был все время занят: ходили туда по очереди. Одежду давно уже не надевали, только Валентина не снимала лифчика, потому что если отпустить ее огромную грудь болтаться на свободе, то от жары под ней образовывались опрелости. В обычную погоду она лифчиков никогда не носила. Все были мокрыми, вода с тел не испарялась, полотенца не сохли, а волосы можно было высушить только феном.

Жалюзи были полукрыты, свет падал полосатыми прядями. Кондиционер не работал уже несколько лет.

Баб в комнате было пять. Валентина в красном бюстгальтере. Нинка в длинных волосах и золотом кресте, исхудавшая так, что Алик ей сказал:

— Нинка, ты стала как корзинка. Для змей.

Корзинка эта стояла тут же, в углу. Алик когда-то по молодости лет ездил в Индию за древней мудростью, но ничего не привез, кроме этой корзинки.

Еще была соседка Джойка, прибившаяся к дому дурная итальянка, нашедшая себе столь странное место для изучения русского языка. Она все время на кого-нибудь обижалась, но, поскольку ее замысловатых обид никто не замечал, ей приходилось всех великодушно прощать.

Ирина Пирсон, в прошлом цирковая акробатка, а ныне дорогостоящий адвокат, сверкала художественно подбритым лобком и совершенно новой грудью, сделанной не знающими колебаний американскими хирургами ничуть не хуже старой, и ее дочка Майка, по прозвищу Тишорт, пятнадцатилетняя, неопределенно-толстенькая, в очках и единственная из всех прикрытая одеждой, сидела на корточках в углу. На ней были толстые бермуды и, соответственно, майка. На майке была нарисована электрическая лампочка и люминесцентная надпись на неизвестно каком языке: «ПЗДЕЦ!» Это Алик сделал ей ко дню рождения в прошлом году, когда его руки еще кое-как двигались...

Сам Алик лежал на широкой тахте, такой маленький и такой молодой, как будто сын самого себя. Но детей как раз у них с Нинкой не было. И ясно, что уже не будет. Потому что Алик умирал. Какой-то медленный паралич доедал последние остатки его мускулатуры. Руки и ноги его лежали смиренно и неодушевленно и даже на ощупь были не живыми и не мерт-

выми, а подозрительно промежуточными, как застывающий гипс. Самым живым в нем были волосы, рыжие, праздничные, густой щеткой вперед, да раскидистые усы, которые стали великоваты его исхудавшему лицу.

Вот уже две недели, как он был дома. Сказал врачам, что не хочет умирать в больнице. Были и еще причины, о которых они не знали и знать не должны были. Хотя даже врачи в этой скоростной, как забегаловка, больнице, которые в лицо больным заглянуть не успевали, а смотрели только в рот, в задницу или у кого там что болит, его полюбили.

А дома у них был проходной двор. Толпились с утра до ночи, и на ночь непременно кто-то оставался. Помещение здесь было для приемов отличное, а для нормальной жизни — невозможное: лофт, переоборудованный склад с отсеченным торцом, в который была загнана крошечная кухня, сортир с душем и узкая спальня с куском окна. И огромная, в два света, мастерская.

В углу, на ковре, ночевали поздние гости и случайные люди. Иногда человек пять. Собственно двери в квартиру не было, вход был прямо из грузового лифта, поднимавшего сюда, до въезда Алика, кипы табака, призрачно присутствовавшего здесь и по сей день. Въехал Алик давно, чуть ли не двадцать лет тому назад, подписал не глядя какой-то контракт, как потом оказалось, страшно выгодный. И по сей день Алик платил за квартиру сущую ерунду. Впрочем, платил не он. Денег у него давно никаких не было — и ерунды даже.

Щелкнул лифт. Вошел Фима Грубер, стаскивая с себя на ходу простецкую голубую рубашку. Внимания на него голые женщины не обратили, да и он глазом не повел. При нем был докторский саквояж, старинный, дедовский, привезенный из Харькова. Фима был врач в третьем колене, широко образованный и оригинальный, но дела его складывались не блестящим образом, здешних экзаменов он еще не сдал и работал временно, уже пятый год, чем-то вроде квалифицированного лаборанта в дорогой клинике. Он заезжал каждый день, как будто надеясь, что ему повезет и он окажется Алику чем-нибудь полезным. Он склонился над Аликом:

— Как дела, старик?

— А-а, ты... Расписание привез?

— Какое расписание? — удивился Фима.

— На паром... — слабенько улыбнулся Алик.

«Дело к концу, — подумал Фима. — Сознание начинает мешаться».

И он вышел в кухню, загромыхал в холодильнике примерзшими каскетами со льдом.

«Идиоты, какие же все идиоты. Ненавижу», — подумала девочка.

Она недавно проходила греческую мифологию и единственная из всех догадалась, что Алик имеет в виду не South Ferry. Со злым и высокомерным лицом она подошла к окну, отогнула край жалюзи и стала смотреть вниз. Там всегда что-нибудь происходило.

Алик оказался первым взрослым, кого она удостоила общением. Как и многих американских детей, ее с малолетства таскали по психологам, и не без оснований. Она разговаривала только с детьми, с большой неохотой делала исключение для матери, остальные взрослые для нее просто не существовали. Учителя принимали ее работы в письменном виде, выполнены они были точно и лаконично. Ей ставили высшие баллы и пожимали плечами. Психологи и психоаналитики строили сложные и весьма фантастические гипотезы о природе ее странного поведения. Нестандартных детей они любили, это был их хлеб.

Познакомилась она с Аликом на вернисаже, куда мать притащила свою неуклюжую девочку. Они тогда только-только переехали из Калифорнии в Нью-Йорк, и потерявшая сразу всех друзей Тишорт согласилась пойти с матерью. С Аликом ее мать была знакома со времен ее цирковой юности, еще по Москве, но в Америке они много лет не виделись. Так

долго, что Ирина совершенно перестала думать, что именно она ему скажет, когда они встретятся. В тот день, когда они встретились на вернисаже, он левой рукой взял ее за пиджачную пуговицу с толстым, как курица, орлом, резким поворотом оторвал ее, подбросил и поймал. Потом раскрыл ладонь и мельком взглянул на сияющего орла:

— Придется сказать тебе одну вещь.

Правая рука его висела вдоль тела как неживая.левой он прижал Ирину густо-русую голову, волосок к волоску причесанную, с черным шелковым бантом в натуральных жемчужинах по краю, и шепнул ей в ухо:

— Ирка, я скоро помру.

Казалось бы, ну и помри. Ты для меня уже давно умер... Но она ощутила прикосновение узкого и тонкого металлического лезвия под ложечкой, и медленное его движение внутрь, и острую боль по всему разрезу до позвоночника. Рядом стояла дочка и смотрела во все глаза.

— Зайдем ко мне, — предложил Алик.

— Я с дочкой. Не знаю, захочет ли она. — Ирина посмотрела на Тишорт.

Девочка давно уже с ней никуда не ходила. Ирина еле уговорила ее пойти на эту выставку. Она спросила у дочери, совершенно уверенная, что та откажется:

— Хочешь, зайдем в ателье к моему знакомому художнику?

— К этому рыжему? Хочу.

И они зашли. Картины, хотя были явно недавние, очень напоминали прежние. А через несколько дней зашли еще раз, почти случайно — мимо проходили. Тогда Ирину вызвали на какое-то важное деловое свидание, и она оставила Тишорт в мастерской часа на три, а вернувшись, застала невероятную картину: они орал друг на друга, как две разгневанные птицы. Алик размахивал левой рукой, правая уже съезжилась и почти не действовала, он приседал и немного подпрыгивал:

— Да неужели тебе в голову не приходило, что все дело в асимметрии? Все дело в этом! Симметрия — смерть! Полная остановка! Короткое замыкание!..

— Да не ори ты! — кричала покрасневшая всеми веснушками Тишорт, и акцент ее был сильнее обычного. — А если мне нравится? Просто нравится! Почему вы всегда-всегда правы?

Алик опустил руку:

— Ну, знаешь...

Ирка едва в обморок не упала у лифта. Алик, сам того не зная, в два счета разрушил ту странную форму аутизма, которым страдала ее девочка лет с пяти. Старое злое пламя вспыхнуло в ней, но сразу же и погасло: чем таскать дочку по психиатрам, не лучше ли предоставить ей возможность человеческого общения, которого ей так не хватало...

2

Снова щелкнул лифт. В дверном проеме Нинка увидела новую посетительницу и вылетела навстречу, натягивая черное кимоно.

Маленькая, редкой толщины тетка, заботливо поставив между колен раздутую хозяйственную сумку, с пыхтеньем усаживалась в низкое кресло. Была она вся малиновая, дымящаяся, и казалось, щеки ее отливали самоварным сиянием.

— Марья Игнатьевна! Я вас третий день жду!

Тетка села на самый край сиденья, растопырив розовые ноги в подследниках, которые на этом континенте не водились.

— А я, Ниночка, вас не забываю. Все время с Аликом работаю. Вчера с шести вечера его держала... — Она поднесла к Нинкиному лицу треугольные пальчики с дистрофичными зеленоватыми ногтями. — Верить

ли, такое напряжение, у самой-то давление стало, еле хожу... Жара эта проклятая еще... Вот, принесла последнее...

Она вынула из матерчатой сумки три темные бутылки с густой жижей.

— Вот. Натирку новую сделала и дышалку. А эта — на ноги. Тряпочку намочишь и к стопочкам приложишь, а сверху мешочек цельнофановый, и завяжи. Часа на два. А что кожа сойдет, это ничего. Как снимешь, так и обмой сразу...

Нинка молитвенно смотрела на это чучело и на ее снадобье. Взяла бутылки. Одну, что поменьше, прижала к щеке — прохладная. Понесла в спальню. Опустила жалюзи и поставила бутылки на узкий подоконник. Там уже была целая батарея.

А Марья Игнатьевна взялась за чайник. Она была единственным человеком, который мог пить чай в такую жару, и не американский, ледяной, а русский, горячий, с сахаром и вареньем.

Пока Нинка, тряся своими длинными волосами, с которых вроде бы сошла позолота и обнажилось глубокое серебро, наматывала Алику на ноги компрессы, укрывала легкой простыней в псевдошотландскую, никакому клану не принадлежащую клетку, Мария Игнатьевна беседовала с Фимой. Он интересовался ее результатами. Она смотрела на него с великодушным презрением:

— Ефим Исакыч! Фимочка! Какие результаты! Землей же пахнет... Однако всё в Божьих руках, вот что я скажу. Уж я такого навидалась. Вот уходит, совсем уж уходит, ан нет, не отпускает его. В траве-то какая сила! Камень пробивает. Верхушечка-то... Вот я ее, верхушечку, и беру, и от корешка беру верхушечку... Другой раз, бывает, уж совсем к земле пригнулся, а смотришь — встает. В Бога надо веровать, Фима. Без Бога и трава не растет!

— Это точно, — легко согласился Фима и потер левую щеку, покрытую воронкообразными следами юношеских гормональных боев.

Про положительный фототаксис растений, о котором смутно и таинственно вещала толстуха с мягким, как будто тряпочным лицом, он знал из курса ботаники за пятый класс, но поскольку он был все-таки специалистом, то знал также, что чертова Аликова болезнь никуда не денется: последняя работающая мышца, диафрагмальная, уже отказывает и в ближайшие дни наступит смерть от удушья. Местная проблема, которая вставала в таких случаях, — когда отключить аппарат, — была решена Аликом заблаговременно: он ушел из больницы под самый конец и отказался, таким образом, от жалкого доведска искусственной жизни.

Фиму теперь удручала мысль, что, вероятно, именно ему придется в какой-то момент ввести Алику снотворное, которое снимет страдания удушья и своим побочным действием — угнетением дыхательного центра — убьет... Но делать было нечего — положить Алика в госпиталь по «Скорой помощи», как делали уже дважды, теперь вряд ли было возможно. А снова искать фальшивый документ хлопотно и опасно...

— Удачи вам, — мягко сказал Фима и, прихватив известный саквояж, ушел не прощаясь.

Обиделся он, что ли? — подумала Марья Игнатьевна.

Она в здешней жизни мало понимала. Приехала год назад из Белоруссии, по вызову больной родственницы, но пока оформляла документы, пока сюда добиралась, лечить уж было некого. Так и перемахнула она через океан со своей чудодейственной силой и контрабандной травкой понапрасну. То есть не совсем понапрасну, потому что и здесь нашлись любители ее искусства, и она занялась противозаконной нелегализованной деятельностью, не боясь никаких неприятностей. Только все удивлялась: что это у вас за порядки тут, я лечу, можно сказать, с того света вынимаю, чего мне бояться... Объяснить ей ни про лицензии, ни про налоги никто не мог. Нинка подцепила ее в маленькой православной церкви на Манхэт-

тене и сразу же решила, что ей знахарку Бог послал для Алика. В последние годы, еще до Аликовой болезни, Нинка обратилась в православие, чем нанесла большой удар по мракобесию: любимое свое развлечение, карты Таро, сочла за грех и подарила Джойке.

Марья Игнатьевна поманила Нинку пальцем. Нинка метнулась на кухню, налила в стакан апельсинового сока, потом водки, бросила горсть круглых ледышек. Питье ее было давно на местный манер: слабое, сладковатое и непрерывное. Она поболтала палочкой, глотнула. Марья Игнатьевна тоже поболтала — ложечкой в чашке с чаем — и положила ложечку на стол.

— Вот слушай-ка, чего тебе скажу, — строго сказала она. — Крестить его надо. Всё. Иначе — ничего не поможет.

— Да не хочет он, не хочет, сколько раз я тебе говорила, Марья Игнатьевна! — взвилась Нинка.

— А ты не ори, — нахмурилась Марья Игнатьевна безбровым лицом, — уезжаю я. Бумага эта самая у меня уж давно кончилась. — Она имела в виду давно просроченную визу, но ни одного иностранного слова запомнить не умела. — Кончилась бумага-то. Уезжаю. Мне уж и билет прокомпостировали. Если ты его не крестишь, я его брошу. А крестишь, Нин, я с ним работать буду, хоть оттуда, хоть как... А так не смогу... — И она театрально развела ручками.

— Ничего я не могу сделать. Не хочет он. Смеется. Пусть, говорит, твой Бог меня беспартийного примет, — опустила Нина свою слабую маленькую головку.

Марья Игнатьевна выпучилась:

— Нин, ты что? Вы здесь как в лесу живете. Да на что же Господу Богу партийные?

Нинка махнула рукой и допила свое пойло. Марья Игнатьевна налила еще чайку.

— Я о тебе жалею, деточка. У Бога обитателей много. Я хороших людей разных видела, и евреев, и всяких. На всех наготовлено. Вот мой Константин убиенный — крещеный и ждет меня, где всем положено. Я, конечно, не святая, да и пожить-то мы с ним пожили всего два года, я вдовой в двадцать один год осталась. Было кой-чего, не скажу, грешна. Но другого мужа у меня не было. И он ждет меня там. Поняла, о чем я забочусь? А то порознь будете, там-то. Ты крести его хоть так, хоть втемную... — увещевала Марья Игнатьевна.

— Как — втемную? — переспросила Нина.

— Идем-ка отсюда, от народу, — зашипела со значением Марья Игнатьевна, и, хотя народ весь толпился возле Алика, а в кухоньке никого не было, она затолкала Нинку в уборную, села на унитаза, накрытый розовой крышкой, а Нинку усадила на пластиковый короб для грязного белья. Здесь, в самом неподходящем месте, Нинка и получила все необходимые наставления...

Вскоре пришла Фаина, крепкая, как шелкунчик, с деревянным лицом и проволочной белесой соломой на голове. Она была из свеженьких, но быстро прижилась.

— Фотоаппарат купила, — с порога заявила она, входя к Алику и размахивая над его неподвижной головой новенькой коробочкой. — «Полароид»! С обратимой пленкой! Ну давайте же фотографироваться!

Для нее в этой стране было много такого, чего она еще не попробовала, и она торопилась поскорее всего закупить, надкусить, оценить и иметь по любому поводу мнение.

Валентина помахала над Аликом простыней. Но ему, единственному из всех, не было жарко. Валентина сбросила простыню и, залезши за спину Алика, села, опершись об изголовье. Подтянула его повыше, прижала

его темно-рыжую голову к самому солнечному сплетению, туда, где, по словам покойной бабушки, жительствовала «душка». И вдруг слезы брызнули от жалости к Алику, к его бедной голове, так беспомощно ткнувшейся ей под грудь. Как ребенок, который еще не держит головки. Никогда за время их долгого романа не испытывала она такого острого и живого чувства: держать его в руках, на руках, а еще лучше — спрятать его в самую глубину своего тела, укрыть от проклятой смерти, которая уже так явно коснулась его рук и ног.

— Девки, в кучу собирайтесь, петушок пропел давно! — крикнула она улыбочными губами, стерев ладонью пот со лба и слезы со щеки. На плечи Алику она вывесила свои знаменитые груди в красной упаковке, сбоку на кровать села Джойка, согнув Аликову ногу в колене и придерживая ее плечом. С другой стороны, для фотографической симметрии, присела Тишорт.

Файка долго крутила фотоаппарат, не могла найти видоискатель, а когда заглянула в него, то фыркнула:

— Ой, Алик, муде на первом плане. Прикройте.

На самом деле на первом плане были трубочки мочеиспускателя.

— Ну вот еще, такую красоту прикрывать, — возразила Валентина, и Алик двинул уголком рта.

— Мало проку от этой красоты, — заметил он.

— Файка, погоди, — попросила Валентина и, подсунув под Аликову спину две большие русские подушки из Нинкиного генеральского приданого, прошла прямо по кровати к изножью и отклеила от нежного места розовый пластырь, на котором крепилась вся амуниция.

— Пусть отдохнет немножко, на воле побегаает...

Алик любил всякие шутки и второсортным тоже улыбался. Делала все Валентина быстро, опытной рукой. Бывают такие женщины, у которых руки все наперед знают, их и учить ничему не надо, медсестры от рождения.

Тишорт не выдержала и вышла из комнаты. Хотя она еще в прошлом году все испробовала сначала с Джеффри Лешинским, а потом с Томом Кейном и пришла к выводу, что никакой секс ей даром не нужен, почему-то от манипуляции с катетером ее дернуло. Как она его рукой взяла... Чего они все к нему так липнут...

Душ был как раз свободен. Она стянула шорты. Через ткань ощутила прямоугольную коробочку. Свернула все аккуратно, чтобы не выпало. Инструкцию она помнила наизусть. Сегодняшнюю ночь она провела возле Алика. Не всю, несколько часов. Нинка вырубилась и спала в мастерской, а Алик не спал. Он попросил ее, и она все сделала, как он хотел, и теперь эта коробочка была доказательством того, что именно она и есть его самый близкий человек.

Вода была не холодная, трубы сильно прогревались в такую жару. Все полотенца мокрые. Она обтерлась кое-как, нацепила на влажное тело одежду и выскользнула из квартиры: ей не хотелось с ними фотографироваться, вот что она поняла.

Она вышла к Гудзону, потом свернула в сторону паромы и все думала о единственном нормальном взрослом человеке, который как будто назло ей собирается умирать, чтобы опять оставить ее одну со всеми этими многочисленными идиотами — русскими, еврейскими, американскими, — окружающими ее с самого рождения...

Со зрением у Алика что-то происходило: оно и угасало и обострялось одновременно. Все слегка укрупнилось и изменило плотность. Лица друг друга стали жидковаты и предметы слегка текучи, но струение это было скорее приятным, к тому же оно по-новому выявило связи между

предметами. Угол комнаты был взрезан одинокой старой ложкой, грязные белые стены бодро разбегались от нее в разные стороны. Это движение стен сдерживала женская фигура, сидящая на полу по-турецки и касающаяся затылком зыбкой стены. Самая прочная часть всей картины и была как раз эта точка соприкосновения женской головы и стены.

Кто-то подобрал снизу жалюзи, свет упал на темную жижу в бутылках, и она засветилась зеленым и темно-золотым. Жидкость стояла на разных уровнях, и в этом бутылочном ксилофоне он узнал вдруг свою юношескую мечту. В те годы он написал множество натюрмортов с бутылками. Тысячи бутылок. Может быть, даже больше, чем выпил... Нет, выпил все-таки больше. Он улыбнулся и закрыл глаза.

Но бутылки никуда не делись: побледневшими зыбкими столбиками они стояли в изнанке век. Он понимал, что это важно. Мысль ползла медленно и огромно, как рыхлая туча. Эти бутылки, бутылочные ритмы. И ведь музыка звучала... Скрыбинская светомузыка, как оказалось при рассмотрении, была полным фуфлом — механистично и убого. Он тогда стал изучать оптику и акустику. И этим ключом тоже ничего не открывалось. Натюрморты его были не то чтобы плохие, но совершенно необязательные. К тому же он и Моранди тогда не знал.

Потом все эти натюрморты как ветром разнесло, ничего не осталось. Где-нибудь в Питере, может, сохранились у тогдашних друзей или у Казанцевых в Москве... Господи, как же тогда пили. И бутылки собирали. Обыкновенные сдавали на обмен, а заграничные или старинные, цветного стекла, сохраняли.

И те, что стояли тогда на краю крыши, на ее жестяном отвороте, были темного стекла, из-под чешского пива. Кто поставил, так потом и не вспомнили. Из казанцевской кухни была дверка низкая в мезонин, а из мезонина — окно на крышу. Из этого окна и выпорхнула на крышу Ирка. Ничего особенного в этом не было: по этой крыше без конца бегали, и плясали, и загорали на ней. Она сползла на задку вниз по скату, а когда встала, на белых джинсах отчетливо были видны два темных пятна во все ягодички. Она стояла на самом краю крыши, чудесная легконогая девчонка. Бог послал их друг другу для первой любви, и они все делали по-честному, без халтуры, до звона в небе.

Когда строгий дед, потомственный циркач, выгнал Ирку из труппы за то, что она прогуляла репетицию, сорвавшись с Аликом в Питер на два дня, они тут, в мезонине у Казанцевых, и поселились и жили к тому времени уже три месяца, изнемогая под бременем все растущего чувства... А в тот день пришел в гости знаменитый молодежный писатель, взрослый, с двумя бутылками водки. Он был симпатичный. И Ирка дернула плечом чуть не так, и посмотрела вкось, и что-то сказала немного более низким, чем обычно, голосом, и Алик шепнул ей:

— Зачем ты кокетничаешь? Это пошло. Если он тебе нравится, дай.

Он ей и вправду понравился.

— Нет, не в том смысле. А если в том, то совсем немножко, — говорила она потом Алику.

Но в ту минуту от злости и от жестокой справедливости его слов она выскочила в окошко и съехала на заднице к краю крыши, а потом встала во весь рост рядом с бутылками и присела на корточки — еще никто не смотрел в ее сторону, кроме Алика, — обхватила пальцами горлышки крайних бутылок и сделала на них стойку. Острые носки ее туфель замерли на фоне лилового неба. Те, кто сидел лицом к окну, увидели стоящую на руках Ирку и замолчали.

Писатель, ничего не заметивший, рассказывал байку об украденной генеральской шинели и сам себе похихатывал.

Алик сделал шаг к окну... А Ирка уже шла на руках по бутылкам. Она обнимала горлышко бутылки двумя руками, потом отрывала одну руку,

нащупывала следующую бутылку и, ухватившись за нее, переносила на нее тяжесть своего напряженного тела... Писатель еще немного побасил и осекся. Почувствовал: что-то происходит за спиной. Он оглянулся и дрогнул начинающими полнеть щеками — он не переносил высоты. Дом-то был ерундовый, полуторазтажный, высотой метров в пять. Но физиология куда как сильней арифметики.

Руки у Алика стали мокрыми, по спине струйкой тек пот. Нелька Казанцева, хозяйка дома, тоже баба шальная, загрохотав вниз по деревянной лестнице, бросилась на улицу.

Медленно, царапая носками туфель затвердевшее от страха небо, Ирка добралась до последней бутылки, ловко поджала ноги, села на крышу и соскользнула вниз по хлипкой водосточной трубе. Нелька уже стояла внизу и кричала:

— Беги! Беги скорей!

Она видела выражение лица Алика, и реакция у нее оказалась самая быстрая. Ирка метнулась в сторону Кропоткинской, но было уже поздно. Алик схватил ее за волосы и врезал оплеуху...

Еще два года они промаялись, все не могли расстаться, но на этой оплеухе кончилось все самое лучшее. А потом расстались, не сумевши ни простить, ни разлюбить. Гордость была дьявольская — в тот вечер она таки ушла с писателем. Но Алик тогда и бровью не повел.

Ирка первой подвела черту: нанялась в труппу воздушных гимнастов, в чужую, в конкурентную, дед ее проклял, и уехала на большие гастроли на все лето, с шапито. Алик же сделал тогда первую эмиграционную пробу — переехал в Питер...

Алик открыл глаза. Он еще чувствовал жар, идущий от нагретой крыши ветхого особняка в Афанасьевском, и мышцы еще как будто отзывались на бурный пробег по деревянной лестнице казанцевского дома, и это воспоминание во сне оказалось богаче самой памяти, потому что он успел разглядеть такие детали, которые вроде бы давно растворились: треснутую чашку с портретом Карла Маркса, из которой пил хозяин дома, потерянное вскоре кольцо с мертвой зеленой бирюзой в эмалевом темно-синем касте на Иркиной руке, белую породистую прядь в темной голове десятилетнего казанцевского сына...

Солнце уже шло на закат, в Нью-Джерси, свет косил из окна прямо на Алика, и он жмурился. Джойка сидела на постели возле него, читала по его просьбе «Божественную комедию» по-итальянски и довольно коряво пересказывала каждую терцину по-английски. Алик не открыл ей, что довольно прилично знает итальянский: жил когда-то почти год в Риме, и этот веселый чокающий язык без труда отпечатался в нем, как след руки в глине. Но теперь ничего не значили его дарования — ни хваткая память, ни тонкий музыкальный слух, ни талант художника. Все это он уносил с собой, даже дурацкое умение петь тирольские песни и первоклассно играть на бильярде...

Валентина массировала его пустую ногу, и ей казалось, что в мышцах немного прибавляется жизни.

Пока он был в сонном забытии, приехал Аркаша Либин с новым кондиционером и относительно новой подружкой Наташей. Либин был любителем некрасивых женщин, и притом совершенно определенного типа: субтильных, с большими лбами и маленькими ротиками.

— Либин стремится к совершенству, — еще недавно шутил Алик. — Наташке в рот чайная ложка еле пролезает, а следующую он будет кормить одними макаронами.

Либин был намерен сегодня снять сломанный кондиционер и установить новый и собирался сделать это в одиночку, хотя даже специалисты работали обыкновенно в паре.

Обещающая успех русская самоуверенность. Он переставил бутылки с подоконника на пол, снял жалюзи, и в ту же секунду, как будто сквозь образовавшуюся дыру, с улицы хлынула ненавистная Алику латиноамериканская музыка. Уже вторую неделю весь квартал донимали шестеро южноамериканских индейцев, облюбовавших себе угол прямо под их окнами.

— Нельзя ли их как-нибудь заткнуть? — тихо спросил Алик.

— Проще тебя заткнуть, — отозвалась Валентина и нацепила на Алика наушники.

Джойка в обиженном недоумении посмотрела на Валентину. На этот раз она обиделась еще и за Данте.

Валентина поставила ему джаплиновский рэг-тайм. Слушать эту музыку он научил ее во времена тайных встреч и ночных блужданий по городу.

— Спасибо, зайка, — дрогнул веками Алик.

Всех их он звал зайками и кисками. Большинство их приехали с двадцатью килограммами груза и двадцатью английскими словами в придачу и совершили ради этого перемещения сотни крупных и мелких разрывов: с родителями, профессией, улицей и двором, воздухом и водой и, наконец, что осознавалось медленнее всего, — с родной речью, которая с годами становилась все более инструментальной и утилитарной. Новый, американский язык, приходящий постепенно, тоже был утилитарным и примитивным, и они изъяснялись на возникшем в их среде жаргоне, умышленно усеченном и смешном. В это эмигрантское наречие легко входили обрзки русского, английского, идиш, самое изысканное чернословие и легкая интонация еврейского анекдота.

— Боже ж мой, — ёрничала Валентина, — это же гребанный кошмар, а не музыка! Уже закрой свою форточку, ингеле, я тебе умоляю. Что они себе думают, чем пойти покушать и выпить и иметь полный фан и хороший муд? Они делают такой гевалт, что мы имеем от них один хедик.

Обиженная Джойка, оставив на кровати красный томик флорентийского эмигранта, ушла к себе, в соседний подъезд. Мелкоротая Наташа варила на кухне кофе. Валентина, переложив Алика на бок, терла ему спину. Прележней пока не было. Мочеприемник больше не надевали — кожа сгорала от пластырей. Подмокших простыней накопилась куча, Файка собрала их и пошла в прачечную, на уголок. Нинка дремала в кресле, в мастерской, не выпуская из рук стакана.

Либин безуспешно возился с кондиционером. У него не хватало крепежной планки, и он родным российским способом пытался из двух неподходящих длинных сделать одну короткую, не прибегая к помощи инструментов, которые он забыл дома.

4

Долго отступавшее солнце закатилось наконец, как полтинник, за диван, и в пять минут наступила ночь. Все разошлись, и впервые за последнюю неделю Нинка осталась с мужем наедине. Каждый раз, когда она подходила к нему, она заново ужасалась. Несколько часов сна, усиленного алкоголем, давали душе отдых: во сне она полно и с наслаждением забывала об этой редкой и особенной болезни, которая напала на Алика и скручивала его со страшной силой, а просыпаясь, каждый раз надеялась, что все это наваждение ушло и Алик, выйдя ей навстречу, скажет свое обычное: «Зайка, а что это ты тут делаешь?»

Но ничего такого не происходило.

Она вошла к нему, прилегла рядом, покрыв волосами его угловатое плечо. Похоже, он спал. Дыхание было трудным. Она прислушалась. Не открывая глаз он сказал:

— Когда эта проклятая жара кончится?

Она встрепенулась, метнулась в угол, куда Либин составил полное собрание сочинений Марьи Игнатьевны в семи бутылках. Вытащила самую маленькую из бутылочек, свинтила с нее пробку и сунула Алику под нос. Запахло нашатырем.

— Легче? Легче, да? — затребовала Нинка немедленного ответа.

— Вроде легче, — согласился он.

Она снова легла с ним рядом, повернула его голову к себе и зашептала в ухо:

— Алик, прошу тебя, сделай это для меня.

— Что? — Он не понимал или делал вид, что не понимает.

— Крестись, и все будет хорошо, и лечение поможет. — Она взяла в обе руки его расслабленную кисть и слабо поцеловала веснушчатую руку. — И страшно не будет.

— Да мне и не страшно, детка.

— Так я приведу священника, да? — обрадовалась она.

Алик собрал свой плывущий взгляд и сказал неожиданно серьезно:

— Нин, у меня нет никаких возражений против твоего Христа. Он мне даже нравится, хотя с чувством юмора у него было не все в порядке. Дело, понимаешь, в том, что я и сам умный еврей. А в крещении какая-то глупость, театр. А я театра не люблю. Я люблю кино. Отстань от меня, киска.

Нинка сцепила свои худющие пальцы и затрясла ими:

— Ну хотя бы поговори с ним. Он придет, и вы поговорите.

— Кто придет? — переспросил Алик.

— Да священник. Он очень, очень хороший. Ну прошу тебя... — Она гладила его по шее острым языком, потом прөвела по ключице, по прилипшему к костям соску тем приглашающим интимным жестом, который был принят между ними. Она его соблазняла в крещенье — как в любовную игру.

Он слабо улыбнулся:

— Валий. Веди своего попа. Только с условием: раббая тоже приведешь.

Нинка обмерла:

— Ты шутишь?

— Почему же? Если ты хочешь от меня такого серьезного шага, я вправе иметь двустороннюю консультацию... — Он всегда умел из любой ситуации извлекать максимум удовольствия.

«Поддался, поддался, — ликовала Нинка. — Теперь крещу».

Со священником, отцом Виктором, давно было договорено. Он был настоятель маленькой православной церкви, человек образованный, потомок эмигрантов первой волны, с крученой биографией и простой верой. Характера он был общительного, по натуре смешлив, охотно ходил в гости к прихожанам, любил и выпить.

Откуда берутся раввины, Нинка понятия не имела. Круг их друзей был вовсе не связан с еврейской общиной, и следовало поднапрячься, чтобы обеспечить Алика раввином, если уж это необходимое условие.

Часа два Нина возилась с травяными примочками, снова ставила компрессы на ступни, растирала грудь пахучей резкой настойкой и в три ночи сообразила, что Ира Пирсон недавно, смеясь, говорила, что из всех здешних евреев она одна-единственная русская, умеющая приготовить рыбу-фиш, потому что была замужем за настоящим евреем с субботой, кошером и всем, что полагается.

Вспомнив, Нинка немедленно набрала ее номер, и та обмерла, услышав среди ночи Нинкин голос.

«Всё», — решила она.

— Ир, слушай, у тебя был муж еврей религиозный? — услышала она в трубке дикий вопрос.

«Напилась», — подумала Ира.

— Да.

— А ты не могла бы его разыскать? Алик раббая хочет.

«Нет, просто совсем сошла с ума», — решила Ира и сказала осторожно:

— Давай завтра об этом поговорим. Сейчас три часа ночи, я в такое время все равно никому позвонить не могу.

— Ты имей в виду, это очень срочно, — совершенно ясным голосом сказала Нинка.

— Я завтра вечером заеду, о'кей?

Ирина испытывала к Нине глубокий интерес. Возможно, это и была настоящая причина, почему она тогда, полтора года назад, согласилась зайти к нему в мастерскую: посмотреть, что же это за чудо в перьях, которому достался Алик.

Алик был кумиром женщин едва ли не от рождения, любимцем всех нянек и воспитательниц еще с ясельного возраста. В школьные годы его приглашали на дни рождения все одноклассники и влюблялись в него вместе со своими бабушками и их собачками. В годы отрочества, когда охватывает дикое беспокойство, что уже пора начинать взрослую жизнь, а она все никак не задается и умненькие мальчики и девочки кидаются в дурацкие приключения, Алик был просто незаменим: принимал дружеские исповеди, умел и насмешить, и высмеять, а главное, редкостное, что от него шло, — совершенная уверенность, что жизнь начинается со следующего понедельника, а вчерашний день вполне можно и вычеркнуть, особенно если он был не вполне удачен. Позднее перед его обаянием не устояла даже инспекторша курса в театрально-художественном училище, по прозвищу «змеиный яд»: четыре раза его выгоняли и три, хлопотами влюбленной инспекторши, восстанавливали.

При первом знакомстве Нина произвела на Ирину впечатление надменно-капризной дуры: потрепанная красавица сидела на грязном белом ковре и попросила ее не беспокоить — она складывала гигантский «пазл». При ближайшем рассмотрении Ирина сочла ее просто слабоумной, к тому же психически неуравновешенной: вялость у нее сменялась истериками, припадки веселья — меланхолией, и Ирина отнесла это за счет вялотекущего, но несомненного алкоголизма.

Впрочем, понять, почему он женился, еще можно было, но вот как он терпит столько лет ее доходящую до слабоумия глупость, патологическую лень и неряшливость... Она испытывала не запоздалую ревность, а глубокое недоумение. Ирина никогда не сталкивалась с тем женским типом, к которому принадлежала Нина: именно своей безграничной беспомощностью она возбуждала в окружающих, особенно в мужчинах, чувство повышенной ответственности.

У Нины, кроме того, была еще одна особенность: каждую свою прихоть, каприз или выдумку она доводила до предела. Например, она никогда не брала в руки денег. Поэтому Алик, уезжая, скажем, на неделю в Вашингтон, знал, что Нина не выйдет в магазин и предпочтет голодную смерть прикосновению к «гадким бумажкам». И он всегда забивал ей перед отъездом холодильник.

В России Нина никогда не готовила, так как боялась огня. Она увлекалась тогда астрологией и где-то вычитала, что ей, рожденной под знаком Весов, грозит опасность от огня. С тех пор она уже больше не подходила к плите, объясняя это космической несовместимостью знака воздуха и стихии огня. Здесь, в ателье, где вместо газовой плиты стояла электрическая и живой огонь она видела разве только на кончике спички, ее отвращение к стряпне не прошло, и Алик легко и с успехом справлялся с кухней.

Кроме денег и огня была еще одна вещь, уже вполне неосязаемая, — безумный, до столбняка, страх перед принятием решения. Чем незначи-

тельней был предмет выбора, тем больше она мучилась. Ирина однажды, получив кучу бесплатных билетов от своей клиентки-певицы, по просьбе Тишорт пригласила Алика с Нинкой в театр. Они заехали за ними и оказались свидетельницами того, как Нинка до изнеможения перемеряла свои маленькие узкие платица и нарядные туфли, а потом бросилась в постель и сказала, что она никуда не пойдет. И плакала в подушку, пока Алик, избегая смотреть в сторону невольных свидетельниц, не положил рядом с Нинкой какого-то платья наугад и не сказал ей:

— Вот это. К опере бархат все равно что сосиски к пиву.

Тишорт, кажется, получила от этого представления больше удовольствия, чем от посредственной оперы.

Ирина хорошо знала цену прихоти и капризу: этим была полна ее юность. Но в отличие от Нины у нее за спиной было цирковое училище. Умение ходить по проволоке очень полезно для эмигранта. Может быть, именно благодаря этому умению она и оказалась самой удачливой из всех... Ступни режет, сердце почти останавливается, пот заливает глаза, а скулы сведены безразмерной оскальной улыбкой, подбородок победоносно вздернут, и кончик носа туда же, к звездам, — все легко и просто, просто и легко... И зубами, когтями, недосыпая восемь лет ровно по два часа каждый день, вырываешь дорогостоящую американскую профессию... И решения приходится принимать по десять раз на дню, и давно взято за правило — не расстраиваться, если сегодняшнее решение оказалось не самым удачным.

«Прошрое окончательно и неотменимо, но власти над будущим не имеет», — говорила она в таких случаях. И вдруг оказалось, что ее неотменимое прошлое имеет какую-то власть над ней.

Ни о будущей смерти, ни о прежней жизни никаких разговоров Ирина с Аликом не вела. То, о чем она и мечтать не могла, произошло: Тишорт общалась с Аликом и со всеми его друзьями так легко и свободно, что никому из них и в голову не приходило, какое сложное психическое расстройство перенесла девочка. Но теперь Ирина вряд ли могла объяснить себе самой, что заставляет ее проводить в шумном беспорядочном Аликовом логове каждую свободную минуту вот уже второй год.

Английская золотая рыбка, больше похожая на загорелого тунца, чем на нежную вуалехвостку, доктор Харрис, с которым Ирина тайно женихалась уже четыре года, приехавши на пять дней в Нью-Йорк, едва смог ее изловить и улетел обиженным, в полной уверенности, что она собирается его бросить... А это совершенно не входило в ее планы. Он был известным специалистом по авторским правам, занимал такое положение, что и познакомиться с ним для нее было почти невозможно. Чистый случай: хозяин конторы взял ее с собой на переговоры в качестве помощника, а потом был прием, на котором женщин почти не было, и она сияла на фоне черных смокингов как белая голубка среди старых воронов. Через два месяца, когда она уже и думать забыла об этой поездке в Англию, пришло приглашение на конференцию молодых юристов. Хозяин конторы долго не мог опомниться от изумления, но заподозрить Харриса в интересе к своей миниатюрной помощнице не мог. Однако отпустил Ирину на три дня в Европу. И теперь все шло к тому, что Харрис женится...

И здесь не какая-нибудь любовь-морковь, а дело серьезное.

Каждая женщина, которой исполнилось сорок, мечтает о Харрисе. А Ирине как раз исполнилось.

В общем, получилось глупо...

Вечером Ирина приехала к Нинке для разговора. Но в спальне топталась опять знахарка, заскочившая на пять минут перед отъездом, Нинка вокруг нее бегала. В мастерской, как обычно, сидел народ.

Ирина была голодная, открыла холодильник. Там было плоховато. В бумажном пакете из русского магазина лежал дорогостоящий черный хлеб, подсыхал сыр. Ирина сделала себе бутерброд. Выпила Нинкиной смеси — в этом доме все почему-то начинали пить «отвертку» — апельсиновый сок с водкой... Наконец выползла Нинка.

— Так зачем тебе понадобился Готлиб?

— Какой Готлиб? — удивилась Нинка.

— О Господи, да ты же ночью звонила...

— А, он Готлиб. Я и не знала, что он Готлиб... Алик сказал, чтобы привезли раббая, — невинно сказала Нинка, а Ирина вдруг почувствовала прилив раздражения: чего она возится с этой идиоткой... Но она профессионально сдержала раздражение и мягко спросила:

— Да зачем ему раббай? Ты ничего не путаешь?

Нинка просияла:

— Да ты же ничего не знаешь! Алик согласился креститься.

Ирина от ярости зашлась:

— Нин, если креститься, то, наверное, священник нужен, а?

— Само собой! — кивнула Нинка. — Само собой — священник. Это я уже договорилась. Но Алик попросил... он хочет еще и с раббаем поговорить.

— Он хочет креститься? — удивилась Ирина, уловив наконец самое существенное.

Нина опустила узкое личико в костлявые, переставшие быть красивыми руки.

— Фима говорит, что очень плохо. Все говорят, что плохо. А Марья Игнатьевна говорит, что последняя надежда — креститься. Я не хочу, чтобы он уходил в никуда. Я хочу, чтобы его Бог принял. Ты не представляешь себе, какая это тьма... Это нельзя себе представить...

Нинка кое-что знала про тьму, у нее были три суицидальные попытки: одна в ранней юности, вторая после отъезда Алика из России и третья уже здесь, после рождения мертвого ребенка...

— Надо скорее, скорее. — Нинка вылила остатки сока в стакан. — Ириша, купи мне, пожалуйста, сока. А водки не надо, водку вчера Славик принес. Пусть твой Готлиб нам раббая приволочет...

Ирина взяла сумку, опустила руку в металлический судок, стоявший на холодильнике, — туда складывали счета. Там было пусто: кто-то уже оплатил.

5

О себе она говорила: я ставила на всех лошадок, в том числе и на еврейскую. Еврейской лошадкой был огромный чернобородый Лева Готлиб, которому удалось засунуть русскую Ирку в иудаизм, да не как-нибудь, а по полной программе, с субботними свечами, миквой и головным убором, который был ей, кстати, очень к лицу. Маленькая Тишорт была отправлена тогда в религиозную школу для девочек, которую, между прочим, до сего дня добром вспоминала.

Ирка проеврействовала два полных года. Учила иврит: способностями она была никак не обижена, все ей давалось легко. Ходила в синагогу и наслаждалась семейной жизнью. В одно прекрасное утро она проснулась и поняла, что ей смертельно скучно. Она собрала попавшиеся под руку вещи и немедленно съехала, оставив Лева записку ровно в два слова: «Я уезжаю». Позднее, когда Лева разыскал ее у старых друзей и пытался восстановить семью, она отвечала только одно: надоело, Лева, надоело. Это был последний ее каприз, а может, эмоциональный бунт — больше она не позволяла себе таких экстравагантных поступков.

Переехала в Калифорнию. Как она жила эти годы, нью-йоркским друзьям было неизвестно. Некоторые считали, что у нее был какой-то запасец. Другие подозревали, что ее содержит любовник. Толком никто ничего не знал: днем она носила английского стиля костюмы из льна и шелка, а по вечерам, нацепив перья и блестки, выступала со своим акробатическим номером в специальном месте для богатых идиотов. Цирковое училище было не фунт изюму — настоящая профессия, не какой-нибудь PhD. Благодаря этой профессии по ночам она крутила ногами, а днем ворочала мозгами в юридической школе. В конце концов она ее окончила, пройдя положенный курс наук и научившись за эти годы вставать в половине седьмого, вместо сорокаминутной утренней ванны принимать трехминутный душ и не поднимать телефонной трубки прежде, чем автоответчик объявит ей, кто именно звонит; она получила место помощника юриста в солидной конторе.

Жила она в Лос-Анджелесе, с эмигрантами почти не общалась, говорила с легким английским акцентом, которому надо было еще научиться. Это было даже шикарно. Люди понимающие знают, что избавиться от акцента труднее, чем его изменить. Свою незамысловатую русскую фамилию она поменяла предусмотрительно, еще при получении первых американских документов.

Со времен ее шоу-карьеры у нее остались кое-какие артистические связи, и она привела с собой клиентуру. Не бог весть какую, но хозяин это оценил. Со временем он дал ей возможность вести дела самостоятельно. Она выиграла для него несколько незначительных дел. Для американского молодого человека такая карьера могла бы считаться неплохой. Для сорокалетней циркачки из России она была блестящей.

Бывшему мужу Леве развод тоже пошел на пользу. Он женился на правильной еврейской девушке из Могилева, не имевшей за спиной ни опыта цирковой акробатики, ни какого бы то ни было вообще. Большая, толстая и широкозадая, она родила ему за семь лет пятерых детишек, и это полностью примирило Леву с потерей Ирки. Рассудительная жена уверенно говорила подругам:

— Вы же понимаете, всем нашим мужчинам по вкусу шиксы, но это до тех пор, пока они не имеют настоящую еврейскую жену.

Эта великая мудрость была последним пределом ее возможностей, но Лева не стал бы этого оспаривать.

Ирина довольно быстро разыскала по справочнику Леву, а когда попросила его о срочной встрече, он был сильно смущен. Два часа, покуда она добиралась к нему в Бронкс, он корчился от предчувствия большой неприятности или по меньшей мере неловкости, которые она с собой привезет.

Контора его была довольно замурзанная, но дело, которое здесь варилось, было придумано когда-то Ирккой. Ее практический ум в сочетании с небрежной незаинтересованностью принес в свое время Леве удачу. Именно Ирка в самом начале их недолгого брака уговорила его вложить все имеющиеся у него деньги, с трудом сбитые пять тысяч, в рискованную и блестяще себя оправдавшую затею по производству кошерной косметики. В то время Ирина еще находилась в состоянии недолгого романа с иудаизмом, правда весьма смягченным и реформированным, но не забытым о драматических отношениях молока и мяса, в особенности того, которое при жизни хрюкало.

Левушкина косметика еще только-только находила своих потребителей, когда Ирина, покрытая трэфными бликами общеамериканской косметики, его покинула. Лева, вступив в новую полосу своей жизни, вскоре поменял ориентацию, изменив реформаторам с ортодоксами. Там был свой политический резон. Ему пришлось отказаться от производства грубых красок, оскверняющих благородные лица еврейских женщин, и он

продал эту часть дела двоюродному брату, оставив за собой производство кошерного шампуня и мыла, а также научился производить кошерный аспирин и другие медикаменты. Вероятно, на свете существовало довольно много людей, которым эта идея не казалась сплошным надувательством.

Лева встретил Ирину на пороге своего кабинета. Оба сильно изменились, но изменения эти были обусловлены скорее не течением лет, а новым характером жизни. Лева располнел и стал как будто меньше ростом за счет ширины спины и раздавшихся щек, да и лицо утратило бело-розовый оттенок, напоминавший о молодом царе Давиде, и приобрело какой-то сумрачный цвет. Ирина же, ходившая в годы их брака в трикотажных майках с дыркой на плече и в длинных индийских юбках, метущих пол, поразила его журнальной безукоризненностью, жестким изяществом бровей и носа, твердостью подбородка и мягкостью губ.

«Жемчужина, настоящая жемчужина», — подумал Лева и, подумавши, сказал это вслух.

Ирина засмеялась прежним легким смехом:

— Я рада, Левушка, что тебе нравлюсь. Ты очень изменился, но, знаешь, неплохо, такой солидный капитальный господин.

— И пятеро детей, Ирочка, пятеро. — И он вытащил из стола маленький альбомчик с фотографиями. — А как Маечка? — вдогонку спросил он.

— Нормально, взрослая девица.

Она внимательно рассмотрела альбом, кивнула и положила его на стол.

— Дело у меня вот какое. Старый приятель, еврей, дружок мой еще по Москве, тяжело болен. Умирает. Он хочет поговорить с раббаем. Можешь это устроить?

— И это вся твоя проблема? — Лева испытал огромное облегчение, потому что все-таки подозревал, что Ирина хочет предъявить ему какие-то имущественные претензии, связанные с теми пятью тысячами, потому что тогда они были в браке... Он был человек порядочный, но обременен семьей и ненавидел непредвиденные расходы. — Если тебе надо, я приведу хоть десять. — Он смутился, потому что сказал глупость, но Ирина не поняла или не обратила внимания.

— Но это надо срочно, очень срочно, он совсем плох, — попросила она.

Лева обещал позвонить сегодня же вечером.

Он действительно позвонил вечером и сказал, что может привести замечательного раббая, израильского, читающего сейчас какой-то мудреный курс в Нью-Йоркском университете. И уже договорился, что приведет его к большому сразу после конца субботы.

Весьма примечательно, но никогда ничего не забывавшая Ирина начисто забыла, что еврейская суббота кончается в субботу вечером, и объявила Нине, что раббай придет в воскресенье утром.

Священник, отец Виктор, обещал прийти в субботу после всенощной. Нинка придавала большое значение тому, что священник появится первым.

6

Фима пришел к Берману очень поздно, без звонка, такая бесцеремонность была между ними принята. Их связывали давние отношения, отчасти и родственные. Родство было дальним, трудновычисляемым, по деду, но на самом деле это не имело значения. Важным было другое: оба они были врачи в том смысле, в каком люди урождаются блондинами, или певцами, или трусами, то есть по волеизъявлению природы. Чутье к человеческому телу, слух к движению крови, особое устройство мышления.

— Системное, — определял его Берман.

Оба они чували, какие качества характера в сочетании с определенным типом обмена тянут за собой гипертонию, где ожидать язвы, астмы, рака... Прежде чем начинать медицинский осмотр, они примечали, что кожа суха, белок мутноват, в углах рта — точечные воспаления...

Впрочем, в последние годы они мало кого осматривали, разве что знакомые просили.

В отличие от Фимы, Берман, переехав в Америку, сдал все экзамены за два месяца, подтвердил свой российский диплом и поставил одновременно местный рекорд: никому еще не удавалось так быстро справиться с полным курсом медицинской науки. Сразу же он получил работу в одной из городских больниц. Здесь и познакомился на практике с американской медициной, отдавая ей по семьдесят часов в неделю, и она показалась ему столь же малоудовлетворительной, что и российская, но по другим причинам. Тогда он и нашел для себя область, в которой мог держаться подальше от американских врачей. Он их мало уважал.

Область эта была новая, только обозначившаяся.

«В России такого лет двадцать не будет, а может, никогда», — с огорчением думал он.

Называлась эта область радиомедицина. Это было диагностическое направление, сочетающее введение в организм радиоизотопов и последующее компьютерное обследование.

Как говорил сам Берман, последние остатки мозгов ушли у него на освоение этого современного компьютера, последние остатки энергии — на добывание денег для его покупки и открытие собственной диагностической лаборатории, и последние остатки жизни он собирался потратить на выплату гигантских долгов, которые образовались в результате всех его усилий...

Дело его тем не менее шло хорошо, раскручивалось и набирало обороты, а все доходы шли пока на покрытие кредитов и выплату процентов, которые росли в этой стране быстро и незаметно, как плесень на сырой стене.

Долгов у Бермана было больше четырехсот тысяч, а у Фимы — четыреста долларов, то есть, по американской логике, один процветал, второй же находился в самом жалком положении. Жили они в одинаково паршивых квартирах, ели одну и ту же дешевую еду. Разница только в том и заключалась, что Берман купил себе три приличных «докторских» костюма, а Фима обходился бедняцкой одеждой.

— Как живет вся Америка, так живем и мы, — усмехался Берман и фамильярно шлепал Фиму по плечу.

Оба прекрасно понимали, что если уж Берману под его голову, образование или авантюрный проект дают такие кредиты, значит, всего этого он стоит. И потому он мог бы уже сегодня переехать в хороший Ист-Сайд, если б не был скуповат и не осторожничал.

Фима ежился. Зависть не зависть, но нечто болезненное шевелилось в душе. Надо отдать Берману должное: открывая лабораторию, он предложил Фиме пойти к нему техником, однако для этого надо было закончить какие-то специальные курсы, а Фима все еще мусолил английские учебники, делал вид перед самим собой, что в будущем году уж точно он мобилизуется и сдаст наконец проклятые экзамены... словом, от Фиминого предложения он отказался. Принять — означало бы полную и окончательную капитуляцию.

Когда-то в России они были на равных, два молодых талантливых врача, знающих себе цену. Здесь, благодаря к делу не идущей способности к лопотанию на этом собачьем языке, Берман так далеко ушел, что Фиме никогда уже не дотянуться. Но в данном случае, с Аликом, они по-прежнему были на равных — два врача возле одного больного.

Теперешняя встреча представляла, собственно говоря, консилиум. Фима был первым врачом, к которому обратился Алик, когда правая рука стала ему изменять. Полтора года тому назад.

«Ерунда, профессиональное переутомление, может, тендовагинит», — поставил Фима первый диагноз, но быстро спохватился. Левая рука тоже начала сдавать. Если бы процесс не шел так стремительно, можно было бы говорить о рассеянном склерозе. Нужно было большое хорошее обследование.

Провел первое обследование Берман. Бесплатно, конечно, еще и сам изотопы оплатил. Компьютер ничего не показал.

— Американская штучка, — ухмыльнулся Берман, — не хочет бесплатно работать.

— Пока ты с виду здоров, покупай страховку, старик. Она начинает действовать через полгода, но я тебе гарантирую, что такие вещи сами собой не проходят, — вынес свое заключение Берман.

Но денег на страховку не было, к тому же Алик никогда не думал о том, что будет через полгода. По этой же причине, а также из отвращения к очередям, чиновникам и казенным бумажкам, оставшегося у него с советских времен, у него никогда не было американских пособий. Среди иммигрантов было немало людей, которые чуть ли не соревновались в ловкости по выдавливанию разного рода подачек и льгот — от продовольственных карточек до бесплатных квартир, Алик же ухитрился прожить почти два десятилетия беззаботной птичкой, работая легко и потаенно: у многих создавалось впечатление, что живет он на шармачка, на авось. Особое раздражение он вызывал как раз не у честных работяг, а именно у принципиальных бездельников и отъявленных ловчил.

Словом, не было у него никогда никакой страховки, как и постоянной работы, и рассчитывать на это не приходилось: меньше, чем когда-либо, был он теперь способен выискивать многодневные очереди в бесконечных коридорах и получить необходимые бумаги.

К счастью, американская система медицинского обслуживания, компьютеризованная и продуманная, оставляла некоторые щелки, в которые можно было всунуться.

Первые анализы были сделаны по чужим документам. Кровь молчала.

Первую госпитализацию организовали на улице: вызвали «скорую помощь» и разыграли небольшой спектакль. Хозяин кафе напротив дома вызвал машину, сказавши, что человек упал без сознания возле его двери. Человек этот лег на три сдвинутых стула, свесил рыжий хвост и, подмигивая приятелю-хозяину, минут пять ждал машины. Его забрали, провели обследование, дали medicaid на время пребывания в больнице.

Лечили его невропатологи, ставили капельницы, вводили положенные лекарства. Все было довольно уныло, и Алик из больницы сбежал. Фима устроил ему скандал: что бы там ни было, назначения были хорошие, лечение симптоматическое, но другого и быть не может, когда диагноз не поставлен. Фима настаивал, чтобы он лег снова, и единственный способ снова туда попасть — сделать «мастырку». Фима быстренько организовал ему небольшой свищ на ключице, и Алик предъявил его как осложнение после неудачного лечения. Городская больница хоть и не частное учреждение, но тоже исков не любила, и его опять госпитализировали...

Так все тянулось. Алик ложился, снова выходил. Не ясно было, помогает ли лечение, — кто ж знал, что было бы без него. Но правая уже висела плетью, левой он с трудом подносил ложку ко рту. Изменилась походка. Устал. Спотыкался. Потом упал первый раз. И все это происходило с ужасающей скоростью. К весне следующего года он еле передвигался.

Вторая госпитализация была гораздо более сложным делом. Алика привезли к Берману в лабораторию, Берман сам вызвал «скорую», сказал, что у него тяжелый больной на приеме. «Скорая» потребовала письменно-

го свидетельства, что больной не умрет в дороге. Берман, который знал все здешние бюрократические уловки, письмо это уже заготовил. Он поехал с Аликом вместе, и, на счастье, главный человек, медсестра, оказалась знакомая Берману старая ирландка, хмурая, резкая и совершенный ангел, — она дала направление в китайскую больницу, которая считалась лучшей из всех государственных. Это была удача, и первую неделю Алик оживился, ему кроме обычного лечения делали иглоукалывания, прижигания, и даже казалось, что чувствительность рук восстанавливается...

Теперь Фима и Берман сидели на убогой кухне, среди грязных чашек и жизнерадостных тараканов. Они уже перестали строить предположения: боковой амниотрофический склероз, вирусное стволовое поражение, таинственная онкология...

Берман был довольно красив, хотя было в нем нечто от большой обезьяны: вислые сильные плечи, короткая неповоротливая шея, длинные руки, даже рот был туговато натянут на крупные зубы. Фима был весь корявый, из рытого лица смотрели на Бермана с ожиданием ясные светлые глаза...

— Ничего, Фима. Ничего в таких случаях не делают. Кислородная подушка.

— Удушье может очень медленно развиваться. Очень мучительно, — поморщился Фима.

— Сделай морфин или что там есть...

— Ладно, все ясно, — пробурчал Фима.

Он все-таки надеялся, что умный Берман знает что-то, чего он забыл. Но такого знания вообще не было.

7

Отец Виктор пришел около девяти. В сандалиях на босу ногу, в мешковатой рубаше, заправленной в короткие светлые брюки. В руках у него был чемоданчик-дипломат и целлофановый пакет, чем-то плотно набитый. Бейсбольную кепочку с невинными зелеными буквами N и Y он снял при входе и держал на сгибе локтя. Поздоровался с улыбкой, сморщившей его короткий нос.

Общество по случаю субботы было многолюдным: Валентина, Джойка с сереньким Достоевским под мышкой, Ирина, Тишорт, Файка, Либин с подружкой, все обычные посетители, а сверх того приехавшие из Вашингтона сестры Бегинские, американский художник Руди, приятель Алика по каким-то совместным акциям, никому не известная гостья из Москвы, представившаяся так невнятно, что ее имени никто не запомнил, Шмуль из Одессы и собака Киплинг, которую оставила на несколько дней старая знакомая.

Алика вытащили из спальни и посадили в кресло, обложив со всех сторон подушками. Это было всегдашнее его место, и все медленно вращались по квартире, немного выпивая и шумно разговаривая. На столе стояли случайные приношения: таял огромный ореховый торт и плавилось мороженое. Было больше похоже на вернисаж, чем на покой умирающего.

Отец Виктор как будто растерялся на мгновение. Но Нина быстро подхватила его под оттопыренный локоток, на котором все лежала кепочка, и усадила возле стола.

— Сэр-цээ, тэ-бэ так хочется по-коя... — пел Шмуль сладким голосом, отчасти заглушая парагвайские дудки и барабанчики, без усталости наяривающие внизу, под окнами.

Файка тискала длинную вялую куклу, изображающую Алика. Эту прощескую куклу когда-то подарила ему на день рождения приятельница Анька Крон, проживающая ныне в государстве Израиль. Алик подавал за куклу реплики:

— Ой, не жмите мене так горячо! Ой, Фая, скажите мне, только честно, как перед Богом: вы кушали чеснок?

Священник улыбнулся, взял у Файки из рук куклу, потряс ее розовую руку и сказал:

— Таки приятно с вами познакомиться.

Все засмеялись, он бросил куклу на колени к Фаине.

Нинка кивнула — Шмуль тут же замолк, Либин легко вынул Алика из кресла и отнес, как ребенка, в спальню.

Приезжая москвичка дернулась: смотреть на это было тяжело. Вообще, пока Алик лежал или сидел, все было довольно обыкновенно: больной человек в кругу друзей, — но вот переход его из одного положения в другое сразу напоминал о том, что происходит что-то ужасное. Живые, ясные глаза и мертвое тело... А в начале весны он еще сам перебирался из спальни в мастерскую...

Алика уложили в спальне, отец Виктор зашел туда. Нинка, немного потоптавшись в дверях, выскользнула из спальни и села на пол снаружи, прислонившись спиной к двери. Вид у нее был стерегущий и отрешенный. Она была вполпьяна, но держалась.

«Как глупо и нелепо, — думал Алик. — Симпатичный, кажется, человек, напрасно я поддался...»

Отец Виктор сел на скамеечку возле постели, совсем близко к Алику.

— У меня есть некоторые профессиональные трудности, — начал он неожиданно. — Видите ли, большинство людей, с которыми я общаюсь, мои прихожане, они совершенно уверены в том, что я способен разрешить все их проблемы, и если я этого не делаю, то исключительно из педагогических соображений. А это совершенно не так. — Он улыбнулся редкозубой улыбкой, и Алик понял, что и священник понимает всю глупую неловкость положения, и испытал некоторое облегчение...

Болезнь не мучила Алика болями. Он страдал от все усиливающейся одышки и нестерпимого чувства растворения себя. Вместе с весом тела, живым мясом мышц, уходила реальность жизни, и потому ему так приятны были полуобнаженные женщины, облеплявшие его с утра до ночи. Алик давно не видел вокруг себя новых людей, и это новое лицо, с нечисто выбритой с одной стороны щекой — бородка у него была маленькая, на западный манер, — с крапчатыми буро-зелеными глазами, отпечатывалось крупно, с фотографическими подробностями.

— Нина очень хотела, чтобы я с вами поговорил, — продолжал священник. — Она думает, что я могу крестить вас, то есть уговорить принять крещение. И я не могу отказать ей в ее просьбе.

Парагвайская музыка за окном подвывала, потрескивала, выпускала дух и снова оживала. Алик поморщился.

— Да я неверующий, отец Виктор, — грустно сказал Алик.

— Что вы! Что вы! — замахал рукой священник. — Неверующих практически не бывает. Это какой-то психологический шаблон, который вы скорее всего из России вывезли. Уверяю вас, неверующих не бывает. Особенно среди творческих людей. Содержание веры разное, и чем выше интеллект, тем сложнее форма веры. К тому же есть род интеллектуального целомудрия, которое не допускает прямых обсуждений, грубых высказываний. Всегда под рукой вульгарнейшие образцы религиозного примитива. А это трудно вынести...

— Это я очень хорошо понимаю, у меня своя жена в доме, — отозвался Алик.

Поп этот был ему мил своей честной серьезностью.

«И он совсем не глуп», — удивился Алик.

Нинкины восторженные междометия по адресу святого и мудрого священника давно вызвали у него раздражение, и теперь это раздражение прошло.

— А у Нины, — отец Виктор махнул рукой в сторону двери, — да вообще у большинства женщин все идет не через голову, а через сердце. То есть через любовь. Они изумительные существа, дивные, изумительные...

— А вы женолюб, отец Виктор, как и я, — подколот его Алик. Но тот как будто не понял.

— Да, ужасный женолюб, мне почти все женщины нравятся, — признался священник. — Моя жена мне постоянно говорила, что если бы не мой сан, я был бы Дон Жуан.

«Какие же бывают простецы», — подумал Алик.

А священник развивал тему дальше:

— Они удивительные. Они всем готовы пожертвовать ради любви. И содержанием их жизни часто бывает любовь к мужчине, да... Такая происходит подмена. Но иногда, очень редко, я встречал несколько необыкновенно высоких случаев: собственническая, алчная любовь преобразуется и они через бытовое, через низменное, приходят к самой Божественной Любви... Не перестаю поражаться. Вот и Нина ваша, я думаю, из той же породы. Я сюда вошел и сразу отметил: сколько прекрасных женщин вокруг вас, такие хорошие лица... Не оставляют вас ваши подруги... Все они мироносицы, если их покрести...

Он был не стар, несколько за пятьдесят, но в речи по-старомодному возвышен.

«Конечно, из первой эмиграции», — догадался Алик.

Движения священника были немного растерянными и неточными. Алику и это понравилось.

— Жалко, что мы не познакомились раньше, — сказал Алик.

— Да-да, жарко, — невпопад отозвался священник, не съехавший еще с женской темы, так его вдохновившей. — Это ведь, знаете, диссертацию написать можно — о различии в качестве веры у мужчин и женщин...

— Какая-нибудь феминистка, наверное, уже написала... Попросите, пожалуйста, отец Виктор, пусть Нина принесет нам маргариту. Вы любите текилу? — спросил Алик.

— Да, кажется, — неуверенно ответил священник.

Встал, приоткрыл дверь. За дверью все еще сидела Нинка с горячим вопросом в глазах.

— Алик просит маргариту, — сказал он Нине, и она не сразу поняла. — Две маргариты.

Через несколько минут Нина принесла два широких бокала и вышла, с недоумением глядя через плечо.

— Ну что же, выпьем за женщин? — с обычным добродушным ехидством предложил Алик. — Вам придется меня поить.

— Да-да, с удовольствием. — Отец Виктор стал неловко совать в рот Алику соломинку.

Он в жизни много разного повидал, но такого еще с ним не было. Умиравших он исповедовал, причащал, случалось, крестил, но текилой никогда не поил.

Бокал свой отец Виктор поставил на пол и продолжал говорить:

— Мужское содержание веры — брань. Помните ночную борьбу ангела с Иаковом? Война за самого себя, подъем на следующий уровень. В этом смысле я эволюционист. Спасение — слишком утилитарная идея, не правда ли?

Алику показалось, что священник слегка окосел. Ему не было видно, что тот и не пригубил. Но сам Алик почувствовал теплоту в желудке, это было приятно — ведь ощущений вообще становилось все меньше и меньше.

— Я думаю, что преподобный Серафим Саровский именно эту борьбу за веру и называл «стяжанием Духа Святого». Да... — Он замолк и грустно задумался.

Он твердо знал, что нет у него того духовного призвания, какое было у деда...

Индийская музыка, утомившись сама от себя, смолкла. Шум теперь из окна шел хороший, человеческий.

«Как же я стал слаб», — думал Алик.

Чем-то пронял его этот простодушный и храбрый человек. Почему он производил впечатление храброго — об этом надо подумать... Может быть, потому что не боится показаться смешным...

— Нинка уж очень просит меня креститься. Плачет. Она придает это большое значение. А по мне — пустая формальность.

— Ну что вы, что вы! Для меня ее мотивы очень убедительны. Но мне-то просто, — он смущенно развел руками, как будто ему было неловко за свои привилегии, — я-то наверняка знаю, что между нами есть Третий. — И он еще глубже смутился и заерзал на скамеечке.

Смертельная тоска напала на Алика. Не чувствовал он никакого третьего. И вообще третий — персонаж из анекдота. И большая мука вдруг оказалась в том, что дурища его Нинка это чувствовала и простодушный поп чувствовал, а он, Алик, не чувствовал. И отсутствие этого самого присутствия он переживал с такой остротой, с какой и присутствие переживать, кто знает, возможно ли...

— Но я готов в конце концов это для нее сделать. — И Алик закрыл глаза от смертельной усталости.

Отец Виктор обтер запотевшую ножку бокала о свои брюки и поставил его на столик.

— Не знаю, право, не знаю, отказать вам не могу, вы тяжело больны. Но здесь что-то не так. Позвольте мне подумать... Знаете, давайте помолимся вместе. Как можем.

Он раскрыл свой чемоданчик, вынул из него облачение, надел поверх гражданской одежды подрясник, епитрахиль, медленно повязал поручи. Поцеловав, надел на себя тяжелый иерейский крест, благословение покойного деда.

Алик лежал с закрытыми глазами и не видел, как изменился отец Виктор, переодевшись, как постройнел и постарел. А священник обернулся к маленькой Владимирской Божьей Матери, плохой печати и линялого цвета, пришпиленной к стене, опустил свой круглый лысеющий лоб и завопил про себя:

— Господи, помоги мне, помоги!

В такие минуты он всегда чувствовал себя маленьким мальчиком на футбольном поле позади приюта для русских детей под Парижем, который держали его бабушка с дедушкой во время войны и где он провел все детство. Он как будто снова стоял на футбольном поле, внутри клетки драных веревчатых ворот, куда приткнули его, самого младшего, за нехваткой настоящего вратаря, и он, весь одеревенев, ждет великого позора, заранее зная, что не сможет удержать ни одного мяча...

8

Огромный Лева Готлиб с гуталиновой бородой почтительно вывел из лифта худого складного человека, тоже бородатого и высокого, похожего на Левино изображение, извлеченное из кривого зеркала: все то же, но в четыре раза уже... Ирина от смеху чуть не подавилась, но мгновенно с собой справилась. Лева сразу же нашел ее в многолюдстве и попер на нее с супружеской интонацией:

— Я же сказал, что позвоню после конца субботы, а у тебя автоответчик. Хорошо еще, что я заранее записал этот адрес...

Ирина шлепнула ладонью по лбу:

— Ё-мое! Я же забыла, что это вечером. Я решила, что завтра утром!

Лева только руками развел, но тут же вспомнил о раввине, который стоял рядом — с лицом одновременно строгим и любопытствующим. По-русски он не знал ни слова.

Тишорт стояла у стола, держа бумажную тарелку с огромным куском торта, и пристально смотрела на Готлиба. Лева ринулся на нее, как вепрь, обхватил за голову:

— Ой, мышонок! Мышонок мой!

Он поцеловал ее в маковку — выросшую девочку, которая долго прожила в его доме и он сажал ее на горшок, водил в садик и называл «дочкой».

«Бессовестный, до чего же бессовестный, — думала Майка, напряженно удерживая голову в его каменных ручищах. — Я так по нему скучала тогда, а теперь плевать. Сволочи, умственно отсталые, все до единого!» Она вильнула немного своей гордой головой, и Лева чутко выпустил ее из пальцев.

Раввин был правильный, в потертом черном костюме какого-то вечно старомодного покроя, в шелковой водевильной шляпе, на которую полагалось бы садиться всем вновь прибывшим. Из-под кривых полей свисали от виска отпущенные на волю несжатые полоски, самодовольно-пышные и не желающие лежать винтом. Он улыбнулся в черно-белую маскарадную бороду и произнес: «Good evening».

— Реб Менаше, — представил Лева раввина. — Из Израиля.

Именно в эту минуту открылась дверь из спальни и к гостям шагнул вспотевший, розовый, со звездчатыми, яркими глазами отец Виктор в подрыснике. Нина кинулась к нему:

— Ну что?

— За мной дело не станет, Нина. Я приеду... Давайте так: почитайте ему Евангелие.

— Да читал он, читал. Я думала, прямо сейчас, — огорчилась Нинка. Она привыкла, чтобы все ее желания быстро выполнялись.

— Сейчас он просит еще одну маргариту, — смущенно улыбнулся отец Виктор.

Увидев священника, Лева крепко вцепился в Ирину руку повыше за-пястья:

— Как это понять? Это что, шутки у тебя такие?

Ирина узнала его яростный взгляд и мгновением раньше самого Левы почувствовала его вспыхнувшее желание. Она отчетливо вспомнила, что самая лучшая любовь с ним получалась, если раззадорить его сперва мелкой ссорой или обидой.

— Да никакие не шутки, Левочка. — Она миролюбиво смотрела ему в глаза, сдерживая улыбку и хулиганское желание немедленно положить руку ему на гульфик.

Ненавидя себя за постыдную страсть, краснея лицом и разворачиваясь к ней боком, он все больше распалялся:

— Сколько раз я себе говорил: нельзя с тобой связываться! Всегда получается цирк какой-то! — шипел он сквозь дрожащую от злости бороду.

Это была неправда. Дело было только в том, что она страшно уязвила его своим уходом и он сильно докучал с супружескими обязанностями своей вечно усталой жене, понапрасну надеясь выколотить из нее Ирину музыку, которой в жене, сколько ее ни тряси, не бывало.

— Не баба, а крапивная лихорадка, — фыркнул Лева.

Реб Менаше вопросительно смотрел на Леву. Он не знал русского, не знал и русской эмиграции, хотя евреев из России было теперь в Израиле полно, но не в Цфате, где он жил. Там иммигранты почти не селились.

Он был сабра, и родным языком его был иврит. Читал он по-арамейски, по-арабски и по-испански, изучал иудео-исламскую культуру времен халифата. По-английски говорил свободно, но с сильным акцентом. Теперь он вслушивался в звуки их мягкой речи, и они казались ему чрезвычайно приятными.

Мужественная Нинка предстала перед двумя бородатými, схватила раввина за обе руки и, встряхивая своими светящимися волосами, сказала ему по-русски:

— Спасибо, что вы пришли. Мой муж очень хочет с вами поговорить.

Лева перевел на иврит. Раввин кивнул бородой и ответил Леве, указывая глазами на отца Виктора, снимающего подрясник:

— Меня удивляет, какие в Америке проворные священники. Не успел еврей пригласить раввина, а он уже здесь.

Отец Виктор издал улыбку коллеге недружественной религии — его доброжелательность была неразборчивой и совершенно беспринципной. К тому же в молодости он прожил больше года в Палестине и понимал язык настолько, чтобы подать уместную реплику:

— Я тоже из числа приглашенных.

Реб Менаше и бровью не повел — не понял или не расслышал.

Валентина тем временем сунула в руки отцу Виктору бокал с мутным желтым напитком, и он осторожно хлебнул.

Реб Менаше привычно отводил глаза от голых рук и ног, мужских и женских, как делал это и у себя в Цфате, когда гогочущие иностранные туристы высыпали из экскурсионных автобусов на камни его святого города, гнездилище высокого духа мистиков и каббалистов. Двадцать лет тому назад он отвернулся от всего этого и никогда об этом не пожалел. Жена его Геула, носившая теперь десятого ребенка, никогда перед ним не обнажалась так бесстыдно, как любая из здесь присутствующих женщин.

«Барух ата Адонаи...» — привычно начал он про себя благословение, смысл которого сводился к благодарности Всевышнему, создавшему его еврею.

— Может быть, вы сначала закусите? — предложила Нина.

Лева произвел руками жест, обозначающий одновременно испуг, благодарность и отказ.

Алик лежал с закрытыми глазами. На матовом черном фоне, на изнанке век извивались яркие желто-зеленые нити, образуя ритмичные орнаменты, подвижные и осмысленные, но Алик, пристально изучивший в свое время древнюю азбуку ковров, все никак не мог уловить основных элементов, из которых складывался этот подвижный узор.

— Алик, к тебе пришли. — Нина подняла его голову, провела влажным полотенцем по шее, протерла грудь. Потом стянула с него оранжевую простыню, помахала над его плоским голым телом, и реб Менаше еще раз удивился всеобщему американскому бесстыдству.

Похоже, они вообще не понимают, что такое нагота. И он по привычке устремился мыслью к первоисточнику, где впервые было произнесено это слово.

«Оба были наги и не стыдились». Вторая глава Берешит. Где же находятся эти дети? Отчего они не стыдятся? Они не выглядели порочными. Скорее они казались невинными... Или мы разучились читать Книгу... Или Книга написана для других людей, способных ее иначе читать?

Нина приподняла колени Алика и соединила их, но ноги неловко завалились.

— Оставь, оставь, — все еще не открывая глаз и досматривая последний виток орнамента, сказал Алик.

Нина подсунула подушки под его колени.

— Спасибо, Ниночка, спасибо, — отозвался он и открыл глаза.

Высокий худой человек в черном, склонив голову набок, так что поле черной блестящей шляпы едва не касалось левого плеча, стоял перед ним с выжидательным видом.

— Do you speak English, don't you?

— I do, — улыбнулся Алик и подмигнул Нине.

Она вышла, следом за ней вышел и Лева.

Раввин сел на скамеечку, еще хранящую тепло священнических ягодиц, поместил с некоторым колебанием свою пыльную шляпу на край Аликовой постели. Он сложился пополам, борода его лежала на острых коленях. Огромные ступни в потертых туфлях на резиночках, без шнурков, стояли носок к носку, пятками врозь. Он был серьезен и сосредоточен, пружинистый купол черных с проседью волос покрывала на макушке маленькая черная кипа, прищипленная невидимкой.

— Дело в том, раббай, что я умираю, — сказал Алик.

Раввин покашлял и пошевелил длинными сцепленными пальцами. У него не было специального интереса к смерти.

— Понимаете, моя жена христианка и хочет, чтобы я крестился. Принял христианство, — пояснил Алик и замолчал. Говорить ему было все труднее. И вообще он уже не был рад всей этой затее.

Раввин тоже молчал, поглаживая собственные пальцы, а после паузы спросил:

— И как эта глупость пришла вам в голову? — Он не вполне уместно употребил английское выражение, обозначающее глупость иного рода, но уточнил свою мысль, добавив: — Абсурд.

— Абсурд для эллинов. А разве для иудеев не соблазн? — Изящество и быстрота реакции не покидали Алика, несмотря на тупое одеревенение, которое он уже почти перестал ощущать телом, но чувствовал в последние дни лицом.

— А почему вы думаете, что раввин должен знать тексты вашего апостола? — блеснул светлыми и радостными глазами Менаше.

— А разве может быть что-нибудь такое, чего не знает раввин? — отбил Алик.

И они задавали друг другу вопросы, не получая ответов, как в еврейском анекдоте, но понимали друг друга гораздо лучше, чем, в сущности, должны были бы. У них не было ничего общего ни в воспитании, ни в жизненном опыте. Они ели разную пищу, говорили на разных языках, читали разные книги. Оба они были образованными людьми, но сферы их общих знаний почти не пересекались. Алик ничего не знал ни о каламе — мусульманском спекулятивном богословии, которым скрупулезно занимался реб Менаше уже двадцать лет, ни о Саадии Гаоне, труды которого без устали комментировал реб Менаше все эти годы, а реб Менаше слыхом не слыхивал ни о Малевиче, ни о де Кирико...

— А что, кроме раввина уже не с кем и посоветоваться? — с горделивой и юмористической скромностью спросил реб Менаше.

— А почему еврей перед смертью не может посоветоваться именно с раввином?

В этом шутилом разговоре все было глубже поверхности, и оба понимали это и, задавая дурацкие вопросы, подбирались к тому важному, что происходит в общении между людьми, — к прикосновению, оставляющему нестираемый след.

— Жалко жену. Плачет. Что мне делать, раббай? — вздохнул Алик.

Раввин убрал улыбку, пришла его минута.

— Айлик! — Он потер переносицу, пошевелил огромными туфлями. — Айлик! Я почти безвыездно живу в Израиле. Я первый раз приехал в Америку. Я здесь три месяца. Я потрясен. Я занимаюсь философией. Еврейской философией, и это совсем особое дело. У еврея всегда в основе лежит Тора. Если он не изучает Тору, он не еврей. У нас в древности было такое понятие — «плененные дети». Если еврейские дети попали в плен и

были лишены Торы, еврейского образа жизни, воспитания и образования, то они не виноваты в этом несчастье. Они даже могут этого не осознавать. Но еврейский мир обязан брать на себя заботу об этих сиротах, даже если они в преклонных годах.

Здесь, в Америке, я увидел целый мир, который весь состоит из «пленных детей». Целые миллионы евреев в плену у язычников. История евреев не знала таких времен никогда. Всегда были отступники и насильно крещенные, и «пленные дети» были не только во времена Вавилона. Но сейчас, в двадцатом веке, «пленных детей» стало больше, чем настоящих евреев. Это процесс. А если это процесс, то в нем есть воля Всевышнего... И об этом я думаю все это время. И буду еще долго думать.

А вы говорите — крещение! То есть из категории «пленных детей» перейти в категорию отступников? С другой стороны, вас и отступником назвать нельзя, потому что, строго говоря, вы и не являетесь евреем. И второе хуже первого, вот что бы я сказал... Но скажу еще, опять с другой стороны: в сущности, у меня никогда не было выбора...

«Как интересно, и у этого тоже не было выбора... Отчего же у меня было выборов — хоть жопой ешь», — подумал Алик.

— Я родился евреем, — Менаше потрянул своими пышными пейсами, — я был им от самого начала и буду до конца. Мне нетрудно. У вас есть выбор. Вы можете быть никем, что в моем понимании значит быть язычником, а могли бы стать евреем, к чему у вас есть большое основание — кровь. А можете стать христианином, то есть, по моему разумению, подобрать кусок, упавший с еврейского стола. И даже не буду говорить, хорош этот кусок или плох, скажу только, что приправа, которую история приложила к этому куску, была очень сомнительной... Но уж если говорить вполне откровенно — не есть ли христианская идея жертвоприношения Христа, понимаемого как ипостась Всевышнего, самой большой победой язычников?

Он пожевал красную губу, еще раз внимательно посмотрел на Алика и закончил:

— По моему мнению, пусть вы лучше останетесь «пленным»... Уверяю вас, есть вещи, которые решают мужья, а не жены. Ничего другого не могу вам сказать...

Реб Менаше встал с неудобной скамеечки и вдруг почувствовал головокружение. Он склонился над Аликом со всей высоты своего роста и стал прощаться:

— Вы устали, я вижу. Вы отдыхайте...

И он забормотал какие-то слова, которых Алик уже не разобрал. Они были на другом языке.

— Реб Менаше, подождите, я бы хотел с вами выпить на прощанье, — остановил его Алик.

Либин и Руди вынесли Алика в мастерскую и усадили, вернее сказать, поместили его в кресло.

«Расслабленный, — подумал отец Виктор. — Как близко чудо. Завопить. Разобрать кровлю. Господи, почему у нас не получается?»

Особенно печально было оттого, что он знал, почему...

Лева хотел немедленно увести раввина. Но подошла Нинка, предложила стакан.

Лева решительно отказался, но раввин что-то сказал ему, и Лева спросил у Нины:

— А есть у вас водка и бумажные стаканчики?

— Есть, — удивилась Нина.

— Налейте в бумажные, — попросил он.

С улицы несло музыкой, как несет помойкой. К тому же была жара. Эта не спадающая и ночью нью-йоркская жара усиливалась к вечеру возбуждение, и многие мучились бессонницей в эту погоду, особенно новые

люди, несущие в своих телах привычку к другому температурному режиму. К раввину это тоже относилось: хотя он и привык к жаре и отлично ее переносил, но в Израиле, по крайней мере там, где он жил последние годы, дневная жара сменялась ночной прохладой и люди успевали за ночь отдохнуть от дневного солнечного гнета.

Нинка принесла два бумажных стаканчика и передала их бородатым.

— Сейчас я отвезу вас в университет, — сказал Лева раввину.

— Я не тороплюсь, — ответил он, вспомнив о душевной комнатке в общежитии и о многочасовом ожидании зыбкого сна.

Алик был распластан в кресле, а вокруг него орали, смеялись и выпивали его друзья, все как будто сами по себе, но все были обращены к нему, и он это чувствовал. Он наслаждался обыденностью жизни, и, ловец, гоняющийся всю жизнь за миражами формы и цвета, он знал сейчас, что не было у него в жизни ничего лучше этих бессмысленных застолий, когда пришедшие к нему в дом люди объединялись вином, весельем и добрым отношением в этой самой мастерской, где и стола-то настоящего не было — клали ободранную столешницу на козлы...

Лева с раввином сидели в шатких креслах. В те годы, когда Алик здесь обживался, помойки в округе были отменными: кресла, стулья, диванчик — все было оттуда. Напротив Левы и Менаше висела большая Аликова картина. Это была горница Тайной Вечери, с тройным окном и столом, покрытым белой скатертью. Никого не было вокруг стола, зато на столе — двенадцать крупных гранатов, подробно написанных, шершавых, с тонкими переливами лилового, багрового, розового, с гипертрофированными зубчатыми коронами, живыми вмятинами, отражающими их внутреннее перегородчатое устройство, полное зерен. В тройном окне лежала Святая Земля. Такая, какой она была сегодня, а не в воображении Леонардо да Винчи.

Не любитель и не знаток живописи, раввин уставился на картину. Сначала он увидел гранатовые яблоки. Это был давний спор, какой именно плод соблазнил Хаву. Яблоко, гранат или персик. Помещение, изображенное на картине, он тоже знал. Эта так называемая Горница была расположена как раз над гробом Давидовым, в Старом Городе.

«Все-таки в нем говорит чисто еврейское целомудрие, — решил он, глядя на картину. — Людей он заменил гранатами. Вот в чем фокус. Бедняга...» — с грустью подумал он.

Он был настоящий израильтянин, родился на второй день после провозглашения государства. Дед был сионист, организатор одной из первых сельскохозяйственных колоний, отец жил Хаганой, и сам он успел и повоювать, и землю покопать. Родился он под стенами Старого Города, у мельницы Монтефиори, и первый вид из окна, который он помнит, был вид на Сионские Ворота.

Ему было двадцать лет, когда он впервые, вслед за танками, вошел внутрь этих стен. Еще пахло огнем и железом. Он облазил весь Старый Город, исследовал всю путаницу арабских улиц, все крыши христианского и армянского кварталов. Христианские святыни Иерусалима казались ему сомнительными, как и большая часть иудейских. Горница Тайной Вечери вызывала особое недоверие: не могла быть назначена эта тайная пасхальная встреча над костями Великого Царя. Впрочем, гробница Давида тоже не вызывала доверия... Весь этот изумительный мир из слабого белого камня, зыбкого света и горячего воздуха, который он так любил, был полон исторических и археологических несуразностей, в отличие от мира книжной премудрости, организованного с кристаллической точностью, без зазоров и приблизительностей, с разумным восхождением снизу вверх и парадоксальными, большой красоты логическими петлями...

Что значит для него эта земля, он понял впервые, покинув Израиль. Он был тогда молод, окончил университет, и его направили в Германию изучать философию. После года пристальных и вполне успешных занятий он полностью утратил интерес к европейской философии, оторванной от той жизненной основы, которую он признавал исключительно за Торой. Так окончился недолгий срок его академического образования, и на половине третьего десятилетия своей жизни он встал на традиционный путь иудейской науки, которая и была, собственно говоря, богословием.

Тогда же он и женился на молчаливой девушке, обрившей могучие рыжие кудри накануне свадьбы. С тех пор он наслаждался гармонией, рождавшейся из сочетания выверенного до часовой точности во всех деталях быта и огромной интеллектуальной нагрузки учителя и ученика одновременно.

Мир его совершенно изменился: информация, получаемая большинством людей через радио, телевидение, светскую печать, полностью ушла от него, а взамен этого он получил пищу «Шулхан Арух» — стола, накрытого для желающих получить еврейское духовное наследие, да детский многоголосый писк.

Через пять лет вышла его первая книга, исследовавшая стилистические различия между комментариями Саадии к Даниилу и к Хроникам, а еще через два года он переселился в Цфат.

Мир его был библейски прост и талмудически сложен, но все грани совпадали, а ежедневная работа со средневековыми текстами придавала текущему времени оттенок вечного. Внизу, под горой, синел Киннерет, и именно здесь он обрел глубокое чувство благодарности Всевышнему — христианин, несомненно, назвал бы его фарисейским — за выпавшую ему счастливую долю служения и познания, за святость его земли, которая многим представляется всего лишь грязным и провинциальным восточным государством, а для него была несомненным средоточием мира, по отношению к которой все прочие государства с их историями и культурами читались только как комментарий...

Через толпу гостей к нему пробирался снявший подрясник священник.

— Мне сказали, что вы приехали сюда из Израиля с курсом лекций по иудаике? — спросил он на школьном английском языке.

Менаше встал. Он никогда еще не общался со священниками.

— Да, я преподаю сейчас в еврейском университете. Курс лекций по иудео-исламской культуре.

— Там бывают замечательные лекции. Я как-то читал книгу, курс лекций по библейской археологии, изданную этим университетом, — радостно заулыбался священник. — А ваша иудео-исламская тема в контексте современного мира читается, вероятно, очень хитрым перевертышем?

— Перевертышем? — не сразу понял реб Менаше. — Нет-нет, меня не интересуют политические параллели, я занимаюсь философией, — заволновался раввин.

Алик подозвал к себе Валентину:

— Валентина, ты присмотри за ними, чтоб трезвыми не остались.

Валентина, розовая и толстая, принесла, прижимая к груди, три бумажных стаканчика и поставила их перед Левой.

Выпили дружно, на троих, и через минуту их головы сблизились, они кивали бородами, качали головами и жестикулировали, а Алик, страшно довольный, указывая на них глазами, сказал Либину:

— По-моему, я сегодня очень удачно выступил в роли Саладина...

Валентина поискала глазами Либина и кивнула в сторону кухни. Через минуту она теснила его в угол.

— Я не могу ее просить, спроси ты...

— Ну да, ты не можешь, а я могу... — обиделся Либин.

— Ладно тебе. Надо срочно хотя бы за один месяц заплатить...

— Так недавно же собирали...

— Ну да, недавно, месяц назад, — пожала плечами Валентина, — мне что, больше всех нужно? Телефон я в прошлом месяце оплатила, одни междугородние, Нинка много разговаривает, как напьется...

— Она же недавно давала... — заметил Либин.

— Ну хорошо, спроси у кого-нибудь еще. Может, у Файки?

Либин засмеялся: Файка была в долгах как в шелках и не было здесь ни одного человека, которому она не была должна хоть десятку. Либину ничего не оставалось, как идти к Ирине.

С деньгами было не то что плохо — катастрофа. Алик в последние годы перед болезнью плохо продавался, а теперь, когда он и работать перестал, и бегать по галерейщикам не мог, доход был просто нулевой, а вернее сказать, ниже нуля. Долги росли. И те, которые необходимо было отдавать, вроде счетов за квартиру и телефон, и те, медицинские, которые не будут отданы никогда.

Была еще одна неприятнейшая история, которая тянулась уже несколько лет: два галерейщика из Вашингтона, делавшие Алику выставку, не отдавали двенадцать живописных работ. Алик был отчасти сам в этом виноват. Если бы он приехал в день закрытия выставки, как было уговорено, и сам все забрал, этого не случилось бы. Но поскольку он, празднуя заранее продажу трех работ с этой выставки — о чем ему сообщили галерейщики, — одолжил денег и поехал с Нинкой на Ямайку, то и не попал к закрытию. Когда вернулся, тоже не сразу собрался. Однако чек за проданные работы почему-то не пришел, и он позвонил в Вашингтон узнать, в чем дело. Ему сказали, что работы вернулись и вообще — где он пропадает, им пришлось сдать его работы на хранение, так как в галерее нет места. Это было чистое вранье.

Алик попросил Ирину помочь. Выяснилось еще одно обстоятельство: Алик, подписывая контракт, оставил у галерейщиков копию, и теперь они, пользуясь его оплошностью, вели себя очень нахально, и Ирина почти ничего в этой ситуации не могла сделать. Единственный ее козырь — каталог галереи с объявлением о выставке и репродукция в нем одной из картин. Как раз той, которую они объявляли проданной. Ирина завела против них дело, а пока эта история тянулась, крикнув, выложила Алику чек на пять тысяч своих денег. Сказала, что выбила. Она и впрямь не оставляла надежды получить эти деньги.

Было это в начале прошлой зимы. Когда она принесла чек, Алик страшно обрадовался:

— Нет слов. Просто нет слов. Сейчас уплатим ренту и купим наконец Нинке шубу.

Ирина взвилась — не на шубу она давала свои кровные. Но делать было нечего, половина денег ушла на шубу: такие уж были привычки у Алика с Нинкой. Дешевки они не любили.

«Чертова богема, — негодовала Ирина, — видно, они здесь говна мало похлебали...»

Выдохнув из себя горячий воздух, решила, что помогать будет, но небольшими суммами, по мере минутной необходимости. В конце концов, она одинокая баба с ребенком. И не такая уж богатая, как они думают. Не говоря о том, как трудно эти денежки выгрызть...

Когда Либин к ней подошел, она уже доставала чековую книжку. Маленькие суммы росли, как маленькие детки, — совершенно незаметно...

9

Бородатые мужи вышли на улицу. Готлиб совсем не ощущал себя пьяным, но начисто забыл, где поставил машину. Там, где он ожидал ее увидеть, стоял чужой длиннозадый «понтак».

— Утащили, утащили! — по-детски, совершенно беззлобно засмеялся отец Виктор.

— Да здесь можно ставить, почему это утащили? — рассердился Готлиб. — Вы постойте здесь, я за углом посмотрю.

Раввин не проявлял никакого интереса к тому, на какой машине его отвезут, — ему гораздо интереснее было то, что говорил этот смешной человек в кепочке.

— Так вот, я, с вашего позволения, продолжу, — торопился отец Виктор поделиться своими мыслями с исключительным собеседником. — Первый эксперимент, можно сказать, прошел удачно. Диаспора оказалась исключительно полезна для всего мира. Конечно, вы собрали свой остаток у себя там. Но сколько евреев растворилось, ассимилировалось, сколько их в науке и в культуре во всех странах. Я ведь в некотором смысле юдофил. Впрочем, каждый нормальный христианин почитает избранный народ. И, понимаете, это чрезвычайно важно, что евреи вливают свою драгоценную кровь во все культуры, во все народы, и по этому образцу происходит что? Мировой процесс! И русские вышли из своего гетто, и китайцы. Обратите внимание: эти молодые американские китайцы — среди них лучшие математики и музыканты великолепные... Идем дальше — смешанные браки! Вы понимаете, что я имею в виду? Идет созидание нового народа!

Раввин, кажется, прекрасно понимал, что имеет в виду оппонент, но совершенно не одобрял его идей и мелко жевал губами.

«Три стаканчика или четыре стаканчика», — пытался он припомнить. Но сколько бы ни было, явно много...

— Вот они, новые времена: ни иудея, ни эллина, и в самом прямом, в самом прямом смысле тоже... — радовался священник.

Раввин остановился, пригрозил ему пальцем:

— Вот-вот, для вас самое главное — чтоб ни иудея...

Подъехал Готлиб, открыл дверцу, усадил своего раввина и в высшей степени невежливо оставил на улице одинокого отца Виктора в сильном огорчении:

— Ишь как выкрутил, да я же совсем этого в виду не имел...

10

Гости не то чтобы разошлись, а скорее рассосались. Кто-то остался ночевать на коврике. Тут же, на коврике, спала и Нинка. Эта ночь была Валентинина. Алик сразу после ухода гостей уснул, и Валентина притулилась у него в ногах. Она могла бы и поспать, но сон, как назло, не шел. Она давно уже заметила, что алкоголь стал действовать в последнее время странным образом: вышибал сон.

Валентина прилетела в Америку в ноябре восемьдесят первого. Ей было двадцать восемь лет, росту в ней было 165, весу 85 килограммов. Тогда она еще на фунты не мерилась. На ней была черная гуцульская куртка ручного тканья, с шерстяной вышивкой. В матерчатом клетчатом чемодане лежала незащищенная диссертация, которая никогда ей не пригодилась, полный комплект праздничной одежды вологодской крестьянки конца девятнадцатого века и три антоновских яблока, запрещенных к ввозу. Их мощный запах пробивал хилый чемодан. Яблоки предназначались имеющемуся у нее мужу-американцу, который ее почему-то не встретил.

Неделю назад, взяв билет в Нью-Йорк, она позвонила ему и сообщила, что приезжает. Он как будто обрадовался и обещал встретить. Брак их был фиктивным, но друзья они были настоящие. Микки прожил в России год, собирая материалы по советскому кино тридцатых годов и неврастенически переживая тяжелый роман с маленьким чудовищем, которое его унижало, обирало и подвергало мукам ревности.

С Валентиной он познакомился на модной филологической школе. Она приютила его у себя, отпоила валерьянкой, накормила пельменями и в конце концов приняла сокрушительную исповедь гомосексуалиста, подавленного неборимостью собственной природы. Высокорослый и чахлый Микки плакал и изливал на Валентину свое горе, одновременно делая психоаналитический самокомментарий. Валентина долго и сочувственно дивилась прихотливости природы и, найдя небольшую паузу в двухчасовом монологе, задала прямой вопрос:

— А что, с женщинами ты никогда?..

Оказалось, что и здесь было непросто, какая-то семнадцатилетняя кухня, гостившая полтора месяца у них дома, затерзала его, тогда четырнадцатилетнего, своими ласками и уехала обратно в свой Коннектикут, оставив его в состоянии изнурительной девственности и несмыслимой греховности.

История выглядела слишком уж литературной, и к концу этого пространного и эмоционального рассказа, изобилующего крупноплановыми деталями, усталая Валентина уложила обе его тонкие ладони на плотные финики своих незаурядных сосков и без особого труда совершила над ним насилие, приведшее его, впрочем, к полному удовлетворению.

Это событие так и осталось единичным в Миккиной биографии, но отношения их с того времени приобрели оттенок необыкновенной дружеской близости.

Валентина переживала в ту пору свой собственный крах: ошеломляюще подлую измену любимого человека. Он был известным диссидентом, успел даже посидеть, ходил в героях и слыл безукоризненно честным и мужественным. Но, видимо, шов у него проходил как раз между верхней и нижней половиной: верх был высококачественный, а низ сильно подпорченный. До баб он был жаден, неразборчив и умел всеми ими хорошо пользоваться. Отъезд его был оплакан многими красотками подругами самой антисоветской ориентации, и парочка-тройка внебрачных детей обречена была держаться всю жизнь красивой легенды об отце-молодце.

В результате он уехал из России героем, женившись на красавице итальянке, к тому же и богатой, а Валентина осталась с гэбэшным хвостом и незащищенной диссертацией.

Вот тут-то великодушный Микки и предложил ей фиктивный брак, который они и заключили. Они поженились и, чтобы соблюсти некоторый декорум, устроили даже свадьбу в Калуге, у Валентиной мамы, которая со дня свадьбы примирилась с дочерью, хотя жених ей и не понравился, назвала его «глистопером». Однако обаяние американского паспорта действовало даже на нее. В типографии, где она всю жизнь проработала уборщицей, никто еще своих дочерей в Америку не выдавал.

Прождав мужа два часа в аэропорту Кеннеди, Валентина позвонила ему домой, но никто не ответил. Тогда она решила ехать по тому адресу, который он дал ей еще в России. Адрес, предъявленный ею нескольким доброжелательным американцам, оказался не нью-йоркским, а пригородным. Английский язык Валентина знала через пень-колоду, она была слависткой. С горем пополам разобралась, она поехала по указанному адресу.

Чувство полной нереальности происходящего освобождало ее от обычных человеческих тревог. Будущее, каким бы оно ни было, все равно казалось ей лучше прошлого — позади все было слишком уж погано. С этими легкими мыслями она села в автобус. Денег с нее почему-то не взяли, а

она не сразу поняла, что в этой ситуации обозначает слово «free». А когда поняла, что проезд бесплатный, обрадовалась. При ней было пятьдесят долларов, и она понимала, что этого в любом случае должно хватить, чтобы добраться до безответственного мужа.

На закате дня, после многих маленьких приключений и огромных дорожных впечатлений, она вышла в Территаун, вдохнула вечерний воздух и села на желтую лавочку на перроне. Она не спала более полутора суток, все вокруг как будто слегка двигалось, и голова кружилась от полной неопределенности и невесомости.

Посидев минут десять, она подхватила свой чемоданишко и вышла на небольшую площадь, всю заставленную машинами. Она спросила у молодого человека, который возился с замком автомобиля, как найти нужную ей улицу, и он, ничего не говоря, распахнул вторую дверку и довез ее до красивого двухэтажного дома, расположенного на горке, в кайме выхоленных кустов. Начинало смеркаться. Она остановилась перед легкими воротцами из несерьезных белых планок.

Рейчел, мать Микки, с утра была озабочена чудесным сном, приснившимся ей под утро: как будто она нашла в белой беседке, которой на самом деле не было в их саду, милую пухленькую девочку и эта девочка с ней говорила о чем-то важном и очень приятном, хотя она была совсем крошка и в жизни такие маленькие дети еще не разговаривают. Но что именно она говорила, Рейчел не могла вспомнить.

Днем, когда она прилегла отдохнуть, она пыталась вызвать в памяти эту сквозную беседку, эту пухлую девочку, чтобы та снова ей приснилась и сказала бы то важное, чего недоговорила в предутреннее время. Но девочка больше не появилась, да и вообще ждать было нечего, днем Рейчел сны не снились.

Теперь она шла к воротцам, немного вперевалку, престолицая еврейка с круглыми, в кольцах давней бессонницы глазами, и рассматривала стоящую за воротами женщину с чемоданчиком.

— Добрый день! Могу ли я видеть Микки? — спросила женщина.

— Микки? — удивилась Рейчел. — Он здесь не живет. Он живет в Нью-Йорке. Но вчера он уехал в Калифорнию...

Валентина поставила чемодан на землю:

— Как странно. Он обещал меня встретить, но не встретил.

— А! Это Микки! — махнула рукой Рейчел. — Откуда вы?

— Из Москвы.

Валентина стояла на фоне белых ворот, и Рейчел вдруг догадалась, что эта белая беседка во сне была не беседка, а эти самые ворота, и пухленькая девочка — эта самая женщина, тоже пухленькая...

— Бог мой! А мои родители из Варшавы! — радостно воскликнула она, как будто Варшава и Москва были соседними улицами. — Заходите, заходите!

Через несколько минут Валентина сидела за низким столиком в гостиной, глядя в окно на убегающий вниз сад, все деревья которого повернулись к ней лицом и смотрели из сгущающейся темноты в ярко освещенное окно.

На столе стояли две тонкие матовые чашки, такие легкие, как будто они были сделаны из бумаги, и грубый терракотовый чайник. Печенье напоминало водоросли, а орехи были трехгранными, с тонкой скорлупой и розоватого цвета. Сама Рейчел, сложив руки на животе совершенно тем же деревенским жестом, как делала это мать Валентины, с доброжелательным интересом смотрела на Валентину, склонив набок голову в шелковой зеленой чалме. Оказалось, что русская знает польский, и они заговорили по-польски, что доставляло Рейчел особое удовольствие.

— Вы приехали в гости или на работу? — задала Рейчел важнейший вопрос.

— Я приехала навсегда. Микки обещал меня встретить и помочь с работой, — вздохнула она.

— Вы познакомились с ним, когда он работал в Москве? — перекинув головку на другое плечо — такая у нее была смешная манера: склонять голову к плечу, — спросила Рейчел.

Валентина задумалась на мгновение, она так устала, что вести светскую беседу по-польски, да еще чуть привирая там и здесь, у нее не было сил:

— Честно говоря, мы с Микки поженились...

Кровь бросилась Рейчел в лицо. Она выскочила из гостиной, и по всему дому разлетелся ее звонкий голос:

— Дэвид! Дэвид! Иди сюда скорее!

Дэвид, ее муж, такой же высокий и хрупкий, как Микки, в красной домашней куртке и в ермолке, стоял на верху лестницы. В руках он держал толстенную авторучку.

В чем дело? — говорил он всем своим видом, но молча.

Они были прекрасной парой, родители Микки. Каждый из них нашел в другом то, чего не имел в себе, и восхищался найденным. Подойдя к шестидесяти и поднявшись к возможным границам супружеской и человеческой близости, готовясь к длинной счастливой старости, оба они несколько лет тому назад с пронзительным ужасом обнаружили, что их единственный сын отказался от законов своего пола и уклонился в такую языческую мерзость, которую Рейчел не могла даже назвать словом.

— Мы были счастливы, слишком счастливы, — бормотала она бессонными ночами в своей огромной торжественной постели, в которой они с тех пор, как совершили свое ужасное открытие, ни разу больше не прикоснулись друг к другу. — Господи, верни его к обычным людям!

И она, еврейская девочка, спасенная от огня и газа монахинями, почти три года оккупации укрывавшими ее в монастыре, шла на самое крайнее, обращаясь к Матери того Бога, в Которого она не должна была верить, но верила:

— Матка Боска, сделай это, верни его...

Популярная просветительская литература, доходчиво объясняющая, что с сыном ее ничего особенного не происходит, все в порядке и гуманное общество оставляет за ним полное и священное право распоряжаться своими причиндалами как ему заблагорассудится, не утешала ее старомодной души.

Теперь ее муж спускался к ней по лестнице и, глядя в ее розовое, счастливое лицо, гадал, что за радость у нее приключилась.

Радость — увы! фиктивная — сидела в гостиной и таращила сами собой закрывающиеся глаза... Так начиналась Валентинина Америка...

Алик зашевелился, Валентина легко вскочила:

— Что, Алик?

— Пить.

Валентина поднесла к его рту чашку, он пригубил, закашлялся.

Валентина теребила его, постукивала по спине. Приподняла — ну совершенно как та кукла, которую сделала Анька Корн:

— Сейчас, сейчас, трубочку возьмем...

Он снова набрал в рот воды и снова закашлялся. Такое бывало и раньше. Валентина снова его потрясла, постучала по спине. Снова дала трубочку. Он опять начал кашлять, и кашлял на этот раз долго, все никак не мог раздышаться. Тогда Валентина смочила водой кусочек салфетки и положила ему в рот. Губы были сухие, в мелкую трещинку.

— Я помажу тебе губы? — спросила она.

— Ни в коем случае. Я ненавижу жир на губах. Дай палец.

Она положила палец ему между сухих губ — он тронул палец языком, провел по нему. Это было единственное прикосновение, которое у него

еще оставалось. Похоже, это была последняя ночь их любви. Оба они об этом подумали. Он сказал очень тихо:

— Умру прелюбодеем...

Валентина жила тогда трудно, как никогда. С работы она обычно ехала прямо на курсы. Но в тот день пришлось заехать домой, так как позвонила хозяйка и попросила срочно завезти ключи: что-то случилось с замком, но Валентина не поняла, что именно. Она отдала ключ хозяйке, но и этим ключом входная дверь не открывалась. Оставив хозяйку наедине со сломанным замком, Валентина, прежде чем ехать на курсы, зашла в еврейскую закусочную за углом — к Кацу. Цены здесь были умеренными, а сэндвичи, с копченой говядиной и индюшатиной, превосходными. Дюжие продавцы, которым бы ворочать бетонными чушками, артистически сложили огромными ножами пахучее мясо и переговаривались на местном наречии. Народу было довольно много, у прилавка стояло несколько человек. Тот, что стоял перед Валентиной, к ней спиной, с рыжим хвостом, подхваченным резиночкой, по-приятельски обратился к продавцу:

— Послушай, Миша, я хожу сюда десять лет. И ты, Арон, тоже, вы стали за это время в два раза толще, а сэндвичи стали вдвое худей. Почему так, а?

Мельтеша голыми руками, продавец подмигнул Валентине:

— Он мне делает намек, ты понимаешь, да?

Человек обернулся к Валентине — лицо его было смеющимся, в веснушках, весело топорщились рыжие усы:

— Он считает, что это намек. А это не намек, а загадка жизни.

Продавец Миша нацепил на вилку один огурчик, потом второй и уложил их рядом с пышным сэндвичем на картонной тарелке:

— На тебе экстра-огурчик, Алик. — И обратился к Валентине: — Он говорит, что он художник, но я-то знаю, что он из ОБХСС. Они меня и здесь достают. Пастрами?

Валентина кивнула, нож замельтешил в руках Миши. Рыжий сел за ближайший стол, там как раз освободилось еще одно место, и, взяв из рук Валентины тарелку и поставив на свой столик, отодвинул ногой стул.

Валентина молча села.

— Из Москвы?

Она кивнула.

— Давно?

— Полтора месяца.

— Ага, и вид еще не обстрелянный. — Взгляд его был прямым и доброжелательным. — А чего делаешь?

— Бэби-ситтер, курсы.

— Молодец! — похвалил он. — Быстро сориентировалась.

Валентина разложила сэндвич на две половинки.

— Ты что! Ты что! Кто ж так ест! Американцы тебя не поймут. Это святое: разевай рот пошире и смотри, чтоб кетчуп не капал. — Он ловко обкусил выпирающую начинку сэндвича. — Жизнь здесь простая, законов всего несколько, но их надо знать.

— Какие законы? — спросила Валентина, послушно сложив вместе две разобранные было половинки.

— Вот этот, считай, первый. А второй — улыбайся! — И он улыбнулся с набитым ртом.

— А третий какой?

— Как тебя зовут?

— Валентина.

— Мм, — промычал он, — Валечка...

— Валентина, — поправила она. «Валечку» она ненавидела с детства.

— Валентина, вообще-то мы с тобой не очень хорошо знакомы, но так и быть — открою. Второй закон Ньютона здесь формулируется так: улыбайся, но жопу не подставляй...

Валентина засмеялась, кетчуп потек на ее шарф.

— А все-таки — третий.

Алик стер кетчуп:

— Сначала надо первые два выучить... Эти сэндвичи лучшие в Америке. Best in America... Это точно. Этой харчевне почти сто лет. Сюда приходили Эдгар По, О. Генри и Джек Лондон, брали здесь сэндвичи по гри-веннику. Писателей этих, между прочим, американцы совершенно не знают. Ну, может, Эдгара По в школе проходят. Если бы здешний хозяин читал хоть одного из них, он непременно повесил бы портрет. Это наша американская беда: с сэндвичами все в порядке, а культуры не хватает. Хотя почти наверняка у первого Каца, я имею в виду не Адама, а здешнего хозяина, внук окончил Гарвард, а правнук учился в Сорбонне и, наверное, участвовал в студенческой революции шестьдесят восьмого...

Валентина постеснялась спросить, какую такую революцию он имеет в виду, но Алик, отложив сэндвич, продолжал:

— Огурцы бочковые. Больше таких нигде не найдешь. Они сами солятся. Честно говоря, я люблю, чтоб были клекие и посопливей. Но это тоже неплохо. По крайней мере без уксуса... Вообще этот город потрясающий. В нем есть все. Он город городов. Он Вавилонская башня. Но стоит, и еще как стоит! — Он как будто не с ней говорил, а спорил с кем-то отсутствующим.

— Но он такой грязный и мрачный, и так много черных, — мягко сказала Валентина.

— Ты приехала из России, и Америка тебе грязная? Ничего себе! Да черные — черные лучшее украшение Нью-Йорка! Ты что, не любишь музыку? А что такое Америка без музыки? А это черная, черная музыка! — Он возмутился и обиделся: — И вообще ты в этом пока ничего не понимаешь и лучше молчи.

Они закончили с едой и вышли из заведения. У дверей Алик спросил ее:

— Ты куда?

— На Вашингтон-сквер. У меня там курсы.

— Английский берешь?

— Advanced, — кивнула она.

— Я тебя провожу. Я там живу недалеко. А если подняться к Астор-Плаза, а потом свернуть туда, — он махнул рукой, — там есть такое гнездышко американских панков, чудо, все в черной коже, в диком металле. С английскими ничего общего не имеют. И музыка у них — нечто особенное. А ближе к площади — старый украинский район, не так уж интересно. О, там есть потрясающий ирландский паб, самый настоящий. Туда даже женщин не пускают... Хотя, кажется, уже пускают, но уборной женской нет, только писсуары... Не город, а большой уличный театр. Я уж сколько лет оторваться не могу...

Они шли по Бауэри. Он остановил ее около мрачного унылого дома, каких в этом районе большинство.

— Смотри. Это CBGB — самое главное музыкальное место в мире. Через сто лет музыковеды будут хранить куски известки от этих стен в золотых коробочках. Здесь идет рождение новой культуры — я серьезно говорю. И Knitting Factory — то же самое. Здесь играют гении. Каждый вечер — гении.

Из общарпанной двери выскочил черный шуплый мальчик в розово-белом пальто. Алик поздоровался с ним.

— Я же говорил! Это Буби, флейтист. Каждый вечер играет с Господом Богом. Я только что купил билет на его концерт. Специально приезжал. Жена моя со мной не ходит, она эту музыку не любит. Хочешь, возьму тебя с собой?

— Я могу только в воскресенье, — ответила Валентина. — Все остальные дни я с восьми до одиннадцати.

— Круто забираешь, — усмехнулся Алик.

— Ну, так получилось. Я к девяти на работе, в шесть кончаю. В семь курсы — через день, а через день с хозяйской внучкой сижу. В одиннадцать освобождаюсь, в двенадцать сплю. А в три просыпаюсь — и все. У меня такая американская бессонница, черт ее знает. В три часа я как неваляшка. Пробовала позже ложиться, но все равно — в три сна нет.

— Да, концертов в такое время не бывает, но есть много мест, где жизнь идет до утра. Не все ли равно, когда начинать, можно и в три...

К этому времени Нинка была уже настоящим алкоголиком, и нужно ей было немного — за день она выпивала, по русскому счету, полбутылки водки, разбавляя ее американским соком, и к часу ночи спала мертвецким сном. Алик переносил ее из кресла в спальню, засыпал с ней рядом на несколько часов. Он сам был из породы людей мало спящих, как Наполеон.

Роман Алика с Валентиной протекал с трех до восьми. Он начался не сразу, а довольно постепенно. Прошло не менее двух месяцев, прежде чем он впервые вошел в ее низкий подвал, бейсмент по-американски, который она нанимала с легкой руки Рейчел у ее приятельницы.

В неделю раза два Алик подходил в четвертом часу к Валентиному подвалу и, склонившись, свистел в слабо светящееся окно. Через десять минут Валентина выскакивала — бодрая, розовая, в черной гуцульской курточке, и они шли в одно из тех ночных мест, которые обычно неизвестны эмигрантам.

Однажды, в одну из самых холодных ночей января, когда снег выпал и держался чуть ли не целую неделю, они попали на Рыбный рынок. Буквально в двух шагах от Уолл-стрит закипала на несколько часов невероятная жизнь. К причалу подходили суда действительно со всего мира, и рыбаки втаскивали свой живой или, как в тот раз, подмерзший товар на тележках, на спинах, в корзинах. В стенах открывались вдруг широкие двери, и складские помещения принимали всю эту морскую роскошь.

Два рослых человека несли на плечах длинное бревно — это был серебристый, успевший покрыться тонкой пленкой льда тунец. Обычные, простые, как дворняги, рыбешки тоже попадались, но глаз на них не смотрел, потому что в огромном изобилии громоздились на прилавках невиданные морские чудовища, с ужасными буркалами, клешнями, присосками, состоящие, казалось, из одних пастей, и необозримое количество ракушек самого фантастического вида, внутри которых укрывался маленький кусочек жидкого мяса, и змеистые существа с такими милыми мордочками, что невольно на ум приходили русалки, и нечто промежуточное, про что невозможно было сказать, что оно — животное или растение, и самые настоящие водоросли, лианами и пластами. И вся эта тварь при белом свете фонарей переливалась синим, красным, зеленым и розовым, и некоторые еще шевелились, а другие уже заоченели.

В проходах стояло несколько железных бочек, в них что-то жгли, и время от времени замерзшие люди подходили туда погреться. И люди были так же диковинны, как и товар, который они привезли: норвежцы с русыми заиндевевшими бородами, усатые китайцы и островитяне с лицами экзотическими и древними.

А между ними толкались покупатели-оптовики со всего Нью-Йорка и из Нью-Джерси, привлеченные хорошими ценами, владельцы и повара лучших ресторанов — за самым свежим товаром.

— Слушай, это просто как в сказке! — восхищалась Валентина, а Алик радовался, что нашел человека, который так же от этого балдеет, как и он сам.

— А я тебе что говорил! — И потащил ее в забегаловку выпить виски, потому что в такой мороз нельзя было не выпить. Там, в забегаловке, с ним, конечно же, поздоровался хозяин.

— Мой приятель. Вон, посмотри, — и он ткнул пальцем в стену, а там, посреди гравюр с изображениями яхт и кораблей, рядом с фотографиями незнакомых Валентине людей, висела небольшая картина, на которой были нарисованы две незначительные рыбки, одна красноватая, с колючим растопыренным плавником, а вторая серенькая, вроде селедочки. — За эту картинку Роберт обещался меня поить всю жизнь бесплатно.

И действительно, лысоватый краснорожий хозяин уже тащил им два виски. Народу здесь было множество: моряки, грузчики, торговый люд.

Место это было мужским, ни одной бабы видно не было, и мужики сосредоточенно выпивали, ели здешний рыбный суп, какую-то незначительную еду. Сюда приходили не поесть, а выпить и передохнуть. А в такую погоду, конечно, и погреться. Мороз все-таки был для здешних людей непривычным, да они и не понимали, как настоящие северяне понимают, что никакого тепла не будет, если надеть меховую куртку на тонкую рубашку, в резиновые сапоги затолкать две пары синтетических носков и на башку нацепить бейсбольную кепочку...

— Ну скорей, скорей, а то ты самого интересного не увидишь, — затопил вдруг Валентину Алик.

Они вышли на улицу. За те полчаса, что они провели в забегаловке, все изменилось — и менялось на глазах со скоростью мультипликационного фильма. Прилавки очищались и куда-то исчезали, двери складских помещений закрывались и превращались в сплошные стены, исчезли бочки с веселым огнем, и со стороны причала шла гвардия высоких ребят со шлангами, и они смывали весь рыбный сор, что оставался на земле, и через пятнадцать минут Алик с Валентиной стояли чуть ли не единственные на всем этом мысу, на самой южной точке Манхэттена, а весь ночной спектакль казался сном или миражем.

— Ну вот, а теперь пойдём и еще раз выпьем, — повел ее Алик в заведение, в котором тоже уже никого не было, и столы сверкали чистым блеском, и даже полы заканчивал протирать молодой парень, который тоже кивнул Алику, — хозяйский сын.

— И это тоже еще не все. Сейчас увидишь последний акт. Минут через пятнадцать...

А через пятнадцать минут ближнее метро вдруг выплонуло толпу элегантных мужчин и причесанных женщин, носивших на себе лучшую обувь, прекрасные деловые костюмы и духи этого сезона.

— Мать честная, они что, на прием? — изумилась Валентина.

— Это служащие с Уолл-стрит. Многие из них живут в Хобокене, тоже очень занятное место, я тебе покажу как-нибудь. Это народ не самый богатый, от шестидесяти до ста тысяч в год. Клерки. Белые воротнички. Самая рабская порода...

И они пошли к метро, потому что Валентине пора было ехать на работу. Она оглянулась — на месте Рыбного рынка остался только легкий запах рыбы — да и то надо было привыкаться...

Кроме Рыбного рынка был еще Мясной и Цветочный — на нем можно было заблудиться между кадками с деревьями. Этот Цветочный открывался по ночам, но днем тоже продолжался.

А возле Мясного они однажды встретили рыжеватого человека со знакомым лицом. Алик перекинулся с ним парой слов, и они прошли дальше.

— Кто это?

— Не узнала? Бродский. Он живет неподалеку.

— Живой Бродский? — изумилась Валентина.

Он действительно был вполне живой.

А еще был ночной танцевальный клуб, куда ходила совсем особая публика: пожилые богатые дамы, ветхие господа, нафталиновые любители танго, фокстрота, вальса-бостона...

А иногда они просто гуляли, а потом однажды случайно поцеловались, и тогда они уже почти перестали гулять. Алик свистел с улицы, Валентина отворяла...

Потом Валентина переехала в квартиру к Микки, потому что Микки переселился на несколько лет в Калифорнию, преподавал там в знаменитой киношколе и личная жизнь его протекала хорошо, хотя Рейчел не переставала горевать, что вместо Валентины, милой толстой Валентины с большими грудями, которыми можно было бы выкормить сколько угодно детишек, у Микки в подружках маленький испанский профессор, большой специалист по Гарсиа Лорке.

Нью-йоркская квартира Микки была в Даунтауне, Алик приходил и туда, все в то же заветное время между тремя и восемью.

Был период, когда Валентина отказала ему в ночных визитах. Она в ту пору как раз переехала в Квинс, потому что ее взяли на работу в тамошний колледж преподавателем русского языка. В Квинсе у нее был другой мужчина, из России, но никто его не видел, известно было, что работает он водителем грузовика.

Сколько длился водитель в ее жизни, трудно сказать, но, когда она получила, пройдя огромный конкурс, совсем настоящую американскую работу в одном из нью-йоркских университетов, водителя уже не было.

Снова был Алик, и Валентине стало ясно, что теперь уж это окончательно, что никто ни от кого никуда не денется: ни она от Алика, ни Алик от Нинки...

11

Московская инженерша, приведенная в дом, осталась ночевать на коврике и немедленно присохла к дому. Утром, в самое безлюдное время, когда народ, который работал, разбежался по своим конторам, а который сидел на пособии, еще глаз не разлепил, когда сама Нинка еще не стряхнула с себя своего апельсинового сна, эта невзрачная, с первого раза не запоминающаяся женщина перемыла вчерашние чашки и стаканы, а потом заглянула к Алику. Он уже проснулся.

— Я Люда из Москвы, — повторила она на всякий случай, потому что, хоть ее вчера с Аликом и познакомили, она давным-давно привыкла, что с первого раза ее никто не запоминает.

— Давно? — живо заинтересовался Алик.

— Шесть дней. А кажется, что давно. Умыться? — Она спросила так легко, как будто это и было ее главное занятие: поутру умывать больных. И тут же принесла мокрое полотенце, протерла лицо, шею, руки.

— Чего в Москве нового? — механически спросил Алик.

— Да все то же... По радио трескотня, магазины пустые... Чего там нового... — Позавтракать? — предложила Люда.

— Ну, давай попробуем.

С едой обстояло плохо. Последние две недели он ел одно детское питание, да и эту фруктовую ерунду с трудом глотал.

— Ну, я пюре картофельное сделаю. — И она уже была на кухне, тихонько там позвякивала.

Пюре она сделала жиденьким, и оно как-то хорошо проскочило. Вообще сегодня с утра Алик чувствовал себя получше: не так мутился свет и зрение было обыкновенным, без фокусов.

Люда перетряхивала Аликовы подушки и с грустью думала, что за судьба такая ей досталась — всех хоронить. В свои сорок пять она похоронила мать, отца, двух бабушек, деда, первого мужа и вот только что — близкую подругу. Всех кормила, умывала, а потом и обмывала. Но этот вроде уж совсем не мой, а вот привело...

У нее была куча дел, длиннейший список покупок, визитов к незнакомым людям, которые хотели ее порасспросить о своих московских родственниках и порассказать о своей жизни, но она уже чувствовала, что влипла, не может оторваться от этого нелепого дома, от человека, которого она вот-вот полюбит, и снова ей придется надрывать свое сердце на том же самом месте...

Зазвонил телефон, кто-то крикнул в трубку:

— Включите CNN! В Москве переворот!

— В Москве переворот, — упавшим голосом повторила Люда. — Вот тебе и новости.

В телевизоре замелькали обрывчатые куски хроники. Какое-то ГКЧП, не лица, а обмылки, косноязычные, с подлостью, заметной на лице, как плохие вставные зубы...

— Да откуда же такие рожи берутся? — удивился Алик.

— А здешние что, лучше? — с неожиданным патриотизмом воскликнула Люда.

— Все-таки лучше. — Алик подумал немного. — Конечно, лучше. Тоже воры, но застенчивые. А эти уж больно бесстыжие.

Понять, что там происходит на самом деле, было совершенно невозможно.

У Горбачева оказалось состояние здоровья.

— Наверное, они его уже убили...

Телефон звонил беспрерывно. Событие такого рода удержать в себе было невозможно.

Люда развернула телевизор, чтобы Алику было удобнее.

Билет у нее был на шестое сентября. Надо скорей менять и возвращаться... А с другой стороны, чего возвращаться, когда сын здесь... Муж пусть лучше сюда выбирается... А здесь чего делать, без языка, без ничего... Дома книги, друзья, милых шесть соток... Все неслось одной смутной тучей...

— Я же говорил: до подписания договора должно что-то произойти, — удовлетворенно сказал Алик.

— Какого еще договора?.. — удивилась Люда. Она не следила за политическими новостями, ей давно все это опротивело...

— Люд, разбуди Нинку, — попросил Алик.

Но Нинка уже и сама приползла.

— Попомните мое слово: вот теперь все и решится... — пророчествовал Алик.

— Что решится? — Нинка была рассеянна и еще не вовсе проснулась. Все события за пределами этой квартиры были от нее одинаково далеко.

К вечеру опять набилось множество народу. Телевизор вынесли из спальни и поставили на стол, народ отхлынул от Алика и сгрудился у телевизора. Происходило что-то совершенно непонятное: какой-то марионеточный дергунчик, завхоз из бани, усач с собачьей мордой, полубесы-полулюди, фантазмагория сна из «Евгения Онегина». И — танки. В город входили войска. По улицам медленно ползли огромные танки, и было непонятно, кто против кого воюет.

Люда, зажав виски, стонала:

— Что теперь будет? Что будет?

Сын ее, молоденький программист, сорвался пораньше с работы, сидел с ней рядом и немного ее стеснялся:

— Что будет? Военная диктатура будет.

Пытались прозвониться в Москву, но линия была занята. Вероятно, в эти минуты десятки тысяч человек набирали московские номера.

— Смотрите, смотрите, танки мимо нашего дома идут!

Танки шли по Садовому кольцу.

— Да чего ты так убиваешься, сын твой здесь, останешься, и все, — пыталась успокоить Люду Файка.

— А отец, наверное, давно на пенсии, — невпопад сказала Нина.

Один только Алик знал, что сказала она впопад: отец у Нины был пламенный гэбэшник в большом чине, отказался от нее, когда она уехала, и даже матери запретил переписку...

— О, сучья власть, пропади она пропадом. И вся водка кончилась... — Либин вскочил и пошел к лифту.

Джойка, которая довольно хорошо читала по-русски, но понимала русскую речь значительно хуже, в эти часы своими ушами прозрела: каждое слово, сказанное диктором, понимала с лету. Она принадлежала к странной породе людей, влюбившихся в чужую землю ни разу ее не видевши, по одним только старомодным книжкам, да к тому же в плохих переводах. Но она хоть понимала по какому-то неожиданному вдохновению дикторский текст, а Руди только пялил глаза, ерзал и время от времени тянул Джойку за локоть и требовал перевода.

Происходящее в Москве было до такой степени непонятным, что перевод, похоже, требовался всем.

Про Алика на некоторое время забыли, и он закрыл глаза. То, что происходило на экране, он воспринимал сейчас как мелькание пятен. К вечеру устал, но сознание оставалось ясным.

Тишорт села к нему на ручку кресла, погладила плечо.

— Там теперь будет война? — спросила тихо.

— Война? Не думаю... Несчастливая страна...

Тишорт недовольно наморщила лоб:

— Ну, это я уже слышала. Бедная, богатая, развитая, отсталая — это я понимаю. А как это — несчастная страна? Не понимаю.

— Тишорт, а ты умница. — Алик посмотрел на нее с удивлением и с удовольствием.

И Тишорт это поняла.

Все сидящие здесь люди, родившиеся в России, различные по дарованию, по образованию, просто по человеческим качествам, сходились в одной точке: все они так или иначе покинули Россию. Большинство эмигрировало на законных основаниях, некоторые были невозвращенцами, наиболее дерзкие бежали через границы. Но именно этот совершённый поступок роднил их. Как бы ни различались их взгляды, как бы ни складывалась в эмиграции жизнь, в этом поступке содержалось неотменимо общее: пересеченная граница, пересеченная, запнувшаяся линия жизни, обрыв старых корней и выращивание новых, на другой земле, с иным составом, цветом и запахом.

Теперь, по прошествии лет, сами тела их поменяли состав: вода Нового Света, его новенькие молекулы составляли их кровь и мышцы, заменили все старое, тамошнее. Их реакции, поведение и образ мыслей постепенно меняли форму. Но при этом все они одинаково нуждались в одном — в доказательстве правильности того поступка. И чем сложнее и непреодолимей оказывались трудности американской жизни, тем нужнее были доказательства правильности того шага. Все эти годы для большинства из них вести из Москвы о все нарастающей нелепости, бездарности и преступности тамошней жизни были, осознанно или бессознательно, желанным подтверждением правильности их жизненного выбора. Но никто не мог предположить, что все, происходящее теперь в этой далекой, бывшей, вычеркнутой из жизни стране — пропади она пропадом! — будет так больно отзываться... Оказалось, что страна эта сидит в печенках, в душе, и что бы они о ней ни думали, а думали они разное, связь с ней оказалась нерасторжимой. Какая-то химическая реакция в крови — тошно, кисло, страшно...

Казалось, что она давно уже существует только в виде снов. Всем снился один и тот же сон, но в разных вариантах. Алик в свое время коллекционировал эти сны и даже собрал тетрадочку, которую назвал «Сонник эмигранта». Структура этого сна была такая: я попадаю домой, в Россию, и там оказываюсь в запертном помещении, или в помещении без дверей, или в контейнере для мусора, или возникают иные обстоятельства, которые не дают мне возможности вернуться в Америку, — например, потеря документов, заключение в тюрьму; а одному еврею даже явилась покойная мама и связала его веревкой...

Самому Алику этот сон явился в забавной разновидности: как будто он приехал в Москву, а там все светло и прекрасно и старые друзья празднуют его приезд в какой-то многокомнатной квартире, страшно знакомой и запущенной, вокруг толчея и дружеская свалка, а потом все едут провожать его в Шереметьево, и это уже совсем не похоже на душераздирающие проводы прошлых лет, когда всё навсегда и насмерть. И вот уже надо идти на посадку, но тут вдруг появляется Саша Ноликов, старый приятель, сует ему в руку несколько собачьих поводков, на которых волнуются и пританцовывают милые небольшие дворняжки, пестренькие, с лаячей кровью и загнутыми крендельком хвостами, — и исчезает. Все друзья куда-то подевались, и Алик стоит с этими собаками, и нет никого, кому бы он мог передать эту сворку, и уже объявляют, что регистрация на Нью-Йорк оканчивается. Какой-то служащий авиакомпании подходит к нему и сообщает, что самолет уже в воздухе... И он остается с этими собаками в Москве, почему-то известно, что навсегда. Беспокоит только одно: как Нинка будет платить за ателье в Манхэттене. И тут же, во сне, запахло лифтом, лофтом, невыветриваемым грубым табаком...

— Скажи, Алик, а там вы плохо жили? — Тишорт снова теребила его плечо.

— Дурочка... Отлично мы жили... Да мне всюду отлично...

Это точно. В Манхэттене он жил, как на Трубной, как на Лиговке, как по любому из своих долговременных или трехдневных адресов. Он быстро обживал новые места, узнавая их закоулки, подворотни, опасные и прекрасные ракурсы, как тело новой любовницы.

В годы юности все вертелось с большой скоростью, но, при его повышенном внимании к миру и памяти, ничего не забывалось: он мог бы восстановить рисунок обоев всех комнат, где жил, лица продавщиц в ближайших булочных, узор лепнины на фасаде дома напротив, профиль шуки, пойманной на удочку в Плещеевом озере в шестьдесят девятом году, и лирообразную сосну с одним сбитым рогом, возвышающуюся посреди пионерского лагеря в Верее...

И словно в благодарность за память и внимание мир был благосклонен к нему. Он приезжал в распухший от дождей Кейп-Код, и вылезало дрожащее солнышко; он проходил мимо яблони, и выжидавшее этого момента яблоко падало к его ногам просто так, в подарок. Это качество распространялось даже на мир техники: когда он набирал номер, линия всегда была свободна. Здесь, правда, был маленький фокус. Иногда, когда, зная эту его способность, его просили набрать какой-нибудь намертво занятый номер, он часами отказывался, а потом вдруг, улучив момент, мгновенно пробивался...

Америка явственно отвечала приязнью на его восхищение. А у Алика просто дух захватывало от новизны этого Нового Света. Он казался Алику новеньким в буквальном смысле этого слова. Старые, в три обхвата, деревья были выстроены из молодой и крепкой ткани. Здесь все было плотнее, крепче и грубее. Алик, человек третьего, российского, мира, в тридцатилетнем возрасте прикоснулся и к Америке, и к Европе. Сначала Вена и

Рим, все итальянские сладости, от которых почти год он не мог оторваться... Только уехав в Америку и прожив в ней первые годы безвыездно, он понял американскую зависть к Старой Европе с ее прозрачной изношенностью, культурной утонченностью и даже исчерпанностью, равно как и высокомерное, но в глубине тоже завистливое отношение Европы к широкоплечей и элементарной Америке.

Алик, с рыжей щеточкой усов, с подвязанными в ту пору у шеи длинным жестким хвостом волосами, стоял между ними как третейский судья — и не могло быть лучшего судьи. Он не отличался беспристрастностью, напротив, он был невероятно и любовно пристрастен. Он обожал хайвеи Америки и разноцветную, самую красивую, как он полагал, в мире толпу — толпу нью-йоркской подземки, американскую уличную еду и ее уличную музыку. Но он наслаждался маленькими круглыми фонтанчиками на круглых площадях Экс-ан-Прованса, отмечающего собой нежный переход между Францией и Италией, любил романскую архитектуру и всегда, когда ему попадались ее останки, радовался встрече, обожал изрезанные, как кленовые и березовые листья, берега греческих островов и средневековую Германию, каждую минуту обещавшую открыть себя в Марбурге или в Нюрнберге, но не исполнившую обещания, зато все, что не было найдено на улицах, обнаружилось в потрясающих немецких музеях, и немецкое искусство совершенно перешибло итальянское Возрождение. И пиво немецкое было отличное.

Он никогда не чувствовал необходимости принимать чью-то сторону, он стоял на своей собственной стороне, и это место позволяло ему любить всех равно.

Он бормотал девочке что-то куцее и, как ему самому казалось, незначительное об Америке и Европе, огорчился, что поглупел и не может сказать убедительно и связно. Она слушала его со вниманием, а потом спросила:

— А ты любишь Россию?

— Конечно, люблю.

— А почему? — все приставала к нему Тишорт.

— По кочану, — грубо отрезал он.

Тишорт разозлилась. Она так и не научилась принимать в расчет его болезнь.

— И ты, и ты как все! Объясни — почему? Все говорят, что там очень плохо жили.

Алик честно задумался: вопрос оказался действительно не прост.

— Открыть секрет?

Тишорт кивнула.

— Подставь поближе ухо.

Она прислонила ухо к самым его губам, едва его не завалив.

— Никто в этом ни хрена не понимает, а самые умные только прикидываются, что понимают.

— При — что?

— Делают вид.

— И ты? И ты тоже? — как будто обрадовалась Тишорт.

— Я прикидываюсь лучше всех.

Вид у обоих был исключительно довольный. Ирина с ревнивым интересом смотрела в их сторону.

Хозяин дома был большая гнида. Алик как кость в горле торчал у него уже почти двадцать лет, и ничего с этим нельзя было поделать. Первый жилец, попавший сюда, как только дом перешел в руки этого хозяина и

склады только-только освобождались, Алик платил ему за квартиру деньги, которые теперь были просто смешными. Тот старый контракт изменить было невозможно.

Район Челси, когда-то фабричный, запущенный, столь точно описанный любимым Аликом О. Генри, стал за эти годы почти фешенебельным. Рядом был Гринвич-Вилледж с богемной жизнью, музыкальными клубами и наркотическими забавами, и дух ночного веселья распространялся от него, захватывая близлежащие кварталы.

За последние двадцать лет здесь все взлетело в цене, квартиры чуть не в десять раз, а Алик все платил четыре сотни, да еще и постоянно задерживал.

Хозяин дома жил в богатом пригороде, всем ведал «суперинтендант» — поместь управдома с дворником. Это была должность наемная. Здешний «супер» Клод работал в доме почти с самого заселения, он был человек совсем особенный — полуфранцуз с каким-то заковыристым прошлым. Из его обрывчатых рассказов то всплывал Тринидад с океанской яхтой, то выскакивала Северная Африка с опасными охотами. Похоже было на вранье, но одновременно с этим складывалось впечатление, что подлинная его жизнь содержит кое-что не менее интересное. И Алик допридумал ему биографию, уверял всех, что тот великий карточный шулер, попался, сидел в турецкой тюрьме и бежал на воздушном шаре...

Дважды, в самые трудные времена, Клод, не лишенный художественных интересов и филантропических замашек, выручал Алика, покупал его работы. Не так уж много на свете домоуправов, покупающих живопись. Кроме всего прочего, Клод любил Нинку. Он приходил иногда к ней поболтать, она варила ему кофе, когда-то даже раскладывала легкое дурацкое гаданье «на даму»... Не знающая ни слова по-английски, Нинка, приехав в Америку, принялась за французский. В этом был какой-то особенный, только ей свойственный идиотизм. Может быть, именно поэтому Клод ее так любил. Сам он тоже был человек со странностями, единственный из всех, он даже предпочитал Нинку Алику.

Клод, приходя обыкновенно в первой половине дня, видел, что в хаотической и бесформенной Нинкиной жизни присутствовал элемент строгого режима. Она вставала обыкновенно около часу и подавала слабый голос; Алик варил ей кофе и нес в спальню вместе со стаканом холодной воды. Обычно это было самое рабочее время, и в эти часы он с ней даже не разговаривал. Она медленно приходила в себя, долго принимала ванну, мазала лицо и тело разными кремами, присланными из Москвы подружкой — местных она не признавала, — и бесконечно водила щеткой по знаменитым волосам. В молодости она несколько лет проработала в московском Доме моделей и все никак не могла забыть этого великого в жизни времени.

Надев черное кимоно, она снова забивалась в спальню с каким-нибудь восхитительно дурацким занятием: пасьянсом или складыванием огромных картин «пазл». Вот тут обыкновенно и приходил Клод. Она принимала гостя в кухне и пила свои наперсточные чашечки одну за другой. В это время дня она есть еще не могла и пить тоже. Она была действительно слабенькая — даже курить начинала ближе к вечеру, собравшись с силами, уже после первой еды и первого алкоголя.

Алик заканчивал часам к семи. Если водились деньги, шли обедать в один из маленьких ресторанов Гринвич-Вилледжа. Первые американские годы были у Алика поудачней, тогда еще не так много русских художников понаехало, он был даже в небольшой моде.

Нинка в начале американской жизни предпочитала все восточное, это был самый пик ее увлечения, и они шли к китайцам или к японцам. Алик, конечно, знал самых настоящих.

Нинка к выходу усердно готовилась, одевалась, красилась. Брала с собой кошку Катю, привезенную из Москвы со всеми положенными справ-

ками, бледно-серую, с желтыми глазами. Катя тоже была сумасшедшая — какую нормальную кошку можно заставить часами лежать на плече, свесив расслабленно лапы?

Если к вечеру приходили друзья, заказывали пиццу внизу или китайскую еду из Чайнатауна, из любимого ресторана, где их знали. Хозяин всегда присылал для Нинки какой-нибудь маленький подарочек. Кто-нибудь приносил пиво или водку — большого пьянства тогда не было.

— Здесь климат такой, — говорил Алик, — здесь пьянства нет, есть алкоголизм.

Это была правда. На третьем году своего пребывания в Америке Нинка стала настоящим алкоголиком, правда малопьющим. Но красота ее от этого делалась все пронзительней...

Хозяин приехал накануне навести порядок в делах. Расчихвостил Клода за мусорный штраф и потребовал немедленного выселения Алика: неуплата за три месяца была достаточным основанием. Клод пытался даже защитить старых жильцов, говорил об ужасной болезни и, вероятно, скором конце.

— Я хочу сам посмотреть, — настаивал хозяин, и Клоду ничего не оставалось, как подняться на пятый этаж.

Шел одиннадцатый час, жизнь была в самом разгаре, когда они вышли из лифта. На грузного старика с розовым замшевым лицом никто внимания не обратил. Никакого ожидаемого буйного веселья и особого русского пьянства не происходило. Возле телевизора сидела большая компания. Хозяин огляделся. Он давным-давно сюда не заглядывал. Помещение прекрасное, немного отремонтировать — и можно взять тридцать пять сотен, а то и сорок.

— Он хороший художник, этот парень. — Клод указал глазами на работы, прислоненные к стене. Алик прежде не любил развешивать своих работ, ему мешали старые картины.

Хозяин взглянул мельком. У него был приятель, который держал в двадцатых годах здесь, в Челси, дешевенькую гостиницу, почти ночлежку, пускал всякий сброд, нищих художников, безработных актеров, продержался кое-как в депрессию. Иногда брал у своих жильцов вместо денег их мазню, исключительно по доброте душевной, вешал в холле. А потом прошли годы — и оказалось, что у него собралась коллекция, которая стоила десяти гостиниц... Но это было давно, времена были другие, а теперь слишком уж много художников развелось. «Нет-нет, никаких этих картин», — решил хозяин.

Нинка, увидев Клода, пошла к нему своей шаткой изящной походкой, готовя по дороге французскую фразу, но сказать не успела, потому что Клод первым ей сказал:

— Наш хозяин зашел по делу.

Нинка проявила неожиданную сметливость, заулыбалась, что-то прошептала неопределенное и рванулась к Либину. Обхватила его за голову и горячо зашептала в ухо:

— Вон там у двери хозяин, его «супер» привел. Ты сделай так, чтобы они к Алику не цеплялись. Умоляю.

Либин быстро смекнул, в чем дело, вышел к ним с придурковатой радостной улыбкой:

— Видите ли, в Москве политический переворот, мы несколько обеспокоены.

Звучало это так, как будто он премьер-министр соседнего государства. При этом он напирал на них животом и теснил к лифту. Они поддавались. Уже возле самой двери, перестав улыбаться, сказал четко и отдельно:

— Я брат Алика. Прошу прощения за задержку, счета я вчера оплатил и гарантирую, что больше таких задержек не будет...

«Сейчас этот чертов ирландец развопится», — подумал Клод, но хозяин, ни слова не говоря, нажал лифтовую кнопку.

13

Двое суток телевизор не выключали. Двое суток не смолкал телефон и беспрерывно хлопала дверь. Алик лежал плоский и резиновый, как пустая грелка, но был оживлен и уверял, что ему много лучше.

Как античная драма, действие шло уже три дня, и за это время прошлое, от которого они более или менее основательно отгородились, снова вошло в их жизнь, и они ужасались, плакали, искали знакомые лица в огромной толпе возле Белого дома и дождались-таки минуты, когда Людочкин сын вдруг завопил:

— Папа, смотрите, папа!

На экране был бородатый человек в очках, всем, казалось, знакомый, он шел прямо на камеру, слегка наклонив голову.

Люда обхватила горло руками:

— Ой, Костя! Я так и знала, что он там!

К этому времени уже было ясно, что переворот не удался.

— Мы выиграли, — сказал Алик.

Откуда взялось это «мы», совершенно непонятно. Но это было то самое «мы», которому удивлялся отец Виктор в Париже, в самом начале войны. Дед его, белый офицер, принявший сан уже в эмиграции, ощутил тогда острую связь с Россией, устоявшееся за годы эмиграции «они» вдруг сменилось у него на это самое «мы», и в сорок седьмом он едва не уехал в Россию себе на погибель...

Либин был с Аликом совершенно не согласен, но сегодня не собирался спорить, только пробормотал:

— Ну, вот это как раз совершенно неизвестно, кто в действительности выиграл...

Все радовались, что не началась гражданская война, что танки вышли из города.

Непрерывно шла хроника: на Лубянке свалили Дзержинского и показали опустевший цоколь, лучший из всех памятников советской власти — пустой пьедестал. Партия — из гранита, мрамора, стали, как она сама себя расписывала, — сыпалась как труха, исчезала как наваждение.

Хоронили троих погибших — три случайные песчинки были выбраны из толпы небесной рукой: ребята с хорошими лицами — русский, украинец, еврей. Над двумя машут кадиллом, третий покрыт талесом. Таких похорон еще не было в этой стране... И тысячи, тысячи людей...

Казалось, все гнилое, больное, подлое, что так долго копилось, разом обломилось, обрушилось и, как выплеснутые помои, как куча выброшенного смрадного хлама, уплывает по реке...

И здешние, бывшие русские, в полном единодушии радовались, и всеобщая радость по этому поводу выражалась не в том, что пили больше обычного, а в том, что запели старые советские песни. Лучше всех пела Валентина:

Все стало вокруг голубым и зеленым...
Под каждым окошком поют соловьи...

В этом квартале, в этой квартире не было ничего голубого и зеленого, и все они прекрасно знали, что все цвета в их новой стране имеют другие оттенки, иную степень напряженности, но каждый вспоминал цвета своего собственного детства: Валентина — Институтскую улицу в Калуге, текущую к мыльно-голубой Оке между двух рядов бледных лип, Алик — голубое и зеленое Подмосковье, доверчивый и ласково-неуверенный цвет пер-

вой листвы и нежного, в длинных переливах, неба, а Файка — Марьину Рошу с хромыми палисадниками и грубыми, топорно сделанными золотыми шарами на фоне едко-зеленого забора...

Снизу, правда, тянуло прежней музыкой, и не обычной южноамериканской сальсой, а чем-то диким, бессмысленным, с постукиванием и подвыванием. Алик, более всех чувствительный к музыке, взмолился:

— Либин, Христа ради, пойди заткни их как-нибудь.

Либин, прихватив Наташу, исчез.

В телевизоре шли толпы, толпы. В комнате тоже было много народу, и даже казалось, что они как-то связаны. Временами Алик замечал, что среди привычных лиц вдруг промелькивало незнакомое. Он увидел какого-то маленького седого старичка с кожаным ремешком на лбу, в странной белой одежде, но как-то не в фокусе.

— Нин, а кто этот старичок? — спросил он.

Нинка встревожилась — неужели он заметил хозяина?

— Я про того маленького, с белой бородкой...

Нинка огляделась — никакого старичка не было.

Невыносимая музыка вдруг куда-то исчезла. Зато появились чьи-то дети, в большом количестве. Странные малосимпатичные дети с немного зверушечьими личиками. И, несмотря на поздний вечер, было очень жарко. Подошла Валентина:

— Ну что?

— Спой что-нибудь прохладное.

Валентина села рядом с Аликом, обхватила его высохшую ногу и запела тихо и очень внятно:

Ой, мороз, мороз, не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня...

Голос у Валентины был действительно прохладным, и от него расходились по воздуху тонкие морщины, как после игрушечного кораблика, пущенного на воду.

Алик увидел себя втиснутым в толстую коричневую шубу, в тесной цигейковой шапке поверх белого платка, на шубе ремень с любимой пряжкой, а сам он сидит в салазках с гнутой спинкой, впереди его идут мамини войлочные ботики и бьется подол синего пальто о серый войлок. Рот у него туго завязан шерстяным шарфом, а в том месте, где губы, шарф мокрый и теплый, но надо сильно дышать, очень сильно, потому что, как только перестаешь дышать, ледяная корочка запечатывает эту теплую лунку и шарф сразу же промерзает и колет...

Дети, которых делалось все больше и больше, они тоже как будто в шубах, в пушистых заснеженных шубах...

Хлопнула дверь — из лифта вывалился Либин с шестью парагвайцами. Все парагвайцы были почти одинаковые, мелкорослые, в черных брюках и белых рубашках, с маленькими барабанчиками, трещотками и колотушками. Они шли, погромыхивая своей музыкой.

— Нин, ну а эти откуда взялись? — неуверенно спросил Алик.

— Либин привел.

Либин был пьян вдребезги. Он подошел к Алику:

— Алик! Отличные ребята оказались. Я поставил им выпить. Думаю, они же не могут играть, когда руки стаканом заняты. И точно. Отличные ребята, только по-английски не говорят. Один немного спикает. А другие даже по-испански не очень умеют. У них язык гуарани или что-то похожее. Мы выпили чуток, я говорю: у меня друг болен. А они говорят: у нас есть такая музыка специальная, для тех, кто болен. А? Занятные ребята такие...

Занятные ребята тем временем выстроились гуськом, друг другу в затылок. Первый, со шрамом через кирпично-смуглое лицо, ударил в бара-

банчик, и они двинулись по кругу, коротконогие, чуть приседая на каждом шагу, ритмично покачиваясь и издавая какие-то криковдохи.

Девицы, изнемогшие за последнюю неделю от их музыки, зашлись от негомого смеха.

Но здесь, в помещении, эта музыка звучала совсем по-другому. Она была до жути серьезная, имела отношение не к уличному искусству, а к другим, несоизмеримо более важным, вещам. В ней присутствовал стук сердца, дыхание легких, движение воды и даже ворчащие звуки пищеварения. А сами музыкальные инструменты — Боже правый! — были черепами и малыми косточками, и скелетики висели на самих музыкантах, как праздничные украшения... Наконец музыка замерла, но не успел народ загудеть, вклинившись в эту паузу, как они развернулись в другую сторону и опять двинулись гуськом по кругу, и пошла другая музыка — древняя, жуткая...

— Пляска смерти, — догадался Алик.

Теперь, когда ему открылся смысл этой музыки как буквальный рассказ об умирании тела, он понял также, что их движение противусолонь было прологом к какой-то следующей теме. Та монотонная и заунывная музыка, которая так раздражала его все последнее время, оказалась внятной, как азбука. Но она оборвалась, чего-то недосказав.

Гости всё прибывали. Алик разглядел в толпе своего школьного учителя физики, Николая Васильевича, по прозвищу Галоша, и вяло удивился: неужели он эмигрировал на старости лет... Сколько же ему теперь... Колька Зайцев, одноклассник, попавший под трамвай, худенький, в лыжной курточке с карманами, подбрасывал ногой тряпичный мячик... как мило, что он приволок его с собой... Двоюродная сестра Муся, умершая девочкой от лейкоза, прошла через комнату с тазом в руках, только не девочкой, а уже вполне взрослой девушкой. Все это было ничуть не странно, а в порядке вещей. И даже было такое чувство, что какие-то давние ошибки и неправильности исправлены...

Фима подошел и потрогал холодную руку:

— Алик, может, тебе хватит гулять?

— Хватит, — согласился Алик.

Фима поднял его легчайшее тело и отнес в спальню. Губы Алика были синими, ногти на руках — голубыми, и только волосы горели неизменной темной медью.

«Гипоксия», — отметил автоматически Фима.

Нина тащила с подоконника бутылку с травяным настоем...

Главный из парагвайцев, их толмач, подошел к Валентине и попросил разрешения потрогать ее волосы. Одну руку он запустил в свои грубые угольно-блестящие патлы, а пальцами другой прошелся по Валентининым, выкрашенным разноцветными прядями, и засмеялся — чем-то его порадовала ее пестрая голова. Две недели тому назад они приехали в Нью-Йорк из большой деревни, затерявшейся в тропическом лесу, и не все диковинки здешнего мира успели потрогать руками. У нее же возникло странное ощущение, будто на нее надели тубетейку. Впрочем, в этом не было ничего неприятного и через несколько минут прошло.

Алик ловил воздух. Он знал, что надо дышать получше, иначе теплая лунка в шарфе затянется. Он делал судорожные вдохи, которых получалось больше, чем выдохов.

— Устал...

Фима сжал его запястье, сухое, как ветка мертвого дерева. Умирала диафрагмальная мышца, умирали легкие, умирало сердце. Фима раскрыл саквояж и задумался. Можно ввести камфару, подогнать истощенное сердце, пустить его галопом. Надолго ли хватит... Можно наркотик. Приятное забвение, из которого он скорее всего не вернется. А если оставить все

так, как есть... сутки, двое... Никто не знает, сколько часов это может продолжаться...

Эта страна ненавидела страдание. Она отвергала его онтологически, допуская лишь как частный случай, требующий немедленного искоренения. Отрицающая страдание молодая нация разработала целые школы — философские, психологические и медицинские, — занятые единственной задачей: любой ценой избавить человека от страдания. Идея эта с трудом ложилась на российские мозги Фимы. Земля, вырастившая его, любила и ценила страдание, даже сделала его своей пищей; на страданиях росли, взрослели, умнели... Да и еврейская Фиминая кровь, тысячами перегоняемая через фильтр страдания, как будто несла в себе какое-то жизненно важное вещество, которое в отсутствие страдания разрушалось. Люди такой породы, избавляясь от страдания, теряют и почву под ногами...

Но к Алику все это не имело отношения. Фима не хотел, чтобы его друг так жестоко страдал последние часы жизни...

— Ниночка, а теперь мы вызовем амбуланс, — сказал Фима гораздо более решительно, чем оно было у него в душе...

14

Машина приехала через пятнадцать минут. Здоровенный черный парень баскетбольного роста с выдвинутой челюстью и щуплый интеллигент в очках. Врачом оказался негр, а тот, второй, — беглый поляк или чех, как решил Фима, и тоже не дотянувшийся до американского диплома. Сходство непрошеное и неприятное. Фима отошел к окну.

Негр откинул простыню. Провел рукой перед глазами Алика. Алик никак не отреагировал. Врач сжал запястье, утонувшее в его громадной руке, как карандаш. Фраза, которую он произнес, была длинной и совершенно непонятной. Фима скорее догадался, что тот говорит об искусственных легких и о госпитализации. Но даже не понял, предлагает он его забрать в госпиталь или, наоборот, отказывается.

Но Нинка качала головой, трясла волосами и говорила по-русски, что никуда Алика не отдаст. Врач внимательно смотрел на ее отошавшую красоту, потом прикрыл большие веки в огромных ресницах и сказал:

— Я понял, мэм.

После чего он набрал в большой шприц жидкость из трех ампул и вкалывал Алику между кожей и костью, в почти отсутствующее бедро.

Очкарик кончил свою писанину, свел страдальчески лохматые брови на долгоносом лице и сказал врачу с акцентом, даже Фиме показавшимся чудовищным:

— Женщина в плохом состоянии, введите ей транквилизатор, что ли, принимая во внимание...

Врач стащил с рук перчатки, бросил в кейс и, не глядя в сторону советчика, буркнул что-то презрительное. Фиму просто передернуло: как он его...

«Чего я здесь сижу как мудака: ничего не высiju. Надо возвращаться», — впервые за все эти пропащие годы подумал Фима. И вдруг испугался: а смогу ли я, в самом деле, снова стать врачом? А смог бы я сдать все эти поганые экзамены по-русски? Да, впрочем, кто в Харькове с него спросит, там-то диплом годится...

После ухода бессмысленной медицины Нина вдруг страшно засуетилась. Опять начала носиться с бутылками. Села у ног Алика, налила себе в ладонь жидкость и стала растирать Алику ноги, от кончиков пальцев вверх, к голени, потом к бедру.

— Они ничего, ничего не понимают. Никто ничего не понимает, Алик. Они просто ни во что не верят. А я верю. Я верю. Господи, я верю

же. — Она лила горсть за горстью, пятна расплывались на простыне, брызги летели в разные стороны, она яростно терла ноги, потом грудь.

— Алик, Алик, ну сделай же что-нибудь, ну скажи что-нибудь. Ночь проклятая... Завтра будет лучше, правда...

Но Алик ничего не отвечал, только дышал судорожно, напряженно.

— Нинок, ты приляг, а? А я его сам помассирую. Хорошо? — предложил Фима, и она неожиданно легко согласилась. — Там Джойка сторожит. Она хотела сегодня подежурить. Может, ты там, на коврике? А она здесь посидит.

— Пусть катится. Не нужен никто. — Она легла лицом вниз, в ногах у Алика, поперек широченной тахты, где он совсем уже терялся, и все продолжала говорить: — Мы поедем на Джамайку или во Флориду. Возьмем напрокат машину большую и всех возьмем с собой: и Вальку, и Либина, всех-всех, кого захотим. И в Диснейленд по дороге заедем. Правда, Алик? Отлично будет. Будем в мотелях останавливаться, как тогда. Они ни черта не понимают, эти врачи. Мы тебя травой поднимем, еще не таких поднимали... еще не таких лечили...

— Тебе поспать бы надо, Нин.

Она кивнула:

— Попить принеси.

Фима пошел навести ей ее пойла. Гости разошлись.

В мастерской, в уголке, сжалась Джойка с сереньким Достоевским, все ждала, не позовут ли ее дежурить. Укрывшись с головой, спал кто-то из оставшихся гостей. Люда, домывая стаканы, спросила у Фимы:

— Что?

— Агония, — сказал Фима только одно слово.

Он отнес Нине ее питье. Она выпила, свернулась в ногах у Алика, потом стала что-то неразборчиво бормотать и вскоре уснула. Она, кажется, еще не понимала, что происходит.

Завтра, то есть уже сегодня, у Фимы был рабочий день, послезавтра он мог бы взять отгул, третьего дня, наверное, уже не понадобится. Он сел на тахту, раскинув шишковатые колени, поросшие ковравыми волосами, корявый неудачник, зануда. Он ничего сейчас не мог делать, кроме как сидеть, грустно потягивая водку с соком, смачивать Алику губы — глотать он уже совсем не мог — и ожидать того, что должно произойти.

Ближе к утру пальцы у Алика стали мелко подрагивать, и Фима решил, что пора поднимать Нинку. Он погладил ее по голове — она возвращалась откуда-то издалека и, как всегда, долго соображала, куда же ее вынесло. Когда глаза ее осветились пониманием, Фима сказал ей:

— Нинок, вставай!

Она склонилась над мужем и заново удивилась перемене, которая произошла с ним за недолгое время, что она спала. У него сделалось лицо четырнадцатилетнего мальчика — детское, спокойное, светлое. Но дыхание было почти неслышимо.

— Алик. — Она тронула руками его голову, шею. — Ну, Алик...

Отзывчивость его была всегда просто сверхъестественной. Он отзывался на ее зов мгновенно и с любого расстояния. Он звонил ей по телефону из другого города именно в ту минуту, когда она его мысленно об этом просила, когда он бывал ей нужен. Но теперь он был безответен — как никогда.

— Фима, что это? Что с ним?

Фима обнял ее за тощие плечи:

— Умирает.

И она поняла, что это правда.

Ее прозрачные глаза ожили, она вся подобралась и неожиданно твердо сказала Фиме:

— Выйди и пока сюда не заходи.

Фима ни слова не говоря вышел.

15

Люда нерешительно стояла в проеме двери, от порога заглядывая внутрь.

— Все выйдите, все, все! — Жест был величественный и даже театральный.

Джойка, сидевшая в уголке уперев подбородок в колени, изумилась:

— Нина, я пришла за ним сидеть.

— Я говорю — все убирайтесь!

Джойка вспыхнула, затряслась, подскочила к лифту. Люда растерянно стояла посреди мастерской... Натянув одеяло на голову, похрапывал уснувший гость. А Нинка метнулась в кухню, вытащила из каких-то глубин белую фаянсовую супницу.

На мгновение предстал тот чудесный день, когда они приехали в Вашингтон, переночевали у Славки Крейна, веселого басиста, переквалифицировавшегося в грустного программиста, как позавтракали в маленьком ресторанчике в Александрии, возле скверика. Пенсионеры играли на улице чудовищно плохую, но совершенно бесплатную музыку, а потом Крейн повез их на барахолку. День был такой веселый, что решили купить что-нибудь прекрасное, но за полтинник. Денег, правда, было очень мало. И тут к ним пристал седой красивый негр с изуродованной рукой, и они купили у него английскую супницу времен Бостонского чаепития, а потом весь день таскали с собой эту большую и неудобную вещь, которая никак не влезала в сумку, а Крейн со своей машиной поехал кого-то встречать или провожать.

«Так вот зачем мы ее тогда купили», — догадалась Нинка, наливая в нее воду.

Она вся распрямилась, ростом стала еще выше, торжественно пронесла супницу в спальню, держа ее высоко, на уровне лица, и прижимаясь к бортику губами.

«Совсем, совсем сумасшедшая, что с ней будет», — сморщился Фима.

Она уже забыла, что всех выгнала.

Супницу она осторожно поставила на красную табуретку. Вытащила из комода три свечи, зажгла их, оплавивла снизу и прилепила к фаянсовому бортику. Все получалось у нее с первого раза, без труда, нужные вещи как будто выходили ей навстречу.

Она сняла со стены бумажную иконку и улыбнулась, вспомнив, какой странный человек оставил ее здесь. Тогда у них в доме жил один из многочисленных бездомных эмигрантов. Нинка была равнодушна к постояльцам и обычно почти их не замечала, а как раз того просила поскорее выставить, но Алик говорил:

— Нинка, молчи. Мы слишком хорошо живем.

А тот парень был чокнутый, не мылся, носил что-то вроде вериг на теле, Америку ненавидел и говорил, что ни за что бы сюда не поехал, но у него было видение, что Христос сейчас в Америке и он должен Его разыскать. И он искал, гоняя по Центральному парку с утра до вечера. А потом его кто-то надоумил, и он отправился в Калифорнию, к другому такому же, но к американцу — не то Серафим, не то Севастьян, — тоже, говорят, был сумасшедший, еще и монах...

Иконку Нина поставила, уперев ее в суповую миску, и задумалась на мгновенье. Какая-то мысль ее тревожила... об имени... Имя у него было совершенно невозможное — в честь покойного деда родители записали его Абрамом. А звали всегда Аликом и, пока родители не разошлись, всегда спорили, кому это пришло в голову — назвать ребенка столь нелепо и провокационно. Так или иначе, даже не все близкие друзья знали его настоящее имя, тем более, что, получая американские документы, он записался Аликом...

Человек, которому носить вообще какое бы то ни было имя оставалось совсем недолго, изредка судорожно всхрапывал.

Нинка кинулась искать церковный календарь, сунула наугад руку в книжную полку и за кривой стопкой кое-как лежащих книг сразу же нашла старый календарь. Под двадцать пятым августа стояло: мчч. Фотия и Аникиты, Памфила и Капитона; сщмч. Александра... Опять все было правильно. Имя годилось. Все шло ей навстречу. Она улыбалась.

— Алик, — позвала она мужа. — Не сердись и не обижайся: я тебя крещу.

Она сняла с длинной шеи золотой крест — бабушки, терской казачки. Ей про все объяснила Марья Игнатьевна: любой христианин может крестить, если человек умирает. Хоть крестом золотым, хоть спичками, крестиком связанными. Хоть водой, хоть песком. Теперь только надо было сказать простые слова, которые она помнила. Она перекрестилась, опустила крест в воду и хриплым голосом произнесла:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Она начертила крест в воде, окунула в супницу руку, набрала в горсть воды и, стряхнув ее на голову мужу, закончила:

— ...крещается раб Божий Алик.

Она даже не заметила, что такое подходящее имя — Александр — вылетело у нее из головы в решающую минуту.

Дальше она не знала, что ей делать. С крестом в руке она села возле Алика, провела пальцами, размазывая крещальную воду по лицу, по груди. Одна из свечей прогнулась и, пренебрегая законом физики, упала не наружу, а внутрь ставшего священным сосуда. Зашипела и погасла. Потом Нина надела свой крест ему на шею.

— Алик, Алик, — позвала она его.

Он не отозвался, только вздохнул с горловым храпом и снова затих.

— Фима! — крикнула она.

Фима вошел.

— Ты посмотри, что я сделала, — я его крестила..

Фима повел себя профессионально:

— Ну, крестила и крестила. Хуже не будет.

Оживление и чудесное чувство уверенности, что все она делает правильно, вдруг покинуло Нину. Она отодвинула табурет в угол, легла рядом с Аликом и понесла какую-то околесицу, в которую Фима не вслушивался.

Приоткрылась дверь, вошел Киплинг — тихая собака, которая третьи сутки лежала у двери и ждала свою хозяйку. Киплинг положил голову на тахту.

«Надо его вывести», — сообразил Фима. Было уже пора собираться на работу. Джойка, обидевшись, ушла. Уехала среди ночи и Люда. Фима разбудил спящего — им оказался Шмуль, а не Либин, как Фима предполагал, и это было очень кстати, потому что Шмулю торопиться было некуда, он всю свою американскую жизнь, лет десять, сидел на пособии. Фима растолкал его, дал на крайний случай инструкцию и свой рабочий телефон. Теперь оставалось вывести Киплинга — он стоял смиренно возле двери и помахивал хвостом — и ехать на работу.

16

Следующий после крещения день Нинка не выходила из спальни, лежала обхватив Алика за ноги и никого туда не пускала.

— Тише, тише, он спит, — говорила она каждому, кто приоткрывал дверь.

Он был в забытии, только изредка похрипывал. При этом все, что говорили вокруг, он слышал, но как будто из страшной дали. Временами

ему даже хотелось сказать им, что все в порядке, но шарф был повязан туго, и распустить его он не мог.

Одновременно он был сильно поглощен новыми ощущениями. Он чувствовал себя легким, туманным и вполне подвижным. Он двигался внутри какого-то черно-белого фильма, только черное не было вполне черным, а белое — белым. Скорее все состояло из оттенков серого, как если бы пленка была старой и заезженной. Ничего неприятного в этом не было.

В движении, по которому он так стосковался за последние месяцы, было блаженство, сравнимое разве что с наркотическим. Тени, мелькавшие на обочине размытой дороги, были смутно-знакомыми. Некоторые напоминали древесные силуэты, другие были человекоподобны. И снова появился школьный учитель Николай Васильевич Галоша, и Алик с удовольствием отметил про себя, что это явление Николая Васильевича, математика, человека трезвого и строгого разума, и было как раз доказательством полной реальности происходящего и избавило от тонкого беспокойства: не сон ли это, не бред ли какой-нибудь... Николай Васильевич его явно узнал, сделал приветственный жест, и Алик понял, что тот к нему направляется.

Нина опять стала звенеть бутылочками, но звон был скорее приятный, музыкальный. Наливая в горсти остатки травяного настоя, она шептала что-то невнятное, но все это ему не мешало, совершенно не мешало. Галоша к тому времени был уже совсем рядом, и Алик увидел, что тот по-прежнему беззвучно пошлепывает губами, как это делал в школе, и эту его привычку Алик позабыл, но теперь с умилением вспомнил. Это тоже было очень убедительно: нет, не сон, все так оно и есть...

В середине дня пришел мастер по установке кондиционеров, индифферентный мулат в золотых цепочках, с молоденьким чахлым помощником, — кто-то из друзей оплатил вызов. Нинка впустила их в комнату, и они быстро наладили кондиционер, ни разу не взглянув в сторону умирающего. Жара в комнате довольно быстро сменилась пыльной прохладой. Потом пришла Валентина — Нинка ее не впустила, и она осталась сидеть в мастерской вместе с заплаканной Джойкой.

На грязном белом ковре в углу, засунув под голову свернутое одеяло, уютно устроилась Тишорт и читала по-английски книгу, которую мечтала прочесть в оригинале. Это была «Великая Книга Освобождения». Со вчерашнего дня она все думала о том, какая жалость, что она не мужчина и не может уйти в тибетский монастырь. А с утра спросила у матери, нельзя ли ей сделать такую операцию, чтобы грудь в два раза уменьшить... Как будто это могло ее приблизить к прекрасному уделу тибетского монаха...

Подушки были засунуты за спину Алику, он почти сидел на кровати. Нина смачивала ему потемневшие и высохшие губы, пыталась вдуть воду через соломинку, но она сразу же вытекала.

— Алик, Алик. — Она звала его, трогала, гладила. Припала губами к подвздошной ямке, прошла языком вниз, к пупку, по той еле заметной линии, что делит человека надвое. Запах тела показался чужим, вкус кожи — горьким. В этой горечи она мариновала его два месяца не переставая.

Она замерла лицом в рыжих завитках коротких волос и подумала: а волосы совершенно не меняются...

Наконец она перестала его тормошить и затихла, и тогда Алик сказал вдруг очень внятно:

— Нина, я совершенно выздоровел...

Когда Фима в восьмом часу приехал с работы, в спальне он застал странное зрелище: голая Нинка, подложив под себя черное кимоно, сидела лицом к Алику, натирала свои чудесные руки травяной гущей и приговаривала:

— Ты видишь, как она помогает, такая хорошая травка...

Она подняла на Фиму сияющие глаза и сказала торжественно и полу-сонно:

— Алик мне сказал, что он выздоровел...

«Умер», — догадался Фима. Он коснулся Аликовой руки — она была пуста, барабанная музыка ушла из нее.

Фима вышел из спальни в мастерскую, налил себе полстакана дешевой водки из большой бутылки с ручкой, выпил, прошелся несколько раз из конца в конец мастерской. Народу было еще не так много, собирались попозже. Никто на него не смотрел, все были заняты: Валентина с Либиным играла в Аликовы нарды, Джойка раскладывала карты Таро, которым научила ее Нинка, — пыталась внести ясность в свою и без того ясную одинокую жизнь. Файка ела яичницу с майонезом. Она все ела с майонезом. Московская Люда давно уже перемыла всю посуду и сидела теперь рядом с сыном около телевизора в ожидании свежих новостей из Москвы.

— Алеша, выключи телевизор. Алик умер, — тихо сказал Фима. Так тихо, что его не услышали. — Ребята, Алик умер, — повторил он так же тихо.

Хлопнул лифт, вошла Ирина.

— Алик умер, — сказал он ей, и тут наконец все услышали.

— Уже? — вырвалось у Валентины с такой тоской, как будто он обещал ей жить вечно и нарушил планы своей несвоевременной смертью.

— О, shit! — воскликнула Тишорт и, отшвырнув книжку, бросилась к лифту, едва не сбив мать с ног.

Ирина стояла возле двери, потирая ушибленное плечо. «Может, в Россию съездить на недельку, найду Казанцевых, Гисю... — Гися была Аликова старшая сестра. — Она, наверное, совсем старуха, Алика старше была на четырнадцать лет. Она меня любила...»

Джойка отложила карты и заплакала.

Все стали почему-то одеваться. Валентина нырнула головой в длинную индийскую юбку. Люда надела босоножки. Хотели пойти в спальню, но Фима остановил:

— Погодите, Нинка еще не знает. Надо ей сказать.

— Ты скажи, — попросил Либин.

Он с Фимой уже три года не разговаривал, но тут и сам не заметил, как попросил.

Фима приоткрыл дверь спальни: там было все то же. Лежал Алик, покрытый до подбородка оранжевой простыней, на полу сидела Нинка, натирая свои узкие ступни с длинными пальцами, и приговаривала:

— Это хорошая травка, Алик, в ней ужасная сила...

Еще там был Киплинг. Он положил передние лапы на тахту, на них свою умную и печальную морду.

«Какая глупость про собак, что они боятся покойников», — подумал Фима.

Он приподнял Нинку, поднял с полу ее промокшее кимоно и накинул ей на плечи. Она была послушна.

— Он умер, — в который уже раз выговорил Фима, и ему показалось, что он уже привык к новому положению мира, в котором Алика больше нет.

Нинка посмотрела на него внимательными прозрачными глазами и улыбнулась. Лицо у нее было усталое и немного хитрое.

— Алик выздоровел, знаешь...

Он вывел ее из спальни. Валентина уже тащила ей ее питье. Нинка выпила, улыбнулась светской, ни к кому не обращенной улыбкой:

— Алик выздоровел, знаете? Он сам мне сказал...

Джойка издала звук, похожий на смех, и выскочила в кухню, зажимая рот. Снизу звонили в домофон. Нина сидела в кресле со светлым и растерянным лицом и гоняла палочкой лед в стакане.

Чисто Офелия. А защита — как у хорошего боксера: ничего не хочет знать. Все правильно, никогда он не мог ее оставить, она живет вне реальности, а он всегда ее безумие собой прикрывал. «Есть, есть логика в этом безумии». Делать Ирине здесь больше было нечего, захотелось поскорее уйти.

Она спустилась вниз. Тишорт не ждала ее около подъезда. Дочку свою она упустила. Ирина пересекла медленный машинный поток и зашла в кафе.

Догадливый черный бармен спросил утвердительно:

— Виски?

И тут же поставил стакан.

«А, конечно же, Аликов приятель», — сообразила Ирина и, указав пальцем в сторону противоположного дома, сказала:

— Алик умер.

Тот мгновенно понял, о ком идет речь. Он воздел лепные руки в серебряных кольцах и браслетах, так что они звякнули, сморщил темное ямайское лицо и сказал на языке Библии:

— Господи, почему ты забираешь у нас самое лучшее?

Потом плеснул себе из толстой бутылки, быстро выпил и сказал Ирине:

— Слушай, девочка, а как там Нина? Я хочу дать ей денег.

Ее давно уже никто не называл девочкой.

И вдруг Ирину прожгло: он как будто никуда и не уезжал! Устроил ту Россию вокруг себя. Да и России той давно уже нет. И даже неизвестно, была ли... Беспечный, безответственный. Здесь так не живут. Так нигде не живут! Откуда, черт возьми, это обаяние, даже девочку мою зацепил? Ничего такого особенного ни для кого он не делал, почему это все для него расшибаются в лепешку... Нет, не понимаю. Не могу понять...

Ирина подошла к автомату в глубине кафе, сунула карточку, набрала длинный номер. Дома у Харриса стоял автоответчик, в конторе подошла старая обезьяна секретарша, сказала, что он сейчас занят.

— Соедините срочно, — попросила Ирина и назвалась.

Харрис тотчас же снял трубку.

— Я освободилась и могу приехать на weekend.

— Позвони, когда тебя встречать. — Голос его звучал суховато, но Ирина все равно знала, что он обрадовался.

Красноватое сухое лицо, чистые усы, опрятная зеркальная лысина... Диван, стакан, лимон... одиннадцать минут любви, можно проверять по часам, — и чувство полнейшей защищенности, когда устраиваешь голову на обросшей кудлатой шерстью широкой груди... Это все очень серьезно, и это надо довести до конца...

17

Прошлое было, конечно, неотменимо. Да и чего в нем было отменить...

Она отработала последнее представление в Бостоне и, не заходя в гостиницу, поехала в аэропорт. Купила билет и через два часа была в Нью-Йорке. Год был семьдесят пятый. В кармане оставалось после покупки билета четыреста тридцать долларов, которые она привезла из России в кармане брюк. Правильно сделала — деньги на руки трупке так и не дали, обещали выдать в последний день, на покупки, но ждать уже было невозможно.

Она сидела в самолете, поглядывала на часы и понимала, что скандал начнется завтра утром, а не сегодня вечером. Сегодня потное руководство будет бегать по паршивой гостиничке, ломиться во все номера и допрашивать, когда последний раз видели Ирку. Какие будут анафемы, начальник

отдела кадров полетит с работы, это уж конечно... Отец на пенсии, наверняка чем-нибудь торгует, он выкрутится. А мама, умница, только обрадуется, маме позвоню завтра. Скажу, что все у меня получилось отлично, нечего за меня беспокоиться...

В Нью-Йорке позвонила Перейре, цирковому менеджеру, который обещал помочь. Его не было дома. Как потом выяснилось, не было и в городе. Он просто забыл предупредить Ирину о своем отъезде. Второй, случайный телефон, который был у нее, — Рея, клоуна, с которым она познакомилась за три года до того на цирковом фестивале в Праге. Он был дома. Она с трудом объяснила ему, кто она такая. Вне всякого сомнения, он ее не вспомнил, но приехать разрешил.

Ее первая ночь в Нью-Йорке прошла как в бреду. Рей жил в крохотной квартирке в Вилледже со своим другом. Тот и открыл дверь, стройный молодой человек в женском купальнике. Они оказались замечательные ребята и здорово ей помогли. Потом Рей признался, что совершенно ее не помнил и вообще не уверен, что был когда-либо в Праге.

Поскольку Бутан — имя это, фамилия или прозвище сожителя Рея, Ирина так и не узнала — жил в Америке нелегально уже пять лет, ее безумный шаг не показался им таким уж безумным. Сами они сидели в это время без денег и без ангажемента и размышляли, как бы им заплатить за квартиру. На следующее утро они оплатили счет Иркиными деньгами и отправились на заработки. Заработки имели место в Центральном парке, и, как они сказали, Ирка принесла удачу.

Первые несколько дней она корячилась на коврике со своими акробатическими штучками, а потом сшила пять тряпичных кукол, надела их на руки, на ноги и на голову, и заработки их совсем уж устроились. Ирка скромно спала на трех диванных подушках в смежной комнате, ни в чем не ограничивая их сексуальной свободы. Через некоторое время Бутан стал к ней слегка приставать, а Рей начал по этому поводу нервничать. Идея их тройственного союза, таким образом, висела на волоске. Ирка еще выходила с ними на работу, но уже понимала, что надо срочно искать другой способ существования. Вообще они были славные ребята, и она как-то совершенно успокоилась насчет своей резкой линьки: оказалось, таких, как она, пол-Америки.

В один из августовских дней она отыграла свой номер возле входа в маленький зоопарк в Центральном парке и обнаружила себя в объятиях Алика, который двадцать минут внимательно наблюдал за веселой работой ее мускулистых рук и ног.

Еще через двадцать минут она вошла в тот самый лофт, в те времена еще не перегороденный. Алик к тому времени прожил уже два года в Америке, много работал и прилично продавался. Он был весел, независим, эмиграция его складывалась удачно. Он смотрел на Ирку, сделанную из маленького юркого животного, но с человеческим и дерзким лицом, и понимал, что она и есть то, чего ему не хватает.

С тех пор, как они расстались, прошло семь лет. Теперь казалось, что это совершенно выброшенные годы, и они старались поскорее наверстать упущенные слова, жесты, движения. Им не хватало двадцати четырех часов в сутки. Все было стеклянным и прозрачным. Земли под ногами не было.

Однажды ночью, возвращаясь домой, они нашли выброшенный из богатого дома огромный белый ковер и с трудом приволокли его в мастерскую. Теперь Ирка сидела на этом ковре, в естественной для нее позе лотоса, и держала перед собой учебник английской грамматики. Это была Аликова идея, что начинать надо именно с грамматики. Она ее долбила. А он возился со своими гранатами. Весь дом был ими завален: розовыми, багровыми, ссохшимися, бурыми, разломленными и подгнившими — и просто их сухими трупами, из которых был выжат жгучий сок.

Гранаты на его картинах того времени присутствовали в одиночку, парами, небольшими группами, совершали обмены и перекидки. И можно было предположить, что, производя эти несложные манипуляции, он вдруг откроет новое, никому не известное число в пределах всем известного числового ряда, например между семью и восемью...

Восемьдесят восемь дней прожила Ирка в этой мастерской. Они ели, разговаривали, обнимались, принимали теплый душ — потому что тогда тоже была жара и трубы прогревались, — и все было счастье, вернее сказать, только начало счастья, потому что и представить себе было невозможно, чтобы все это кончилось. Джаплиновские композиции рассыпались по ночам.

В жестких Иркиных губах проступала расплывчатая нежность: она уже знала, что беременна, и все тело ее с головы до ног испытывало физиологическое счастье. Алик об этом еще не знал.

Он и без этого известия не особенно хорошо представлял себе, что ему делать. В то время он как раз ждал приезда Нинки, с которой развелся перед отъездом, и тогда ему самому не было ясно, развелся он с ней в шутку или всерьез. Отец ее никогда в жизни не дал бы ей разрешения на выезд, Алик же твердо решил уезжать. После его отъезда Нинка начала загибаться от своего тихого безумия, пыталась покончить с собой — это уже был второй суицид, лежала в психушке, звонила, звонила... Теперь же нашли наконец подставного американца, он на Нинке женился, и Нинка оформляла выезд на постоянное жительство к фиктивному мужу. Такие бумаги требовали иногда нескольких лет беготни.

Алик полоснул ножом по длинной розовой дыне, она распалась надвое — зазвонил телефон. Счастливая Нинка сообщила, что получила разрешение и уже заказала билет.

— Ну вот, а теперь я не знаю, как из этого выбираться, — положив трубку, объявил Алик.

Для Ирки вся эта история была совершеннейшей новостью.

— Без меня она не выживет, очень уж она слабенькая...

Он хорошо помнил, что Ирка сильная, умеет ходить на руках по самому краю крыши, не боится ни начальств, ни властей... Поэтому он предполагал снять ей жилье у каких-то своих знакомых на Стейтен-Айленд и постепенно разобраться с глупой и безвыходной ситуацией, в которую попал. Про Иркину гордость, которая за эти годы не стала меньше, он забыл. За неделю до приезда Нинки, когда со знакомыми было уже обо всем договорено, Ирка ушла из Аликова дома, и как ей казалось, навсегда...

18

Ирина вышла из кафе и остановилась, не зная, куда себя девать. Вероятно, надо ехать домой — Тишорт скорее всего уже дома. К Аликову подъезду подкатил микроавтобус с кондиционером на крыше, встал прямо под табличкой «No standing any time» и выпустил из себя двух человек в униформе. Третий, с чемоданчиком, похожий на облысевшего Чарли Чаплина, семенил за ними.

— Труповозка, — догадалась Ирина. — Домой. Скорей домой.

Фима встретил служащих похоронки. Надо было развести мизансцену, он кивнул Валентине:

— Подержи ее здесь.

Но Нинка никуда и не рвалась. Она сидела в белом драном кресле и загадочно бормотала что-то, поминая травку, Божью волю и Аликов характер...

В спальне закрылись два добрых молодца и их дробненький начальник. Жалко, что Алик уже не мог улыбнуться этому комическому трио.

Пока Фима договаривался с ними о подробностях церемонии — Чарли Чаплин был вроде администратора среди них, — добрые молодцы вынули из чемоданчика огромный черный мешок из толстого пластика, похожий на те мусорные, которыми по вечерам забиты улицы, и ловким трехтактным движением сунули Алика в пакет, как покупку в магазине.

— Стоп, стоп, — остановил ребят Фима. — Минутку подождите. Чтоб жена не видела...

Он вышел в мастерскую, вытащил покорную Нинку из кресла и унес на кухню. Там он легонько прижал ее к себе и, коснувшись небритой щекой ее длинной, покрытой тончайшими, как будто иглой наведенными, морщинами шеи, спросил:

— Ну, зайка, скажи, чего хочешь? Хочешь, за травкой сбегаю?

— Нет, курить я не хочу. Я бы еще выпила...

Он сжал ее запястье, подержал полминуты.

— Давай я тебе укольчик сделаю, а? Хороший укольчик. — Он прикидывал, какой бы коктейль ей сейчас запузырить, чтобы отключить на время.

Пока он стоял, загораживая широкой спиной дверь кухни, мимо нее похоронщики вынесли этот черный мешок — как выносят старую вещь, сломанную и ненужную.

Когда работники открыли сзади люк багажника и сунули в него черный мешок, Ирина уже шла по направлению к метро.

Потом Фима сделал Нинке укол, она заснула, проспала до следующего утра на той самой оранжевой простыне, с которой унесли ее мужа. Странно, но она даже не задала вопроса, где он. Она только время от времени, пока не уснула, нежно улыбалась и говорила:

— Вы меня никогда не слушаете, я же говорила — он выздоровеет...

Народ шел и шел. Многие не знали о его смерти, забежали просто так. Знакомых у него было очень много и помимо тех, кто составлял русско-еврейскую колонию этого огромного города. Пришел какой-то итальянский певец, с которым Алик подружился когда-то в Риме. Пришел хозяин кафе и действительно принес чек. Либин по старой российской традиции собирал деньги. Пришли какие-то люди из Москвы, один с письмом для Алика, другой назвался его старым другом. Заходили какие-то уличные, никому не известные. Звонил телефон то из Парижа, то из Ярославля.

Отец Виктор, когда узнал о предсмертном крещении Алика, охнул, всплеснул руками, замотал головой, а потом сказал:

— На все воля Божья...

Да и что мог сказать еще честный православный человек...

Утром, накануне похорон, он заехал за Ниной на своей древней машине, привез ее в пустой храм — службы в этот день не было — и совершил заочное отпевание почти заочно крещенного человека. Он пропел низким полнзвучным голосом лучшие из всех слов, которые были придуманы для этого случая. Нина сияла радостью и ангельской красотой, а Валентина, стоявшая позади нее со свечой, в снопе пыльного света, шедшего с потолочного окна, отпустила самой себе грех своей любви к чужому мужу.

Когда умолкли в пустом пыльном воздухе последние отголоски поющего голоса, Валентина взяла из рук отца Виктора квадратный сверток с землей, белую ленту с молитвой и маленькую бумажную иконку. В гроб положить.

Потом Валентина подхватила шаткую Нинку под руку и усадила в такси. Входя в желтую потрепанную тачку, Нинка склонила маленькую голову и двинула плечами так, как будто ехала в «роллс-ройсе» на прием в Букингемский дворец.

«Вот бедная птичка осталась на мою голову, — вздохнула Валентина. — Господи Боже мой, неужели я ее столько лет ненавидела...»

Содержатели похоронного дела Робинсы, в прошлом веке Рабиновичи, расшатали всем известную еврейскую негибимость до такой гуманной и коммерчески оправданной веротерпимости, что за последние пятьдесят лет превратились из «Еврейского погребального общества» просто в «Погребальный дом» с четырьмя отдельными залами, где происходили церемонии всех религиозных конфессий с самыми разнообразными причудами. Как раз на прошлой неделе мистеру Робинсу пришлось в одном из залов монтировать киноэкран, чтобы в присутствии непогребенного покойника, в соответствии с его завещанием, продемонстрировать родственникам и друзьям непосредственно перед похоронами трехчасовой кинофильм о его концертной деятельности. Он был чечеточник.

Сценарий Аликовых похорон был относительно скромным: никакой религиозной процедуры не заказали, отказались от надгробной плиты — а у Робинса была порядочная гранитная мастерская, — но оплатили место в еврейской, наиболее дорогой, части кладбища. Место, правда, было паршивое — возле самой стены и без прохода.

Церемония была назначена на три часа, и без десяти три холл перед залом был полон. Нынешний Робинс, четвертый владелец безотказного, не знающего экономического спада дела, красивый старик с левантийской внешностью, был в недоумении. Он полагал, что по характеру участников церемонии может сказать о своем клиенте все. В этой психологической игре он видел одну из самых привлекательных сторон своей профессии. На этот раз он не только не смог сразу определить имущественного ценза клиента, но даже усомнился в его национальности, на которую, казалось бы, недвусмысленно указывало желание родственников похоронить его в еврейской части кладбища.

В толпе были негры, что крайне редко наблюдалось на еврейских похоронах. Правда, судя по одежде, это были люди артистического мира. Лицо одного старика показалось Робинсу знакомым: это был знаменитый саксофонист, фамилию которого он не мог вспомнить, но видел его то ли на обложках журналов, то ли по телевидению. Присутствовало также несколько южноамериканских индейцев. Среди белых гостей тоже была полная разноголосица: солидные еврейские пары, несколько великолепных англосаксов, видимо богатые галерейщики, а также русские разных сортов — от вполне приличных до шаромыжников, к тому же подвыпивших. Робинс был американцем четвертого поколения, выходцем из России, но вместе с русским языком давно утратил романтическую привязанность к опасной стране и ее шальному народу.

«Странный клиент, — думал он. — Вероятно, музыкант».

Он даже сделал крюк через служебное помещение, чтобы взглянуть на нестандартного покойника...

Ровно в три вошла Нинка. Все вдохнули — и выдохнули. Из-под черной шелковой шляпы, из-под широкой вуали падали на две стороны ее знаменитые волосы — золото с серебром. Поверх короткого черного платья было накинуто прозрачное туалевое пальто до пят, тоже черное, а туфли были на тот момент старомодными — на высокой платформе, с огромными гранеными каблуками.

Галерейщики застонали, и один шепнул на ухо другому:

— Лиф Вортса, лучшая идея в истории костюма всех времен и народов. Бесподобно. У Алика сногшибательный вкус. Если бы он занимался костюмом, мы бы имели не довольно ординарную живопись, а гениального модельера.

— Изумительная модель, — оценил второй. — Я ее еще три года назад заметил.

— Старая, — с сожалением отозвался первый.

Фима, в голубой рубашке с симметричными пятнами пота под мышками, в сандалиях на босу ногу, вел Нину, испытывая противоречивые чувства острой жалости к бедняжке и глубокого отвращения к роли, которую он вынужден был играть, совершенно не имея склонности к самодеятельному театру. К тому же он в эти два дня успел нахлебаться говна по самые уши, пока добывал деньги на похороны.

Нина шла как «черная невеста», как «сати» — индийская вдова, восходящая на погребальный костер. Со дня смерти Алика она помнила только две вещи: что он выздоровел и что его больше нет. Эти вещи не совместились бы в обычном человеческом сознании. Но в ее маленькой головке, празднично посаженной на длинной шее, что-то сместилось давным-давно, как от легкого поворота перестраивается узор в окошечке калейдоскопа, и все улеглось новым порядком, нисколько не мешая одно другому, в успокоительной отдельности.

Слова «смерть», «умер», «похороны» постоянно эти дни звучали вокруг нее, но не проникали сквозь невидимый заслон, им просто не было места в том узоре, который сложился теперь в ее сознании.

Зачем-то ее привели сюда. Это было связано с Аликом. Алик любил, чтобы она была красиво одета. Она тщательно готовилась и продумывала свой наряд для него...

Она прошла через толпу людей никого не узнавая. Лево́й рукой она прижимала к груди черную лакированную сумочку в виде трехслойного бублика, а в правой держала толстые стебли лилий, которые волочились своими бело-зелеными надменными головками за подолом ее прозрачного пальто.

Толпа перед ней расступалась, расступились и двери зала как раз в тот момент, когда она к ним подошла. Не замедлив шага, она вошла в зал. За ней расширяющимся треугольником следовали люди. Очень много людей с цветами, гораздо больше, чем обычно вмещал этот зал.

В торце стоял катафалк, а на нем большая белая коробка, по форме напоминающая футляр от одеколona. В коробке лежала прекрасно раскрашенная кукла в виде рыжеволосого подростка с маленьким лицом и маленькими усиками.

Господин с внешностью телевизионного диктора в годах уже было раскрыл рот, но Нинка прошла сквозь него. И хотя господин был явно недоволен, что экстравагантная вдова так бесцеремонно его отодвинула, он поосторонился.

Она подняла вуаль, склонилась, пристально вглядываясь в этот плохой скульптурный портрет из странного неузнаваемого материала, и улыбнулась маленькой понимающей улыбкой.

«Вместо Алика», — догадалась она.

Когда она подняла голову, то стоящие рядом галерейщики увидели, что от прямого пробора вниз по лицу идет черная тонко наведенная полоска, спускается на шею и исчезает в глубоком вырезе платья.

— Ну, класс, — одобрительно шепнул один галерейщик другому.

— Дамы и господа! — торжественно произнес официальный господин...

Это был точный и дословный перевод той кладбищенской галиматши, которую обыкновенно произносит над фиктивной печью крематория толстая дама в провинциальном костюме из черного кримплена по другую сторону океана...

Гроб полагалось везти на катафалке, и делали это служители. Но участок находился в такой густонаселенной части кладбища, что пронести туда гроб можно было только на руках, да и то наступая на чужие могилы. Метрах в тридцати от места тропка резко оборвалась, оставив только проход в стопу шириной. Мужчины прошли вперед, выстроились цепочкой до вырытой заранее могилы, и белый челнок поплыл, передаваемый с рук на

руки, до места своей последней стоянки. Он опасно и весело покачивался над головами. Августовское сильное солнце пригнало вдруг ветерок с океана. Нинка стояла на постаменте чужого памятника, рядом со свежей ямой, земля из которой была аккуратно сложена в гжуче-розовые корзины, а ветер тянул назад черную туаль ее наряда, и линияло-драгоценные волосы шевелились на ветру, как парус.

Ирина стояла в самой гуще толпы. С Аликом она попрощалась давным-давно. Теперь у нее была другая забота: она создавала отца своему ребенку. Собственно, ничего особенного ей и не пришлось делать, они сами нашли друг друга. Ей только пришлось вложить в это предприятие довольно много денег — невозвратных. Вот и эта могила, в нее тоже немало вложено: у девочки был любимый отец и будет его могила. Ирина усмехнулась: все простила, но ничего не забыла... Я рожала свою дочку в больнице для бедных, а ты в это время миловался с Нинкой и, может, с этой второй телкой, Валентиной... Стоит на полшага сзади, но рядом, место свое знает... Интересно, она хитрая сволочь или просто баба хорошая... Какая я стала злая... Алик, Алик, все могло быть по-другому. А не смогло... И хорошо!

В этой отдаленной части кладбища, у самой ограды, могильные плиты устремились вверх. Вокруг каждой, лежащей горизонтально, вздымалось несколько родственных, стоящих будто на одной ноге. Квадратные угловатые надписи, сохранившие в своей графике память о глиняной дощечке и тростниковой палочке, мешались с английскими, с нелепо готическим акцентом, выдававшим место рождения и в камне воплощенные вкусы давно ушедших людей.

Закрытый гроб стоял на соседней могиле, и подоспевший Робинс, почтивший своим присутствием необычного клиента, скомандовал дирижерским движением — опускать. Валентина что-то сказала Нинке, и та раскрыла свою круглую сумочку и вытащила из нее пакетик с землей. Она сыпала ее щепотками, как солят суп, и шевелила губами. Двое рабочих ждали наготове с лопатами.

— Погодите, погодите! — раздался вдруг вопль с главной дорожки.

За спинами людей шло какое-то неясное движение, толкотня, трудное и неловкое протискивание. Наконец, растолкав всех, появился пылающий Лева Готлиб. За ним следовало еще некоторое количество бородатых евреев, общим числом десять. Эта команда немного опоздала. Они вылезли из автобуса и заблудились, поскольку у каждого было свое собственное суждение о том, где должна находиться контора. Теперь, натягивая на ходу молитвенные покрывала и тфиллин, расталкивая мужчин и наступая на ноги женщинам, они возглашали первые слова:

— Да возвеличится и освятится Великое Имя Его в мире, который Он вновь создаст, когда Он воскресит мертвых и призовет их к вечной жизни...

Они запели и запричитали высокими печальными голосами, но едва ли кто, кроме Робинса, понимал смысл этих древних восклицаний...

— Откуда взялись эти древнеевреи? — спросила Валентина у Либина.

— Ты что, не видишь: Готлиб привел...

Они так и не узнали, что это реб Менаше позаботился о бедном «пленном ребенке»...

У Валентины возникло подозрение, что евреи слишком уж декоративные, не актеры ли из какого-нибудь маленького театра с Брайтон-Бич.

«Надо у Алика спросить...» — и в ту же секунду поняла, что есть множество, великое множество вещей, спросить о которых ей теперь будет не у кого...

Они прочли поминальные молитвы, это было недолго. Потом передние стали отступать от могилы, задние просачивались вперед, гора цветов росла, была уже Нинке по пояс, а она все укладывала каждый цветок от-

дельно, гладила, устраивала не то странный домик, не то мавзолей и улыбалась так, что теперь уже многие заметили, что она похожа на престарелую Офелию.

Потом все попятились прочь, и теперь евреи, стянув с себя белые покрывала и обнажив обуглившиеся на солнце черные костюмы, оказались в числе последних, но Нинка дождалась их и просила приехать в дом на поминки. Самый старый из них, лысый, с приклеенной пластырем прямо к голой голове кипе, подняв две сухие ручки на уровень лица и растопырив желтые пальцы, горестно сказал:

— Деточка! Евреи не садятся кушать после похорон. Они садятся на землю и имеют пост... Хотя выпить рюмку водки очень хорошо...

В дымящихся черных костюмах они влезли в микроавтобус, на котором синими буквами по белому было написано «Temple Zion»...

20

Тишорт и Джойка на похороны не поехали. Они остались дома. Тишорт занялась развеской. Вытащила старые картины, разгребла двухлетнюю пыль, соображала, как повесить. Разом, как глаза у котенка на седьмой день, у нее открылось зрение, она начала видеть Аликовы картины: какую — куда — эту — рядом — ту — выше — ту — убрать совсем... Ничего не надо было решать, надо было только смотреть, а они сами выстраивались по-умному и красиво...

«Пойду искусствоведение изучать», — решила она немедленно, забыв, что на прошлой неделе уже посвятила себя Тибету.

Ей больше нравились картины среднего и маленького размера, но просилась в торец большая, и она позвала на подмогу Джойку с Людой, и они повесили трехметровое полотно, которое лет пять стояло лицом к стене. Там было очень, слишком уж много всего нарисовано: какой-то осенний праздник, с виноградом, грушами и гранатами, пляшущими женщинами и детьми, кувшины с вином, дальние горы и человек, входящий под навес...

Люда резала сыр и колбасу, крошила салаты, Джойка медлительно и сонно разносила по всем углам разовую посуду и русско-еврейскую якобы домашнюю еду, купленную в эмигрантском магазине: селедка, пирожки, студень, салат, называемый русскими «оливье», а другими народами «русским»...

Приехали все сразу, большой толпой. Грузовой лифт поднял их снизу в три приема. Человек пятьдесят сели за общий стол, составленный из досок и всякого хлама, остальные, взявши рюмки и тарелки, как на американском парти, бродили из угла в угол. Удивительно, как при таком скоплении народа может возникнуть чувство пустоты.

Вашингтонские галерейщики тоже приехали. Они ходили по мастерской, как по выставочному залу, и разглядывали работы. Вид у них был недовольный, и минут через десять, когда народ еще и пить не начал, они поцеловали Нинке руку и исчезли.

Ирина смотрела на них без всякого удовольствия — ей еще предстояло с ними потягаться. Как бы там ни было, а денег-то Алику они не отдали и работ не вернули...

Файка оказалась тем знатоком обрядов, который всегда обнаруживается на свадьбе и на похоронах. Она налила рюмку водки, покрыла ее куском черного хлеба и поставила на тарелку:

— Алику.

Так было надо.

Застольно и подготовительно гудели — без громких разговоров, без всплесков отдельных голосов. Монотонное бормотание да звяканье стекла. Разливали водку.

В дверях стояла Тишорт, бледная, с опухшим ртом и розовыми ноздрями, в черной майке с желто-оранжевой надписью. В кармане, в потной руке, она давно уже держала эту пластмассовую коробочку, и теперь настало время, когда она должна была ее предъявить.

Нина сидела на подлокотнике белого кресла, а в кресле никого не было. Фима встал с поднятой рюмкой и собрался говорить.

— Послушайте все! — крикнула Тишорт.

Ирина замерла — чего угодно она могла ожидать от своей странной девочки, но только не публичного выступления.

— Послушайте! Алик просил вам вот что передать!

Все обернулись в ее сторону — она багровела на глазах, как индикаторная бумага при химической реакции, но тут же села на корточки и вставила кассету в магнитофон, который, как обычно, стоял на полу. И почти сразу же, почти без паузы, раздался ясный и довольно высокий голос Алика:

— Ребятки! Девчушки! Зайки мои!

Нинка вцепилась руками в подлокотник. Аликов голос продолжал:

— Я здесь, ребятки, с вами! Наливаем и выпиваем и закусываем! Как всегда! Как обычно!

Каким простым и механическим способом он разрушил в одно мгновение вековую стену, бросил легкий камушек с того берега, покрытого нерастворимым туманом, непринужденно вышел на мгновение из-под власти неодолимого закона, не прибегая ни к насильственным приемам магии, ни к помощи некромантов и медиумов, шатких столиков и вертявых блюдецек... Просто протянул руку тем, кого любил...

— И прошу вас, пожалуйста, без всяких мудовых рыданий! Все отлично! Своим чередом! О'кей? Да?

...Громко всхлипнула Джойка. Окаменела, слегка выпучив глаза, Нина. Женщины, пренебрегая Аликовой просьбой, дружно заплакали. И те из мужчин, кто мог себе это позволить, тоже. Достал из кармана клетчатую тряпочку, прикидывающуюся носовым платком, Фима.

Алик как будто их видел:

— Ну что вы такие прихуевшие, ребятки? Выпьем за меня! Ниночка, за меня! Поехали! Тишорт, детка, выруби на минутку магнитофон.

Потекла пауза. Тишорт нажала на кнопку не сразу, а лишь после того, как раздался снова голос Алика:

— Выпили?..

Она отмотала назад.

Выпили стоя и не чокаясь. Великая пустота, которая возникает после смерти, была заполнена обманным путем. Но — удивительное дело! — она была все-таки заполнена.

Ирина стояла прислонившись к дверному косяку. Она свое раньше отплакала. Но все равно зацепило — чего же в нем было такого особенного? Он всех любил? Да в чем она, любовь эта, заключалась? Художник хороший? А что это сегодня значит? Не покупают — значит, плохой... Художник по жизни. Художественно жил... А я зачем таскаю свои кирпичи, зачем беру препятствия, зарабатываю кучу денег? Как это нехудожественно... Оттого, дружок, что тебя со мной не было? А где ты был?

— Выпили? — снова раздался голос Алика. — Я очень прошу, чтобы все как следует напились. Главное, не сидите с плачевными мордами. Лучше потанцуйте. Да, вот что я хотел сказать: Либин и Фима! Если вы сегодня не помиритесь, то будете засранцы. Нас так мало, всего ничего. Выпейте, пожалуйста, в мою честь и кончайте дурацкие разборки!

Либин и Фима через стол смотрели друг на друга, бывшие друзья, мальчишки с одного двора, и улыбались запоздалой ругани Алика. Они уже примирились в эти горячие месяцы. В общих многолюдных волнениях этих дней, с танками, стрельбой, московской революцией, в репликах, ни

к кому не обращенных, но падающих в нужном направлении, давняя обида развеялась.

— Не чокаются, не чокаются! — заверещала Файка.

— Погоди, из бумаги перелью.

Стаканы грубо и глухо стукнулись.

— Будь здоров, Шершавый!

— И ты будь здоров, Лифчик.

Был действительно некий лифчик, белый, на крупных костяных пуговицах, с растянутыми резинками и проволочными, обвязанными толстой ниткой чулочными застежками. В Харькове, после войны, в позапрошлой жизни...

— Ребята, я не могу вам сказать спасибо, потому что таких спасиб не бывает. Я вас всех обожаю. Особенно вас, девчушки. Я даже благодарен этой проклятой болячке. Если бы не она, я бы не знал, какие вы... Глупость сказал. Всегда знал. Я хочу выпить за вас. Ниночка, держись! За тебя, Тишорт! За тебя, Валентина! Джойка, за тебя! Пирожковой привет, я ее люблю безумно! Файка, спасибо, зайка! Отличные фотки сделала! Нелечка, Люда, Наташка, все-все, за вас! Мужики, за вас! За ваше здоровье! Да, еще хотел сказать: я хочу, чтобы было весело. Все. Пиздец.

Пленка крутилась с легким шорохом, на ней уже не было никаких слов, но можно было расслышать хрипловатые вздохи. Никто не пил. Все молча стояли с рюмками и слушали редкие судорожные воздушные всхлипы, да индейская музыка неравномерно прорывалась в эту пустую пленку с улицы через открытое окно. Все слушали напряженно, как будто можно было там выслушать еще что-то важное, и оказалось, что действительно это не все: раздался щелчок лифта, хлопнула дверь.

— Тишка, выключи магнитофон, — сказал Аликов голос, обыденный и усталый и без всякого пафоса. Тогда раздался щелчок, и все смолкло.

Сначала веселья не получалось. Было как-то слишком тихо. Алик сделал, как обычно, нечто необычное: три дня тому назад был живой, потом стал мертвый, а теперь занял какое-то третье, странное, положение, и оттого все были в смущении и в печали, хотя алкоголем никак не пренебрегали.

К столу подходили, отходили, таскали из угла в угол тарелки и стаканы, перемещались, склеивались в группки и опять перемещались. Свет не видывал такой пестрой компании: пришли Аликовы друзья-музыканты и еще какие-то отдельные люди, которых раньше никто в глаза не видел, и непонятно было, где он их подцепил и как они узнали о его смерти. Парагвайцы держались слитной фалангой, и только их предводитель выделялся темно-розовым шрамом и общей окаменелостью красивого лица. Колумбийский профессор оживленно общался с водителем мусоровоза. Берману приглянулась Джойка, но он по занятости два года не прикасался к женщине и не был уверен, что джинна следует выпускать из бутылки... А знай он про нее то, что было известно Алику, он бы к ней и близко не подошел: она была девственница и к тому же происходила из древнейшей римской семьи, упоминавшейся Тацитом...

Нина попросила достать с антресоли серую коробку. В ней было трогательное богатство, переправленное в свое время в Америку через дипломатических знакомых, — первый джаз, совершивший путешествие за железный занавес и обратно. Среди тяжелых черных блинов попадались самодельные, «на костях». Там же лежали и коричневые ленты первых магнитофонных записей...

Один Алик умел танцевать танго по-настоящему, со всеми сложными па, резкими замираниями и глубокими запрокидываниями, которые в пятидесятые годы логично перешли к рок-н-роллу...

Сегодня его замещал на этом месте Либин. Они двигались с Нинкой рывками, с резкими поворотами, но Либину не хватало артистической томности, без которой танго лишено своего главного аромата... Черный саксофонист облюбовал беленькую Файку, и она очень нервничала, поскольку, с одной стороны, подобно большинству российских эмигрантов, была расисткой, с другой стороны, перед ней был несомненно американский продукт, которого она еще не пробовала...

В доме раскачивалось веселье. Те, кого это оскорбляло, ушли. Ушел и Берман с Джойкой. Каждый из них принял свое решение, но не был уверен, получится ли. Джойку колотило от страха, и больше всего она боялась, что с ней случится истерика. Но все произошло так прекрасно и красиво, что к утру они оба точно знали, что не напрасно так долго жили в одиночестве.

В начале одиннадцатого часа пришел хозяин в сопровождении смущенного Клода. Он сам сообщил хозяину, что жилец умер, и тот, переждав несколько дней, выбрал-таки подходящий момент, чтобы оповестить Нинку об освобождении помещения с первого числа.

Когда хозяин подошел к ней, чтобы собственноручно вручить извещение, она, херепутив его с кем-то, поцеловала его и сказала по-русски, чтоб он взял стакан.

Деловую бумажку она рассеянно уронила на стол, и она тут же соскользнула на пол. Нинка и не подумала ее поднять. Хозяин пожал плечами и удалился, глубоко возмущенный. Клоду так и не удалось убедить его, что он присутствовал на традиционных русских поминках...

Кто-то поставил старую магнитофонную запись. Это был московский шлягер конца пятидесятых, домашняя смешная переделка:

Москва, Калуга, Лос-Анжелос
Объединились в один колхоз...
О Сан-Луи, сто второй этаж,
Там русский Ваня лабает джаз...

Какая же это была древняя и милая музыка, все ей улыбались, и американцы, и русские, но русским она дороже стоила, эта музыка, — за нее когда-то песочили на собраниях, выгоняли из школ и институтов. Файка пыталась своему кавалеру это объяснить, но никаких слов на это не хватало. Да и как это объяснить, когда все грустно-грустно, а вдруг такая сладкая радость немножко проливается или, наоборот, такое веселье, полная радость тела, а откуда ни возмись такая печальная нота, и сердце зажимает... Вот за то и гоняли...

Люда, настолько прижившаяся за эти дни в доме, что, выпив, позабыла, где она находится, все порывалась сбежать к соседке Томочке, излить ей душу, и никак не могла взять в толк, что Средне-Тишинский переулок — не за углом.

— Мам, ну до чего ж ты смешная пьяная, никогда не видел. Тебе идет, — тянул ее сын от двери.

Тишорт подошла к Ирине и тронула ее за плечо:

— Пошли, мам. Хватит.

Вид у нее был строгий.

Поджарая и легкая Ирина шла рядом со своей недопеченной рыхлой дочкой и чувствовала, что между ними что-то происходит — и произошло уже: ушло напряжение последних лет, когда она постоянно чувствовала хмурое недовольство дочери и ее неприязнь.

— Мам, а кто это Пирожкова?

Так получилось, что она впервые слышала эту фамилию. Ирина не сразу ответила, хотя и давно готовилась:

— Я Пирожкова. У нас был роман в ранней юности. В твоем примерном возрасте. Потом рассорились, а много лет спустя снова встретились.

Получилось ненадолго. А на память об этой встрече Пирожкова оставила себе ребеночка.

— Молодец, Пирожкова, — одобрила Тишорт. — А он знал?

— Тогда — нет. А потом, может, догадался.

— Хороши родители, — хмыкнула Тишорт.

— Не нравятся? — резко остановилась Ирина. Она давно была уязвлена тем, что не нравится дочери.

— Нет, нравятся. Все другие еще хуже. Он знал, конечно. — Голос у Тишорт был взрослый и усталый.

— Ты думаешь, знал? — встрепенулась Ирина.

— Я не думаю, я знаю, — твердым голосом сказала Тишорт. — Ужасно, что его больше нет.

Негромкое жужжание русско-английского разговора прервалось резким и высоким взвизгом. Сбросив с ног черные китайские тапочки, Валентина шегольским движением, каким удалой гитарист ударяет по струнам, рванула верхнюю пуговку желтой рубахи, так что все остальные посыпались на пол мелким дождиком, и вышла, крепко шлепая толстыми роговыми пятками и блестя лаковым матрешечьим лицом.

Ах — тю, ах — тю!
У тебя в дегтю,
У меня в тесте,
Слепимся вместе!
Ай-яй-яй-яй-яй! —

испустила Валентина высокий переливчатый и длинный вопль.

Шлепнув себя по бедрам, она ловко заколотила ногами по грязному полу.

Мотавшаяся все студенческие годы по северным экспедициям, собиравшая осколки живой русской речи в Полесье, под Архангельском, в верховьях Волги, когда-то она изучала фольклорные непристойности, как другие ученые — строение клеточного ядра или движение перелетных птиц. Она помнила частушки тысячами, вместе с диалектами и интонациями, во всех многочисленных вариантах, и стоило ей только разрешить себе открыть рот, как они слетали с языка, живые и неповрежденные, как будто только вчера с деревенской вечерки...

Ух-тюх-тюх-тюх!
Разгорелся мой утюг... —

рассыпала она вокруг себя мелкие угольки, а темные пятки ее выделывали такую резвую дробь, как будто она затаптывала эти горячие угольки, вывалившиеся из печки.

Парагвайцы просто зашлись от счастья, особенно их главарь.

— Что это? — спросил саксофонист у Файки, но она таких слов не знала и потому ответила приблизительно:

— Это русский кантри...

Нинка, еще до начала Валентиного фольклорного хита, с прямой спиной и запрокинутой головой, как через сцену, прошла к себе в спальню. Здесь, в полутьме, она присела на край тахты и, услышав звяканье стекла, поняла, что она здесь не одна. В углу, на корточках, спиной к ней, сидел Алик. Он передвигал оставленные там бутылки, что-то искал.

Нина не удивилась, но и не двинулась с места.

— Что ты там ищешь, Алик?

— Да маленькая такая бутылка стояла, темного стекла, — с легким раздражением ответил он.

— Там и стоит, — отозвалась Нина.

— А, вот она, — обрадовался Алик и поднялся, прижимая к старой красной рубашке темную бутылку.

Нинка хотела его предупредить, чтоб он был аккуратнее, от этих травяных растворов остаются отвратительные бурые пятна, но не успела. Он шел мимо нее, и она заметила, что он действительно совершенно выздоровел, поправился и походка его прежняя, легкая и чуть разболтанная в коленях. И еще. Проходя мимо, он легко погладил ее по волосам, и не кое-как, а своим собственным давним жестом: разведя пальцы гребенкой, он запустил их Нинке в волосы, у самых корней, и прошелся ото лба к затылку. И еще она увидела, что ее крестик висит у него на груди, и поняла, что все у нее получилось.

«Надо будет обязательно потом сказать Валентине», — подумала она и, коснувшись головой подушки, мгновенно уснула...

Но Валентину она все равно в это время не нашла бы — она была далеко. В ванной комнате, в душевом отсеке, коротконогий жилистый индеец коротким массивным орудием наносил ей удар за ударом. Она видела его черные волосы, распустившиеся вдоль втянутых щек, розовую полоску новой кожи, натянутой на шрам. На лодыжках и на запястьях она ощущала железный хват, но при этом вся была на весу, без упора, и двигалась сильными рывками вверх и вперед. Происходящее нисколько не напоминало ничего, что она испытывала в жизни, и это было потрясающе.

21

Телефонный звонок разбудил Ирину среди ночи.

«Наверное, Нинка пьяная звонит», — подумала она и потянула к себе трубку.

Мельком взглянула на часы — начало второго.

Однако звонила вовсе не Нинка — звонил один из галерейщиков, тот, который вел бумажные дела.

— У нас возникло срочное дело относительно вашего клиента, — начал он с ходу. — Мы хотели бы приобрести все оставшиеся в его мастерской работы, но не затягивая.

Ирина держала паузу — она этому была обучена.

— Ну и, разумеется, мы хотели бы, чтобы вы отозвали иск. Сейчас все наши отношения будут пересмотрены...

Раз, два, три, четыре, пять — получай!

— Ну, во-первых, что касается иска, это отдельное дело, и мы ни при каких обстоятельствах не будем их объединять в одно. А относительно работ моего клиента — это мы сможем обсудить с вами в конце будущей недели, после моего возвращения из Лондона. Я еду как раз по поводу этих работ, — с большим профессиональным удовольствием соврала она.

Сна уже не было ни в одном глазу. Она встала, вышла в гостиную. Из-под двери Тишорт выбивалась махровая полоска света. Она постучала.

Тишорт в длинной ночной рубашке — в такую-то жару — приподнялась на локте, убрав книгу.

— Ну что?

— Похоже, он все-таки был хороший художник. Эти бандиты звонили, хотя купить все оставшиеся после Алика работы.

— Да ты что? — обрадовалась Тишорт.

— Да. Я еще для тебя наследство выколочу. Вот так.

— Ты смеешься, какое наследство? А Нинка? С ней что мы будем делать?

— Ну, Нинка меня не интересует. А за этими деньгами еще придется ой как побегать. — Вид у Ирины был очень усталый, и Тишорт подумала, что мама стареет и ночью, без краски, совсем не красавица, а так себе...

— Знаешь что, давай в Россию съездим. — Тишорт отодвинулась, освобождая Ирине место.

Долгие годы Тишорт не могла засыпать одна, и Ирина неслась с другого конца города, чтобы это несчастное молчаливое существо уткнулось в ее плечо и заснуло...

Ирина легла, устраивая свои тощие косточки поудобнее.

— Я уже и сама об этом думала. Поедем, обязательно поедем, только вот немного устаканится.

— У — что? Как ты сказала?

— Устаканится, ну, придет в порядок, что ли...

— Нет, Алик говорил, что если там придет в порядок, то это будет другая страна.

— А вот об этом не беспокойся: чего-чего, а порядка там никогда не будет...

Ирина погладила рыжую голову дочери, и та не дернулась, не фыркнула.

«Ну что ж, — решила Ирина, — будем считать, что все кончилось».

Нью-Йорк — Москва — Мон-Нуар.

1992 — 1997.



ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ

*

В БЕСПРЕДЕЛЬНОМ КОСМОСЕ ОБОЧИНЫ

* *
*

О. Ч.

Может, и есть стихи, что растут
из всяческого мусора на обочине большака.
Но найденный тобою образ зернышка,
чудом уцелевшего меж зубьев
перекошенного маховика,
не отыскать среди хлама
и легковесной половы.
Дудки это все! Враки!
Каждое запавшее в душу слово —
упорство лемеха и драги.

Любовница

С этой женщиной я познакомился ненароком —
без излишних сложностей, затей.
О себе она сказала игриво:
— Я непрокая.
Ни мужа не имею, ни детей. —
Кокетливо выданная подробность
меня немало обрадовала —
у ней я смогу найти тишину, покой,
когда мой семейный градусник
будет показывать нестерпимый зной.
Я сбега́л к своей зазнобе все чаще
и чаще —
прихотился к ее поцелуям, ласкам.
Прельщали и ухоженная квартира,
отсутствие домочадцев.
И еще одна тонкость — запах льняного масла.
Голая, стоя перед зеркалом, как ворожея
настоящая,
она мазала им соски, пупок.
А я, с нетерпеньем на колдунью таращась,
клял ее действия, гораздый швырнуть в вольтыницу
подушку или сапог.
Как-то, лежа в полутьме, я признавался ей
не в искренности чувства —

в трудностях с женой, с работой.

Она выпростала из-под головы руки

и выдохнула грустно:

— Мне бы твои заботы. —

Как страдающий запущенной глаукомой,

я не вглядывался — счастлив человек

или мучается?

Она попала под автомобиль прямо у дома.

И я впервые с ужасом подумал: а несчастный ли

это случай?..

...Спустя многие годы, оказавшись за городом,

я, как собака на дичь, потянулся на едва различимый

волнующий аромат.

Собранные в валки льны,

побитые поедом росным,

чернели, как силосная масса.

И только расстеленная на ополье розвязь

свежо и молодо пахла далеким и уже подзабытым

льняным маслом.

Подоконник

Она была мать-одиночка; ее едиnorodный ребенок,

пацан пятнадцати лет, долгожданный,

после стыдных стараний прижитый уже

не в молодом возрасте,

погиб под Новый год.

Нелепо, случайно —

катаясь на коньках, затылком ударился об лед.

И вместе с ним разбились вдребезги

материнские надежды, чаяния.

С тех пор она словно повредила в уме:

дико вскрикивала, выронив хрупкую чашку

или кувшин из обливной глины.

Собирала черепки, обеззараживала в вине.

И любовно склеивала, представляя голову

убившегося сына.

Несчастливая на глазах стала стареть,

не заботясь ни об одежках, ни о каше

со смальцем.

Желая всего лишь — поскорей умереть

и быть похороненной в одной могиле

с родным мальчиком.

Сирая женщина мучилась,

как лишенная сна.

Вымаливала у Бога успокоения, точно награды.

И однажды выбросилась из окна,

спеша на встречу со сгибнувшей радостью.

В записке она опять и опять просила

о дорогом холмике, указывала квартал,

чертила план, как найти оградку.

Но кто горазд хлопотать о чужом да еще

безденежном покойнике —

сунули на участок для малообеспеченных.

Не думала, сердечная, ступая на подоконник,

что мертвая узнает лицо человежье.

я бросил школу и бежал из дома —
 все омерзело, обрыдло.
 Я стал воровать, считая, что воры
 одни не согласны с паскудным миром.
 Остальные — было.
 ..Я прихожу к белоствольной рано, —
 стою, разделяя ее неизбывную грусть.
 А рядом уже громяхают краны,
 и я за березу опять боюсь.

Злее всех

Жил по соседству с нами благовоспитанный
 мальчик.
 Он не водился с ребячьей гурьбой,
 не играл с огольцами в мячик.
 Из школы — домой.
 Родители старательно оберегали свое дитяtko
 от дурной компании,
 от синяков, шишек.
 Особенно — от дворовых каналов,
 то есть от нас, мальчишек.
 Сорванцы, еще издали тихоню завидя,
 подсмеивались над его чистенькими брючками,
 крахмальной сорочкой.
 А я почему-то жгуче завидовал
 этому маменькиному сыночку.
 Но от дружков-приятелей
 завидки тайные
 скрывал, как тяжкий, не подобающий
 настоящему пацану грех.
 И при приближении паиньки
 изгалялся над ним злее всех.

«Мост Ватерлоо»

Наине Хониной.

В далекую пору,
 когда люди радовались куску хлеба,
 супу перловому,
 а безотцовщина усваивала на улице
 язык подстатейный,
 я впервые увидел «Мост Ватерлоо» —
 фильм заграничный, трофейный.
 На пацана он не произвел
 впечатления чуда,
 в сравненье с другими казался даже
 провальным.
 Но осталось какое-то грустное,
 немальчишье чувство,
 которое не передать словами.
 Забылись музыка к картине,
 содержание,
 не вспомнить имена артистов —
 хоть тяни жилы.

У меня отношение трудное к нынешней
 власти —
 не верю ей ни на грош.
 Но пуще всякой напасти
 я пугаюсь вчерашних вельмож.
 А потому и холод терплю лютей,
 и довольствуюсь скудной краюшкой.
 Одно смущает: а что, как это —
 единоутробные люди,
 случившиеся на разном расстоянии от кормушки?..

Признание

Александрю Андриюшину.

Мы сидели на открытой веранде дачного дома
 известного живописца,
 в поисках гостеприимной усадьбы многие версты
 исколеса.
 Прутики грибного дождя в лучах солнца
 поблескивали, как спицы
 вымытого под струей колеса.
 Яркие цветы, все вокруг выстлавшие,
 ублажали глаз, любящий сочные краски,
 обилие света.
 Именитый хозяин рассказывал о своих
 зарубежных выставках,
 показывал роскошные каталоги, буклеты.
 Но меня занимал приехавший с нами
 художник-гранитчик,
 каждодневно потекущий над могильными плитами.
 Он тяжело вздыхал и частенько тянулся
 к хрустальному графинчику,
 закусывая долькой от шоколадной плитки.
 Каменосека не знали на вернисажах Нью-Йорка,
 Парижа,
 да он и не зарился на дипломы праздничных
 биеннале.
 Его камни слезами подлинными обливали.
 А есть ли признание выше?

Нищий

Я иногда хожу в собор Белая Троица,
 что у нас в Твери, в Затьмачье.
 По соседству особняки добротные строятся,
 а на паперти — увечные, малыши душещипательно
 плачут.
 Я не сочувствую этой уйме побирушек,
 использующих людскую отзывчивость
 не ради пропитания, а наживы.
 Это чисто русское диво, когда все рушится,
 сострадание становится для целого сонмища
 золотой жилой.
 Но кое-кому я подаю небольшие деньги,
 выбирая чутьем внутренним.

Меня тесно обступают подосланные матерями
 хнычущие дети,
 калеки в декоративных рубищах.
 Я предпочитаю одного старичка, —
 собрав чуток от христианской щедрости,
 он уходит с бойкого пятачка.
 Стоит в храме и истово молится сухой,
 костлявой щёпотью.
 Как-то я разговорился с ним
 о мерзостях жизни, цели,
 в который раз выделив дедка из назойливого
 плеска.
 Ответ горемыки меня поразил:
 — Было бы тепло в церкви.
 И немного хлебца. —
 Я распрощался со стариной, не понимая,
 что со мной произошло.
 Я чувствовал себя вольготней, выше!
 В чепуху на постном масле превратились,
 в порошок
 предметы зависти, интрижек!
 Но постепенно пыл радостного преображенья
 угасал,
 верх брали связи, быт привычный.
 И, выражаясь черным словом,
 я зассал.
 А вскоре и забыл о нищем.

Новообращенные

Вчера еще верившие лишь в то,
 что можно потрогать,
 сделавшие человека средством для достижения
 бесовской цели —
 сегодня молятся Богу,
 ходят в церковь.
 Неужто и вправду вымаливают у Господа
 прощение
 за деятельную связь с чертом?
 Только у вскормленных в лукавстве и ханжестве
 не бывает скорых превращений —
 опять потаенные помыслы, расчеты.
 И если не оправдаются их виды на крест,
 на святые мощи,
 легко отступят от обретенной веры.
 И вернуться к старым, испытанным помощникам:
 к удавке и револьверу.

Разлад

Я присутствовал в церкви на обряде крещения;
 к серебряной купели подводили и детей, и взрослых.
 Купол храма высокий до головокружения
 чудился небосводом, усыпанным мерцающими звездами.
 И все в святых стенах возвышало, облагораживало душу;

мои хотения здесь виделись пустяком, вздором,
 подвиги — поддельными.
 Но радостное это состояние было порушено,
 когда вдруг, как на толкучке, в святилище
 зашелестели деньги.
 Оказывается, за таинство приобщения к Богу
 полагалось выложить солидный банковский билет.
 Плату брали и с сердяги, набившего шишки на крутых
 дорогах,
 и с младенца, давеча явившегося на свет.
 И разом недосягаемый небесный свод превратился
 в обыкновенный потолок,
 ясные звезды — в позлащенные картонки.
 Улетучился, исчез какой-то горный ток,
 порвалось что-то дивное и тонкое...
 Нет, верить в Господа я не перестал,
 но мучаюсь, как эпилептик, бьющийся об пол:
 а верил бы я в истину Христа,
 найди в его одеждах римские солдаты
 хоть один обол?..

Спас Ярое Око

Эту икону молодые хозяева дома
 сняли с пыльного чердака,
 продавали как ненужную старину.
 Уже в машине я протер закоптелый лик —
 и ощутил колодезную глубину:
 на меня уставились два пронизывающих,
 прокурорских зрачка.
 От взгляда Спаса, беспощадного, страшного,
 я не мог укрыться ни влево, ни вправо.
 Передо мной была требующая ответа
 неподкупная Правда —
 и я вновь знобкие пережил мурашки.
 Всю длинную беспокойную обратную дорогу
 я пытался скинуть этот трусливый холодок,
 гуляющий по коже.
 Вряд ли я истинно верил в Бога,
 но что меня так всполохнуло,
 встревожило?..

Котенок

В наш подъезд подбросили котенка —
 исхудалую, жалкую крошку.
 На улице пронизывающая мела поземка,
 и новый приют, наверное, показался подкидышу
 нечаемой роскошью.
 В квартиру его к себе никто не пускал,
 измотанные жизнью жильцы на подзаборника
 шипели и рыкали.
 И только дети, утаив за столом
 от своего куска,
 подкармливали на лестнице мурлыку.

От непослушных чад родители
настойательно требовали —
не пригревать приبلудную кошку.
Но на этажах то тут, то там
появлялись блюда, плошки
с намакшим в молоке хлебом.
Пушистый сорванец словно понимал,
к какой он принадлежит касте, —
при появлении взрослых стремглав
устремлялся в подвал.
А к детворе ластился.
По утрам басурманин поучительно мылся,
часами настороженно дремал.
И, казалось, уже прижился,
как вдруг — пропал!
Сиротливо стыла на площадках
его игрушечная посуда,
нагоняла уныние с мягким подстилом
пустующая клеенка.
И обремененные собственными тяготами
люди
в тревоге кинулись искать котенка.

Предзимье

Снега нет, но забереги речки
уже выстеклил лед —
хрусткий, как костяшки ломких пальцев.
Осевший на зиму в мелководной заводи
небольшой бесхозный плот
тоже покрыт скользким, прозрачным панцирем.
Я не ишу глазами шест или подходящую
палку —
вытолкнуть застрявшего бродягу
из пристанища укромого.
Тишину нарушают лишь кричащие
к перемене погоды галки.
И стылая волна, скалывающая звонкую
ледяную кромку.
Мне кажется — я разумею эту ждущую
тишь,
ее сокрытое наречье.
И даже гвалт предчувствующих снег
птиц
и покорливость встающей речки.

В ночных поездах

В ночных поездах, прильнув к окошку
и ладонями укрывшись от вагонного света,
я подолгу всматриваюсь в темноту
с тревогой путевого обходчика.
Словно выискиваю забытые меты
в беспредельном космосе обочины.

Кромешная тьма недвижна,
и летит только снег,
крупинками стучаясь в звонкие стекла.
В памяти оживают пурга, побег,
собаки, сбитые с толку...
Зачем я пялюсь в это неистовое белое
крошево,
травлю себя разными сценами?
С какой мазохистской целью
возвращаюсь в свое прошлое?..
...В вагоне уютно, тепло.
Слышатся музыка, смех.
А я, вперившись в черное стекло,
тарашусь на мятущийся снег.



АНДРЕЙ ВОЛОС

*

ДОМ У РЕКИ

Маленькая повесть

1

Ямнинов поднялся затемно, но пока добрался до города и нашел Ибрагимовы владения в переплетении переулков за базаром, утро было уже в полном разгаре.

— Я к Ибрагиму, — сказал он охраннику. — Ибрагим-ака дома? Скажите — Коля, сосед его по Водоканалу...

Ибрагим — человек до крайности занятой, и Ямнинов не очень-то рассчитывал, что он его так вот, прямо спозаранку, примет. Однако через несколько минут дверь отворилась, и охранник, щедро увешанный средствами ближнего боя, самым дефицитным из которых был двадцатизарядный пистолет Стечкина, неприветливо приказал ему проходить.

— О, Коля-чон! — сказал Ибрагим. — Заходи, дорогой, садись!

— Да я на минутку, — ответил Ямнинов, неловко озираясь. — Извини, что так рано. Мне два слова сказать...

С обеих сторон огромного двора стояло по большому двухэтажному дому. Одурающе пахли розы. Над зеленоватой водой бетонированного хазу чиркали ласточки.

— Э, разве для настоящего труженика это рано! Садись, садись! Бача, якта чойнак бьер!

— Да не надо чаю, я на минутку...

— Ладно, какой разговор! — радушеествовал Ибрагим.

Он сидел на кате, застеленном толстым слоем одеял. Перед ним стоял низенький столик — сандали, на столике — несколько пиал и тарелочка со сладостями.

— Хороший день, — сказал Ямнинов. — Будет жарко. Слишком жарко для мая. Нет, в мае не должно быть такой жары. Боюсь, еще похолодает. Дожди пойдут — и похолодает.

— Да-да, слишком, слишком тепло, — соглашался Ибрагим, кивая. — Непременно, непременно похолодает... Но ничего, потеплеет снова. Лето идет... Как на участках? Все в порядке?

— Как сказать, — уклончиво отвечал Ямнинов. — Твои работают, я заходил вчера. В подвале плитку клали. Хороший дом у тебя будет, Ибрагим. Очень хороший. Большой.

— Да, большой... мне маленький нельзя, — вздохнул Ибрагим.

Когда-то они учились в одном классе. Ибрагим был вечным двоечником, едва тянулся. Ямнинов ему давал списывать на контрольных. С тех пор прошло много лет, время разнесло их по разным руслам. Ямнинов не знал, в чем причины нынешнего богатства и влияния Ибрагима, да и не хотел знать. Несколько раз жизнь прижимала его всерьез, и тогда Ибрагим помогал ему бескорыстно — правда, взять с Ямнинова, по его меркам,

было нечего. Другой бы уж и забыл, что когда-то за одной партой сидели. По ерунде Ямнинов его не тербил — знал, что это дорогого стоит.

Когда вдосталь поговорили о пустяках, Ямнинов стал, с усилием подбирая слова, рассказывать о том, что случилось. Ему самому было странно представить, будто все, что он через силу излагает, произошло на самом деле. На что он надеялся? Он и сам не знал.

Ибрагим слушал, и тонкие брови постепенно лезли все выше и выше.

— О! И ты с ними поехал?! — сказал он в конце концов и в сердцах выплеснул остатки чаю из пиалы на чистую дорожку. — Нет, ну совсем оборзели эти кулябцы! Ты смотри! Нет, ну, они что, совсем оборзели?!

Ямнинов молчал.

Подошел охранник и пробормотал что-то Ибрагиму на ухо.

— Какой еще человек? — удивился тот. — Громче, тут все свои!

— Не знаю, Ибрагим-ака... Мужчина какой-то... Говорит, играть с вами хочет.

— Во что играть?

— Не знаю, Ибрагим-ака... Говорит, ему сказали, что с вами можно играть...

— Э, падарланат! — выругался Ибрагим. — Этого мне только не хватало! Что ему здесь, казино? Пусть ждет. Хотя нет, ладно —пусти! Только обыщи как следует, слышишь? Не вооружен ли? Знаю я эти штучки!

Ямнинов допил остывший чай. Почему-то именно сейчас он понял, что ему никто не поможет.

— Ориф... — протянул Ибрагим, задумчиво покручивая в пальцах пиалу. — Слышал я про этого Орифа... Такая борзая сволочь этот Ориф. Он человек Карима Бухоро, вот какая штука.

На дорожке показался визитер. Это был таджик средних лет, одетый вполне по-кишлачному — в чапане, повязанном руймолем, в тубетейке, в пыльных сапогах. В правой руке он держал вытертый кожаный саквояж с металлическими застежками, который, казалось, прямым перекочевал сюда откуда-то из тридцатых годов.

— Добрый день, Ибрагим-ака, — сказал он, останавливаясь у ката. — Как ваше здоровье? Все ли в порядке? Все ли у вас хорошо?

— Спасибо, спасибо, — степенно отвечал Ибрагим. — Как у вас? Как вы себя чувствуете? Хорошо ли доехали? Чем могу помочь?

— Ибрагим-ака, — смущенно сказал человек, ставя саквояж на землю. — Мне сказали, вы очень богаты.

— Это кто же такое про меня сказал? — деланно изумился Ибрагим. — Вы откуда взялись, уважаемый?

— Я из Рухсора приехал, Ибрагим-ака. Я живу в кишлаке Обигуль. Это недалеко — километров сорок. Магазинщик ехал в Хуррамабад, и я с ним попросился...

— Ну!

— Мне в кишлаке хорошие люди посоветовали: поезжай в Хуррамабад, иди к Ибрагиму, Ибрагим-ака тебе поможет... Видите ли, Ибрагим-ака, — заторопился приезжий, — мне нужно сына женить... да и дом ему новый строить тоже нужно. Это же какие деньги нужны, Ибрагим-ака! Я бедный дехканин... Все, что у меня есть, я с собой привез, — он кивнул на саквояж, стоящий у ног, и вдруг взмолился, сложив темные ладони на груди: — Давайте с вами сыграем, Ибрагим-ака! Может быть, мне повезет, я выиграю, и тогда мне хватит денег! — Он помолчал и мечтательно добавил: — Я бы хотел еще купить несколько хороших баранов...

— Да во что же мне с тобой играть? — оторопело спросил Ибрагим. — Во что ты умеешь играть, уважаемый? Ты из своего кишлака-то сколько раз в жизни выезжал?

— Мне сказали, что вы хорошо играете в карты, — ответил дехканин, не обратив внимания на колкость. — Давайте играть в карты. Может быть, мне повезет.

— Нет, уважаемый, в карты я с тобой играть не буду. Карты — это такая игра, в которой везет тому, кто на ней зубы съел. Ну-ка взгляни на мои зубы! — Ибрагим оскалился, и Ямнинову показалось, что стало светлее — так щедро сияло золото во рту у Ибрагима. — Понял? А ты говоришь — карты! Я себя уважать не стану, если сяду играть с тобой в карты!

Он снял с ноги туфлю и предъявил ее гостю:

— Видишь вот эту туфлю?

— Как не видеть, Ибрагим-ака...

— Хочешь, сыграем с тобой так. Ты поставишь на одну сторону туфли — ну, скажем, на подошву, я — на то, что останется. Потом я ее подкину. Упадет на подошву — все, ты выиграл, я тебе отсчитаю ровно столько денег, сколько ты с собой принес. Если иначе — ты проиграл, твои деньги станут моими. Согласен? — и равнодушно сунул в туфлю бо-сую ногу.

— Согласен, — кивнул визитер. — Это честно, Ибрагим-ака.

— Выбирай, — предложил Ибрагим и откинулся на подушки.

Человек задумался.

Минуту или две он шевелил губами, возводил глаза к небу, жмурился. Потом решил:

— Пусть подошва, Ибрагим-ака.

— Ну, народ... — пробормотал Ибрагим.

Он снова снял туфлю и наотмашь метнул в золотой воздух. Все, включая охранника, задрал голову и щурясь от ослепительного утреннего солнца, следили за ее полетом. Туфля крутилась, пересекая лекальные траектории ласточек. Потом шмякнулась на дорожку и замерла.

Было тихо.

— Видишь, уважаемый, она упала боком, — вздохнул Ибрагим. — Тебе все понятно?

— Мне все понятно, — ответил человек дрогнувшим голосом.

— Тогда отнеси свой саквояж вон туда, под навес, — попросил Ибрагим. — Хотя нет, постой. Открой-ка.

Гость щелкнул застежками. Саквояж был битком набит пачками денег.

Ибрагим не глядя сунул руку, вытащил сколько попало и протянул ему:

— На, это тебе. Не обижайся на меня. Ты сам хотел играть... Ну а теперь закрой и отнеси под навес. Охранник тебя проводит.

Несколько минут они молчали.

— Так что вот так... — сказал Ямнинов, покашляв.

— Да, совсем оборзели эти кулябцы... — пробормотал Ибрагим. — Сладу нет. Завоеватели чертовы. Они и есть завоеватели — захапали все, что только можно... Тьфу, противно говорить! Все у них в руках: милиция, безопасность, армия... попробуй пикни. Дорвались. Никакого сладу нет. Народ уже воеет. Они доиграются. Ой, доиграются! Пришли освободителями, а сами теперь что делают? Ни стыда, ни жалости. Три шкуры дерут!.. Нет, ну должна же быть совесть! Есть много уважаемых, солидных людей, которые уже были уважаемыми людьми, когда эти выскочки еще пищали в гахворе! Нет, не хотят понимать!..

Ямнинов подумал, что Ибрагим-ака сегодня необыкновенно много-словен.

— Да, — кивнул он. — Верно. Я, собственно, знаешь что хотел у тебя спросить...

И, помедлив, спросил.

Ибрагим-ака поперхнулся и поставил пиалу.

— А, вот ты как вопрос поворачиваешь... Ну-ну... Нет, конечно, дело хорошее... — Он неопределенно повел рукой. — Ты ведь все обдумал, на-верное... Заходи послезавтра. Даже лучше в субботу. Годится?

— Годится, — легко согласился Ямнинов. — Конечно.

Сопя, Ибрагим налил себе еще чаю.

— Понимаешь, Николай, это не просто кулябцы, — сказал он. — Это вдобавок еще и ребята Карима Бухоро... Карим Бухоро — очень, очень уважаемый человек. Но возле него крутятся самые разные люди. Слышал я про этого Орифа... Борзая сволочь этот Ориф, вот что я про него слышал.

Посмотрел на дорожку и вдруг сердито крикнул:

— Садык, душа моя! Принеси-ка туфлю! Что я сижу как босяк, честное слово...

2

Он быстро шел по направлению к вокзалу, нисколько не чувствуя обиды. Ибрагим — тоже очень уважаемый человек. И вдобавок очень умный. Ну, не хочет он связываться с людьми Карима Бухоро... За что его винить? Это его право. А раз он не хочет связываться с людьми Карима Бухоро, то какой смысл удовлетворять горячечные просьбы Ямнинова? Береженого бог бережет...

Дядя Миша долго разглядывал его в глазок, потом загремел, залязгал засовами.

— Здорово! — сказал он, запирая за Ямниновым дверь. — Заходи, Николай! Как дела?

— Спасибо, — ответил Ямнинов, садясь. На столе валялись несколько золотых колец, сережки, обломки красного корунда, шедшего на изготовление камней для украшений. В целлофановом пакетике лежала горсть зубных коронок. — Спасибо, ничего хорошего. С покойников снимаешь? — он показал на коронки.

— Скажешь тоже — с покойников! — усмехнулся дядя Миша. — Живые приносят. Жрать захочешь — еще не то продашь. Где это ты руки ссадил?

Ямнинов сморщился:

— А, ерунда... — И добавил: — Короче, идут делишки?

— Крутимся помаленьку... — вздохнул дядя Миша. — Сейчас много стало заказов. Пограничники себе цепи заказывают, не скупятся — граммов по тридцать. Им деньги-то Россия платит... Жены кольца просят, серьги, цепочки тоже... У меня теперь четыре ювелира работают. Я бы, знаешь, расширился, да высовываться нельзя. Все тайком, тишком, с оглядкой. Только с русскими стараюсь дело иметь. А то ведь, сам понимаешь, так наедут, что мало не покажется.

— Понимаю, — сказал Ямнинов.

— А в Россию ехать — тоже вопрос. Ну кому я там нужен? Это здесь, в Хуррамабаде, я крупный координатор, — он саркастически хмыкнул, — а в России своих до зарезу. Не знаю... На всякий случай инвалидность себе сделал. Хочешь, тебе сделаю? Стольник всего! Очень удобно: во-первых, гуманитарную помощь можно получать. Во-вторых, всякие там льготы. Проезд бесплатный. Много чего. А кто в Россию хочет ехать, тому вообще без этого никак!

— Нет, не надо. — Ямнинов отмахнулся. — Ты мне лучше вот что скажи...

И прямо изложил свою надобность.

— Да ты не в себе, — рассмеялся дядя Миша и покрутил пальцем у виска. — Ты чего?! Зачем это?

— Надо. Надо мне, надо, — настойчиво повторил Ямнинов. — Я уезжаю завтра. Я дом продал.

— Дом продал? — изумился дядя Миша. — Иди ты! Строил, строил — и продал?

— Продал, продал, — кивал Ямнинов, глядя в сторону. — Мне надо. Я эту штуку положу в контейнер. На таможне договорился, пропустят. Не

будут шмонать. А там и подавно не станут — кому я там нужен? А через пару месяцев приищу покупателя да толкну тишком. Думаешь, на такую вещь покупателя в России не найду? Ого! Да там его тыщи за полторы можно впарить!

— Ну, не знаю... — нерешительно сказал дядя Миша. — А дом за сколько отдал?

— За тридцать, — уверенно соврал Ямнинов. — Дешево, да. Но мне быстро нужно было, я не дорожился. Все в порядке. Деньги Марине переправил — она квартиру покупает. У меня только триста зеленых осталось... Как думаешь, можно?

— Триста зеленых? — Дядя Миша в задумчивости сплюнул попавшую в рот чайнику. — Не, за триста такую дуру, думаю, не купишь... Впрочем, не знаю. Только лучше бы ты с этим делом не вязался. И деньги потеряешь, и, не дай бог, зацепят тебя где-нибудь — не распутаешься.

— Ты мне голову не морочь, — отрезал Ямнинов. — Не учи, сам ученый. Если знаешь, к кому обратиться, скажи, а нет — так я пойду, у меня дел — во сколько! Уезжаю завтра. Не понимаешь, что ли?

— Ишь, ишь! Прямо пар от тебя идет, Николай, — недовольно сказал дядя Миша. — Приспичило!.. Завтра!.. Если уж ты такой умный, о чем раньше-то думал? Кто ж за полдня такие дела делает?

Они помолчали.

— Разве что у Саида спросить... У него были ребята, предлагали кое-что по мелочи. Да я-то с такими делами не вяжусь, а ты, если башки не жалко, пожалуйста, пробуй! — Дядя Миша нехотя поднялся. — Ну, что расселся? Пошли тогда! Подожди, газ выключу...

3

Они шагали по городу — шагали не быстро и не медленно, а так, как ходят в Хуррамабаде люди, когда идут по делу, — и Ямнинов, занятый своими тяжелыми и злыми мыслями, только угукал иногда, поддерживая разговор.

Когда свернули на Красных Партизан, дядя Миша взглянул на часы и сказал:

— Вот что, давай-ка на базар заглянем... он, наверное, еще на базаре.

Саид стоял в том ряду, где торговали посудой. Солнце сияло на хрустале, плавило позолоту дорогих сервизов.

— Нет, бабушка, — хрипло толковал он безнадежно слушавшей его изможденной старухе, делая ударение в слове «бабушка» на второй слог. — Нет, так не пойдет, бабушка! За что я вам три тысячи российских буду давать? Вы мне принесите хорошую пиалу, не колотую, я вам за нее дам три тысячи... или две тысячи дам, если маленькая. А такую битую пиалу я не покупаю, бабушка. Мне такая не нужна, бабушка. Понимаете?

У Саида не было ни верхних, ни нижних передних зубов. Поэтому слова вылетали шепелявыми и щедро сдобренными слюной. Кроме того, по-русски он говорил с чудовищным акцентом. Впрочем, старуха поняла главное: денег ей за этот товар не дадут, а другого, судя по отчаянно-терпеливому выражению ее темного лица, у нее не было. Она молча пожевала губами, повернулась и медленно пошла прочь, неся шербатую пиалу в безвольно опущенной морщинистой руке.

— Как дела, дядя Миша? — приветливо захрипел Саид, освободившись. — Дела идут?

— А, какие у нас дела, — отвечал дядя Миша. — Это у тебя, Саид, дела, а у нас — делишки. Крутимся помаленьку...

Несколько минут говорили обо всякой ерунде, совершенно Ямнинову не интересной.

— Ты мне, Саид, вот что скажи, — перешел наконец дядя Миша к делу.

Саид не удивился.

— У меня нет! — Он совершенно не опасался, что его услышат, и поэтому не понижал голос. — А у пограничников спрашивал, дядя Миша? Ты же с пограничниками работаешь! Это их трясти надо!

— Да не ори ты, Саид, — сморщился дядя Миша. — Что ты как на базаре, честное слово... Нет у меня среди пограничников такого человека.

Саид задумался.

— У меня тоже нет. Тогда — к Юнусу-узбеку ехать. У него точно есть.

— У Юнуса? — с сомнением повторил дядя Миша.

— А сколько денег? — спросил Саид.

— Триста, — ответил Ямнинов.

Торговец Саид сощурился и ловко сплюнул сквозь свои зубные дыры.

— Триста не говори, — заговорщицки посоветовал он, сверля Ямнинова черными глазами. — Говори двести! Обойдутся!

Случился недолгий, но бурный спор. Саид и дядя Миша отстаивали противоположные точки зрения: Саид утверждал, что нужно начинать с минимума, постепенно повышая цену, а дядя Миша — что цену с первого раза следует давать серьезную, живую, а иначе к тебе как к покупателю продавцы потеряют всякий интерес.

Ямнинов только крутил головой, прислушиваясь к их взвинченной беседе.

В конце концов ни на чем не сошлись, а к Юнусу двинулись вместе. Всю дорогу Саид хрипло орал и плевался, живописуя дяде Мише свои планы. Планы касались обзаведения небольшим магазином, где Саид сможет торговать посудой, антиквариатом и золотом. «Базар — не магазин! — восклицал Саид, забегая вперед и полуоборачиваясь. — Нужен магазин! С окном! С дверью! Чтобы покупатель видел — это не базарная сволочь, это серьезные люди торгуют!» Дядя Миша посмеивался. «Золото! — отвечал он. — Ты перегрелся на своем базаре, Саид. Какое золото? Как только ты разложишь золото на прилавке, зайдут два кулябца с автоматами, скажут тебе: ну-ка, Саид, будь добр, сложи-ка все вот в этот мешок, да поскорее! Впрочем, может быть, мешка у них не будет — они его у тебя попросят». Саид хрипло негодовал: «Охрану поставлю! Охранник сам будет с автоматом! Как всюду люди живут, а? Торгуют же, дядя Миша!» Дядя Миша отмахивался: «Охранник с автоматом! Сам охранник тебя и подломит!.. А то, что всюду торгуют, так нам до этого далеко». Саид апеллировал к Ямнинову: «Э, дядя Миша из мухи делает слон! Зачем делать из мухи слон! Если бы у меня не пропали бабки, я бы уже открыл магазин! И ничего бы не случилось! Только у меня в Питере деньги остались! Я туда ездил клюквой торговать: наторговал две тысячи, зашил в ручки сумки, купил билет на поезд, сумку у проводника бросил, сам пошел на дорогу что-нибудь купить — колбаса-малбаса, помидор-мамидор... Прихожу, а мне говорят: была облава, у проводника нашли анашу, и его со всеми сумками арестовали в милицию! Йо-о-о-о-о-моё! — крикнул Саид, воздев руки к небу, и еще кое-что добавил непечатное. — Теперь мои две тысячи в этой проклятой сумке в милиции на вокзале. Вот уже скоро полгода! Его никак не судят, сумку не отдают... Как быть? Я здесь, сумка в Питере... Правда, сейчас его родственники деньги собирают, чтобы без суда выпустили. Милиция четыре тысячи запросила... Э, откуда у бедного человека такие деньги? Они думают, он всю жизнь планом торговал. А этот кондуктор, может, первый раз дурь повез — и сразу попался... Верно?»

Притащились в кишлак за Водонасосной. Саид уверенно вел перелюкми.

— Ну вот что. — Он остановился у каких-то ворот. — Вы тут подождите, я сейчас.

Во дворе злобно лаяла и рвалась с цепи собака.

Через две минуты Саид вышел сияя. За ним выглянул плосколицый и узкоглазый человек с усиками, цепко рассмотрел Ямнинова, кивнул дяде Мише. Должно быть, это и был Юнус-узбек.

— Хорошо, что дома! — ликовал Саид. — Дело есть, Юнус!

Негромко поговорили о деле.

— Ты его знаешь? — без обиняков спросил Юнус-узбек у дяди Миши, показывая пальцем на Ямнинова.

— Знаю, — подтвердил дядя Миша. — Все нормально.

Юнус почесал плешивую голову.

— Ну, тогда завтра приходите. Я выясню, договорюсь...

— Сегодня надо, — негромко сказал Ямнинов. — Завтра уже не нужно будет.

— Сегодня? — удивился Юнус. — Нет, сегодня невозможно. Кто за двести долларов будет суетиться!

— Я двести пятьдесят дам, — сказал Ямнинов. — И еще пятьдесят, чтобы на дачу отвезти. Но только если сегодня.

Юнус-узбек вскинул брови и вопросительно посмотрел на дядю Мишу.

— Он уезжает, — пояснил тот. — Вот в чем дело.

— Ну... — Юнус снова почесал лысину. — Я могу спросить, конечно... Ладно, тогда сидите здесь. Я скоро.

Он отпер ворота, выкатил из двора мотороллер-фургон, несколько раз ударил ногой по кикстартеру. Двигатель оглушительно затрещал, и Юнус-узбек уехал.

Они сели под дувалом.

— Дурацкая затея, Коля, — сказал дядя Миша. — На черта тебе это все нужно? И почему на дачу? Ты же хотел в контейнер...

Солнце клонилось к закату, тени тополей тянулись по неровной пыльной земле. Ямнинов чувствовал голод, слабость — кроме чашки пустого чаю во рту у него сегодня ничего не было. Все, что происходило, стало покрываться вуалью нереальности, словно он следил за самим собой сквозь колеблющуюся кисею. Еще не поздно было отказаться.

— Нормально, — сказал он, судорожно зевая. — Нормально, дядя Миша. Я в долгу не останусь.

— Считаться с тобой еще будем... — буркнул тот.

По улице мимо них прошло небольшое стадо. Гнал его парень лет шестнадцати, вооруженный длинной палкой. Саид что-то крикнул ему по-таджикски — Ямнинов не разобрал. Да, видно, за невнятность Саидовой речи и парень не разобрал, поэтому только оглянулся пару раз да прибавил шагу, погоняя своих коров, похожих на анатомические пособия.

— Э, невоспитанно в деревне, — прохрипел Саид. — Где вежливость?

— Не поверишь, газеты жрут, — сообщил дядя Миша, глядя вслед стаду. — Вот голодуха до чего доводит.

— А что с ними еще делать, с этими газетами, — сказал Ямнинов. — Читать-то все равно невозможно. Как с другой планеты сообщения. С Юпитера. Где вечный покой.

— Скажешь тоже — читать, — хмыкнул дядя Миша. — Коровы не читают.

— Почему? — вмешался Саид. — Хорошие газеты! Я люблю! И «Курьер», и «Вечерний Хуррамабад». Анекдоты всякие, кроссворды... А какой дурак станет правду печатать? Зачем? И так всем все известно. Люди же разговаривают, рассказывают друг другу... Верно? А если еще и в газете про все это — совсем народ затоскует. В жизни плохо, в газете тоже плохо — куда бежать? Нет, лучше так: открыл, почитал — на душе веселее. Я люблю.

Ямнинов бездумно смотрел на золотой диск низкого солнца. Скоро оно спрячется за холмами. И после недолгой ночи поднимется опять —

величественное, бесстрастное, равнодушное. Завтра неизбежно наступит. Времени у Ямнинова оставалось совсем немного.

Юнус появился минут через сорок. Он подрулил к воротам, обошел мотороллер кругом и открыл дверцы фургона. Из фургона послышалось недовольное кряхтение, затем появился человек, его издававший, — молодой русский прапорщик. Он утирал пот и отдувался.

— Ну, транспорт у тебя, Юнус, мать твою так и перетак... Ну, транспорт... А, дядь Миша! Давненько тебя не видел, мать твою так... Деньги-то у кого?

— Вот не ждал! — тряся его руку, радовался дядя Миша. — Петрович! А я сижу тут, подрагиваю: с каким еще хмырем придется дело иметь? Петрович! Да ты же говорил, что в Воронеж переводишься!

— Какой Воронеж, мать его так! — усмехался прапорщик, поглаживая усы. — У нас и тут пока делов хватает... Как говорится, есть у нас еще в жизни дела. Давай принимай, мать твою так. Тебе, что ли? Или кому?

— Мне, — сказал Ямнинов.

— Тебе так тебе, — согласился Петрович. — Только, парень, ты это... меня не видел и не слышал. Понял? Ну, и я тебя, мать твою так, соответственно.

Ямнинов сунулся в фургон осматривать приобретение. Его вдруг затрясло. Металл жирно светился.

— А как сложить? — спросил он у Петровича. — Сложить как?

— Э-э-э, парень... — протянул прапорщик, насмешливо его рассматривая. — Ну что ж, давай. Курс молодого бойца. Значит, смотри...

Потом Ямнинов отдал деньги.

— Куда поедет? — невозмутимо спросил Юнус. — Надо быстрее, а то комендантский час.

— Дачи у Водоканала знаешь?

— А-а-а... знаю. Ладно, погнали, — и пнул рычаг кикстартера.

Ямнинов пожал всем руки, хотел, казалось, на прощанье сказать что-то дяде Мише, да как-то запнулся, махнул рукой и торопливо полез в тесную коробку фургона.

4

Он стоял в лоджии, положив руки на металлические перильца. Юнусов мотороллер трещал, удаляясь, смешно переваливался на колдобинах в клубах розовой пыли. Краешек солнца еще виднелся над горой, но вот пропал последний пронзительный луч, и тогда пыль стала серо-желтой.

Когда мотороллер скрылся с глаз, Ямнинов принес разводной ключ и начал откручивать болты, державшие загородку лоджии.

Еще совсем недавно он размышлял о том, что хорошо бы когда-нибудь эту железяку довести до ума. Руки никак не доходили. Он уже не раз прикидывал: снять... ошкурить... договориться на карбюраторном заводе, где цех электролиза... правда, завод давно стоит, но если остался еще кто-нибудь из ребят... и привинтить потом ту же самую загородку — но хромированную, благородно сверкающую!..

Уже полгода назад можно было смело сказать, что дом достроен. Однако дни шли за днями, и каждый из них по-прежнему был сплошь заполнен мелкой строительной возней. Ведь он-то знал, что еще нужно подправить, что наладить, а что и переделать, потому что прежде сделал начерно, на скорую руку — лишь бы не задерживать пустяковиной другие, более важные, дела.

По вечерам он сидел у распахнутого окна, смотрел на реку, на зеленые холмы за ней и прикидывал, чем должен заняться завтра. Дел хватало. Строительство слишком дорого стоило, чтобы он мог оставить недоделки.

Он убил семь лет. Ничего, потратит еще несколько месяцев. И потом — что у него в жизни еще осталось? Почти ничего. Только эти стены, в которые он вложил самого себя.

Дом у реки — это была его давняя мечта. Кто знал, что жизнь в Хуррамабаде встанет на дыбы и обрушится? Все уезжали — а он не мог бросить дом. Кончилось тем, что два года назад ему пришлось проводить жену и детей в Россию. Ладно, что ж, он тоже согласился ехать... Договорились так: он задержится и завершит строительство. Можно продать и недостроенный дом — но за бесценок. А нужно — подороже.

Еще совсем недавно он, находя рукам все новую и новую работу, привычно думал, как получить хорошую цену. Слишком много вложено. Слишком много... Все-таки жаль, что они уехали. С одной стороны, неспокойно, да... но с другой — здесь дом на берегу реки! Когда-нибудь жизнь войдет в прежние берега, как входит поток, побуянив, порушив прибрежные постройки. Конечно же, они вернуться. Войдут, разувшись у порога. Гладкий камень остудит им ступни в жару. Осенью их согреет огонь, клокочущий в камине. Зимой — горячая вода, бегущая по трубам. Весной распахнут окна — свежий воздух предгорий и негромкий гул реки вольются в комнаты...

Семь лет... Прежде Ямнинов работал инженером по холодильному оборудованию. Получив участок, он ушел с молокозавода, где, как считало руководство, его ждала отличная карьера, и устроился на Водоканал — вон отсюда виден оазис, большая роща высоченных голостволых чинар, лишь на самой верхотуре выбросивших пышные ветви... Должно быть, избыток воды заставил их так вытянуться: на огороженной территории Водоканала днем и ночью гудели насосы, гоня воду из скважин в трубопроводы южной части Хуррамабада.

К ставке электрика скоро прибавились две ставки слесарей, а чуть позже и еще одна — инженера по технике безопасности. Все деньги подчистую сжирала стройка. Если на Водоканале срочной работы не было (а машины здесь вывозили из строя не чаще чем раз в неделю), Ямнинов ломался на своем участке — рыл землю, месил бетон, просеивал песок на кроватной сетке, сколачивал опалубку, клал кирпичи... А когда что-то случалось, обученный им Хамид Чумчук врубал на полную громкоговоритель перед конторой, и под какую-нибудь бодрящую песню или значительную речь Ямнинов бегом несся на службу: город ни на минуту не мог остаться без воды.

Зимой его деятельность немного пригасала, да зима в Хуррамабаде короткая — не успеешь отдышаться.

Семь лет... Первым делом он набросал проект. Приятель-архитектор удивленно похвалил смелость и выдумку, но в конце концов замысел Ямнинова разгромил. Тут главное было вот что: не существует бетонных плит таких типоразмеров и конфигураций, что насочинял Ямнинов, — придется подстроиться под то, что есть. Выходило, что ни комнат такой длины и ширины, ни галерей на уровне второго этажа, ни фигурных солнцезащитных карнизов, ни много чего другого сделать было нельзя. Однако Ямнинов заупрямился: времени потратил месяцев восемь, сил — не мерено, а все же добился, чего хотел: ему отлили плиты нужной формы... И так год за годом, год за годом...

...Открутив последний, шестой, болт, он бросил решетку вниз, на кусты георгин, и поморщился, когда она ухнула, безжалостно придавив и поломав стебли. Впрочем, это уже не имело никакого значения.

Лоджия превратилась в нависающий козырек. Он принес несколько кирпичей и положил их на край. Потом неторопливо спустился вниз, вымыл руки. Насвистывая, прошел в большую спальню, раскрыл бельевой шкаф, наугад взял какую-то накрахмаленную тряпку. Оказалось — наволочка. Урок прапорщика Петровича отпечатался в памяти чередой кон-

трастных фотографий: раз-два — снять патронную коробку... теперь затвор до упора... два щелчка фиксаторами... отнять приклад... сошки... еще два движения — отделяется ствол... Он разложил все это хозяйство на одеяле и взялся за тряпку. Когда сталь стала блестящей и сухой, принялся собирать: сначала с запинками, а во второй и третий раз уже по-своейски. В сущности, этот тяжелый механизм, тупо глядящий единственным черным глазом туда, куда направляли его человеческие руки, был устроен проще швейной машинки. Расстелил одеяло, лег, поерзал, щурясь. Умогнулся. Поводил стволом. Оставалось лишь потянуть затвор. А палец и так уже лежал на курке...

Машины покажутся издали — вон там, где дорога бежит вдоль пшеничного поля. Потом спрячутся за тесно посаженными у канала тутовыми деревцами. Снова появятся — уже в крупном масштабе. Проедут мимо ограды Водоканала, замедлят ход, потому что там разбит асфальт, минуют дикие заросли возле старых колодцев, вокруг которых земля заболочена и полна драгоценной влаги.

И когда они повернут к дому, когда неторопливо покатают по прямой, покачиваясь и сверкая, когда за поблескивающими лобовыми стеклами уже можно будет различить лица...

Ямнинов перевел дыхание, ударил стиснутыми кулаками по металлу и торжествующе выругался.

Весь день он старался не вспоминать, не вспоминать, не вспоминать... Потому что сердце стыло и останавливалось... Но теперь он был готов к встрече — и чувствовал себя с ними на равных.

5

Вчера они прикатили на двух джипах. Лаковый красный — впереди, матовый черный — следом.

— Э, хучаин! — весело закричал водитель красного. Он стоял у калитки, поигрывая ключами от своего «чероки». — Слышь, хозяин! Есть кто-нибудь?

Угрюмый человек, сидевший за рулем второго джипа, вздохнул, тяжело выбрался из машины и захлопнул дверцу.

— Что ты орешь, — сказал он. — Заходи, да и все. Не заперто же...

— Неудобно без приглашения, Зафар-чон! — дурашливо ответил первый.

— Э, неудобно! — буркнул угрюмый и стал дергать замок, вытаскивая незашелкнутую дужку из петель.

Когда Ямнинов спустился по лестнице, они уже стояли в гостиной. Один цокал языком, разглядывая резные карнизы. Второй замер возле камина, с неясным выражением лица трогая пальцем мясо-красный гранит облицовки.

— А, молодец! — воскликнул первый, восхищенно вскидывая руки. — Как хорошо сделал, а! Угод, а! Просто угод!

Он шагнул к нему застывшему у лестницы Ямнинову, протянул руку и с улыбкой представился:

— Ориф!

— Николай... — машинально ответил Ямнинов, пожимая сухую твердую ладонь. — Вы чего? Вы кого ищите? Перепутали? Если вы к Ибрагиму, так он в город уехал. У него одни только рабочие сейчас...

— Нет! — засмеялся Ориф. — Мы не перепутали! Мы к тебе. Ты ведь дом продаешь?

Зафар повернулся и в первый раз прямо посмотрел на Ямнинова. Лицо у него было тяжелое, щеки синие после бритья. Ямнинов отвел взгляд.

— Я не продаю ничего, — сказал он. — Вы ошиблись. Ну, раз пришли, давайте чаю попьем... а? Чой-пой? Чай не пьешь...

— Откуда силу берешь! — подхватил весельчак Ориф. — Да подожди ты с чаем, подожди! Давай дело решим, потом уже чай! Потом уже и не только чай будем пить! Что ты! Чаем такое не обмывают!

Они были щегольски разряжены: оба в сверкающих остроносых туфлях, Зафар в вельветовом светло-коричневом костюме, Ориф — в шелковом, причем подвернутые рукава пиджака являли миру роскошную клетчатую подкладку; а Ямнинов стоял перед ними в нелепо коротких штанах, испачканных раствором и краской, в такой же рабочей рубашке, истлевшей от пота, разошедшейся на пузе, с прорехой на плече, в стоптанных заизвествленных башмаках на босу ногу и то и дело утирал пот со лба подрагивающей ладонью.

Он смотрел в чистое, открытое лицо Орифа и понимал, что никогда прежде не доводилось ему видеть такой страшной улыбки — такой белозубой, широкой и искренней улыбки, от которой веяло ужасом и смертью.

— Что... — сказал он, проглотив комок. — Кого? Я не знаю... вы ошиблись.

— Нет, мы не ошиблись, — сразу посерьезнел Ориф. — Ты продаешь дом.

— Нет, — возразил Ямнинов. — Я не продаю.

Ориф с опечаленным видом снова посмотрел на карнизы.

— Не продаешь?

— Нет, — ответил Ямнинов как мог твердо.

— Как же так, уважаемый! — воскликнул Ориф, переходя вдруг на «вы». — Ничего не понимаю! Вы говорите — не продаю, а Зафар-чон только что говорил мне другое! Выходит, зря мы с ним тащились сюда по жаре из самого Хуррамабада! Ведь он мне что говорил: мамой клянусь, Ориф, поедем туда, и этот человек продаст тебе свой дом! Говорил: если не продаст, я его заведу в подвал и застрелю как собаку! Пусть мокнет в своем поганом бассейне! Говорил ведь, Зафар-чон? — спросил он, поворачиваясь к напарнику. — Говорил?

Не меняя выражения лица, Зафар сунул руку под пиджак.

— Уважаемый, а правда, что у вас бассейн в подвале? — веселился Ориф. — Покажете гостям?

Ямнинов немо замотал головой, и тогда Зафар жестко ткнул ему под ребра пистолетным дулом.

— Где документы?

...Да, конечно, их кто-то навел. А может быть, так сложилось случайно — прослышали, что человек выстроил себе замечательный дом... разузнали... разведали... и нагрянули.

Ему не хотелось умирать, а в том, что его застрелят, он не сомневался. Мутило, он чувствовал тошноту, свет мерцал, рябил, ноги подкашивались. Ямнинов кивнул — мол, да, согласен, продам, не надо в подвал, документы в столе... Зафар убрал оружие. Ориф пошучивал. Они долго слонялись по дому, перекликались, цокали языками, вообще вели себя так, словно его уже здесь не было. Дурнота не отпускала его, в конце концов все-таки вырвало — желчью и слезью.

— Э! — Ориф брезгливо сморщился. — В туалет не мог пойти, да?

— Я уберу, — пробормотал Ямнинов, вытирая испарину со лба. — Я потом уберу...

— Ладно, поехали, — приказал тот. — Давай одевайся.

В машине он наконец пришел в себя. Воздух прояснился. Ему казалось, все это происходит не с ним. Он зажмурился на несколько секунд, надеясь, что, когда раскроет глаза, увидит рядом с собой не Орифа, а что-то другое, настоящее... Но все осталось как прежде. Только страха уже не было.

— Какая же ты сволочь, Ориф, — сказал Ямнинов, когда они вырулили на шоссе к Хуррамабаду. — Я строил этот дом семь лет. Я вложил в него все...

Джип мягко покачивался на неровностях дороги, уверенно гудел мощный двигатель. Ориф невозмутимо глядел вперед сквозь темные очки.

— Так-так, я слушаю. Говори...

— И теперь пришел ты — молодой, наглый, с оружием... Разве так люди делают? Ты же не человек, Ориф! Ты зверь! Зверек ты, вот ты кто!

Ямнину хотелось вывести его из себя: пусть психанет, пусть остановит машину, пусть застрелит к чертовой матери! Все лучше, чем ехать вот так — как овца на заклание!.. Но Ориф, похоже, был выкован из нержавеющей стали: только посмеивался и хмыкал.

— Ты мне пятьсот зеленых обещаешь, Ориф. А знаешь, сколько стоит этот дом? Если б ты был человеком, тебе пришлось бы выложить тысяч тридцать! А? Ты понял? Но ты зверь, Ориф, зверь... а у зверей денег нет. Поэтому ты решил не купить, а просто отобрать! А меня — на улицу. Правильно?

— Почему тебе одному быть богатым! — усмехнулся Ориф, безмятежно посмотрев на Ямнинова. — Вот теперь и я стану богатым! А то, что на улицу, — так я тебя не гоно. Пока перекантуйся где-нибудь, а к осени я все равно там сарайчик буду строить для сторожа. Пожалуйста, живи, если сторожить будешь. Я тебе деньги дам. А хочешь, и строить сам можешь. Тебе жить — ты и строй.

— А не боишься, что дом спалю? — поинтересовался Ямнинов. — Сейчас переоформим, а я потом приду — и бензином. А?

Ориф рассмеялся.

— Нет, не боюсь! — весело сказал он. — Зачем палить? Я ведь тебя найду, на ремни порежу. А дом другой куплю... подумаешь!

— Да, — согласился Ямнинов, — ты точно станешь богатым.

В городе Ориф ловко погнался по осевой, обгоняя другие машины. Завидев красивых девушек, идущих по залитым солнцем тротуарам, он непременно сигнализировал. Также он сигнализировал попадающим милиционерам, но те, в отличие от девушек, оглядывались и поднимали руку в ответ.

— Станешь, это точно, — уже без азарта повторял Ямнинов. — Если у человека совсем нет совести, у него взамен обязательно будет много денег. Ты же скотина, Ориф. Животное. Ты у брата отнимешь, если надо будет! У отца!

— Ц-ц-ц-ц! — Усмехаясь, Ориф покачал головой. — И зачем ругаться! Что говоришь! Как можно — у отца! Что ты! Отец есть отец! Не говори так! Стыдно тебе так говорить!..

Они вкатили под «кирпич» во двор бывшего исполкома, где в полуподвале располагалась нотариальная контора. Когда машина остановилась, Ямнинов рывком отворил дверцу, вывалился на асфальт и тяжело побежал вдоль дома. Он убежал недалеко — его догнал Зафар, пинком повалил на асфальт. Ямнинов сидел, разглядывая содранные ладони.

— Ну куда ты, а! — раздраженно говорил Ориф. — Ну куда! Ты себя пощупай, ну! Ты что, железный, что ли? Ты нож видел когда-нибудь? Пистолет видел? Куда бежишь? Куда? Ты же русский, куда тебе бежать! Смотри, ты мне уже надоел! Я к тебе по-хорошему, а ты вон чего! Чего ты хочешь-то, а? Что ты всю дорогу выступаешь, а? Давай вставай, пошли, я тут с тобой долго возиться не собираюсь. А не хочешь — так и скажи. Тогда я тебя отвезу назад — и решим все вопросы за пять минут.

Ямнинов встал, безвольно отряхнул колени. Возле дверей конторы прохаживался милицейский майор. Они с Орифом обнялись, троекратно поцеловались. Потом завели свою обычную церемонию — стали жать руки, многословно спрашивая друг у друга о здоровье и делах.

— Да пусти ты, пидор! — дернул Ямнинов локтем. — Сам пойду!..

В подвале, где, взволнованно оглядывая каждого входящего, теснились какие-то русские старухи — судя по беспомощному выражению выцветших глаз, давно утратившие надежду добиться справедливости, — все уст-

роилось замечательно быстро: Ориф прямым прошагал к дверям, и в кабинете вскочили сразу все, кто там находился: сам нотариус, секретарь и еще какой-то человек, поднятый общим порывом и недоуменно смотревший теперь то на Орифа, то на нотариуса — пожилого седовласого господина в сиреновом пиджаке.

— Уважаемый, подождите минуту! — сказал ему нотариус. — Я вас предупредал... визит по записи... не возражаете?

Клиент пожал плечами, собрал свои бумаги и вышел, с явным ужасом поглядев на окровавленные руки Ямнинова.

— Как поживаете? — спрашивал между тем Ориф. — Все ли у вас в порядке? Спокойно ли? Как дети?

Бормоча ответные приветствия, нотариус раскладывал на столе документы. Ямнинов смотрел безучастно: с той минуты, как документы отобрал Ориф, он перестал чувствовать их своими.

— Спасибо, спасибо... Как у вас? Все ли хорошо?.. Справки нет? Ну, ничего, какой разговор, завтра принесете. Все ли в порядке? Как самочувствие?..

— Благодарю, — отвечал Ориф, весело посматривая на нотариуса. — Конечно, конечно, завтра принесем... уж сделайте пока без нее... Шариф здоров?

— О! — протянул нотариус, и руки его на мгновение замерли над бумагами. — У Шарифа беда! Сын попался патрулю! Вчера увезли!

Ориф вскинул брови и развел ладони, словно прося подаяния.

— Как — патрулю? Шариф же сделал ему белый билет!

— А! Билет-малет! Им какое дело, какой у кого билет! Схватили, увезли в казарму! Полторы тысячи отдали за этот билет, а им хоть бы хны! Это что, порядок? — негодовал нотариус. — Нет, ну если у человека белый билет, понятно же, что ему нельзя в армию!

— Ладно, разберемся. — Ориф расстроился. — Что за дураки там сидят, ей-богу!..

— Подпишите вот здесь, уважаемый, — по-русски предложил нотариус Ямнинову. — Видите? Где галочка.

— Где? Тут? — вяло переспросил Ямнинов. — Сейчас... дайте платок, что ли...

Ориф протянул ему белоснежный ароматный платок, Ямнинов положил его на лист, чтобы не запачкать кровью, и подписал, где сказали.

— И второй экземпляр, — попросил нотариус.

Подписал и второй. Платок протянул Орифу. Тот недоумевающе усмехнулся. Тогда Ямнинов бросил платок на стол. Нотариус аккуратно взял его двумя пальцами и переправил в корзинку.

— Все? — спросил Ориф, подписав в свою очередь два экземпляра договора купли-продажи.

— Расчеты произведены? — суконно спросил нотариус. — Претензий не имеется? Договор требует государственной регистрации.

— Не имеется, — с улыбкой сказал Ориф. — Зарегистрируем когда-нибудь, какие разговоры. Это вам, устод. — И протянул нотариусу две сто-долларовые банкноты.

— А мне? — тупо спросил Ямнинов, беря назад свой паспорт. — Где мои деньги?

— Э-э-э? — протянул за его спиной Зафар.

— Деньги? — удивился Ориф. — Какие деньги?

Нехотя вытянул из кармана еще одну купюру и бросил на пол.

— Прощу вас, — сказал нотариус, строго глядя на Ямнинова. — Освободите кабинет.

— Ты же обещал! — закричал Ямнинов. — Ты же обещал пятьсот!

Ориф уже открывал дверь.

Тогда Ямнинов рванулся вперед и упал на колени.

— Я вас очень прошу! — кричал он, не замечая, что по щекам струятся слезы. — Пожалуйста, Ориф! Ориф, я вас умоляю! Ну дайте мне хотя бы немного денег! Ну пожалуйста!..

Он полз за ним, плача и хватая за ноги.

— Э, падарланат! — возмутился Ориф, пиная его остроносым лаковым ботинком. — Ты выступаешь, а я тебе деньги плати!

Но все же сунул руку в карман и швырнул ему в лицо сколько попало — две стодолларовые бумажки.

— Послезавтра утром приеду — чтоб ты свое говно из дома уже вытащил! — кричал Ориф, держась за ручку двери. — Все это дерьмо! Шкафчики! Табуреточки! Понял? Чтобы духа твоего не было!

Когда он захлопнул за собой дверь, Ямнинов поймал на себе оледенелый взгляд нотариуса.

6

Ямнинов вздрогнул, накрыл оружие углом одеяла и только после этого отозвался, поднимаясь:

— Я здесь, Хамид! Сейчас, подожди...

Он спустился вниз и отпер дверь. Накренившись на левый бок, Хамид Чумчук стоял на пороге, заложив руки за спину и, по своему обыкновению, мелко посмеиваясь. Он был в зеленом чапане и тюбетейке.

— Заходи, — предложил Ямнинов.

— Э! Зачем заходить! Я так просто заглянул, — сказал Хамид и, вопреки собственным словам, тут же приступил к ходьбе. Она давалась ему с некоторым трудом: пришлось задействовать руки, и теперь он резко отмахивал левой, чтобы сохранить равновесие, одновременно топая правой ногой.

Хамид Чумчук работал теперь сторожем у Ибрагима. Несколько лет назад Ибрагим построился на самом берегу, в считанных метрах от воды. Ямнинов говорил ему — зря, опасно, плохо кончится. Так и вышло: прошлым паводком огромный дом снесло. А река снова как ни в чем не бывало изменила русло и теперь шумела метрах в пятидесяти от руин — словно в насмешку. Впрочем, Ибрагиму это все до лампочки: купил три участка рядом, начал новое строительство, ухмыляется — мол, посмотрим, кто кого... Хамид сторожил стройку и частенько заглядывал к Ямнинову попить чаю.

— Большой дом, большой дом строит Ибрагим, — забормотал Хамид, как только немного наискось уместился на табуретке. Он улыбался и каждую следующую фразу подтверждал кивком. — Хе-хе... Что ж, все правильно: большому человеку — большой дом, маленькому человеку — маленький дом... или вообще никакого дома, хе-хе... Большой человек наймет другого человека — поменьше, а тот — совсем маленьких людей. Маленькие люди строят, тот, что побольше, за ними приглядывает, а самый большой человек приезжает раз в неделю посмотреть, как дело идет. Хе-хе...

Ямнинов зажег газ.

— Чаю попьем, — сказал он.

— Ц-ц-ц-ц-ц! — Хамид поцокал языком, восторженно озираясь. — Какой дом ты построил, Николай! Какой дом! Только у большого человека может быть такой дом! Впрочем, нет! Вот у Ибрагима — дай ему бог сто лет счастливой жизни — никогда не будет такого дома. Больше — будет, дороже — тоже будет... но такого! Нет, такого не будет, хе-хе...

— Нет у меня уже никакого дома, — равнодушно бросил Ямнинов. — Все, теперь другой хозяин у этого дома.

— Как это? — удивился Хамид. — Продал?

— Продал, — кивнул Ямнинов, криво улыбаясь. Почему-то Хамиду ему было легко сказать правду. Может быть потому, что Хамид тоже был

нищим. — Да нет, шучу, не продал. Отняли, сволочи. Приехали вчера, пригрозили, отвезли к нотариусу... вот и все. Давай чай пить.

Хамид сжался, словно его ударили кулаком по макушке.

— Во-о-о-ой! — протянул он через секунду, с испугом глядя на Ямнинова. — Правда?

Ямнинов только махнул рукой. Он ополоснул чайник, бросил щепоть заварки, налил кипятка. Выставил на стол две пиалы.

— Девяносто пятый, — сказал он. — Давно берегу. Думал, мои приедут, я их девяносто пятым напою. Вот так. Есть-то хочешь? — Заглянул в картонную коробку в углу. — Картошка осталась. Сварим?

— Во-о-о-ой... Беда, — шепотом ответил Хамид. Глаза у него стали как у лемура — круглые, зрачки под самый ободок.

— Да ладно, — безучастно сказал Ямнинов. Он положил четыре неровные картофелины в кастрюльку и сунул под кран. — Разберемся. Пей чай-то, пей. Девяносто пятый.

— Пора мне, пора, — заторопился вдруг Хамид, не притронувшись к пиале. — Пойду, пойду... Дела. Плиточников проводить... пойду.

Ямнинов понимал, в чем дело: Хамид уверен, что несчастье подобно чуме. А от больших нужно держаться подальше.

— Смотри, — сказал он. — А то посиди. Скоро сварится.

— Нет-нет, — бормотал Хамид. Он наклонился к Ямнинову и проговорил испуганным шепотом: — Уходить тебе надо, Николай! Уходить! Эти люди... если они такое могут...

— Да разве это люди, — бросил Ямнинов. Он чувствовал ровное тепло ненависти: словно нагретый кирпич приложили к груди. — Это волки, а не люди. На них капканы ставить надо. Ладно, разберемся.

— Эти люди все могут. — Хамид короткими шажками приближался к дверям. — Надо от них бежать, бежать!..

Ямнинов хмыкнул.

— ...Ты что, Николай! С ними нельзя! Если они придут, а ты еще здесь, — все!

— Э! — поморщился Ямнинов.

— Бежать, бежать! — твердил Хамид Чумчук. — Бежать!

Ямнинов чертыхнулся. Он уже раскрыл рот, чтобы сказать Хамиду все как есть: что бежать он не собирается, а собирается, наоборот, встретить гостей по-свойски, и все у него для этого готово, — но вовремя осекся.

— Ага... — скучно протянул он. — Да не буду я бежать никуда... Что мне? Подумаешь... До утра проживу здесь, ничего. — Ямнинов усмехнулся. — Так договаривались.

— Большие люди не могут терпеть, когда у маленьких людей что-нибудь есть, — прошептал Хамид.

Взялся за ручку, оглянулся:

— Бежать, Николай! Бежать. Это такие люди.

И выскользнул за дверь.

Ямнинов долго сидел за столом, прихлебывая чай. Потом слил зеленоватый кипяток и высыпал полопавшиеся картофелины на тарелку.

Уже стемнело.

Он поставил стул у края лоджии и сидел так, глядя в сиреневый сумрак майской ночи. Вдалеке за холмами стояло светлое зарево Хуррамабада. Ближе мерцали редкие огоньки кишлака. Проезжала иногда машина по дороге на Риссовхоз, и свет фар скользил перед ней, словно желтое крыло.

Он не испытывал ни волнения, ни жалости, ни обиды, что все так бесповоротно кончается, — только холодную злую решимость и торжество.

Думать было не о чем. Душа успокоилась и терпеливо ждала намеченной развязки.

Есть не хотелось, но все же он очистил картофелину, обмакнул в соль и стал сосредоточенно жевать.

Нет, не прав Хамид. «Люди, люди...» На человека у него разве поднялась бы рука? Разве стал бы он сидеть в засаде, зная, что придется иметь дело с человеком? Нет, никогда.

Ночь проходила, сопровождаемая звоном сверчков. С реки тянуло прохладой, иногда пробегал легкий ветер, и листва перешептывалась ему вслед.

Когда поднялась луна, Ямнинов перешел на другую сторону дома и встал у раскрытого окна. Табачный дым уплывал и рассеивался в черном воздухе. Река шумела. Днем ее длинный зигзаг походил на коричневую змею, бурая глинистая чешуя сверкала на солнце, то сходясь в одно, то разбегаясь несколькими руслами. А сейчас течение казалось спокойным, вода серебрилась в лунном свете.

Время текло медленно. Может быть, это последняя ночь в его жизни. Но все равно хотелось, чтобы она миновала скорее.

Он хотел вспомнить их лица, чтобы ненависть приобрела конкретные очертания, но они ускользали.

— Ах, сволочи, сволочи... — сказал Ямнинов. — Ладно.

В общем, так: когда они окажутся близко — метрах в пятидесяти, в рока, примерно у второго куста шиповника, — когда они окажутся близко, он неторопливо — главное не спешить, у него полно времени! — нажмет курок, поймав в прицел человека в первой машине. Стекло взорвется или просто станет похожим на растреснутый кусок льда. Он будет стрелять короткими очередями; когда по тому, как кровь заляпает изнутри остатки лобового стекла, станет понятно, что с первым кончено, он переведет ствол правее, чтобы и второй, ошеломленный встречей, не успел выбраться из своей машины...

Главное — не спешить. У него достаточно времени, чтобы все сделать наверняка. А вот потом, когда все будет кончено... когда два человека в машинах станут неподвижны... и тишина ударит в уши громче выстрелов... и он снова услышит гул реки, шелестение листьев, — вот тогда ему нужно будет торопиться, вот тогда.

Эти сволочи поставили его в безвыходное положение. Раньше он строил дом. А теперь придется убивать. Жизнь повернулась другим боком — и ему, человеку, нужно делать звериное, кровавое дело. А дальше, как зверю, бежать, отрываться от погони, замечать следы.

Не его вина. Начал не он. И все же, раз он готов на это сейчас — значит, что-то такое звериное всегда было в его душе. Всегда — и когда был ребенком, и когда вырос, чтобы качать на коленях собственных детей. Выходит, границу между зверем и человеком всякий может переступить...

Картошка давным-давно остыла. Он очистил последнюю и обмакнул в соль. Жевал и равнодушно размышлял о том, что еще не поздно уйти. Они отняли у него дом. Не только у него. У его детей. Они будут жировать. Пользоваться чужим. Плескаться в бассейне. На закате — мечтательно смотреть на реку. А его дети... Ну ладно, пусть отняли, пусть жируют, пусть так — зато... Остаться человеком — это звучало, как голос с другого берега: призывно, заманчиво. Разобрать пулемет, завернуть груды железа в одеяло... Кряхтя, взвалить на плечо. Усилие окончательно вернет ему ощущение реальности: это ведь нормальная человеческая работа, такая же, как таскать кирпичи или доски... Спуститься по лестнице, испытывая сладкое чувство освобождения и вновь продолжающейся жизни... Он бросит лязгнувший тук на гальку. Отступать так отступать: быстро, задыхаясь от спешки и напряжения, беспорядочно покидает железки в кудрявую коричневую воду, шумно бегущую с переката на перекат. Они будут падать без брызг: река равнодушно примет их, навсегда пряча от людских рук.

Затем он вернется по тропе к дому. Принесет из хозблока две тяжелые канистры. Бензин польется перламутровой струей, весело растекаясь по паркету... Когда бросит спичку, пламя ахнет — словно кто-то взмахнул

жаркой сине-розовой простыней — и поднимется, пьяно шатаясь и норовя принять в объятия все сразу... И он, чувствуя себя гадко опустошенным — словно черпаком золотаря полезли в душу, да потом и выплеснули с размаху, что зачерпнулось, — торопливо пойдет прочь. Сначала по тропе вдоль пшеничного поля... потом по обочине дороги... свернет в кишлак... доберется до города... а там Ориф его не найдет: черта с два! Потому что если найдет — вспомнил он сказанное Орифом в машине, — так и вправду порежет на ремни.

На ремни!..

И ненависть тут же вернулась, заклокотала, обожгла его изнутри, будто приступ язвы.

— Ну, зверь так зверь, — пробормотал Ямнинов, судорожно зевая и гоня прочь сон. — С волками жить — по-волчьи выть.

7

Когда звезды, словно крупички сахара, стали растворяться в теплеющем небе, он застал, вздрогнул и проснулся с колотящимся от испуга сердцем — не опоздал ли?

Дорога была пустой.

Он поднялся со стула, размял затекшее тело, умылся, заварил крепкого чаю. Снова сел, по-извозчицки ссутулившись и положив ладони на колени.

Небо светлело, светлело, и легкие мазки перистых облаков скользили по прозрачной синеве.

Потом показалось солнце, и сразу все ожило, зашевелилось, зашумело. Прилетела пчела, стала кружить над пиалой с остывшим чаем. Из ворот Водоканала неловко выбрался грузовик, поднял пыль, пофыркал и бодро укатил, перекашиваясь кузовом на ямах.

Отойти уже было нельзя, поэтому он помочился с козырька, неотрывно глядя в сторону города.

Солнце поднялось выше, стало припекать. Воздух над камнями слоился и дрожал.

К половине двенадцатого он начал беспокоиться. Они могут приехать вечером или не приехать вовсе. Тогда ему придется пережить еще одну ночь, дожидаться еще одного утра.

Воздух дрожал, переливался, и вместе с ним дрожали и переливались перед глазами картинки неясного прошлого и вполне определенного будущего. Может быть, ему удастся добраться до города. Конечно, его сразу станут искать. Но день или два у него есть. Деньги он займет у дяди Миши. Купит билет на поезд. Может быть, они перекроют вокзал... кто их знает... хотя вряд ли, вряд ли... Но все-таки лучше садиться на поезд не в Хуррабаде, а одной или двумя станциями дальше. Он оторвется... Или уйти сейчас? Еще не поздно... Скорее бы они появились, скорее... Есть много путей в жизни. Никогда не поздно отступить, никогда. Есть много путей...

Ямнинов вздрогнул, мгновенно концентрируясь.

Вдалеке показались две машины. Вот они скрылись в зарослях. Через несколько секунд появились снова. Ямнинов напряженно всматривался в залитое солнцем пространство. Первым был какой-то лаковый лимузин, за ним в клубах желтой пыли переваливался темно-синий джип. У них машин много, вишь ты... каждый день новые.

Машины миновали пшеничное поле, исчезли за тесно посаженными вдоль канала тузовыми деревцами. Вот снова возникли. Медленно покатали по разбитой дороге мимо ограды Водоканала. Ненадолго пропали за кустами кустов возле старых колодцев.

Даже сейчас не поздно уйти, подумал Ямнинов. Даже сейчас...

Он опустился на колени, лег, поерзал, пристраиваясь поудобнее. Теперь он смотрел на машины сквозь рамку прицела, очень медленно ведя ствол слева направо по мере движения.

Не доехав метров пятидесяти до поворота, они взяли к обочине и остановились.

Ямнинов вспотел, завозился. Поднял голову — нет, слишком далеко.

Из лимузина выбрался какой-то пузатый человек, недолго поозирался, приложив ладонь ко лбу, потом закричал:

— Николай! Э-э-э, Николай!.. Это я, Ибрагим!

Ямнинов торопливо протер кулаком слезящиеся глаза. Мелькнула мысль, что это какая-то ловушка: узнали... вычислили... догадались...

Нет, точно, это и впрямь был Ибрагим!

— Они не приедут, слышишь! — снова закричал тот. — Не прие-е-е-едут! Я к тебе иду, Никола-а-а-ай!

И пошел к дому.

Машины стояли.

Ямнинов с усилием разжал пальцы. Его вдруг затрясло.

— Ты чего там? — крикнул Ибрагим, задрал голову. — Спускайся! Чай готов? Не ждешь разве гостей?

— Вчера вечером с моста через Хуррамабадку — фью-ю-ю-ю! — старательно хохотал он, пожимая руки. — Прямо на мосту взорвали! Оба, друг за другом — и Ориф, и Зафар! Как бабахнет под машинами! Ну и не справились с управлением, как говорится!.. Самое смешное — милиция следом ехала! Тут же дорогу перекрыли — нельзя, мол! Специально время тянули: если кто жив еще, так чтобы захлебнулся! Представляешь?

— Кто? — с усилием спросил Ямнинов.

— Да, наверное, сам Карим Бухоро с ними и разделался. Но я свечку не держал, сам понимаешь... Ну давай, давай, веселись!.. — Ибрагим все еще смеялся: не хотелось, чтобы Ямнинов заметил ужас, который он испытывает, глядя в лицо, ставшее похожим на маску из трухлявого дерева под белой шапкой поседевших за ночь волос.

Ямнинов медленно сел и подпер голову руками.



ТАТЬЯНА БЕК



ДЕВОЧКА С БАНТОМ

* *
*

И. Ц.

«Родиться в России с умом и талантом» —
Несчастье! Но хуже — родиться с гордыней,
Лишенной смирения... Девочка с бантом
Глядела как в шоке на ельник, на иней,

На хлебное поле в сокровищах сорных,
На мелких улиток, закрученных туго,
На дальние звезды размером с подсолнух,
На хищных зверей карусельного круга,

На фрески в метро и на школьную доску...
Висела на брусках. Зубрила таблицу.
Хозяйственным мылом стирала матроску
И строем ходила на «Синюю птицу».

А мир наплывал как любовь и угроза,
Как страшное и вожденное чудо...
Казалось: душа развернется как роза.
Случилось: уродливый бунт из-под спуда.

...Уже на ветру покосился треножник,
Своей кривизною судьбу повторяя.
И скоро хорей размочит раешник —
Похожий на рой и далекий от рая.

* *
*

Много ль смысла оно принесло вам —
Говорение? Горечь и вой.
...В корни слова уйти корнесловом.
Отлежаться во тьме речевой.

Ибо только
немой и немая
Понимают друг друга сполна,
Душ ответственных не различая...
Говорила, бубнила, спала —

Но весною... Когда соловей...
Но едва лишь кусты на могиле...
Я,
не слыша гордыни своей,
Так хочу, чтобы просто — любили.

* *
*

Сжала губы полубантиком,
Полу — нищим узелком...
Полно мне кружить лунатиком,
Нытиком, еретиком!

Не приемля всеми жилами
Новый паводок и слог,
Напишу — большими вилами
По водице — некролог.

Дескать, жили, были, канули
Мы — без кузни и казны, —
Не совпавшие с лекалами
Небывалой кривизны.

«Прощевайте!»
...Тем не менее
Кланяюсь тебе, Земля,
Тихо уходя под пение
(С неба) Юры Ковалея.



ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА

*

ЗИМНИЙ ЗНОЙ

* *
*

Б. Ш.

Ну вот и осень на Земле Святой.
Листва не осыпается, не чахнет.
Мы величали осень золотой,
А тут вечнозеленой дело пахнет.

Что это значит и на что намек
В постриженных кустах, цветущих вечно?
И в синих птицах, вдоль и поперек
Края судьбы сшивающих беспечно?..

На что намек в безоблачной тоске
И в черных тучах, полных благодати,
И в заморозках на твоём виске,
На пену моря смахивающих, кстати?..

* *
*

Все улицы здесь хороши —
И теснотою, и простором.
Сплошное благо для души —
Зеленый незнакомый город.

И сладко памятен он мне —
Как новый мальчик в пятом классе,
Как новая страна во сне,
Как жизнь еще одна в запасе.

Плач по компьютерным файлам

Три давнишних записи,
три дневниковых файла
погибли в моем компьютере —
не открываются ни в какую.

Что-то там было, а что —
я никогда не узнаю.
Могу лишь догадываться.
Надо было выпустить эти листочки.

Все дни мои — файлы, один за другим
исчезающие в компьютере жизни.
Светятся на экране
и пропадают,
закрываются навсегда.

В компьютере
существует команда —
Сберечь, Сохранить.
Это значит — вести дневник,
это значит — стихи писать.

В компьютере
существует команда —
Выпустить, Напечатать.
Это значит —
книжку издать.

Буду
послушным пользователем
компьютера жизни,
а там посмотрим...

* *
*

Ранним-ранним утром
сажу перед черным окном,
читаю книгу.
Поднимаю глаза от страницы
и замечаю:
небо стало чуть-чуть светлее.
На коленях — теплый котенок.
В лицо веет прохлады.

Впереди — огромность нового дня,
за спиной — прозрачная толща времени.
А прямо передо мной —
ступеньки вселенского света.
Я внутри моей жизни,
внутри домашней тайны.
На коленях — котенок смерти.

Ночные стихи

Есть душа.
Все проблемы в ней.
Вот болит, и все.

Времени час ночи,
И все, у кого болит душа, —
мои друзья

по трудному счастью
быть живыми...

Вы со мною,
я с вами,
уже полегче.

Жизнь круглая,
как циферблат.
Отпустим стрелку.

* *
*

Ряльшком ходили много дней.
Как-то раз, не разнимая рук,
Забрели не в парк и не в музей,
А на шук¹. На тель-авивский шук.

На прилавке, как на пьедестале, —
Овощи и цены, и цветы.
За руки держаться перестали,
Оба нагрузились — я и ты.

Зимний зной. Орущая толпа.
Сказочное счастье без прикрас.
Рынка тель-авивского хупа²
Между делом осенила нас.

* *
*

Как славно около шести!
Уже светло, еще не жарко.
Как часики, день завести —
На это времени не жалко.

А потому вперед нагнусь,
Назад прогнусь и свечку выдам —
И отгоню от сердца грусть,
И не отдам его обидам.

Горит моя свеча, как видите,
И далеко ей до огарка.
Как славно около шестидесяти —
Уже светло, еще не жарко!

Любовь и все, что за душой, —
Ответ и новая задачка.
А впереди, как день большой, —
Заветной старости заначка.

Иерусалим — Тель-Авив.

¹ Шук — рынок (*иерит*).

² Хупа — брачный балдахин (*иерит*).



АЛЕКСАНДР ГЕНИС

*

ДОВЛАТОВ И ОКРЕСТНОСТИ

Главы из книги

СМЕХ И ТРЕПЕТ

Воздух — стихия смеха. В смехе есть нечто зыбкое, эфемерное, необходимое, естественное и незаметное. Шутка, как ветер, подхватывает и несет тебя по разговору. Как у полета во сне, у этого движения нет цели — одно наслаждение.

Все мы раньше очень много шутили, более того, мы шутили всегда. Это напоминало американский сериал, где смех прерывает действие раз в пять — десять секунд. Такая манера общения может показаться механической, но только не тогда, когда ты сам участник разговора, состоящего из передразниваний, каламбуров и вывернутых цитат.

Одно время мы называли эту алогичную скороговорку «поливом», думая, что ее изобрело наше поколение. Но потом я обнаружил точно такой диалог в первой главе «Улисса» и понял, что «полив» был всегда. Это своего рода литературная школа, буриме, словесная протоплазма, в которой вывариваются сгустки художественного языка.

Как все знают, смех не поддается фальсификации. Проще выжать слезу, чем улыбку. Это как с лошадью, которую можно привести к водопою, но нельзя заставить пить.

В смехе прямота и очевидность физиологической истины сочетаются с тайной происхождения. Ведь мы к юмору имеем отношение косвенное. Он разлит в самой атмосфере удачной беседы, когда шутка перелетает от одного собеседника к другому, как эхо через речку.

Юмор — коллективное действие, но даже в хоре есть солисты. Лучший из них — художник Бахчанян. (Единственным определением жанра, в котором работает многообразный Вагрич, служит его экзотическая фамилия, и художником я называю его скорее в том смысле, в каком говорят «артист» про карманника.)

За двадцать лет дружбы я пригляделся к ремеслу Бахчаняна. Его мастерская — приятельское застолье, в котором он, собственно, и не участвует, разве что как тигр в засаде. («Вагрич» как раз и значит «тигр» по-староармянски.)

Бахчанян напряженно вслушивается в разговор, в котором распускаются еще не опознанные соцветия юмора. Их-то Вагрич и вылавливает из беседы. Чуть коверкая живую, еще трепещущую реплику, он дает ей легкого пинка и вновь пускает в разговор в преображенном или обезображенном виде.

К сожалению, застольный юмор слишком укоренен в породившей его ситуации и потому с трудом ложится на бумагу. Обычно на ней остаются только ставшие всенародными бахчаняновские каламбуры вроде epochального: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью».

Сергей очень любил Бахчаняна. Однажды он нарисовал его висящим в проволочной петле. Это была иллюстрация к юмористической рубрике в «Новом американце», которой тот же Довлатов придумал и название — «Бахчаняна на проводе». Вагричу это не понравилось. Он любил быть хозяином, а не жертвой положения, и название пришлось сменить, но остался составленный из запятых человек с длинным, как у самого Сергея, армянским носом.

В отличие от Бахчаняна Сергей не был ни шутником, ни блестящим импровизатором, ни даже особо находчивым собеседником. Как многие другие, он обходился «остроумием на лестнице». Встретив Бродского после многолетней разлуки, Довлатов обратился к нему на «ты».

— Мы, — заметил тот, — кажется, были на «вы».

— С вами, Иосиф, хоть на «их», — выкрутился Сергей, но только день спустя, перескакивая всем эту историю.

Сергей, кстати, всегда охотно рассказывал о неловких положениях, в которые ему приходилось попадать. Обезоруживая других, он смеялся над собой, но не слишком любил, когда это делали другие.

Мы с Вайлем написали на Довлатова довольно похабную пародию под названием «Юбилейный пальчик». Действие, помнится, происходило в эстонском баре «Ухну». Пародию мы выдали за самиздатскую, и Сергей возмутился «надругательством» до тех пор, пока не узнал в нас авторов, после чего произнес свою любимую фразу: «Обидеть Довлатова легко, понять трудно».

Как ни странно, в отношении его этот незатейливый трюизм — святая правда: его действительно труднее понять, чем большинство известных мне писателей.

Смешное Сергей не выдумывал, а находил. Он обладал удивительным слухом и различал юмор отнюдь не там, где его принято искать.

Сергей, например, уверял, что Достоевский — самый смешной автор в нашей литературе, и уговаривал всех написать об этом диссертацию.

Его интересовали те находки, что, как трюфели, избегали поверхности. Этой азартной охотой Довлатов заражал других. Мы часами обменивались цитатами из классиков, которыми гордились, как своими.

Довлатов, скажем, приводил монолог капитана Лебядкина: «Попробуй я завещать мою кожу на барабан, примерно в Акмолинский пехотный полк с тем, чтобы каждый день выбивать на нем пред полком русский национальный гимн, сочтут за либерализм, запретят мою кожу...»

Я делился находкой из «Ревизора»: «Мне кажется, — спрашивает Хлестаков у попечителя богоугодных заведений, — как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?» На что Земляника покорно отвечает: «Очень может быть».

Вайль любил вспоминать Павла Петровича Петуха, который приговаривает, потчюя Чичикова жареным теленком: «Два года воспитывал на молоке, ухаживал, как за сыном!»

Однажды мы так долго сидели в нашем любимом кафе «Борджиа», что перепробовали все меню. Даже официантка не выдержала и спросила: «О чем можно говорить четыре часа?» Мы ей сказали правду: «О Гоголе».

В свои «Записные книжки» Сергей заносил не то, что ему говорили, а то, что он слышал. Я, например, не помню, чтобы рассказывал Довлатову хоть одну из баек, в которых упоминается моя фамилия.

Дело не в искажении истины — все они, увы, достаточно близки к правде, мне просто трудно понять принципы отбора. Думаю, что Сергей лучше знал, из чего делается литература.

Как-то зимой Довлатов собирался за границу и расспрашивал, где ему получить нужные бумаги. Я нудно объяснял. Раздраженный, Сергей с претензией говорит:

— Ну и как же я найду в толпе просителей чиновника?

— В американской конторе, где нет гардеробов, он один будет без пальто, — сказал я и удостоился довлатовского одобрения.

Другой раз это случилось летом. Закуривая (тогда мы еще оба курили), я пожаловался, что в жару карманов мало — спички некуда деть, а зимой карманов так много, что спичек и не найдешь.

Я сам не знаю, что Довлатов нашел в этих незатейливых репликах, но Сергей умел пускать в дело то, что другие считали шлаком. Он сторожил слово, которое себя не слышит. Его интересовало не то, что люди говорят, а то, о чем они проговариваются.

Бергсон, чуть ли не единственный философ, сказавший что-то дельное о юморе, писал, что смешным нам кажется человек, который ведет себя, как машина. У Довлатова это — говорящая машина. Он подслушивал своих героев в те минуты, когда они говорят механически, не думая.

В мире омертвевшего, клишированного языка не важно, что говорить. Речь выполняет ритуальную роль, смысл которой не в том, *что* говорится, а в том, кем и когда произносятся обрядовые формулы.

Сейчас меняются части этих формул, но не их магическая функция. Вот недавний пример: «Вывод войск, — говорит телевизионный комментатор, — должен проходить цивилизованным путем, то есть позже, чем предусмотрено договором». Комическое противоречие в содержании не замечается, потому что соблюдена форма, требующая употребить волшебное слово «цивилизованный». Язык работает вхолостую. Никто не слышит того, что говорится, потому что никто и не слушает. Кроме Довлатова, который хватал нас за руку, чтобы поделиться подслушанным.

У одного писателя он нашел «ангела в натуральную величину» и «кричащую нечеловеческим голосом козу». У другого — «локоны, выбивающиеся из-под кружевного фартука». А вот что говорит его майор Афанасьев: «Такое ощущение, что коммунизм для него уже построен. Не понравится чья-то физиономия — бей в рожу!»

На этом же приеме построен лучший рассказ «Зоны» — «Представление». Довлатов заставил читателя — скорее всего впервые в жизни — вслушаться в слова исполняющегося перед зеками «Интернационала»: «Вставай, проклятьем заклеянный весь мир голодных и рабов».

Как-то я сдуру попал в нью-йоркский ночной клуб «Туннель».

Много чего там было странного: мохнатый бар с поросшими синей шерстью стенами, манекенщицы в водолазных костюмах, стойка с напитками вокруг писсуара. Но больше всего меня поразила оптическая оргия.

В полной темноте на долю секунды вспыхивает ослепительная лампа. С каждой вспышкой картина меняется, но никакого движения в зале не происходит — оно скрыто от нас периодами темноты.

Создается тревожный эффект. Привычный нам слитный мир распадается на фрагменты, как в вынутой из проектора киноленте.

Мигающий свет делает танцующих неподвижными, придавая им выразительность восковых фигур. Живое притворяется неживым — застывшие гримасы, обрубки жестов.

Вот такую технику стоп-кадра и применял Довлатов. Перегораживая поток дурного подсознания, он останавливал мгновение. Не потому, что оно прекрасное, а потому, что смешное.

В театре не принято душить Дездемону на глазах у зрителей. У Довлатова кулисы скрывают скупную, банальную, а главное, несмешную жизнь. По его рассказам персонажи передвигаются урывками. Мы видим их только тогда, когда они говорят или делают что-нибудь смешное. Однако отнюдь не этим ограничивается их роль.

В одной заметке Сергей приписал нам с Вайлем собственную теорию смешного. «Юмор, — пишет он, пересказывая якобы наши, а на самом

деле свои мысли, — инструмент познания жизни: если ты исследуешь какое-то явление, то найди, что в нем смешного, — и явление раскроется тебе во всей полноте. Ничего общего с профессиональной юмористикой и желанием развлечь читающую публику все это не имеет».

Сергей верил, что юмор, как галогенная вспышка, вырывает нас из обычного течения жизни в те мгновения, когда мы больше всего похожи на себя. Я не верил в эту теорию, не узнавая себя в «Записных книжках» Довлатова, пока не сообразил: я не похож, но другие-то — вылитая копия.

Сергей учил меня расходовать юмор экономно. Пишет он, скажем, скрипт для радио — зарисовка эмигрантского быта страницы на две. Аккуратно, но вяло, зато в самом конце, под занавес, идет диалог, под который подстраивался весь текст.

— Моня, — спрашивает Сергей у хозяина русского гастронома, — почему у вас лещ с мягким знаком?

— Какой завезли, таким и торгуем.

Сначала я думал, что Довлатов просто жадничает. Тем более, что и хитрость небольшая. Я тоже всякую заказную работу начинаю с конца — с последнего предложения. Но это когда знаешь, что должно получиться. В школе я терпеть не мог алгебру, но уравнения — длиннющие, на целый урок — решал довольно сносно. Я просто гнал ответ к нулю или единице, сообразив, что эстетическое чувство вынудит автора задачника свести пример к круглому результату. Однако тем и отличается художественная литература от любой другой, что тут автор и сам не знает ответа.

Не экономия, а философия заставляла Довлатова прореживать в своей прозе шутки, которые он размещал исключительно в стратегически важных, но отнюдь не самых эффектных местах. Сергей, например, никогда не начинал и не заканчивал рассказ смешной фразой.

Довлатов приберегал юмор для тех ситуаций, когда он неуместен. Смех у него паразитирует на насилии: он питается страхом и жестокостью. Товарищ и соперник Довлатова, Валерий Попов в одном рассказе заметил, что нигде так не смеются, как в реанимационном отделении. Вот и у Довлатова смешное обычно связано со страшным.

Автор, например, узнает, что его брат, ведя пьяным машину, сбил прохожего. Дальше идет телефонный разговор:

— Ты, наверное, в жутком состоянии?! Ты ведь убил человека! Убил человека!..

— Не кричи. Офицеры созданы, чтобы погибать...

Смех у Довлатова, как в «Бульварном чтиве» Тарантино, не уничтожает, а нейтрализует насилие. Вот так банан снимает остроту перца, а молоко — запах чеснока.

Юмор и страх внеположны друг другу, но, соединяясь, они образуют динамичную гармонию, составные части которой примеряются, не теряя своего лица.

Смешав ярко-красный с темно-синим, художник получит серую краску. От разведенной сажи или испачканных белил этот цвет отличает чрезвычайная интенсивность. Рожденная из кричащего противоречия серость хранит память о своем необычном происхождении. Соседство смешного и страшного у Довлатова заменяет черно-белую картину мира серой. Будни в его рассказах окрашены серостью преодоленного ужаса и подавленного смеха.

Среди тех, кто умеет смешить, редко встречаются весельчаки. Над своими шутками им не позволяет смеяться этикет, а над чужими — гордость. Довлатов же, обожая веселить других, любил и сам посмеяться, делая это необычайно лестным для собеседника образом — уха и растирая кулаком слезы.

Однажды, собрав смешные казусы из газетной жизни, мы сочинили «Преждевременные мемуары». Показали их Довлатову. Уханье из-за стены доносилось настолько часто, что мы уже заранее порозовели от предстоящих похвал. Но приговор Сергея был суровым: не найдя тексту ни формы, ни смысла, мы, сказал он, разбазарили смешной материал. В прозе юмор должен не копиться, а работать.

В те годы я был уверен, что юмор не средство, а цель. Одержимый идеей мастерства, я заменял все другие оценки словом «смешно», потому что в нем слышались лаконизм и точность. Анекдот убивают длинноты и отсебятина. Смешное, как стихи или музыку, нельзя пересказать — только процитировать. Поскольку юмор — это то, что остается, когда убирают лишнее, то смешное — первичная стихия литературы, в которой словесность живет в неразбавленном виде.

Довлатов такой взгляд на вещи не разделял и делал все, чтобы от него нас отучить. В его письмах я обнаружил суровую отповедь: «Отсутствие чувства юмора — трагедия для литератора, но отсутствие *чувства драмы* (случай Вайля и Гениса) — тоже плохо».

Нам он этот тезис излагал проще: хоть бы зубы у вас заболели. Иногда Сергей с надеждой спрашивал: «Ну, признайся, вы с Петей хоть раз подрались?»

В себе Сергей чувство драмы лелеял и холил. Никогда не забываясь, он прерывал слишком бурное веселье приступом хандры. Обнаружить то, что ее вызвало, было не проще, чем объяснить сплин Онегина. Сергея могло задеть неловкое слово, небрежная интонация, бесцеремонный жест. И тогда он мрачнел и уходил, оставляя нас размышлять о причинах обиды.

Мнительность была его органической чертой. Плохие новости Сергей встречал стойко, но хорошие выводили из себя. Он ждал неудачу, подстерегал и предвидел ее.

Отстаивая свое право переживать, в том числе и впустую, Довлатов бегался из-за нашей полупринципиальной-полубездумной беззаботности. Как-то в ответ на его очередную скорбь я механически бросил: «А ты не волнуйся». В ответ Сергей, не признававший ничего не значащих реплик, взорвался: «Ты еще скажи мне: стань блондином».

Довлатов считал себя человеком мрачным. «Главное, — писал он в одном письме, — не подумай, что я веселый и тем более счастливый человек». И вторил себе в другом: «Тоска эта блядская, как свойство характера, не зависит от обстоятельств».

Я ему не верил до тех пор, пока сам с ней не познакомился. Мне кажется, это напрямую связано с возрастом. Только доживя до того времени, когда следующее поколение повторяет твои ошибки, ты убеждаешься в не-уникальности своего существования.

Тоска — это осознание того предела, о существовании которого в юности только знаешь, а в зрелости убеждаешься. Источник тоски — в безнадежной ограниченности твоего опыта, которая саркастически контрастирует с неисчерпаемостью бытия. От трагедии тоску отличает беспросветность, потому что она не кончается смертью.

«Печаль и страх, — пишет Довлатов, — реакция на время. Тоска и ужас — реакция на вечность».

Дело ведь не в том, что жизнь коротка, — она скорее слишком длинна, ибо позволяет себе повторяться. Желая продемонстрировать истинные размеры бездны, Камю взял в герои Сизифа, показывая, что вечная жизнь ничуть не лучше обыкновенной. Когда доходит до главных вопросов, вечность нема, как мгновенье.

Бродский называл это чувство скукой и советовал доверять ей больше, чем всему остальному. Соглашаясь с ним, Довлатов писал: «Мещане — это люди, которые уверены, что им должно быть хорошо».

Для художника прелесть тоски в том, что она просвечивает сквозь жизнь, как грунт сквозь краски. Тоска — дно мира, поэтому и идти отсюда можно только вверх. Но тот, кто поднялся, не похож на того, кто не опускался.

Раньше в довлатовском смехе меня огорчал привкус ипохондрии. Но теперь я понимаю, что без нее юмор — как выдохшееся шампанское: градусы те же, но праздника нет.

Довлатов не преодолевает тоску — это невозможно, — а учитывает и использует. Именно поэтому так хорош его могильный юмор. Ввиду смерти смех становится значительным, ибо она ставит предел инерции. Не умея повторяться, смерть возвращает моменту уникальность. Смерть заставляет вслушаться в самих себя. Человек перестает быть говорящей машиной на пути к кладбищу.

Такое путешествие Довлатов описывает в рассказе «Чья-то смерть и другие заботы»:

«Быковер всю дорогу молчал. А когда подъезжали, философски заметил:

— Жил, жил человек — и умер.

— А чего бы ты хотел, — говорю».

ПОЭТИКА ТЮРЬМЫ

Японцы никогда не говорят о войне. Рассказывая о ней, приходится либо хвастаться, либо жаловаться — и то и другое несовместимо с ображениями приличий. Нечто похожее происходит и с лагерниками. О прошлом они обычно рассказывают анекдоты.

Истории сидевших людей часто уморительны, иногда трогательны, изредка глубоки, но никогда не трагичны. О страшном не говорят, это — фон, черный, как школьная доска, на которой меловые рожицы выходят еще забавнее.

Синявский, например, и о Мордовии говорил не без теплоты. Рассказывал, что, вернувшись в Москву, не мог отделаться от привычки здороваться с посторонними, как это было принято в лагере. Но вот почему он ненавидел кашу и ел прикрыв рот ладонью, я могу только догадываться.

В нашем кругу лагерная тема звучала достаточно громко. Сам Довлатов был надзирателем; среди общих друзей — известные зеки, знаменитые стукачи, даже один следователь. Участвуя в их разговорах, Сергей слушать любил больше, чем говорить. Может быть, потому, что слишком ценил свой лагерный опыт.

К блатным Довлатов относился пристрастно, говорил с восхищением об их языке, воображении, походке. Не без гордости Сергей принимал и свою огромную популярность у бывших зеков. Он с удовольствием рассказывал, как побывал на дне рождения Евсея Агрона, «крестного отца» брайтонской мафии. Во время торжества ресторан хором пел: «Евсей всегда живой». Что оказалось нектати, ибо вскоре Агрона застрелили в собственном подъезде.

При всем том Довлатов не заблуждался насчет зеков и «братьев меньших» в них не видел. Не было тут, конечно, и той зависти к дворовым мальчишкам, которая часто порождает комплексы у интеллигентов.

В довлатовской системе координат зеку выпадает роль набата. Уголовник — такая же неотъемлемая часть мира, как академик и балерина. Жизнь не поддается редактуре, она тотальна, целостна, неделима. Либо вы принимаете мироздание как оно есть, либо возвращаете билет Творцу.

Недавно мне в руки попали письма Довлатова из армии. Сергей их писал отцу из тех лагерей, где проходила его служба. Чуть ли не в каждом — стихи.

В них поражает смесь банальщины и гротеска, пошлости и точности — обэриуты под гармошку. Но герои в них уже довлатовские:

На станции метро, среди колонн,
 Два проходимца пьют одеколон,
 И рыбий хвост валяется в углу
 На мраморно сверкающем полу.

Иногда в стихах проглядывает и тот автор, с которым нам предстоит так обстоятельно познакомиться в рассказах Довлатова:

Я вспомнил о прошедшем,
 Детали в памяти храня:
 Не только я влюблялся в женщин,
 Влюблялись все же и в меня.

Получше были и похуже,
 Терялись в сутолоке дней,
 Но чем-то все они похожи,
 Неравнодушные ко мне.

Однажды я валялся в поле,
 Травинку кислую жуя,
 И наконец, представьте, понял,
 Что сходство между ними — я.

Чаще всего Сергей, конечно, описывал лагерь:

Тайгу я представлял себе иной —
 Простой, суровой, мужественной, ясной.
 Здесь оказалось муторно и грязно
 И тесно, как на Лиговке в пивной.

«Стоит тайга, безмолвие храня,
 Неведомая, дикая, седая».
 Вареную собаку доедают
 «Законники», рассевшись у огня.

Читавший раньше Гегеля и Канта,
 Я зверем становлюсь день ото дня.
 Не зря интеллигентного меня
 Четырежды проигрывали в карты.

Больше всего мне понравилось стихотворение, в котором Сергей нащупывает центральную идею своей «Зоны». Называется оно «Памяти Н. Жабина»:

Жабин был из кулачья,
 Подхалим и жадина.
 Схоронили у ручья
 Николая Жабина.

Мой рассказ на этом весь.
 Нечего рассказывать,
 Лучше б жил такой, как есть,
 Николай Аркадьевич.

«Зона» была для Сергея если и не самой любимой, то самой важной книгой. Ее он не собирал, а строил — обдуманно, упорно и педантично. Объединяя лагерные рассказы в то, что он назвал повестью, Довлатов сам себя комментировал. В первый раз он пытался объяснить, с чем он пришел в литературу.

Он не мог сделать этого, не разобравшись с предшественниками — Шаламовым и Солженицыным. Одного Сергей любил, другого уважал.

Поскольку Солженицына у нас никто, кроме Парамонова, в глаза не видел, то и относились к нему, как к члену Политбюро. Сам его образ

провоцировал ехидство. Рассказывали, что его дети, запершись в туалете, читают Лимонова. Снимок Солженицына в шортах ходил по рукам. Хуже всех был неизбежный Бахчанян, составивший фотоальбом «Сто однофамильцев Солженицына».

В этой фронде Довлатов тоже принимал участие, что не мешало ему отправлять Солженицыну каждую новую книжку. На этот случай он придумал исключаящую унижение надпись: сочту, мол, за честь, если эта книга найдет себе место в вашей библиотеке. Пока Сергей был жив, Солженицын не отвечал. Теперь, говорят, прочел и хвалит. Оказалось, что у них много общего.

Повторяя Солженицына, Сергей говорил, что именно тюрьма сделала его писателем. Как и для Солженицына, лагерь стал для Довлатова «хождением в народ». Тюрьма открыла Сергею то, что двадцать лет спустя он назвал «правдой»: «Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни <...> Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие <...> Я увидел свободу за решеткой. Жестокость, бессмысленную, как поэзия <...> Я увидел человека, полностью низведенного до животного состояния. Я увидел, чему он способен радоваться. И мне кажется, я прозрел».

Тюрьма — как аббревиатура жизни: снимая все культурные слои, она сдирает жизнь до мяса, до экзистенции, до чистого существования.

«Момент истины» настиг Довлатова, когда он был не зеком, а надзирателем. Позиция автора изменила не тему, но отношение к ней.

Убедившись, что по одну сторону решетки не слаще, чем по другую, Довлатов отказался признавать существование решетки вовсе. Зона — или везде, или нигде, — вот вывод, который Довлатов привез из лагерной охраны. И тут он расходится с Солженицыным: «По Солженицыну лагерь — это ад. Я же думаю, что ад — это мы сами».

Сартр говорил: «Ад — это другие». Другие могут не беспокоиться, утверждал Довлатов.

У Солженицына тюрьма обретает провиденциальное значение. В ГУЛАГе произошло слияние верхов и низов; ГУЛАГ стал средством объединения разобщенной со времен Петра интеллигенции и народа; ГУЛАГ — духовный опыт соборности, оплаченный безвинными страданиями; ГУЛАГ — орудие русской судьбы, сводящее воедино веками разобщенную страну.

Из концепции Солженицына следует, что, пройдя сквозь горнило лагерей, русская литература может завершить свое вечное дело — не только пойти в народ, но и дойти до цели.

Нравственный императив Солженицына — осмыслить опыт ГУЛАГа в пространстве всей национальной истории, найти ему место в картине мироздания.

Именно в этом месте и отказывал тюрьме Шаламов. Зона для него — минное поле метафизики, где под невыносимым грузом испытаний начинает течь, как металл под давлением, сама действительность. Тут она становится зыбкой, гротескной, абсурдной. У Шаламова тюрьма выносит человека за скобки мира, это — абсолютное, бессмысленное зло.

С этим Довлатов тоже не соглашался: «Я немного знал Варлама Тихоновича. Это был поразительный человек. И все-таки я не согласен. Шаламов ненавидел тюрьму. Я думаю, что этого мало. Такое чувство еще не означает любви к свободе. И даже — ненависти к тирании».

Разговор Довлатова с Шаламовым никогда не прекращался: в споре с ним Сергей шлифовал свои принципы. В один из таких диалогов он и меня вставил. «Злющий Генис мне сказал: „Ты все боишься, чтобы не получилось, как у Шаламова. Не бойся. Не получится <...> Я понимаю, это так, мягкая дружеская ирония. И все-таки зачем переписывать Шаламова?.. Меня интересует жизнь, а не тюрьма. И — люди, а не монстры...»

Сергей не мог принять приговор Шаламова тюрьме, ибо именно в зоне он понял, что в мире нет ничего черно-белого.

Даже шахматы Сергей ненавидел.

В «Зоне» есть сюжет, историю которого Сергей любил рассказывать. Речь там идет о зеке-отказнике, отрубившем себе пальцы, чтобы не работать. В тексте он изувечил себя молча: «Купцов шагнул в сторону. Затем медленно встал на колени около пня. Положил левую руку на желтый, шершавый, мерцающий срез. Затем взмахнул топором и опустил его до последнего стука».

Но на самом деле, вспоминал Сергей, Купцов сперва произнес жуткую фразу: «Смотри, как сосиски отскакивают».

Тогда я не понимал, почему Довлатов пожертвовал этой точной деталью. Теперь, кажется, понял.

Рассказ построен как поединок сильных людей — надзирателя и вора в законе. Дуэль идет по романтическому сценарию: Мериме, Гюго, Джек Лондон, даже Горький.

Но финал Довлатов намеренно испортил — стер очевидную точку. Выбросив эффектную концовку, Сергей притушил рассказ, как плевком — окурком.

Сделал он это для того, чтобы сменить героя. В одно мгновение, как Толстой в страстно любимом Сергеем «Хозяине и работнике», Довлатов развернул читательские симпатии с надзирателя на вора.

У довлатовского охранника слишком сильная воля, вот он и вершит насилие над естеством, заставляя работать потомственного вора. Перед нами — жалкий слепец, который стремится любой ценой исправить мир, накинув на него намордник универсального закона.

Не правда, а жизнь на стороне вора, который до конца защищает свою природу от попыток ее извратить.

ЩИ ИЗ БОРЖОМИ

«Я, сын армянки и еврея, — жаловался втянутый в публичные объяснения Довлатов, — был размашисто заклеямен в печати как „эстонский националист“».

Надо сказать, он не был похож не только на третьего, но и на первых двух. Называя себя «относительно белым человеком», Сергей описывал свою бесспорно экзотическую внешность обобщенно, без деталей, смутно упоминая общее средиземноморское направление, налегая на сходство с Омаром Шарифом.

Собственно, национальность, и в первую очередь — своя, интересовала его чрезвычайно мало. Не то чтобы Довлатов вовсе игнорировал эту столь мучительную для большей части моих знакомых проблему. С национальным вопросом Сергей поступил, как со всеми остальными, — он транспонировал его в словесность.

Довлатов связывал национальность не с кровью, а с акцентом. С ранней прозы до предпоследнего рассказа «Виноград», где появляется восточный аферист Бала, инородцы помогали Сергею решать литературные задачи.

Набоков говорил, что только косвенные падежи делают интересными слова и вещи. «Всякое подлинно новое веяние, — поучал он, — есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало». Акцент был косвенным падежом, делающим интересным русский язык Довлатова.

Сергей писал настолько чисто, что язык становился незаметным. Это как с «Абсолютом»: о присутствии водки мы узнаем лишь по тяжести бутылки. Как перец в том же «Абсолюте», акцент в довлатовской прозе не замутняет, а обнаруживает ее прозрачность. Успех тут определен точнос-

тью дозировки. Чтобы подчеркнуть, а не перечеркнуть правильность языка, сдвиг должен быть минимальным.

Сергей любил примеры удачной инъекции акцента. Читатель, уверял он, никогда не забудет, что герой рассказа — грузин, если тот один раз скажет «палто». Но когда я спросил Сергея, как отразить на письме картавость, он ничего не посоветовал. Видимо, так — в лоб — изображать еврея казалось ему бессмысленно простым. Как сказано у Валерия Попова, плохо дело, если ты думаешь о письме, видя почтовый ящик.

Зато «р» не выговаривает у Довлатова персонаж-армянин: «Пгоклятье, — грассируя, сказал младший, Леван, — извините меня. Я оставил наше гужье в багажнике такси». От героев рассказа «Когда-то мы жили в горах» мы ждем гортанного говора. Но Довлатов дразнит читателя, изображая не акцент, а дефект речи.

Кавказ спрятан у него глубже. Восточный оттенок создает не фонетика, а синтаксис: «Приходи ко мне на день рождения. Я родился — завтра». Плюс легкий оттенок абсурда:

«— Конечно, все народы равны. И белые, и желтые, и краснокожие... И эти... Как их? Ну? Помесь белого с негром?»

— Мулы, мулы, — подсказал грамотей Ашот».

Кстати, это — рассказ-исключение. Его на беду и журнала, и автора напечатали в «Крокодиле». В ответ пришло открытое письмо из Еревана. Группа академиков обиделась на то, что армян показали диким народом, жарящим шашлык на паркете.

Знакомый с кавказской мнительностью Бахчанян придумал издавать роскошный журнал исключительно южных авторов. Помимо Вагрича и Довлатова в нем печатались бы Окуджава, Искандер, Ахмадулина, Олжас Сулейменов. Называться журнал должен был «Чучмек».

В Америке, как в загробном царстве, расплачиваются за грехи прошлой жизни. Поэтому тут мы на своей шкуре узнаем, что значит говорить с акцентом.

Однажды мы большой компанией, в которую входил и Довлатов, возвращались из Бостона в Нью-Йорк. По пути остановились перекусить в придорожном ресторанчике. Несмотря на поздний час, я захотел супа и заказал его официанту, отчего тот вздрогнул. Тут выяснилось, что супа хотят все остальные. Так что я заказал еще четыре порции.

Официант опять вздрогнул и сделал легкий недоумевающий жест. Но я его успокоил: русские, мол, так любят суп, что едят его даже глухой ночью. Он несколько брезгливо пожал плечами и удалился, как я думал, на кухню.

Вернулся он минут через двадцать. На подносе стояли пять бумажных стаканов с густой розовой жидкостью, отдающей мылом. Познакомившись с напитком поближе, я убедился, что это и было жидкое мыло, которое наш официант терпеливо слил из контейнеров в туалетных умывальниках.

Только тогда до нас дошла вся чудовищность происшедшего. Дело в том, что мыло по-английски — «soap», «soap», а «soup» так и будет «суп». Чего уж проще?! Но вместо того, чтобы не мудрствовать лукаво и заказать «суп», мы произносили это слово так, чтобы звучало по-английски: «сэуп». В результате что просили, то и получили: литра полтора жидкого мыла.

Говорят, что полностью от акцента избавиться можно только в тюрьме. Тем, кто не сидел, хуже.

Сергей не был ни на одной из своих исторических родин, но Кавказ его волновал куда больше Израиля. Все-таки он всю жизнь не расставался с матерью, которая выросла в Тбилиси. Сергей любил рассказывать, что в нью-йоркском супермаркете она от беспомощности то и дело переходит на грузинский. С остальными Нора Сергеевна говорила по-русски, и ни-

чего восточного в ней не было. Разве что побаивались ее все. Особенно — гости. Сергей постоянно предупреждал, что мать презирает тех, кто не моет в туалете руки. Поэтому, собираясь в уборную, гости тревожно бормотали: «Пойти, что ли, руки помыть». Я же, выходя, усердно стряхивал воду с ладоней — для наглядности.

В довлатовских рассказах много историй Норы Сергеевны, в том числе и с кавказским антуражем. Сергей им особенно дорожил, но, опять-таки, из литературных соображений.

Обычной советской оппозиции «Восток — Запад» Довлатов предпочитал антитезу из русской классики — «Север — Юг». Кавказ у него, как в «Мцыри», — школа чувств, резервуар открытых эмоций, вопреки тусклым северянам. «В Грузии — лучше. Там все по-другому», — пишет он почти стихами в «Блюзе для Натэллы», рассказе, напоминающем тост.

Важно, однако, что Юг у Довлатова, как на глобусе, существует лишь в паре с Севером. Их неразлучность позволила Сергею одновременно и продолжать, и пародировать традицию романтического Кавказа:

«Одновременно прозвучали два выстрела. Грохот, дым, раскатистое эхо. Затем — печальный и укоризненный голос Натэллы:

— Умоляю вас, не сорьтесь. Будьте друзьями, Гиго и Арчил!

— И верно, — сказал Пирадзе, — зачем лишняя кровь? Не лучше ли распить бутылку доброго вина?!

— Пожалуй, — согласился Зандукели.

Пирадзе достал из кармана „маленькую”».

Юг у Довлатова нуждается в Севере просто потому, что без одного не будет другого. С их помощью Довлатов добивался своего любимого эффекта — сочетания патетики с юмором.

Эти, казалось бы, взаимоисключающие элементы у него не противостоят и не дополняют, а реанимируют друг друга. На таком динамическом балансе высокого с низким держится вся проза Довлатова.

География делает структурный принцип его литературы более наглядным, но, в сущности, она ни при чем.

«— Я хочу домой, — сказал Чикваидзе. — Я не могу жить без Грузии!

— Ты же в Грузии сроду не был.

— Зато я всю жизнь щи варил из боржоми».

Стороны света служили Довлатову всего лишь симптомом сложности. Липовый кавказец, он и себя ощущал тайным агентом — то Юга, то Севера. У него в детективной повести и шпион есть соответствующий — овца в волчьей шкуре.

В другом месте Довлатова можно узнать в борце по имени «Жульверн Хачатурян», получившего к тому же «на Олимпийских играх в Мельбурне кличку „Русский лев”».

Патетика и юмор Довлатова живо напоминают пару, упомянутую в «Фиесте», — иронию и жалость. Я всегда знал, что Сергей внимательней других читал Хемингуэя.

Именно потому, что смешное не бывает высокопарным, их сочетание нельзя разнять — как полюса магнита, красно-синюю подкову которого мне хотелось распилить в детстве. Такую же невозможную операцию я пытался навязать Довлатову. Меня раздражали «жалкие» места, регулярно появлявшиеся в самых смешных рассказах Довлатова.

Скажем, в финале уморительной истории партийных похорон автор произносит речь у могилы: «...Я не знал этого человека... Не думаю, что угасающий взгляд открыл мерило суматошной жизни... Не думаю, чтобы он понял, куда мы идем и что в нашем судорожном отступлении радостно и ценно».

Неуместность этого риторического абзаца, тормозящего анекдотическую развязку, казалась настолько очевидной, что я никак не понимал,

почему Сергею его просто не выбросить. Довлатов сносил наскоки ничего не объясняя. Да я тогда бы и не услышал.

Понять Довлатова мне помог Чехов. Точнее — Гаев. В «Вишневом саде» его монологи глубже других. Отдавая комическому персонажу сокровенные мысли, Чехов их не компрометирует, а испытывает на прочность. Мы можем смеяться над Гаевым, но в его напыщенной декламации — ключ к пьесе: «О природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, которую мы называем Матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живишь и разрушаешь...»

Кстати, все это очень близко Довлатову, который спрашивал: «Кто назовет аморальным болото?» И сам себе отвечал шекспировской цитатой: «Природа, ты — моя богиня!» Не забывая тут же напомнить: «Впрочем, кто это говорит? Эдмонд! Негодяй, каких мало...»

Армянином Довлатову было быть интереснее, чем евреем. В русских евреях слишком мало экзотики. Однако эмиграция все-таки вынудила Довлатова выяснять свои отношения с еврейством.

Обычно бывает наоборот. Я, например, вспоминаю о своей национальности, только когда приезжаю в Россию. Тут это по-прежнему актуально. И не потому, что евреев не любят. Однажды в Москве таксист посмотрел на меня внимательно и сказал:

— Все-таки преступная у нас власть. Сколько из-за нее евреев уехало! Как мы теперь с китайцами справимся?

— А евреи как справятся?

— Мне откуда знать, — вздохнул таксист, — я же не еврей.

В другой раз на рынок зашел. Спрашиваю у бабушки, откуда молоко. Из Рязани, говорит. Я умилился: моя, мол, родина. «Не похож», — в ответ отчеканила старушка.

Так что в определенном смысле в России евреем быть проще, чем в Америке. За океаном все быстро забывают о национальном вопросе. В моем городке, скажем, много и армян, и турок, поэтому я часто вижу, как они толкуются в одной ближневосточной лавке. Их примирила бастурма. А в соседнем городе есть хорошая футбольная команда, вся — из югославов: и сербы тут, и хорваты, и боснийцы.

Евреи тоже мало кого волнуют. Помню, сын пришел из новой школы и рассказывает, что есть у них главный хулиган, зовут Кац. Мы смеемся, а он не понимает почему.

Впрочем, все это не относится к нашим эмигрантам. Для русской Америки евреи — всегда тема. Причем для многих если тема — не евреи, то это — и не тема.

Есть у меня знакомый, который сразу отходит, когда говорят не о евреях. Я сам слышал, как он отстаивал версию инопланетного происхождения иудейского племени. Довлатов в одном письме о нем отзывается. Он, пишет Сергей с удивлением, «глуп почти неправдоподобно для еврея».

В Америке Довлатов сперва пытался если и не стать, то казаться евреем. Раньше он туманно писал, что принадлежит к «симпатичному национальному меньшинству», теперь уверенно упоминал обе половины. Сергей даже пытался изображать национальную гордость: «Мне очень нравилась команда „Зенит“, — слегка льстил он читателю, — потому что в ней играл футболист Левин-Коган. Он часто играл головой».

На самом деле Довлатову было все равно. «Русские считают Бабеля русским писателем, — писал он, — евреи считают Бабеля еврейским писателем. И те, и другие считают Бабеля выдающимся писателем. И это по настоящему важно».

Национальная индифферентность Довлатова не помешала ему возглавить «Новый американец», который в силу неоправдавшихся коммерче-

ских надежд носил диковинный подзаголовок «Еврейская газета на русском языке».

Я до сих пор не знаю, что это значит. Сергей тоже не знал, но объяснял в редакторских колонках: «Мы — третья эмиграция. И читает нас третья эмиграция. Нам близки ее проблемы. Понятны ее настроения. Доступны ее интересы. И потому мы — еврейская газета». Силлогизм явно не получался.

До поры до времени газета «Новый американец» была не более еврейская, чем любая другая. В «Новом русском слове», например, из русских служила только корректор, по мужу — Шапиро. Довлатовы с ними дружили домами.

У нас ситуация круто изменилась лишь тогда, когда «Новый американец» попал в руки американского бизнесмена. Новый босс, когда не сидел в тюрьме, придерживался законов ортодоксального иудаизма и требовал того же от редакции. Не зная русского, он приставил к нам комиссара. В одной статье тот вычеркнул фамилию Андре Жида. Довлатов об этом даже не упомянул — звучит неправдоподобно. Зато в «Записные книжки» попал другой эпизод. Как-то на первой полосе мы напечатали карту средневекового Иерусалима. Наутро я попался на глаза взбешенному владельцу. Он хотел знать, кто наставил церквей в еврейской столице. Я сказал, что крестоносцы.

Пересказывая эту историю, меня Сергей не упомянул. Нету нас с Вайлем и в довлатовской истории «Нового американца». Дело в том, что после смены власти Сергей ушел из газеты почти сразу, мы же в ней задержались. Довлатову это очень не понравилось, и вновь мы подружились, когда еврейский сюжет был исчерпан окончательно.

Простившись с «Новым американцем», Довлатов с облегчением вернулся к философии этнического безразличия. Сергей вообще не верил в возможность национальной литературы. На все возражения он приводил в пример космополита Бродского, который, по его словам, «успешно выволакивал русскую словесность из провинциального болота».

Что касается евреев, то они у Довлатова вновь превратились в литературный прием: «К Марусиному дому подкатил роскошный черный лимузин. Оттуда с шумом вылезли четырнадцать испанцев по фамилии Гонзалес... Был даже среди них Арон Гонзалес. Этого не избежать».

Сергей ценил взрывную силу самого еврейского имени. Оно для него было иероглифом смешного.

Собственно, евреи ему были не нужны, и там, где их не было, например — в Коми, он прекрасно без них обходился: «Знакомьтесь, — гражданским тоном сказал подполковник, — это наши маяки. Сержант Тхапсаев, сержант Гафитулин, сержант Чичиашвили, младший сержант Шахматьев, ефрейтор Лаури, рядовые Кемоклидзе и Овсепян...»

На что своеобразно реагирует охранник-эстонец: «Перкеле, — задумался Густав, — одни жида...»

TERE-TERE

В Эстонию весной 1997-го я приезжал вовсе не из-за Довлатова, а по приглашению издателя. Отправив меня в Прибалтику, судьба слегка напутала с адресом — я попал не в родную Ригу, а в двоюродный Таллин.

Впрочем, в балтийской географии многие не тверды. Не то что в Нью-Йорке, даже в Москве часто забывают, что латышей и литовцев сближают языки, а Латвию и Эстонию — архитектура и религия: протестантский кирпичный кармин вместо мягкой католической охры.

Я, кстати, уверен, что рижская готика спасла мне здоровье. У нас было принято выпивать на свежем воздухе, передвигаясь от одной городской

панорамы к другой. Под каждый стакан выбирался особый ракурс — допустим, с крыши амбара на Домский собор. У меня органная музыка до сих пор ассоциируется с плодово-ягодным.

В Эстонии я чувствовал себя, как за границей, то есть — как дома. Здесь все как на Западе — только лучше, во всяком случае новее. Стране сделали евроремонт, под ключ. Леса уже убрали, но штукатурка еще чистая.

Русские в Эстонии ездят на западных машинах, хорошо говорят по-здешнему и непрестанно ругают власти. Короче, ведут себя, как наши в Америке. И к эстонцам относятся, как у нас к американцам: снисходительность — явная, уважение — невольное. Видимо, эмигранты всюду похожи. А вот эстонцы — другие. Входя в купе, русский пограничник вместо «здрасьте» кричит «не спать!», эстонский — говорит «тере-тере». Таллинский официант извинился, что кофе придется ждать. Я спросил: «Сколько?» — «Чэ-етыри минуты». Выяснилось, что и правда — четыре.

После Гагарина, помнится, появился анекдот. Сидит эстонец, ловит рыбу. Подходит к нему товарищ и говорит: «Слышал, Я-ан, русские в космос полетели?» — «Все?» — не оборачиваясь спрашивает Ян.

Потом я узнал, что это рассказывали во всех советских республиках, но больше всего анекдот идет эстонцам. Флегматики и меланхолики, они воплощают то, чего нам, сангвиникам и холерикам, не хватает. Прежде всего немую невозмутимость. В Эстонии советскую власть не простили и не забыли, а замолчали.

«Молчание, — насмотревшись на эстонцев, писал Довлатов, — огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое оружие».

В Эстонии Довлатов — не герой. И не только потому, что его все знали, но и потому, что *он* всех знал. «Компромисс» в Таллине читают, как письмо Хлестакова в «Ревизоре».

В Эстонии довлатовские персонажи носят имена не нарицательные, а собственные, причем, как мне объяснили, ничем не запятнанные. Все они, что бы ни понаписал Довлатов, люди порядочные. Один фотограф Жбанков получился достоверно: алкаш как алкаш, он и не спорил.

Однако обида — тоже вид признания. Сергея вспоминают, как цунами: демонстрируют увечья, тайно гордясь понесенным уроном. Мне даже показалось, что от Довлатова тут осталось следов больше, чем от советской власти. Таллин — слишком маленький город, чтобы не заметить в нем Сергея. Довлатова было так много, что о нем говорили во множественном числе. «Прихожу в гости, — рассказывала мне одна дама о знакомстве с Довлатовым, — а там много опасных кавказцев. И ботинки в прихожей — каждый на две ноги!»

Не исключено, что Сергей эту историю сам придумал и сам внедрил в местный фольклор. Он любил предупреждать дурные слухи о себе, облагораживая их за счет формы, но не содержания. Тамара, эстонская жена Довлатова, вспоминает, как, назначая ей по телефону встречу, он описывал себя: «Похож на торговца урюком. Большой, черный, вы сразу испугаетесь».

Сергей одновременно гордился своим угрожающим обликом и стеснялся его. В одной газетной реплике он обиженно напоминает, что Толстой был «изрядным здоровяком», а Чехов — «крупным мужчиной», поэтому только дураки считают, что «здоровые люди должны писать о физкультурниках».

В поисках компромисса между силой и умом Сергей придумал себе соответствующий костюм: «нечто военно-спортивно-богемное, гибрид морского пехотинца с художником-абстракционистом». На деле это была блестящая, как сапоги, кожаная куртка. Я ужасно рассердил Сергея, сказав, что в ней он похож на гаишника.

Привыкнув производить грозное впечатление, выпивший Довлатов однажды голосом Карабаса-Барабаса спросил моего маленького сына: «Ну что, боишься меня?» Однако в Америке дети, как кошки, собаки и белки, ничего не боятся, поэтому Данька твердо взял Сергея за руку и внятно объяснил, какой именно автомат ему нравится. Где-то он у нас до сих пор валяется.

Эстония для Довлатова была примеркой эмиграции. Из России она казалась карманным Западом, очутившимся по ошибке на Востоке. Презрев глобус, Довлатов помещал ее в условное пространство заграницы. Так, выбравшиеся из окна герои редкого для него фантазмагорического рассказа «Чирков и Берендеев» немислимым маршрутом пролетают над «готическими шпилями Таллина, куполами Ватикана, Эгейским морем».

Это — география рекламного бюро, а не школьного атласа. Довлатову важно одно: прямо за «сонной Фонтанкой» начинается чужая жизнь. Она у Довлатова настолько чужая, что тут искривляется не только пространство, но и время. Поэтому так удивительна ностальгия довлатовского Бунина, тоскующего по России в своем провансальском Грасе: «Этот Бунин все на родину стремился. Зимой глянет из окна, вздохнет и скажет: „А на Орловщине сейчас, поди, июнь. Малиновки поют, цветы благоухают”». По ту сторону границы все меняется — и строй, и времена года.

Знакомый с фарцовщиками Сергей любил обозначать Запад гардеробными этикетками: «сорочка „Мулен”, оксфордские запонки, стетсоновские ботинки». Он и в Америке упивался названиями фирм и всех уговаривал написать историю авторучки «Паркер» и шляпы «Борсолино».

Дело было не в вещах, а в звуках. Заграница для него начиналась с фонетики. «В самой иностранной фамилии, — писал он, — есть красота». В Эстонии ее хватало, чем и пользовался Довлатов. Он вставлял в свои таллинские рассказы абзацы, будто списанные у Грэма Грина: «Его сунули в закрытую машину и доставили на улицу Пагари. Через три минуты Буша допрашивал сам генерал Порк».

Раньше на улице Пагари размещался КГБ, сейчас — контрразведка. Добротное барочное здание, как все в Таллине, отреставрировали, но телекамеры над входом остались. Как ни странно, именно в этом нарядном доме Довлатову испортили жизнь, запретив его книгу.

Не удивительно, что написанный на эстонском материале «Компромисс» — самое антисоветское сочинение Довлатова. В нем и правда многовато незатейливых выпадов, но написана она, как и все остальные книги Довлатова, о другом — о соотношении в мироздании порядка и хаоса.

Как многие пьющие люди, Довлатов панически любил порядок. Он был одержим пунктуальностью, боготворил почту, его записная книжка походила на амбарную книгу. О долгах Сергей напоминал либо каждую минуту, либо уж никогда.

При этом, будучи главным возмутителем покоя, Сергей прекрасно сознавал хрупкость всякой разумно организованной жизни. Порядок был его заведомо недостижимым идеалом. Постоянно борясь с искушением ему изменить, Довлатов делал, что мог.

Пытаясь разрешить основное противоречие своей жизни, Довлатов воспринял Эстонию убежищем от хаоса: «За Нарвой пейзаж изменился. Природа выглядела теперь менее беспорядочно».

Впрочем, и в Прибалтике порядок — не антитеза, а частный случай хаоса, его искусственное самоограничение. Ульманис, президент буржуазной Латвии, выдвинул лозунг: «Kas ir tas ir» — «Как есть — так есть». Очень популярный был девиз — его даже в школах вывешивали. Как я понимаю, прелесть этого туповатого экзистенциализма — в отказе от претензий как объяснять, так и переделывать мир.

В поисках более однозначной жизни Сергей наткнулся на честное балтийское простодушие. Местный вариант советской власти позволил Довлатову перенести и собственный конфликт с режимом в филологическую сферу.

Эстония у Сергея — страна буквализма, где все, как в математике, означает только то, что означает. Как, скажем, «Введение» в книге «Технология секса», которую Довлатов одалживает своей приятельнице-эстонке.

Эстонская власть слишком буквально понимала цветистую риторику своего начальства. В результате привычные партийные метафоры на здешней почве давали столь диковинные всходы, что пугались самих себя.

Не свободы в Эстонии было больше, а здравого смысла, из-за которого самая усердная лояльность казалась фрондой. Эстонский райком так старательно подражает московскому, что превращается в карикатуру на него:

«На первом этаже возвышался бронзовый Ленин. На втором — тоже бронзовый Ленин, поменьше. На третьем — Карл Маркс с похоронным венком бороды.

— Интересно, кто на четвертом дежурит? — спросил, ухмыляясь, Жбанков.

Там снова оказался Ленин, но уже из гипса».

Нигде советская власть не выглядела такой смешной, как в Эстонии. Ее безумие становилось особенно красноречивым на фоне «основательности и деловитости» этих тусклых эстонских добродетелей, вступавших в живописный конфликт с номенклатурным обиходом.

Непереводимые партийные идиомы, невидимые, как «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» в газетной шапке, обретают лексическую реальность в довлатовской Эстонии. Как только ничего не значащие слова начинают что-то означать, клише разряжается, высвобождая при этом изрядный запас кретинизма.

«Слово предоставили какому-то ответственному работнику „Ыхту лехт“. Я уловил одну фразу: „Отец и дед его боролись против эстонского самодержавия“.

— Это еще что такое?! — поразился Альтмяэ. — В Эстонии не было самодержавия.

— Ну, против царизма, — сказал Быковер.

— И царизма эстонского не было. Был русский царизм».

На антисоветские стереотипы эстонский буквализм оказывал не менее разрушающее действие, чем на советские.

Встретив симпатичного врача-эстонца («какой русский будет тебе делать гимнастику в одиночестве»), Довлатов автоматически зачисляет его в диссиденты. Узнав, что сын врача под следствием, он спрашивает:

«— Дело Солдатова?

— Что? — не понял доктор.

— Ваш сын — деятель эстонского возрождения?

— Мой сын, — отчеканил Теппе, — фарцовщик и пьяница. И я могу быть за него относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме».

В «Юбилейном мальчике» Сергей описал явление на свет четырехсоттысячного жителя Таллина... Предоставленный сам себе, город стал меньше, чем был. Как в средневековье, прямо за крепостной стеной начинается сирень, огороды. На дачу едут, как у нас в супермаркет, — минут пятнадцать.

Однако по «Компромиссу» не чувствуется, что Довлатову в Эстонии тесно. Сергей, как кот на подоконнике, любил ощущать границы своей территории — будь это лагерная зона, русский Таллин («громадный дом, и в каждом окне — сослуживец») или 108-я улица в Квинсе. Гиперлокаль-

ность — как в джойсовском Дублине — давала Довлатову шанс добраться до основ жизни. Изменяя масштаб, мы не только укрупняем детали, но и разрушаем мнимую цельность и простоту. С самолета не видно, что лес состоит из деревьев.

Сергей любил жить среди своих героев, чтобы смотреть на них не сверху, а прямо, желательно — в лицо. Камерность нравилась Довлатову, ибо она позволяла автору смешаться с персонажами. Именно поэтому крохотная Эстония отнюдь не выглядит у Довлатова провинциальной.

Слово «провинциал» в словаре Сергея было если и не ругательством, то оправданием. Браня нас за то, что мы недостаточно ценим любимого Довлатовым автора, он снисходительно объясняет дефицит вкуса нестоличным, «рижским происхождением». Попрекал он нас, конечно, не Ригой, а неумением увидеть в малом большое. Корни провинциализма Довлатов видел в смехотворности претензий. Хрестоматийный образец — передовая в мелитопольской газете, начинающаяся словами: «Мы уже не раз предупреждали Антанту». Низкорослые люди становятся смешными только тогда, когда становятся на цыпочки.

Ненавидя претенциозную широкомасштабность, Сергей был дерзко последователен в своих убеждениях: «Рядом с Чеховым даже Толстой кажется провинциалом... Даже „Крейцера соната” — провинциальный шедевр. А теперь вспомним Чехова: раскачивание маятника супружеской жизни от идиллии к драме. Вроде бы что тут особенного. Для Толстого это мелко. Достоевский не стал бы писать о такой чепухе. А Чехов сделал на этом мировое имя».

Удовлетворенная своим местом под солнцем Эстония не кажется Довлатову захолустьем, пока тут не становятся на цыпочки: «Вечером я сидел в театре. Давали „Колокол” по Хемингуэю. Спектакль ужасный, помесь „Великолепной семерки” с „Молодой гвардией”. Во втором акте, например, Роберт Джордан побрился кинжалом. Кстати, на нем были польские джинсы».

Между прочим, у эстонцев, как и у Довлатова, к Хемингуэю отношение особое. Одну фразу из «Иметь и не иметь» здесь все знают наизусть: «Ни одна гавань для морских яхт в южных водах не обходится без парочки загорелых, просоленных белобрых эстонцев». Эстония — такая маленькая страна, что она, как Бобчинский, благодарна всем, кто знает о ее существовании.

«Компромисс» был первой книгой, которую Сергей сам издал на Западе. Торопясь и экономя, он даже не стал перебирать текст, а взял его из разных журналов, где печатались составившие книгу новеллы.

Сергея тогда убедили, что в Америке пробиться можно только романом, и он пытался выдать за нечто цельное откровенный сборник рассказов. То же самое, но с большим успехом Сергей проделал с «Зоной».

Для «Компромисса» он придумал особый прием. Сперва идет довлатовская заметка из «Советской Эстонии», а затем новелла, рассказывающая, как было на самом деле. Насколько аутентичны газетные цитаты, я не знаю — их сверкой сейчас с затаенным злорадством занимаются тартуские филологи. Но дело не в этом. Постепенно усохла сама идея компромиссов, да и в жанровых ухищрениях Сергей разочаровался. К своему несостоявшемуся пятидесятилетию он расформировал старые книги, чтобы издать сборник лучших рассказов: «Представление», «Юбилейный мальчик», «Дорога в новую квартиру» — одни изюминки. Назвать все это он решил «Рассказы». Мы его отговаривали, считая, что такой значительный титул годится только для посмертного издания. Таким оно и вышло.

«Компромисс» был издательским первенцем Довлатова, и он с наслаждением корпел над ним. На обложку Сергей поместил сильно увеличенную фотографию гусяного пера, а к каждой главе нарисовал заставки в

стиле «Юности». Несмотря на глубокомысленное перо и синюю краску от-тенка кальсон, книжкой Сергей гордился и щедро всех ею одаривал — правда, с обидными надписями.

Нашему художнику Длугому он написал: «Люблю тебя, Виталий, от пейс до гениталий». На моей книге стоит ядовитый комплимент: «Мне ли не знать, кто из вас двоих по-настоящему талантлив». В экземпляре Вайля текст, естественно, тот же.

Но это еще что! Как-то на литературном вечере одна дама решила купить стихи Александра Глезера с автографом. Стоявший рядом Довлатов выдал себя за автора. Осведомившись об имени покупательницы, Сергей не задумываясь вывел на титульном листе: «Блестящей Сарре от поблескивающего Глезера».

Как большинство эмигрантских изданий, «Компромисс» был не коммерческой, а дружеской акцией. Книга вышла в издательстве «Серебряный век», чьим основателем, владельцем и всем остальным был (и есть) Гриша Поляк, человек исключительно преданный Довлатову и его семье.

Поляк был постоянным наперсником Сергея. Он жил рядом, они вместе прогуливали фокстерьера Глашу, а потом таксу Яшу и говорили о книгах, которые Гриша ценил даже больше изящной словесности. Довлатов звал его «литературным безумцем» и писал о Гришиной страсти с уважением: «Книги он любил — физически. Восхищался фактурой старинных тисненых обложек. Шершавой плотностью сатинированной бумаги. Каллиграфией мейеровских шрифтов».

Тем удивительней, что содержание изданий «Серебряного века» никак не хотело соответствовать их форме. Гришины книги линяли от прикосновения и рассыпались на листочки, как октябрьские осины.

Одно из важных достоинств Поляка заключалось в бесконечном добродушии, с которым он сносил довлатовские изыскательства. Может быть, потому, что значительная часть их была абсолютно заслуженна.

Гриша отличался феерической необязательностью. Он все забывал, путал, а главное, терпеть не мог отсылать изданные книги заказчикам и даже авторам. Когда все мы совместными усилиями выпустили первый номер очень неплохого альманаха «Часть речи», Довлатов силой тащил Гришу на почту, осыпая его упреками по пути.

Надо сказать, что Поляк совсем не изменился. Он собирает каждую довлатовскую строку, дружит с Леной, трогательно ухаживает за Норой Сергеевной и по-прежнему ненавидит почту. Недавно он попросил у меня разрешения что-то перепечатать. Я, естественно, согласился. Денег, говорю, не надо, только альманах пришлите. Гриша сухо ответил: «Не обещаю», — и повесил трубку.

При всем том мыслил Поляк широко. Он собирался издать полное собрание сочинений Бродского, выпустить библиотеку современной поэзии, намеревался наладить книготорговлю в эмиграции и открыть в Нью-Йорке свой магазин. Проффер, глава легендарного «Ардиса», просил с ним об этих проектах не говорить: у Карла был рак желудка и ему было больно смеяться.

Несмотря ни на что, Сергей не давал Гришу в обиду. Поляк был готовым довлатовским персонажем, и Сергей любил его, как Флобер госпожу Бовари.

ПУСТОЕ ЗЕРКАЛО

Хотя Довлатов и говорил, что не понимает, как можно писать не о себе, он честно пытался. У него есть рассказы, написанные от лица женщины. В лучшем из них — «Дорога в новую квартиру» — рефреном служит

фраза из дневника героини: «Случилось то, чего мы больше всего опасались».

И все-таки это — не то. Безошибочно довлатовской его прозу делает сам Довлатов. Своим присутствием он склеивает окружающее в одно целое.

Довлатов-персонаж даже внешне неотличим от своего автора — мы всегда помним, что рассказчик боится задеть головой люстру. Этот посторонний взгляд сознательно встроен в его прозу: Сергей постоянно видит себя чужими глазами.

Сами себе мы обычно кажемся прозрачными — поэтому так быстро забываем, что *сели* в краску. Чтобы постоянно держать себя в фокусе чужого внимания, нужны более сильные потрясения вроде расстегнутой ширинки или прорехи на брюках. Как раз таким инцидентом начинается один из довлатовских рассказов: «У редактора Туронка лопнули штаны на заднице».

Сергей и себя любил изображать в болезненной, как заусеница, ситуации. Я этого не понимал, пока не испробовал на себе. Оказалось, что лучший способ избавиться от допущенной или испытанной неловкости — поделиться ею. Рассказывая о промахе, ты окружаешь себя не злорадными свидетелями, а сочувствующими соучастниками. В отличие от горя и счастья стыд поддается делению, и гласность уменьшает остаток.

Сергей знал толк в таких нюансах. Расчетливо унижая себя в глазах окружающих, он верил, что их любовь вернется с лихвой.

Так, например, описывая в очередной раз первую встречу с женой, Довлатов начинает с нелестной интимности: «Меня угнетали торчащие из-под халата ноги. У нас в роду это самая маловыразительная часть тела».

Честно говоря, я всегда думал, что ноги бывают только у девушек. Но Сергей, живо интересовавшийся своей анатомией, никогда не надевал шортов, а когда увидел в них меня, почему-то решил, что я красуюсь икрами. Думаю, поэтому в «Записных книжках» он меня мстительно называет «плотным и красивым».

На самом деле «плотным и красивым» был не я, а он. Склонный к полноте, Довлатов напоминал с удовольствием распутившегося спортсмена.

Однако толстым он бывал только иногда. Когда живот начинал выпирать арбузом, Сергей спохватывался и начинал бешено худеть. Довлатов смирял плоть с таким энтузиазмом, что даже следить за ним было утомительно. Как-то в период диеты он заказал в «Макдональдсе» самое здоровое блюдо — «Chicken McNuggets». Увидев, что по размеру (и всему прочему) эти «самородки» похожи на куриный помет, Довлатов расвирепел и повторил заказ одиннадцать раз.

Худея, Довлатов занимался гимнастикой. Сам я этого не видел, но его пудовые гири в руках держал. Сергей ворчал, что мимо них не может спокойно пройти ни один интеллигент — помусолит, а назад не положит. Купив незадолго до смерти домик в Катскильских горах, Сергей стал совершать пробежки вдоль лесной дороги. Бегал он, по-моему, раза три, и все-таки, утверждал он, к нему успел привязаться койот.

Конечно, Сергею нравилось быть сильным. Как бывший боксер, он ценил физические данные. Восхищался Мохаммедом Али, да и про себя писал кокетливо: «Когда-то я был перспективным армейским тяжелолюбом». В его неопубликованном романе «Пять углов» вторая часть целиком посвящена боксу. Она и называется «Один на ринге». Довлатов еще жаловался, что злопыхатели переименовали ее в «Один на ринке». Так же как и другое его раннее сочинение — «Марш одиноких», которое стало «Маршем одноногих». Уверен, что автором пародийных названий был, как всегда, сам Довлатов. О своем «боксерском» тексте Сергей упоминает в письмах: «Я хочу показать мир порока как мир душевных болезней, безрадостный и заманчивый. Я хочу показать, что нездоровье бродит по нашим сле-

дам, как дьявол-искуситель, напоминая о себе то вспышкой неясного волнения, то болью без награды».

Видимо, Сергей не считал этот головоломный проект выполненным: нам он рукопись показал, но печатать не стал. Насколько я помню, эта по-хемингуэевски энергичная, с драматическим подтекстом проза ловко используется профессиональным жаргоном. Поразила одна деталь: в морге выясняется, что у боксеров мозг розового цвета. Наверное, поэтому Сергей ушел из бокса.

Однако ностальгический интерес к дракам у него сохранился. Сергей даже носил с собой дубинку. В деле я ее никогда не видел, но из-за нее нас не пустили в здание ООН, которое мы хотели показать гостившему в Нью-Йорке Арьеву. Сергей категорически отказался разоружиться, когда из-за начиненной свинцом дубинки взревел металлоискатель.

В рассказах Довлатова о ленинградских друзьях — Марамзине, Битове, Попове — мордобой фигурировал не реже, чем в «Великолепной семерке». Возможно, впрочем, это — дань шестидесятым, времени, когда тело ценилось больше духа. Так или иначе, свидетели Сергея опровергают. Именно это произошло с одной из самых популярных довлатовских баек, той, в которой Битов произносит на товарищеском суде речь: «Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело... Дело было так. Захожу в „Континенталь“. Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, — воскликнул Битов, — мог ли я не дать ему по физиономии».

Недавно оба участника заявили, что инцидент действительности не соответствует. Вознесенский даже предложил это зафиксировать на бумаге, но Битов, говорят, уклонился — он человек умный.

Как-то Битов выступал в Нью-Йорке, где его с эмигрантской бесцеремонностью спросили, как он относится к Богу.

— Как Он ко мне, так и я к Нему, — отбилсь Битов.

— Ну а Он к вам как относится? — не отставал спрашивающий.

— Как я к Нему, — устало ответил Битов.

Довлатов был очень крепкий мужчина. И роста он все-таки был огромного. «Высокий, как удои», — описывал его Бахчанян. Что говорить, Сергей был таким здоровым, что не влез в обычный гроб.

И всю эту физическую силу Довлатов принес в жертву словесности. Определенная брутальность, которую Довлатов не без самодовольства в себе культивировал, категорически противоречила его литературному автопортрету. Все описанные им драки кончаются для рассказчика одинаково: «Я размахнулся, вспомнив уроки тяжеловеса Шарафутдинова. Размахнулся — и опрокинулся на спину... Увидел небо, такое огромное, бледное, загадочное... Я любовался им, пока меня не ударили ботинком в глаз».

Певец своих поражений, Сергей упивался пережитыми обидами и унижениями. В результате Довлатов оказался не только самым сильным, но и самым побитым автором нашего поколения.

Обычно бывает наоборот: физические недостатки мы скрываем куда яростнее, чем духовные. Сергей говорил, что человек охотнее признается в воровстве, не говоря уж о прелюбодеянии, чем в привычке соснуть после обеда. Если вы встретите в книге «негодяй рухнул как подкошенный» или «она застонала в моих объятиях», будьте уверены, что автор не вышел ростом.

Не нуждавшийся в такого рода утешениях, Довлатов толковал свои фиаско как возвращение природе полученной от нее форы. Но этот лежащий на поверхности мотив лишь маскировал тот тайный заговор, который Довлатов искусно плел всю жизнь: Сергей тщательно следил за тем, чтобы не стать выше читателя. Как никто другой, он понимал выигрышность такой позиции.

Обычно текст украшает своего автора. Что и неудивительно: литературе мы посвящаем свои лучшие часы, а остальному — какие придется. К тому же автор находится в заведомо выигрышном положении по отношению к читателю. О себе и других он сообщает ему лишь то, что считает нужным. Автор знает больше нас, но не потому, что собрал все козыри, а потому, что подсмотрел прикуп.

Это не может не бесить. Чем большим молодцом выставляет себя автор, тем сильней читателю хочется увидеть его в луже. Довлатов шел навстречу этому желанию. Не боясь показать себя смешным и слабым, он становился вровень с нами. И этого читатели ему не забудут. Сильного ведь всегда любят меньше слабого, умного боятся больше глупого, счастливому достается чаще, чем неудачнику. Титану мироздания мы предпочитаем беспомощного младенца, и море побеждает реки, потому что оно ниже их.

Делясь с читателями своими грехами и пороками, Сергей не только удовлетворял наше чувство справедливости, но и призывал к снисхождению, которое было для него первой, если не единственной заповедью. «Мне импонировала его снисходительность к людям, — с нежностью пишет Сергей об отце. — Человека, который уволил его из театра, мать ненавидела всю жизнь. Отец же дружески выпивал с ним через месяц...»

Нетребовательность — и к другим, и к себе — Довлатов возводил в принцип. Что отнюдь не делало его мягкотелым («Дерьмо, — говорил он, — тоже мягкое»). В рассказах Сергея нет ни одного непрощенного грешника, но и праведника у него не найдется.

Дело не в том, что в мире нет виноватых, дело в том, чтобы их не судить. Всякий приговор бесчестен не потому, что закон опускает одну чашу весов, а потому, что поднимает другую.

Если Иешуа у Булгакова — абсолютное добро, то что олицетворяет Воланд? Абсолютное зло? Нет, всего лишь справедливость.

Идея «воздать по заслугам» настолько претила Сергею, что однажды он вступил в конфронтацию со всем радио «Свобода». Случилось это, когда американцы в ответ на террористические акции Ливии бомбили дворец Кадаффи. Пока на работе возбужденно считали убитых и раненых, бледный от бешенства Довлатов объяснял, как гнусно этому радоваться.

К преступлению Сергей относился с пониманием, идею наказания не выносил. Им руководили не любовь, не доброты, не жалость, а чувство глубокого кровного, нерасторжимого родства со всем в мире. Не надо быть как все, писал Довлатов, потому что мы и есть как все.

В его рассказах автор не отличается от героев, потому что все люди для Довлатова были из одной грибницы.

Лишить автора права судить своих персонажей — значит оставить его без работы.

Довлатову и правда нечего делать в своей прозе. В сущности, он тут служит тормозом. Автор не столько помогает, сколько мешает развиваться событиям. Он сопротивляется любому деятельному импульсу: изменить судьбу, переделать мир, встать на ноги. Чем быстрее мы идем в другую сторону, тем дальше удаляемся от своей. Борьба с враждебными обстоятельствами — все равно что поднимать парус в шторм. Поэтому свое несогласие с положением дел Довлатов выражал тем, что не пытался их изменить. Уложенный, как все мы, в жизненную колею, он скользил по ней кобенясь.

«Всю жизнь, — пишет Сергей, — я ненавидел активные действия любого рода... Я жил как бы в страдательном залоге. Пассивно следовал за обстоятельствами. Это помогало мне находить для всего оправдания».

Став литературной позицией, авторская бездеятельность обратилась в парадокс. С одной стороны, Довлатов — неизбежный герой своих рассказов, с другой — не герой вовсе. Он даже не отражается в зеркале, поставленном им перед миром.

Уравняв себя с персонажами, рассказчик отходит в сторону, чтобы дать высказаться окружающему. Все свои силы Довлатов тратил не на то, чтобы ему помочь, а на то, чтобы не помешать.

Это куда сложнее, чем кажется. Как-то в Москве у моей жены брали интервью на вечную тему: «Как ты устроился, новый американец». Поскольку мною журналисты не интересовались, мне оставалось только тихо сидеть рядом. Уходя, язва фотограф сказал, что больше всего ему понравилось смотреть на меня: так выглядит початая бутылка шампанского, которую с трудом заткнули пробкой.

Недеяние требует не только труда, но и естественной склонности — склонности к естественному. Уважение к не нами созданному — этическое оправдание лени.

Довлатов считал бездеятельность единственным нравственным состоянием. «В идеале, — мечтал он, — я хотел бы стать рыболовом. Просидеть всю жизнь на берегу реки».

Я был уверен, что он это написал ради красного словца: представить Довлатова за рыбной ловлей не проще, чем в «Лебедином озере». Но однажды Сергей принес столько выловленных им в Квинсе карасей, что хватило на уху.

Я все чаще вспоминаю этих желтых рыбок. Мне чудится, что они — из несостоявшегося довлатовского будущего. Из Сергея ведь мог получиться отменный старик — этакий могучий дед, окруженный ворчливыми поклонниками и строптивыми домочадцами.

Довлатов на собственном примере убедился, что автор — всегда жертва обстоятельств. Избегая ссылаться на провидение, он об этом писал прямо, но без подробностей: «Видно, кому-то очень хотелось сделать из меня писателя».

Довлатов не верил, что писателями становятся по собственной воле. Воспитывая дочь Катю, Сергей говорил, что «творческих профессий надо избегать. Другое дело, если они сами тебя выбирают».

Сергей считал, что человек не может быть хозяином *своей* судьбы; чужой — другое дело.

Полноправным автором Довлатов был скорее в жизни, чем в литературе. Отсюда его любовь к интригам.

Сергей был гениальным обидчиком-миниатюристом. Там, где другие орудовали ломом, он применял такой острый скальпель, что и швов не оставалось. Из-за этого Сергею не было цены в газетных баталиях.

Так, в период вражды «Нового американца» с другим нью-йоркским еженедельником — «Новой газетой» — Сергей написал редакторскую колонку то ли о душевности, то ли о бездушии американцев. В ней рассказывалось, как в метро стало тошнить женщину и он протянул ей — внимание! — «Новую газету». Вскоре, однако, Сергей сам стал печататься в обиженном им органе. Поэтому, когда дело дошло до отдельного издания «Колонок», вместо «Новой газеты» в этом эпизоде фигурирует просто «свежая газета».

Сергей умел любого втянуть в свою интригу. Однажды он сказал многострадальному Лемкусу, что Генис не советует ему читать его рассказы. Я только рот открыл — и тут же закрыл. Ничего такого я не говорил, но ведь и спорить не приходится.

Умея всех задеть, Сергей и сам с энтузиазмом представлял себя жертвой. То и дело он затевал долгие разбирательства по поводу им же выдуманной обиды.

Опытный режиссер, он не внушал, а направлял страсти, чтобы с искренним участием следить за их потоком. Его любили женщины трудной судьбы, и он с щедрым интересом вникал в их безнадежно запутанные дела. Больше всего ему импонировали те запущенные случаи, в которых виновато было его «любимое сочетание — нахальность и беспомощность». В эмиграции таких хватало. Им Сергей посвятил «Иностранку»: «Одиноким русским женщинам в Америке — с любовью, грустью и надеждой».

Довлатову нравилось быть рыцарем. Он обожал громовым голосом цитировать из «Капитанской дочки»: «Кто из моих людей смеет обижать сироту?» Сергей и правда становился опасным, если дам обижали другие. Так, он не разрешал нам смеяться над дебютом писательницы, рассказ которой начинался словами: «Он посадил меня голой попой на теплую стиральную машину».

Сергей любил интриги. Горячо вникая в интимные обстоятельства знакомых, он с одинаковым усердием помогал их распутывать — или запутывать. Сергей вел себя, как персонаж Борхеса, который, предложив устранить ладейную пешку, пишет статью о том, почему этого делать не следует.

Довлатов плел паутину исключительно ради красоты узора. Что не делало ее менее опасной.

Сергей не пытался увеличить количество зла в мире — он хотел внести в него сложность. Довлатов упивался хитросплетением чувств, их противоречиями и оттенками.

Чтобы быть автором, Довлатову нужно было раствориться среди других. Чтобы чувствовать себя живым, Сергею необходимо было жить в гуще спровоцированных им эмоций. Иногда он напоминал Печорина.

ВСЕ МЫ НЕ КРАСАВЦЫ

Сергей мало что любил — ни оперы, ни балета, в театре — одни буфеты. Даже природа вызывала у него раздражение. Как-то в обеденный перерыв вытащили его на улицу — съесть бутерброд на весенней травке. Сергей сперва зажмурился, потом нахмурился и наконец заявил, что не способен функционировать, когда вокруг не накурено. С годами, впрочем, он полюбил ездить в Катскильские горы, на дачу. Но и там предпочитал интерьеры, выходя из дома только за русской газетой. «Страсть к неодушевленным предметам раздражает меня, — писал Довлатов. — Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку».

Мне кажется, Сергей был просто лишен любопытства к не касающейся его части мира. Он не испытывал никакого уважения к знаниям, особенно тем, что Парамонов называет «необязательными». Обмениваться фактами ему казалась глупым. Несмешную информацию он считал лишней. Довлатов терпеть не мог античных аллюзий. Он и исторические романы презирал, считая их тем исключительным жанром, где эрудиция сходит за талант. Сергей вообще не стремился узнавать новое. Книги предпочитал не читать, а перечитывать, путешествий избегал, на конференции ездил нехотя, а в Лиссабоне и вовсе запил. В результате путевых впечатлений у него наберется строчки три, и те о закуске: «Португалия... Какое-то невиданное рыбное блюдо с овощами. Помню, хотелось спросить: кто художник».

Мне тогда все казалось интересным, и понять довлатовскую индифферентность было выше моих сил. Я не только выписывал каждый месяц по две дюжины книг, но и читал их — все. И историю Карфагена, и дневники Нансена, и кулинарный словарь. Я знал, как устроена дрободелательная машина, мог перечислить гималайские вершины и римских императоров. Кроме того, я тайком перечитывал Жюль Верна и сам был похож на капитана Немо, который на вопрос: «Какова глубина Мирового океа-

на?» — отвечает сорока страницами убористого текста. Что касается путешествий, то ездить мне хотелось до истерики. Я побывал в сорока странах. Более того, мне всюду понравилось.

Довлатову я об этом не рассказывал — страсть к передвижению ему была чужда. И, как выяснилось, неприятна. «Вайль и Генис, — писал Сергей в период охлаждения, — по-прежнему работают талантливо. Не хуже Зикмунда с Ганзелкой. Литература для них — Африка. И все кругом — сплошная Африка. От ярких впечатлений лопаются кровеносные сосуды...»

Может быть, Сергей был и прав.

В Париже есть музей неполученных посылок. Одна поклонница посоветовала Беккету туда сходить: вещи без хозяев, анонимные, заброшенные, каждый экспонат — как пьеса абсурда. Беккет, однако, вежливо уклонился: «Видите ли, мадам, — сказал он, — я с пятьдесят шестого не выхожу из дома».

Беккет был очень образованным человеком. Знал много языков, обошел пешком пол-Европы. Лучший студент дублинского Тринити-колледжа, эрудит, любитель чистого и бесцельного знания, он мечтал остаться наедине с «Британской энциклопедией». В его юношеской поэме о Декарте и природе времени я не понял даже названия. Примечаний в ней больше, чем текста. Но однажды Беккет понял, что непознаваемого в мире несоизмеримо больше, чем того, что мы можем узнать. С тех пор в его книгах перевелись ссылки, а сам он не выходил без нужды из дома.

Все, что Беккету было нужно для литературы, он находил в себе. Сергей — в других.

Довлатова интересовали только люди, их сложная душевная вязь, тонкая «косметика человеческих связей». Иногда мне казалось, что люди увлекали Сергея сильнее всего на свете, даже больше литературы. Впрочем, Довлатов и не проводил четкой границы между личностью и персонажем. Люди были алфавитом его поэтики. Именно так: человек как единица текста.

Сергей сочувственно вспоминал уроки Бориса Вахтина, который советовал своим младшим коллегам писать не идеями, а буквами. Но сам Довлатов писал людьми.

Считается, что в наше время культура утратила тот универсальный — один на всех — миф, который отвечал на все вопросы художника. Поэтому, вынужденные о себе заботиться сами, большие писатели XX века — Джойс, Элиот, Платонов — приходили в литературу со своими мифами.

Однако на нашем поколении мифы кончились. Довлатов это понимал и вместо бесплодных попыток найти для жизни общий знаменатель он просто останавливался в торжественном недоумении перед галереей примечательных лиц, которых породила неутомимая в своей любви к гротеску советская власть.

Выйдя на обочину человечества, она наплодила столько необъяснимых личностей, что одного их каталога хватило на целое направление.

Я всегда считал, что чудак — единственный достойный плод, который взрастила социалистическая экономика. Авторы самиздатских журналов, режиссеры авангардных театров, художники-нонконформисты, изобретатели, поэты, знахари, странники, собиратели икон, переводчики с хеттского — все они смогли появиться на свет только потому, что власть укрывала их от безразличного мира. Конечно, обычно она их не любила, но всегда замечала, придавая фактом преследований смысл и оправдание их трудам. Только в стране, безразличной к собственной экономике, чудаки могли найти нишу в обществе, где они были свободны от него, — невнятные НИИ, туманные лаборатории, смутные конторы, будка сторожа, каморка лифтера, та котельная, наконец, которую увековечил Довлатов:

«Публика у нас тут довольно своеобразная. Олежка, например, буддист. Последователь школы „дзэн”. Ищет успокоения в монастыре собственного духа. Худ — живописец, левое крыло мирового авангарда. Работает в традициях метафизического синтетизма. Рисует преимущественно тару — ящики, банки, чехлы... Ну, а я человек простой. Занимаюсь в свободные дни теорией музыки. Кстати, что вы думаете о политональных наложениях у Бриттена?»

Советский чудак — столь же яркий тип, как монах средневековья или художник Ренессанса. Это — готовый материал для той словесности, что, в сущности, литературой уже не является. Скорее это — письмо с натуры, кунсткамера, парад уродов.

Традиция эта сугубо русская, идущая не от Пушкина, а от Гоголя. Более предсказуемый Запад порождает типы, мы — безумные индивидуальности, чудачков и чудиков.

Именно за это Сергей больше других советских авторов любил Шукшина. В первых кадрах одного его фильма, прямо за титрами, нетвердо шагает мужчина. Камера медленно скользит по его дрожащим от напряжения ногам, скованной фигуре, окаменевшей шее — и застывает, не добравшись до подбородка. Остальное вырезано. Дело в том, что на голове он нес налитый до краев стакан водки. В фильме сцена никак не обыграна — сюжету она не нужна, но эпизод этот не лишний, а главный. Он, как хороший эпитафия, не только определяет тон, но и служит немой декларацией о намерениях: показывать странности жизни, а не объяснять их.

Другая сцена, которую Сергей часто пересказывал, — из фильма «Когда деревья были большими». Там одного персонажа спрашивают:

— Ты зачем соврал?

— Не знаю, — говорит, — дай, думаю, совру — и соврал.

По интонации это близко к Достоевскому. В «Мертвом доме» у него один каторжник все приговаривает: «У меня небось не украдут, я сам боюсь, как бы чего не украсть».

И в жизни, и в искусстве Сергей ценил не жесткий, как в литературе абсурда, алогизм, не симулирующую бессмыслицу заумь, не прямую антитезу разуму, а обход его — загулявший, не здравый смысл. Каждое нелепое проявление его свидетельствует: человек шире своих слов и поступков. Он просто не влезает в них — квадратура круга.

Запутавшись в самом себе, человек ставит предел и нашему анализу. Он, как атом у греков, обладает той неделимой цельностью, которую нельзя разложить на элементарные частицы страхов и страстей. Непереводимый на язык аргументов остаток личности завораживал Довлатова. Сергей смаковал семантическую туманность, вызывающую легкое, будто от шампанского, головокружение. Он подстерегал те едва заметные сдвиги рациональности, которые коварно, как подножка, выводят душу из равновесия. Довлатов с юности коллекционировал причуды реальности, которые, как говорила Алиса в Стране чудес, наводит на мысли, только не известно, на какие. Например, Сергей рассказывал, что студентом срывал товарищей с лекции, чтобы полюбоваться на старичка в сквере, смешно дергающего носком ботинка.

Не удивительно, что в университете Довлатов не задержался. Сергей писал, что на экзамен по немецкому он пришел, зная на этом языке только два слова: Маркс и Энгельс.

Любуясь загадочностью нашей природы, Довлатов признавал только ту тайну, которая была рядом. Он не слышал о Бермудском треугольнике, не читал фантастики, не интересовался переселением душ и не заглядывал в рубрику гороскопов, хотя и придумал ей название: «Звезды смотрят вниз».

По-настоящему таинственным Сергею казался не снежный человек, а обыкновенный. Скажем, его сосед Лемкус, о котором он часто писал, называя «загадочным религиозным деятелем».

Я, честно говоря, ничего загадочного в нем не видел. Обыкновенный человек, приветливый, тихий, услужливый. Устроил довлатовскую дочку Катю в летний баптистский лагерь. Когда мы, заготовив шашлык, приехали ее навестить, Лемкус просил нас из уважения к религии выпивать, спрятавшись за дерево. Но для Довлатова не нашлось подходящего ствола.

Лемкус был энергичным литератором. Вместе с нами он печатался в журнале Перельмана «Время и мы». Рассказы его не отличались от многих других, но у Довлатова они вызвали тяжелое недоумение. (Наверное, с непривычки. Я приехал раньше его и уже успел поработать в газете, где военную авиацию называли «нуклеарными бомбовозами».) Сергей, например, не мог понять, что значит «розовый утренний закат напоминал грудь молоденькой девушки». Меня больше смущало название другого, к счастью отвергнутого, рассказа: «Задница, которая нас погубила».

Помимо изящной словесности Лемкус занимался и журналистикой, в частности издавал газету «Литературный курьер». В ней он напечатал первое интервью с только что приехавшим на Запад Аксеновым. Первые слова Василия Павловича звучали — в записи редактора — так: «Я скучаю за Москвой, за друзьями».

Лемкуса выделял успех не на литературном, а на религиозном поприще, чего, надо сказать, в эмиграции не любят. Считалось, что неофиты ищут не духовной, а материальной выгоды.

В период кошерного «Нового американца» один наш сотрудник, научный обозреватель, носил в пиджаке два Ветхих Завета — один в левом кармане, другой в правом. Как сказал по этому поводу Бахчанян: «Носится, как дурак с писаной Торой». Однако его все равно выгнали, и он, бросив иудаизм, стал эсперантистом. Так что дивиденды вера приносила сомнительные. У баптистов, правда, по воскресеньям кормили, но только тех, кто крестился.

Лемкус тем не менее и тут сумел преуспеть. Недавно он напечатал в «Литературной газете» статью — что-то в защиту Христа, и подписался: «редактор трансмирового радио». Я не понял, идет ли речь о межпланетной или трансцендентной связи, но сразу подумал о проницательности Довлатова, который разглядел загадочность Лемкуса еще тогда, когда тот всего лишь «звонил с просьбой напомнить отчество Лермонтова».

Люди у Довлатова, как точно заметил Леша Лосев, «больше, чем в жизни».

Кстати, Лосева я называю так не из фамильярности (за двадцать лет мы так и не удосужились перейти на «ты»), а чтобы избежать путаницы. Дело в том, что раньше он подписывался и «Лев Лосев», и «Алексей Лифшиц». Это раздражало читателей. Вынужденный публично объясняться, почему он называет себя то Львом, то Алексеем, Лосев написал, что в этом нет ничего необычного — точно так же поступал Толстой.

Лосеву вообще не везло с читателями. Когда мы напечатали его стихотворение про войну в Афганистане, на страницах газеты разгорелась дискуссия о пределах допустимого в современном поэтическом языке. Подписчики из старой эмиграции услышали что-то неприличное в упомянутом в стихотворении «муэдзине». Кажется, они перепутали его с мудаком.

Довлатов, как и все мы, относился к Лосеву с осторожным вниманием и деликатным интересом. Сергей и писал о нем уважительно: «Его корректный тихий голос почти всегда был решающим». Тут чувствуется зависть холерика: Довлатов был прямой противоположностью Лосева. Леша так скрупулезно и талантливо культивирует внешность и обиход дореволюционного профессора, что кажется цитатой из мемуаров Андрея Белого.

Те, кто видят Лосева впервые, могут подумать, что стихи вроде эпического цикла «Памяти водки» сочинил его однофамилец. Обычно доктор Джекил в Лосеве легко справляется с мистером Хайдом. Но однажды, во время конференции в Гонолулу, Лосев выскочил из экскурсионного автобуса и на глазах доброй сотни славистов так ловко и быстро залез на кокосовую пальму, что только я и успел его сфотографировать. Этот снимок бережно хранится в моем архиве — до тех времен, когда Лосев станет академиком или классиком.

Итак, Леша Лосев написал, что люди у Сергея больше, чем в жизни. И правда: по сравнению с другими довлатовские персонажи — как голые среди одетых. Может быть, потому, что Сергей создавал портреты своих героев путем вычитания, а не сложения.

Парадокс искусства в том, что художник никогда не догонит, как Ахилл черепаху, изображаемый им оригинал. Сколько лет человеку? Два или сто? Живой человек меняется, мертвый — не человек вовсе. Поэтому всякий портрет — условная смесь долговечного с сиюминутным. Добавляя детали, мы только уменьшаем сходства.

Сергей действовал наоборот. Переноса свою модель на бумагу, он убирал все, без чего можно было обойтись. То, что оставалось, оставляло шрамы на памяти. Иногда Довлатову хватало одного деепричастия: «Ровно шесть, — выговорил Цуриков и не сгибаясь почесал колено».

«Человек, — писал Сергей, — рождается, страдает и умирает — неизменный, как формула воды H_2O ». В поисках таких формул Довлатов для каждого персонажа искал ту минимальную комбинацию элементов, соединение которых делает случайное неизбежным. Этим довлатовские портреты напоминают японские трехстишия:

Она коротко стриглась,
читала прозу Цветаевой
и недолюбливала грузин.

Хокку удивляют своей неразборчивостью. Эти стихи не «растут из сора», а остаются с ним. Им все равно, о чем говорить, потому что важна не картина, а взгляд. Хокку не рассказывают о том, что видит поэт, а заставляют нас увидеть то, что видно без него. Мы видим мир не таким, каким он нам представляется, и не таким, каким он мог бы быть, и не таким, каким он должен был бы быть. Мы видим мир таким, каким бы он был без нас.

Хокку не фотографируют момент, а высекают его на камне. Они прекращают ход времени, как остановленные, а не сломанные часы.

Хокку не лаконичны, а самодостаточны. Недоговоренность была бы излишеством. Это — конечный итог вычитания. Они напоминают пирамиды, монументальность которых не зависит от размера.

Сюжет в хокку разворачивается за пределами текста. Мы видим его результат: жизнь, неоспоримое присутствие вещей, бескомпромиссная реальность их существования. Вещами хокку интересуются не потому, что они что-то символизируют, а потому, что они, вещи, есть.

Слова в хокку должны ошеломлять точностью — как будто сунул руку в кипяток.

Точность для Довлатова была высшей мерой. Поэтому я горжусь, что он и у нас обнаружил «в первую очередь — точность, мою любимую, забытую, утраченную современной русской литературой — точность, о которой Даниил Хармс говорил, что она, точность, — первый признак гения».

Только не надо путать точность с педантичной безошибочностью факта. Ее критерий — внутри, а не снаружи. Она — личное дело автора, от

которого требуется сказать то, что он хотел сказать: не почти, не вроде, не как бы, а именно и только.

Точность — счастливое совпадение цели и средства. Или, как говорил Довлатов, «тождество усилий и результатов», ощутить которое, добавлял он, легче всего в тире.

Между прочим, в Америке обычных тиров нет. Здесь палят из водяных пистолетов по пластмассовым зайчикам либо уж сразу из автоматов на стрельбищах где-нибудь в Техасе. Вагрич решил восполнить этот пробел. Наш общий приятель Роман Каплан, по утверждению Бахчаняна — внук Фани Каплан, открыл ресторан. Вагрич предложил назвать его в честь бабушки тиром...

Для Довлатова в литературе только один грех был непощенным — приблизительность. В «Невидимой книге» он замечает: «Я хотел было написать: „Это — человек сложный“... Сложный, так и не пиши».

Большинство, к сожалению, пишут — длинно, красиво и не о том. Читая это — как общаться с болтуном-заикой.

Чаще всего точность заменяют благими намерениями. Считается, что добро можно защищать любыми словами — по правилу буравчика, первыми слева.

Кстати, точность — отнюдь не то же, что простота. Но, включая в себя и темноту и сложность, она даже непонятное делает кристально ясным. Поэтому точность — необходимое свойство бессмыслицы и абсурда. Не зря Довлатов ссылается на Хармса.

В сущности, антитеза литературы — не молчание, а необязательные слова.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ОЛЕГ ЛАРИН

*

«ЮГЫД ВА»

Взбивая винтом мутную пену, наша моторка подчалила к берегу. Я подождал, пока нос ее не ткнулся в мокрый песок, и тогда прыгнул в воду. Вокруг сапог, мягко ударяясь о них, тут же заструился, заляпался гальян, франт северных мелководий, глупая рыбешка с серебристыми и темно-зелеными плавниками. Можно было, конечно, окунуть руку и выхватить ее из воды в зажатом кулаке. Но в это время неподалеку от нас раздался громкий, тугой плеск, и из притихшего омута вскинулась здоровенная рыбина. Хищный крючковатый нос, золотисто-оранжевые в крапинку плавники и хвост...

— Сем-га! — в один голос закричали моторист с рыбинспектором и хлопнули себя по бокам. Мне показалось, что они сейчас умрут от разрыва сердца, такая боль, ярость и азарт плескались в их глазах. Не случайно в одной почтенной монографии говорится, что поймать семгу «доставляет славу и гордость охотника — это все равно что убить льва».

— Вот бы нам ее... — легкомысленно предложил я, смеясь от собственных слов.

— Что вы... никак нельзя, — после мучительной паузы прошептал страж речного порядка, понемногу приходя в себя и, кажется, впервые осознавая, что перед ним незнакомый, в сущности, человек, из столичной пишущей братии, лицо вполне официальное, которому бог весть что может взбрести в голову. К тому же приехал он сюда, на Печору, по личному приглашению самого Коврижных, директора природного национального парка «Югид ва», на территорию которого и причалила рыбнадзорская лодка.

И тут словно по заказу взорвался новый сноп воды, сверкнул золотистый бок. Рыба торпедой выпорхнула из реки, сбрасывая с себя белоснежную пену, оперлась на хвост и снова плюхнулась в омут. Водное зеркало колыхнулось от удара, будто его приподняли, и долго еще дрожало и выгибалось под напором уходящих от нас мощных рыбьих тел. Вспарывая поверхность плавниками, семги шли к противоположному берегу, видимо, в исконную родовую яму, и мои спутники провожали их оцепенелыми от восторга взглядами.

— Все, кончилась наша спокойная жизнь! — упавшим голосом объявил рыбинспектор и повернулся ко мне. — Семга пошла! Начинается осенний браконьерский сезон.

Я засмеялся. Сколько раз — и здесь, на Печоре, и на Пинеге, Мезени, Онеге — приходилось слышать эти слова и сколько раз замечать, как менялись лица людей при одном только известии: «Семга пошла!» — и наблюдать суетливо-радостное беспокойство во взоре, которое передавалось, как эстафета, от человека к человеку, выражая тем самым какую-то грань северного характера — неутолимую рыбацкую страсть. Если ты не рыбак — то ты вроде и не северянин. Рыба — его второй хлеб, с рыбой он родился, вырос и отказываться от нее не собирается. Будь ты семи начальственных пядей во лбу или самый распоследний пропойца с неустойчивой психикой, на каких бы ступенях социальной лестницы ты бы ни стоял, — при словах «Семга пошла!» все

уравниваются в правах, все становятся заговорщиками, «нелегалами», сбиваются в компании, говорят шепотом и озираясь...

Жители печорских берегов — это некая корпорация, особый биологический феномен, способный вынести любые лишения, лишь бы посидеть с удочкой на берегу, или забросить бредень на лесном озере, или побаловаться спиннингом, или, не ведая страха, под носом у рыбанадзора пройтись с незаконным «поездком» вдоль каменистой щельи, где по обыкновению любит отдыхать северная царь-рыба. И если кто-нибудь скажет, что это не так, пусть бросит в меня камень...

Настоящий рыбак — если это, конечно, не бич, не нахрапистый перекачено поле — отдается промыслу без остатка, с воспаленным жаром в глазах. С лицом, обожженным солнцем и ветрами, в сапогах-ботанцах и потертом брезентовом дождевике, не зная усталости, он забрасывает свои сети и мережи, дожидаясь удачи. Ему не знаком мелкий прибыльный расчет, он бесхитростен, работает основательно, на совесть, не замечая ни дождя, ни снежных осенних зарядов, абсолютно равнодушный к погодному неустройству и весь обращенный в свою неутраченную страсть. Охотника ноги кормят, рыбака — терпение и азарт.

Однако вот, если разобраться, именно этот рыбак, в силу своей массовости и природного простодушия, и является главной добычей рыбной инспекции. Шалый, приبلудный ловец, исповедующий волчьи законы на реке, человек с гибкой совестью и позвоночником, — и коренной житель земли коми, не ведающий хитрости и корысти, занятый рыбным промыслом исключительно ради семейного прокорма, — почему-то они уравниваются в правах, когда накладывается штраф, и ставятся на одну доску. Вспоминается не столь давняя история с кичливым московским поэтом, эдаким воителем-громовержцем за чистоту русской нации и русской природы. Взяли его, голубчика, с семгой в руке, в кустах нашли еще полдюжины крупных рыбин — ну, казалось бы, охолопись, покайся, дорогой товарищ. А он кулаками потрясать, права качать и красной писательской книжицей размахивать — на силу уняли его вельможный гнев. И, что самое несправедливое, такой же штраф наложили на его напарника, многодетного мужика с низовьев, который привез поэта на семужье-нерестовую речку... Вообще разговоры о семге — самая распространенная тема в кругу доверительных собеседников. Даже такой закоренелый природолюб, как директор нацпарка Коврижных, можно сказать, выходит из берегов, стоит лишь заикнуться о красной рыбе. Глядя на фанатичный блеск в его глазах, на нервное потирание ладоней, слушающая его сбивчивые словесные пассажи, я чувствую, что Николай Васильевич готов тут же сорваться с места и рвануть на моторе к ближайшему омуту... Семужьи разговоры — любимейшая улада для печорского уха, и кто слаще зальет, нафантазирует, наплетет с три короба, того и больше слушают. Хотя при этом все отлично понимают, что с семгой лучше не связываться: штраф — три минимальных оклада (это за одну только рыбину!), да еще снасть заберут, да в местной газете пропечатают. Дорога нынче стала семужка, не по карману истинному рыбаку!

Однако запрет запретом, а рискованная страсть берет свое, особенно в сентябре — октябре, когда семга идет на нерест. Не переводятся любители острых ощущений, которые сетями шарят по семужьим омутам, выставляют пикеты по ночам. Придумали даже систему сигнализации, чтобы не застал их врасплох всевидящий рыбадозор. Одним словом, организация отлажена как часы.

— Я ведь когда в рейс ухожу, почти всегда знаю, кого встречу, — откровенничал мой спутник-рыбинспектор. — Все они, дорогуши, у меня тут будут. — Он похлопал по своей походной сумке, где хранились чистые бланки протоколов. — Вы, наверное, думаете, только мы следим за браконьерами? Э-э-э не-е-т! Браконьеры тоже следят за нами. И прямо скажу — у них это получается лучше. Поэтому наши действия всегда должны быть внезапными и неординарными.

Никогда не забуду, как лет пятнадцать назад плыл я на лодке, закутанный в... женский платок с красными розочками. Так уж распорядился начальник рыбоохраны, любитель неординарных действий в борьбе с браконьерами, — сам он при этом вырядился в платье своей жены. «Бороду, бороду прячь!» — покрикивал он на меня, когда наша моторка, заложив крутой вираж, мчалась к высокой щелье. Там как ни в чем не бывало шла охота на семгу. Внушительного габарита мужики на двух лодках с выключенным мотором тащили сеть-поездок и очень удивились, когда «женщина» стала раздеваться перед ними, стаскивая через голову сарафан. Инспектор взял в полон целый руководящий синклит — второго секретаря райкома, директора лесопункта, профсоюзного деятеля, милиционера-майора и, что самое удивительное, ответственного товарища по охране природы... Конечно, все это очень весело и довольно изобретательно, но я не сторонник такого карнавала: если уж ты поставлен на страже рыбьего поголовья, то и веди себя соответственно должности, на то тебе зеленая фуражка выдана, бланки протоколов и на крайний случай — пистолет... Все это я без обиняков высказал своему ряженому другу, но он и глазом не повел, только ухмылялся: у каждого, мол, своя метода, главное — результат... (Между прочим, через год его сняли с работы: всесильный партийный босс обиды не простил.)

Некоторые рыбаки, из наиболее ретивых, прикрываются сомнительными рассуждениями о том, что как ты ее ни оберегай, эту семгу, какими штрафами ни обкладывая нашего брата, а она, царь-рыба, всегда найдет себе дорогу на обеденный стол. «Чтоб на реке жить да красной рыбки не кушать — самое последнее дело! — откровенничали передо мной лихие братья Мезенцевы. — У каждого, почитай, лодочный мотор имеется и две-три капроновые сетки. Так что соображай!» И действительно — соображают: во многих печорских домах вопреки грозным запретам не переводится свежепросоленная семга. Но ловят ее, заметьте, только для себя, для семейного стола: случаи спекулятивной перепродажи довольно редки. Это ЧП, весть о котором становится достоянием гласности. И поэтому многие общественные организации Республики Коми, да и некоторые представители рыбоохраны, вполне резонно ставят вопрос: не шельмовать следует любителей рыбалки, а создавать им нормальные условия, принятые в цивилизованных странах. Ведь нынче не то что в Сыктывкаре или в ином райцентре, — теперь ни в одном сельмаге речной рыбы не купишь. Поэтому пора снять с семужьей темы завесу таинственного умолчания, пора говорить об этом в открытую! Ловят семгу на северных реках? Ловят — и еще как! Так давайте установим регламентирующие нормы любительского лова. Давайте будем продавать специальные лицензии на право поймать пару-другую сёмог — по примеру того, как это делается в охотинспекции. Отведем, допустим, некоторые места на Печоре и ее притоках — Усе, Подчерье, Щугоре, Кожиме, Пижме. А вы, граждане, заплатив установленную пошлину, берите поплавную сеть в пределах 50 метров, с размером ячеи не более 60 миллиметров — и ловите себе на здоровье в течение часа. И государству будет выгода, и вы, рыбаки-любители, не будете дрожать, как мелкие воришки. Ну а кто нарушит установленное законом правило, с того будем драть втридорога...

Однако запасы семги за последние годы сильно поубавились. Эту тенденцию к сокращению поголовья еще тридцать лет назад подметил В. Архангельский, автор знаменитого очерка «На Печору, за семгой»¹. «Большая северная река превращается в отстойник грязных вод, — писал он о страдалище Двине, — дно ее местами напоминает торцовую мостовую: впритык лежат на нем топляки. А на „мостовой“ семга не хочет нереститься. Так же бревном извели семгу и в реке Мезень. Если исключить некоторые реки Кольского полуострова, единственным пристанищем для лососевых осталась матушка Печора»... Но сегодня назвать ее «матушкой», честное слово, язык не поворачивается.

¹ «Новый мир», 1967, № 3.

Как считают ихтиологи, «основной причиной сокращения семужьих стай является ухудшение условий воспроизводства в связи с хозяйственным использованием реки». Ни один класс животных не относится так чувствительно ко всему окружающему, как рыбы. И здесь главную роль играют промышленные и бытовые отходы, смываемые в реку калийные и фосфорные удобрения, заготовка леса в водоохраных зонах. А земснаряды? Они срывают со дна песок и гальку, в результате ухудшается гидрологический режим, зообентос и ихтиофауна. Об этом много говорят и пишут, дискутируют на разного рода собраниях, конференциях и активах. Но, как остроумно заметил один ученый, «количество обсуждений и публикаций растет обратно пропорционально запасам семги».

Глухой осенью, когда семга возвращается из моря, над Печорой стоит сплошной моторный гуд. Спрашивается: если нельзя ловить эту драгоценную рыбу, то зачем вообще выезжать на реку?

— Я тоже задавал этот вопрос владельцам лодок, — с ехидной усмешкой отреагировал рыбинспектор. — Чего, говорю, шумите понапрасну? Из-за вашего грохота семга сбросит икру не доходя до нерестилищ. Отдельные перепуганные особи вообще не смогут произвести потомство... А мне в ответ: «Мы, шеф, ездим закатами любоваться, природе учимся понимать. Разве это запрещено?»... Вот такие у нас «лирики-шутники»! А ведь за каждым не уследишь, в каком месте и в какой час он станет «закатом любоваться»...

По некоторым данным, по реке раскатывают более двадцати тысяч личных катеров и лодок, владельцы которых зачастую неуправляемы. По сути дела, это потенциальные браконьеры. Если каждый «водоплавающий» выловит за год семь — десять килограммов ценной рыбы, это может обернуться ощутимыми потерями в рыбовоспроизводстве. Так что есть смысл говорить о рыбаке-любителе серьезно, учитывать его роль в балансе положительных и отрицательных факторов воздействия на природу...

Мы сидели с Коврижных в лесной избушке под горой Сундук и гоняли долгие чаи. Впереди белым медвежьим хребтом щетинился Приполярный Урал, из полумрака зарослей тянуло терпким запахом прелого листа, влажным мхом, грибами. И не было необходимости подгонять себя, планировать, рассчитывать — словом, спешить было некуда и незачем, и мы понемногу проникались безвременьем, растворялись в нем, пытаюсь растянуть его, как блаженство, и запомнить каждое мгновение. Такое вот настроение навевала турбаза «Озерная» с ее двумя десятками жилых избушек, прилепившихся к склону горы Сундук, что в самом центре крупнейшего в Европе Коми национального парка «Югыд ва» (в переводе — «светлая вода»). Буквально из-под нас, в радиусе каких-нибудь трех — пяти километров, били из расщелин кристальные ручьи, которые, пройдя положенный срок и слившись с другими ручьями, стают впоследствии Косью, Вангыром, Патоком, Большой Сыней и другими печорскими притоками.

— Все... спать! — в который раз произносил Коврижных, задувая свечу, но спать почему-то не хотелось, и мы, ворочаясь на жестких матрасах, вновь и вновь возвращались к двенадцатилетней давности путешествию, когда открывали с ним Берендееву Чашу.

Кряжистый и круглоголовый, с неизменными очками на коротком носу, затерявшемся среди толстых мясистых щек, Николай Васильевич располагал к себе с первого взгляда. При знакомстве я не уловил ни малейшего намека на его служебное положение: все он делал сам, все с ходу, с налету, все чуть не бегом. И полная определенность во всем: да — так да, нет — так нет, а остальное от лукавого... «Я на положении английской королевы, — подтрунивал над собой Коврижных, — пост высокий, а власти нет».

Пройдя всю иерархию лесного специалиста — от рядового обходчика до директора лесхоза, — он, кажется, уже привык к тому, что по его следам шли орды лесозаготовителей, сводя один таежный гектар за другим, и все-таки не

мог смириться с тем, что они делали с этими лесами. Коврижных учился понимать язык деревьев, искать в этом растительном беспорядке причинно-следственные связи. А вместо этого ему приходилось выписывать порубочные билеты леспромхозам и видеть, как смертоносная техника вламывалась в леса, сокрушая вместе с деревьями звериные норы, гнездовья и муравейники. С зоркостью следователя он контролировал расчетную лесосеку — есть такой термин в лесной экономике, регламентирующий объем и качество рубок. Но его обводили вокруг пальца, били рублем, одергивали выговором и начальственным окриком — и все ради того, чтобы заготовители могли бы досрочно отрапортовать о сверхплановых «кубиках» древесины, сулящих награды и премии.

Тогда, в 1986 году, я искал себе попутчика в пришвинский лес. В раннем детстве, подобно сказочной жар-птице, Михаил Пришвин создал в своем воображении некий заповедный бор, где еще не ступала нога человека, и назвал его Берендеевой чащей. С наивностью ребенка писатель верил в придуманный им лес, хотя и сознавал, что трезвая лесозаготовительная практика давно развеяла эти иллюзии. Но вот однажды случайный попутчик на реке Сухона сказал Пришвину, что такая чаща существует на самом деле. И Михаил Михайлович отыскал ее весной 1935 года. Отыскал не где-нибудь в срединной России, под благодатным солнцем и мягкими ветрами, — а в северной подзоне тайги, в кольце болот и топей, на границе Архангельской области и автономной республики Коми, в каких-нибудь 150 километрах от Полярного круга. «Лес там — сосна за триста лет, там стяга не вырубись! И такие ровные деревья, и такие чистые! Одно дерево срубить нельзя, прислонится к другому, а не упадет», — писал он в очерке «Берендеева чаща».

По правде говоря, такие мощные сосновые леса в этом климате расти не могут. Поэтому все, к кому я обращался за разъяснениями, — а это были лесоводы-ученые и чиновники из Минлесхоза, — говорили примерно следующее:

— Мы все любим Пришвина. О кусте крапивы он мог сложить дивное стихотворение в прозе. Но можно ли слепо доверять писателю, пусть даже маститому, когда речь идет о продуктивности и уникальности леса? В европейской части страны такие леса давно вырублены.

— Но ведь есть какие-то исключения... реликты... аномалии, наконец? — запальчиво настаивал я.

— Ну, разумеется. Линдуловская роща под Питером, например. Теллермановская корабельная дубрава и Шипов лес в Воронежской, Бузулукский бор в Оренбургской областях, Шатилов лес на Орловщине. Чтобы перечислить все уникальные лесные массивы, хватит пальцев одной руки...

— А как же Берендеева Чаща?

— Нет никакой Чащи! Вы, молодой человек, попались на удочку Пришвина. Ваша Чаща — это мнимая величина, раздутая народным воображением! Поймите, если бы пришвинский лес обладал такой ценностью, какую вы ему приписываете, мы бы узнали об этом в числе первых...

Берендееву Чащу забыли столь прочно, что ее приходилось открывать заново. Самое любопытное, что даже в научной брошюре «Сосняки Крайнего Севера» о ней не было никаких упоминаний. Несмотря ни на что она продолжала жить во мне, как некое отражение смутной недосягаемой мечты...

После долгих месяцев переписки, хождений по разным инстанциям, томлений и ожиданий на мой письменный стол легло письмо из поселка Благоево Республики Коми: «Берендеева Чаща — она у меня, это точно. Лес нетронутый, первобытный, относится к категории эксплуатационных, входит в лесосырьевую базу МВД. Стыдно признаться, но я там еще не бывал. Лесхоз большой, по площади примерно пять герцогств Люксембург, при всем желании везде не поспеешь... Приезжайте! Брошу все дела — и в дорогу! О вертолете позабочусь». И внизу подпись: Коврижных Н. В., директор Ёртомского лесхоза.

Было бы вполне естественно, если бы на мой зов откликнулся кто-либо из местных охотников или краеведов-природолюбив, людей с неугомонной поисковой жилкой, но этим поисковиком, как ни странно, оказалось лицо руководящее, лесной начальник с брюшком, оплывшим бюрократическим жиром, который сам рвался в заповедную Чашу. И мы, проплутав часа два на вертолете, нашли с ним этот лес — вернее, сосновый оазис, случайно уцелевший посреди заболоченной лесотундры и набирающих силу лесозаготовок. Лес — словно сошедший с полотен старых мастеров, с бронзовыми в два обхвата стволами и сиреневым ковром ягельника вокруг. Где-то высоко-высоко ветер играл вершинами деревьев, а внизу было так тихо, что слышалось собственное дыхание.

Я вырос в северном поселке Сосновка среди сосновых лесов, но такого леса никогда не видел. Некоторые деревья рванули явно за сорок метров, обросли седыми космами, заплелись общими корнями и все вместе представляли собой нерасторжимое братство. Стволы были без единой извилины, с бесформенными тяжелыми наплывами, благодаря которым они держали свою царственную крону. Мы смотрели вверх, ухватившись за чешуйчатую кору, чтобы не упасть, и поражались силе земного естества. Как выжили и сплелись эти задремавшие сосны-богатыри?.. Коврижных сказал, что моренная гряда, на которой взметнулась Чаша, — это работа скандинавского ледника. И конечно же, прошла тьма веков и сменилось несколько поколений деревьев, прежде чем природа выпестовала в своем чреве эту многостолбовую колоннаду. На языке лесовода, это самые высокопродуктивные сосновые древостои, равные элитным насаждениям, и другого такого бора, по всей видимости, на европейском Севере нет. В будущем этот массив, добавил Коврижных, можно было бы использовать как генетический фонд для создания новых сосновых чаш...

Мы прожили там трое суток, а потом через разливанные болота и еловые дебри со сплошным повалом деревьев вышли к реке Вашке. Уже в Москве я узнал о том, что Николай Васильевич обратился в республиканский Совмин с официальным ходатайством об исключении этого массива из лесосырьевой базы треста «Спецлес» (МВД) и о создании здесь особо охраняемой территории на правах ландшафтного заказника. Он настаивал на запрещении в Чаше всякой хозяйственной деятельности, исключая охоту и рыбалку.

Самое, казалось бы, неслыханное для нашего времени: ходатайство Коврижных было удовлетворено с первой же попытки, без всякой нервотрепки и абсолютно единогласно. «Постановлением Совета Министров Республики Коми № 193 утвержден ботанический заказник республиканского значения площадью 1182 гектара с уникальным участком спелых сосновых лесов». По единодушному мнению, заказнику дали имя последней повести М. М. Пришвина — «Корабельная чаша»²...

Вступая в должность директора Коми национального парка, Коврижных втайне рассчитывал, что удача будет сопутствовать ему и дальше. Будто индустриальная агрессия по отношению к природе отступит как-нибудь сама собой, без борьбы и подковерных ухищрений. Как в расхожей частушке: «Утром встали — здарсьте! Нет советской власти»... Но уже на первых порах он почувствовал, что обложен вокруг красными флажками в виде разного рода промышленных ведомств. И прежде чем браться за охрану территории, ему пришлось отбиваться от наседавших со всех сторон лесозаготовителей, добытчиков недр, строителей газопроводов, а также ушлых и разбитных людишек, для которых урвать лишний кусок от природы — «дело чести, доблести и геройства».

Для некоторых местных руководителей Коврижных стал костью в горле, потому что раньше они пользовались средой обитания совершенно бесконтрольно. Ряд лесных участков, особенно в водоразделах печорских притоков, в

² Повесть впервые опубликована в «Новом мире» (1954, № 5 — 6).

сушности, стали зонами экологического бедствия. Картина везде была примерно одинакова: будто Мамай прошел! Обезображенные берега, торчащие остовы бревен посередине рек, замойные косы, мели, груды усопшей, измочаленной древесины, напоминающие тюленьи лежбища. А на лесных делянках — хаотичные нагромождения хвойных обрубок, пней и коряг. Черные окна мазутной жижи по обочинам тракторного волока. Завалы глины и торфа, перелопаченные гусеницами. В засасывающей, нередко изматывающей душу и мускулы работе человек подчас не осознавал, что творил, во имя чего жал на кнопки и рычаги своих звероподобных машин (один лесопогрузчик ЛП-49 с его смертоносным хоботом-манипулятором чего стоит!), не щадя леса и сводя безжалостно один гектар за другим. Ландскнехты лесоповала не пощадили даже молодые сосенки, которые в силу своего роста и возраста не подлежали вырубке. Кому они мешали? Им бы еще расти и расти. Но никто не спросит за содеянное...

— Что такое национальный парк? — рассуждал Николай Васильевич. — Это такая форма охраны природы, которая сочетает в себе черты заповедника, заказника и рекреации. Это цельный неделимый природный комплекс, который нужно держать на замке. Здесь должны претворяться в жизнь экологические, социально-оздоровительные и просветительские задачи. А в действительности?..

В действительности Коврижных начал свою жизнь в нацпарке с ремонта комнаты в рабочем общежитии. Долгое время ему не выплачивали зарплату. Не было сметы, служебных помещений, телефона, не хватало инспекторов и лесников-обходчиков. Ну а те, что числились по штатному расписанию, слишком увлеклись «коммерцией» и давно забыли, что такое охрана природы.

Идея создания национального парка в центре Коми носилась в воздухе еще с середины 60-х годов. Обеспокоенные бурным обвалом лесозаготовок, наращиванием разведочно-буровых работ, республиканские власти стали искать защиту от промышленного бума. Разноцветные скалы, гроты, ущелья, гордые одиночки-кедры, сосновые и лиственные боры поразили своей красотой чувствительных чиновников из Москвы и Сыктывкара. («Печорская Швейцария!» — воскликнул один из них.) Совет Министров Коми принял постановление о выделении охранной территории на склонах Северного и Приполярного Урала — уникального уголка живой природы протяженностью с севера на юг более 300 километров. Это едва ли не последнее девственное (за исключением «Корабельной чаши», конечно) место на европейском Севере, куда еще не добрался «топор дровосека» и где сосновый воздух, субальпийская флора, шум ручьев и водопадов, ликование птиц создают иллюзию первобытной жизни. Территория нацпарка «Югид ва» вместе с примыкающим к нему на юге Печоро-Илычским государственным заповедником и его буферной зоной были включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это первый из национальных парков Российской Федерации, получивший такой статус, и чиновники поначалу надеялись на щедрые иностранные инвестиции.

Но... не скоро дело делается. Прошло более двух десятков лет, трижды или четырежды сменились влиятельные хозяева кабинетов в Москве и Сыктывкаре, прежде чем идея стала обрастать реальным содержанием. Только в апреле 1994 года Правительство РФ (Постановление № 377) удосужилось признать границы нацпарка, а институт «Союзгипролесхоз» приступил к проектно-изыскательским работам. Была узаконена площадь в 1,9 миллиона гектаров с экзотическими ландшафтами тайги и тундры, горными реками и величественными уральскими вершинами. Как чрезвычайно неустойчивые к антропогенному прессу, истоки семужье-нерестовых рек Большая Сыня, Щугор, Подчерье объявили заказниками. Вместе с Кожимом, Вангыром и Косью, словно самой природой задуманных для путешествий, руководство «Югид ва» решило рекомендовать их для водных туристов и оборудовало по берегам избушки для отдыха.

Организованный туризм — дело весьма прибыльное и наименее разрушительное по сравнению с любой другой деятельностью homo sapiens. Правда, до тех пор, пока турист не возомнит себя «венцом природы», которому все дозволено. До тех пор, пока он не возьмется за топор и не поднесет спичку к дровам. При виде огня у иного поклонника луны и солнца вдруг просыпаются пещерные инстинкты, а топор в руке проявляет неутолимую страсть к разрушению. Страсть, нередко подогретую спиртным. И тогда падают как подкошенные молоденькие сосенки и пихты, обрубаются лапник у елей, летят направо-налево разные бутылки и банки. Наверное, не всем известно, что, аккумулируя солнечные лучи, донышко бутылки выполняет роль увеличительного стекла, и если поблизости хворост или сухой мох, то легко догадаться о последствиях. Особенно опасны «волчьи стаи» из начальствующих лиц вместе с их родственниками и приближенными, которые нанимают вертолеты и залетают в самые глухие, богатые рыбой и дичью места. После них — вытоптаные ягодники, не потушенные кострища, груды битого стекла, загаженные и изломанные избушки.

«Конечно, наивно предполагать, что после выхода Постановления вся эта обширная территория сама собой преобразуется в национальный парк, — писал Н. В. Коврижных в «Экологическом вестнике», который выходит в городе Печора. — Создание туристских баз, экологических троп, музея природы, гостиничных комплексов потребует и времени, и миллионных вложений. Но контроль за территорией... необходимо наладить сразу. Неужели снова отложим свои дела на неопределенное время?»

...С завхозом турбазы «Озерная» Иваном Казимировичем Юркевичем и юным туристом из Екатеринбурга Сашей мы отправились по грибы-ягоды. Узкая, осыпающаяся тропинка, огибая горный склон, вывела нас на захлапленное, наполовину вырубленное пространство с угнетенными елками. Они стояли с ободранными стволами, истекая смолой, словно доживали свой век. А кругом валялись консервные банки, склянки, куски промасленной ветоши, запчасти от мотора, ржавые кастрюли. С веток свешивалась грязная липкая паутина; не слышно было ни шороха, ни свиста птиц. У кострища земля была вытоптана и утрамбована так, будто здесь прошел асфальтовый каток.

Я пересек топкое болотце и увидел большую свежесрубленную избу с оторванной дверью и выбитыми окнами, приют современных дикарей. Пришли, увидели, наследили! Стекло они били с каким-то мстительным удовольствием, измелчая его до крошечки. Но и этого им показалось мало. До какой степени нравственного одичания дошли люди, если испоганили битым стеклом не только площадку вокруг избы, но и муравейник, тропу, родник! Чахлая хвоя пыталась как-то заслонить следы изуверства.

— Туристы? — спросил я неуверенно.

— Нет, буровики, — угрюмо откликнулся Иван Казимирович. — Экспедиция Ухтинского геологического управления. А может быть, «Интагео». Они тут скважины бурили, в двух километрах отсюда. В лесу и на склонах работали, а здесь развлекались... Но это еще не все!

Мы поднялись на пригорок, и он показал на груды ящиков, поставленных один на другой, из которой тоненькой струйкой сочился серый мучнистый порошок. Кернохранилище, забытый клад из древней толщи Урала! В заполненных доверху деревянных емкостях лежали образцы горных пород — известняки, доломиты, базальты, аргиллиты. Когда-то их доставали из скважин, бережно собирали на приемном мосту буровой, ставили метки и относили в кернохранилище. Своеобразный отчет о проделанной работе, незаменимый источник знаний о недрах Приполярного Урала.

Каждый камешек был завернут в бумагу, на которой угадывались какие-то столбцы цифр. Но теперь многие цифры «съели» дожди и весенняя оттепель, бумага превратилась в лохмотья, ящики прогнили — и некоторые образцы

оказались на земле. Штабель качался на ветру, толкни — и рассыпется. Никому он теперь не нужен!

Отчитались люди, отрапортовали кому следует, поставили закорючку в зарплатной ведомости — и аллур три креста: «После нас хоть потоп!»...

Саша притащил сухую елку, закамуфлированную под человека. Кто-то из здешних остроумцев надел на нее рваную брезентовую робу с капюшоном, смастерил подобие лица, а на грудь повесил дощечку с надписью: «Осталось тело, а душа отлетела»... Манекен был сделан на совесть, ничего не скажешь, но смеяться почему-то не хотелось. Душа действительно улетела из этих заповедных, богом отмеченных мест.

Кто они были, эти скитальцы-буровики, геологи перекасти-поле? Может быть, даже неплохие работники, дельные специалисты. Год или два назад они бурили здесь скважины, рубили и калечили лес — а в результате искалечили себе душу. Разум стал неодушевленным, глаза перестали удивляться, воспринимать радость и красоту жизни. И нельзя сказать, чтобы сильно пили: на всей территории мы нашли пару-другую пустых бутылок. А вот произошел какой-то медленный надлом души, и жизнь пошла наперекосяк. Думаю, что все их «художества» были результатом бездуховного труда во имя шальной копейки. Где они сейчас, эти ухтинские пещерные люди, по каким падам и урочищам пошли мыкать свою судьбу, Юркевич не знал...

Проработав бульдозеристом более двадцати лет, Иван Казимирович излезил, кажется, чуть ли не каждую пядь коми земли, оттого, наверное, не было у него пустых мест в природе. Он показывал мне свои записи, из которых я узнавал, как он предсказывает погоду, как определяет, подскочит ли давление в течение суток и долго ли еще дуть ветру-сиверку в эту переменчиво-зыбкую пору куцега северного лета. Узнавал также о повадках осенней и весенней дичи, о ее излюбленных токовищах и галечниках, чем болеет белая куропатка и какой корм предпочитает, где, когда и на какую приманку берет семга и хариус и уйму других полезных и занимательных сведений...

По поводу хариуса Юркевич едко заметил:

— Об этой рыбе столько всего понаписано, а толку чуть да маленько! Ловиться-то она ловится — да не так, чтобы очень. А все почему? Дикое неблагополучие в природе!.. Год назад пришел окунь в Базовое озеро и вытеснил хищника хариуса. Что случилось, по каким таким законам? А ведь еще недавно наши озера буквально кипели от этой рыбы. И не только хариуса брали, но и драгоценную кумжу. Нынче пяти-семикилограммовую кумжу ни за что не поймать. Можно сказать, реликтом стала. А все почему? Кругом варварство творится — и в основном «гео». То скважину не закупорят, и оттуда глинистая жижа хлещет. То трактор бросят сломанный, то емкости из-под горючего. Туда-сюда мотаются по предгорьям арттягачи АТС-72, горные ручьи баламутят, делят гусеницами и дикий пион, и золотой корень — родиолу розовую понаучному... А тут еще зимой со стороны Печоры ринулся на «Буранах» вооруженный люд, который дырявит выстрелами все, что летит и бежит. Такой раззор оставляет, что боже ты мой! Кричишь, доказываешь, уговариваешь... эх! — Он в отчаянии махнул рукой. — Бандиты приходят и уходят, а банда остается...

Сказано, конечно, сильно. Но если под словами Юркевича подразумевать события, происходящие в районе реки Кожим, что на севере национального парка, где горно-геологическое предприятие «Терра» ведет добычу россыпного золота, это не будет слишком большим преувеличением.

О том, что Кожимский бассейн является объектом промышленного варварства, читать и слышать приходилось неоднократно. За последние лет восемь — десять не было, наверное, ни одного органа печати, который бы не прошелся по поводу необузданных аппетитов здешних «покорителей недр». Притчей во языцех стали деяния некогда знаменитой артели «Печора», которую возглавлял тогда энергичный бизнесмен Вадим Туманов. Тот самый Туманов, друг Высоцкого, что мыл с корешами золото на Колыме, реконструиро-

вал Московскую кольцевую автодорогу, добывал тиманские бокситы, а теперь, по слухам, обосновался в столице. Еще недавно вся российская пресса как бы поделилась на две партии: одна «носила с этим Тумановым как с писаной торбой», другая его на дух не переносила. В категоричных «за» и «против» всегда есть элемент натяжки, преувеличения, но факт остается фактом: после тумановских вскрышных работ в районе Кожима сотни гектаров прирусловых террас превратились в лунный пейзаж. Козни конкурентов и протесты общественности вынудили артельщиков «Печоры» спешно покинуть облюбованную территорию.

Но пришли другие добытчики — и что же? Убрали горы щебня, торфа и обезображенных деревьев? Провели обещанную техническую и биологическую рекультивацию почвы? Как бы не так! Горно-геологическое предприятие «Терра» взялось за кожимскую землю с таким несокрушимым хамством, что на ее фоне тумановские деяния выглядели шалостью неразумного дитяти. Масштабы вскрышных работ выросли многократно. Были задействованы шесть месторождений золота — и все на территории «Югид ва». В приуральской тайге появились пять передвижных поселков с вахтовым режимом работы. И это вопреки Постановлению Правительства РФ о запрещении здесь геологоразведочных работ и добычи полезных ископаемых. Скалистые кожимские берега, те самые, что ученый-путешественник прошлого века по справедливости сравнивал со Швейцарскими Альпами, ползут в воду вместе с отходами нефтепродуктов, рискуя окончательно отравить реку с ее семгой и хариусом.

Правда, на ограниченном участке Институт биологии из Сыктывкара ведет опытные работы по рекультивации, высаживает травку мятлик, но о результатах можно будет говорить лишь через несколько лет, когда посеянный злак закрепится окончательно. (Понятие «экология» в данном случае сведено к функции пресловутой потемкинской деревни.) При добыче золота грунты на большой площади вскрываются до сланцев, до коренных пород. Весь вскрытый слой земли относится к так называемой вечной мерзлоте — и что с ним станет летом, когда он превратится в талый?..

Между тем «Терре» передаются все новые и новые участки, увеличиваются ассигнования, и угроза природной катастрофы встает со всей очевидностью. Какой же во всем этом смысл? Неужели ради 400 килограммов золотого песка в год нужно подвергать насилию такой уникальный регион? К тому же затраты на восстановление почвы и растительности, как подсчитали экономисты, станут намного дороже добытого здесь золота.

Первое время республиканские власти делали вид, что не замечают происходящего. С одной стороны, утвердив национальный парк с его границами и функциональными зонами, они на словах всячески способствовали его деятельности. С другой — продолжали распоряжаться кожимским полигоном так, словно самого «Югид ва» вовсе не существует в природе. Разумеется, такое, мягко говоря, «подвешенное» состояние долго продолжаться не могло. И вот в Москву за подписью главы Республики Коми Юрия Спиридонова летит документ об «уточнении границ» нацпарка с предложением отсечь от него 200 тысяч гектаров кожимских земель, расположенных на границе Европы и Азии, чтобы продолжить там разработку месторождений золота. Елейно-циничной формулировкой об «уточнении границ» руководитель республики по существу вводил в заблуждение Правительство России, нарушая его же Постановление от 23 апреля 1994 года.

«Зеленые» из числа печорских жителей немедленно забили тревогу. Коми топоним «Кожим» получил, можно сказать, мировую огласку. Отечественные гринписовцы показали членам комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО шокирующую воображение видеозапись изуродованных «Террой» ландшафтов. В Москве у представительства Коми был проведен пикет и выставлен у входа огромный пень из нацпарка, как бы символизирующий «масштабы преобразований», за что три девушки, участницы пикета, были немедленно задержаны доблестной столичной милицией.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Е. Примаков, находясь в городе Денвере (США) во время встречи руководителей стран Большой Семерки. Отвечая на вопрос сотрудника «Гринпис», он сказал, что страна не собирается отказываться от своих международных обязательств в области охраны природы и готова принять меры по пресечению фактов их нарушения золотодобытчиками на территории «Югид ва», входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В свою очередь, члены этой организации недвусмысленно предупредили, что если вдруг российское правительство утвердит новые границы (с явным нарушением своего же — национального — законодательства!), то ЮНЕСКО включит «Югид ва» в число объектов, находящихся в опасности. Для России это будет страшным позором, потому что в такого рода анналы попадают территории, которые пострадали в результате каких-либо непредвиденных катаклизмов.

Как заявил в печати координатор кампаний «Гринпис» Российской Федерации Иван Блоков, подобные санкции выглядят не такими уж безобидными, как кажутся с первого взгляда. «Во-первых: ни одна солидная западная фирма не рискнет после этого вложить и доллара в освоение территорий, выведенных из нацпарка. Во-вторых, почти наверняка с Республикой Коми разорвут экономическое сотрудничество правительства Великобритании, Германии, Голландии, Швейцарии и ряда других стран, в которых сильно „зеленое” движение... Ну и, в-третьих, у правительства Коми могут возникнуть сложности с получением кредитов для развития экономики республики, так как уважающие свою репутацию международные коммерческие банки предпочитают не финансировать государственные образования, где уничтожаются природные объекты мировой значимости».

...Туман плотным одеялом укутал речку: почти от самой лодки стелилось над водой сплошное молочное поле. И только пережат с его негромким мелодичным боем напоминал о том, что Подчерье, приток Печоры, движется и течет согласно своей природе, как текла речка, должно быть, миллионы лет назад, еще в доледниковую эру, и нет ей никакого дела до людей. Белая тишина пала на землю.

Мы устроились с удочками в укромном месте, и Женя Фефилов, главный охотовед нацпарка, закинул свою замечательную леску. Она тут же натянулась тугой струной, на пережат что-то булькнуло, хлопнуло, и из молочной мглы вылетело серебряное рыбе тело. Женя тащил хариуса, и руки его дрожали. Рыба плялила на нас белые каменные глаза, разевала рот, словно помогала побыстрее освободить себя от крючка-тройника... Второй, третий и четвертый хариусы, которые он вытянул следом, показались мне точной копией первого, будто их штамповали на речном дне.

— Вот бы еще и семужку поймать, — размечтался я.

— А что семга?! Так... баловство. — Фефилов вяло махнул рукой. — Вы огласитесь три раза в день есть пирожное с кремом или зефир в шоколаде? Так и тут. Семга — это не еда, а закуска для утонченных гурманов. Особенно под водочку хороша. Что смеетесь? Я вам правду говорю. Еда — это хариус, щука, язь, треска. А у вас, горожан, сложилось мнение, будто на Севере все только семгу и трескают. На самом деле от нее грех один и искушение. К тому же болеет рыба. Что, не верите? Это не только я говорю, это вам любой ихтиолог подтвердит. Многие взрослые особи уже не уходят в море на откорм, как прежде, а остаются жить в реке. И это сказывается на их биологии и росте: вид мельчает, деградирует. Чем «речнее» семужий образ жизни, тем больше детского, недоразвитого в облике рыбы. Да и вкусовые качества ее страдают. А для знатоков чувственных удовольствий, а также для фирм, торгующих с Западом, — это сущая потеря...

Работники Комирыбвода, ежегодно приезжающие на Печору для подсчета семужьих копов, говорят о том, что определить рыбопродуктивность реки и ее

притоков пока очень трудно, статистика уловов практически отсутствует. Они тычутся в эту Печору, как слепые котятка: примерно... приблизительно... ориентировочно... Река постепенно утрачивает способность к самоочищению. По этой причине нередко происходят заморы: в зимний период при дефиците кислорода в воде гибнет не только семга, но и сиг, хариус, нельма, другие — менее ценные — породы.

И в то же время фактически «простаивают» многочисленные лесные и горные озера, кипящие прожорливыми щуками и окунями; в Припечорье таких озер насчитывается более тысячи, в одном только «Югд ва», особенно в уральской части, их около восьмисот — настоящее золотое дно. В сущности говоря, эти водоемы не имеют никакого официального статуса — они попросту ничейные, бросовые, никому не нужные и никем не охраняемые. Если с ними вдруг что-то случится, никто никакой ответственности не понесет: по закону их как бы не существует.

Конечно, озерный лов обилен — это знает каждый рыбак, но уж слишком дорого обходится доставка. К тому же не каждый любитель-одиночка способен унести на плечах, через мхи и болота, сотню-другую килограммов скоропортящегося продукта. Да и бензин нынче не дешев — много не наездишься на «Вихре» или «Буране», если у кого такие имеются. Здесь требуется кооперация, трезвый предпринимательский подсчет, но здешний народ что-то долго расквашивается — видимо, ждет подсказки сверху. Как тут не вспомнить прошлые времена, когда с этих озер печорские жители брали рекордные урожаи плотвы, шук, окуней и везли их по зимнику к железной дороге. Рассказывают, обозы выстраивались из двадцати — тридцати саней, и никого это не удивляло. Везли рыбу соленую, копченую, вяленую — на любой вкус и спрос, да и у самих хозяев оставался солидный приварок к семейному бюджету. А теперь многие водные плантации зарастают осокой и водорослями, дороги и тропы к ним заболачиваются, старожилы умирают, и некому уже расшевелить молодежь, увлечь ее прибыльным делом.

Да и охота стала уделом одиночек. А ведь охотничьим промыслом, сказал Фефилов, занималось почти все мужское население Печоры. Была в них, таежных искусниках, какая-то особая отличка — рискованная страсть, звериное чутье и меткий глаз. Лесная тропа — путик — являлась родовой собственностью охотника и переходила по наследству из поколения в поколение.

Едва выпадет снег, выходил он на тропу, перебирался от избушки к избушке, замыкая тем самым кольцо своих владений. И когда через месяц-другой возвращался домой, нес на себе дорогую добычу — шкурки белок, росомахи, куницы, лисицы, выгодно сбывая их в местный рыбкооп.

Ничего не боялся печорский охотник, никакие напасти бесовские или звериные не мерещились ему во время долгих ночевок в продыmlенных клетях-избушках, потому что постоянно был в деле и помыслы свои обращал ко дню завтрашнему: в каком месте поставить силки и капканы, да как сэкономить дефицитные свинец и порох, да как половчее развести нодью, если вдруг ночь застанет в лесу, да как побыстрее до следующей избушки добрататься и пригтовлены ли в ней дрова?... А когда спрашивали у такого охотника, не страшат ли его муки одиночества, не боится ли заблудиться в тайге, то вопрос чаще всего сопровождался смехом или немим удивлением: «Не боимся ни тропы западающей, ни волка рысучего, ни медведя ревучего, а боимся только человека бродячего. От него вся пакость!»...

Каждый охотник — это как бы сочинитель собственной тропы, с удовольствием рассуждал Женя, забыв о рыбалке. Он творит эту стежку-дорожку по образу и подобию своему. Все замечает, все чует, ни одна деталь не укроется от его всевидящего глаза. Характер у тропы тот же, что и у охотника. Угрюмый, недоверчивый, обиженный жизнью человек прокладывает ее в густой чаще, буреломе, чтобы никто из чужих не заметил его следа. Наоборот, добрый и некорыстный, не ведающий расчету добытчик выведет свою тропу по открытому, привольному месту, в светлый бор или вдоль игривой речки, поставит на угоре что-то вроде лавочки-завалинки, чтобы можно было где поку-

речь, отдохнуть, почаевничать или поразмышлять сам с собой. Лавочка — что-то вроде привала перед большим броском к очередной избушке. В таких избушках, крытых дранкой, всегда не закрыта дверь, всегда в порядке каменка-печь и фитиль сдобрен керосином, и сухари есть, и спички, и махорка, и крупа — живи, располагайся по-домашнему, грейся у жаркого очага. В красных пляшущих язычках пламени преобразится убогий приют, и после долгого блуждания по лесам и болотам ты почувствуешь, сколь велика душа у неведомого тебе охотника-добряка, срубившего эту избушку у тропы, открытую для всех. Некоторые еще книгу отзывов заводят, и в ней непременно нужно отметить, чтобы хозяин знал, кто ты был, добрый человек, сколько дичи настрелял, сколько ловушек поставил и в каких местах, заготовил ли дров про запас, завязал ли соли в тряпицу, чтобы другой усталый гость, что придет следом, почувствовал бы себя так же, как и ты...

По лицу охотоведа пробежала тревожная тень, что-то дрогнуло в нем внутри, переломилось, и он заговорил на нервной, вспылчивой ноте... Кончились, мол, гостеприимные времена — редкуют избушки в тайге, сиротеют родовые тропы-путики, зверь и птица выводятся — а кто виноват? Человек! Вершина, так сказать, эволюции, высокоорганизованная генетическая мутация млекопитающих с переразвитым мозгом. О чем-нибудь она думает, эта мутация? Ведь есть леса вокруг деревень, где еще топор не гулял. Где все родники, болота, тропы и пожни испокон веков были расписаны по именам, как в домовый книге. А нынешнему люду на все это наплевать, ему бы только в видик уткнуться. Идут по грибы-ягоды и не знают, где были и что видели. Тропы не чувят, какие мхи и деревья — не ведают. Обезличились сами и всю природу вокруг себя обезличили. А охотники стоящие, у которых нюх звериный и солдатская беговая нога, — те давно уже повывелись. Как, впрочем, большие и малые лесные селения, что кружились вдоль рек. На одном только Подчерье их насчитывалось не менее десятка: Данько, Орловка, Залаздибож, Пилякерка, Тиминка, Петный, Камчатка, Большой Емель, Бабушка Ефимья... А теперь, кроме Орловки с двумя уцелевшими домами, нет никаких деревень. Угасает лесное сословие, уходит в небытие порода добытчика и ходока, та самая корневая порода, которая памятна всем по минувшей войне. И как знать — не отразится ли ее исчезновение для человека вообще, не потеряем ли мы какую-то частицу нашего национального характера?..

Здесь, на Подчерье, не слышно было рокота лесовозных машин и электрических пил на лесосеках, не ухали взрывы вскрышных работ с кожимских золотых месторождений. Но их приближение, возможно, чувствовали сосны и ели-долгожители, чувствовали своими корнями и кронами, ощущали иголками и корой. Если человек способен принимать мысли на расстоянии, то неужели деревья, мхи и животные не могут реагировать на агрессию издалека? Они ведь во сто крат чувствительнее нас!.. Вот и Женя сказал, что все меньше и меньше встречается дикой герани и лютиков на горных площадках, вырождаются нигде больше не растущие ветреница пермская, лен северный, на пределе сил находится некогда царствовавший в этих местах сибирский кедр. Рост у многих деревьев прекратился, и питание в основном идет для поддержания слабеющей жизни... А что творится «в мире животных»?! Белки в тайге развелось тьма-тьмушая, а заготовители пушнины ее не принимают: говорят, мода прошла. Зайцы и лисы в деревнях на помойках копаются, лоси по улицам запросто расхаживают. Бродячие собаки сбиваются в стаи и становятся опаснее волков... А еще, говорят, в некоторых таежных озерах появились мерзкие рыбы-мутанты. Не поймешь: то ли щука это, то ли сиг, то ли язь — все с раздутыми животами, большой печенью и без плавников...

Что это — знак беды, сигнал неблагополучия?



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ВЕРА И НЕВЕРИЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Беседа писателя Вячеслава Репина с епископом Вашингтонским и Сан-Францискским Василием (Родзянко)

Епископ Василий (Родзянко) — иерарх Православной Церкви, известный богослов и проповедник.

Родился в 1915 году в Малороссии, в родовом поместье, в семье общественного деятеля, председателя дореволюционной Государственной Думы Михаила Родзянко, которому приходится внуком. В 1920 году эмигрировал с родителями в Сербию, где закончил Русско-Сербскую гимназию и богословский факультет Белградского университета. Учителями и наставниками будущего епископа Василия были митр. Антоний (Храповицкий), св. Иоанн Максимович, св. Николай Велимирович, св. арх. Иустин Попович, митр. Антоний Сурожский, о. Сергей Булгаков и другие. В 1941 году стал священником. В годы войны участвовал в сербском Сопротивлении. Два года провел в титовских концлагерях, после чего был выслан из Югославии. С 1955 года автор и ведущий православных радиопередач на Би-би-си. В 1980 году после смерти жены и пострижения в монашество рукоположен в епископа Вашингтонского, а затем Сан-Францискского автокефальной Православной Церкви в Америке. В настоящее время живет на покое в Вашингтоне, отдавая все силы и духовный опыт служению России.

Епископ Василий (Родзянко) был духовным отцом Александры Львовны Толстой, дочери Льва Толстого.

В настоящее время в Москве готовится обновленное издание книги епископа Василия «Теория распада Вселенной и вера отцов», первое издание которой (М., «Граль», 1996) разошлось в считанные недели.

Вячеслав Репин — прозаик, автор романов, повестей, рассказов, эссе и переводов с немецкого и с французского.

Родился в 1960 году в Томске. Учился в Киевском институте иностранных языков, где получил образование германиста. Из-за преследования органами, поводом к которому послужило увлечение современной немецкой литературой, был вынужден в 1985 году эмигрировать во Францию. Живет и работает в Париже и в Москве, профессиональный литератор. В настоящее время его большой роман «Звездная болезнь» готовится к выходу в издательстве «Терра». Литературное творчество В. Репина отмечено интересом к проблематике Льва Толстого, к вопросам взаимоотношений религиозного сознания и светского искусства, к проблемам современного экзистенциализма.

Серия бесед с епископом Василием (Родзянко) задумана В. Репиным с целью получить ответы «из первых уст» на наболевшие, до конца не разрешенные вопросы.

Ниже мы печатаем одну из этих бесед.

— Ваше Преосвященство, как известно, 2 февраля 1901 года Святейший Синод вынес определение под № 557. Опубликованное в «Церковных ведомостях», оно известило русскую общественность об отлучении графа Льва Николаевича Толстого от Русской Православной Церкви. Это решение Синода не только явилось одним из событий, характеризующих всю культурную ситуацию в России предоктябрьского периода, но и вызывает споры до сего дня. Однако на тему «отпадения» графа Толстого от Церкви сказано так много, что вряд ли есть смысл обсуждать решение Синода или само учение Льва Толстого, которое, конечно, не выдерживает серьезной критики с богословских позиций. Было бы гораздо конструк-

тивнее взглянуть на это событие с другой точки зрения: не кроется ли в нем какое-то фундаментальное, типичное противоречие, с которым многие из нас, люди творческих профессий, сталкиваются ежедневно, а в наши дни в особенности? Хотим мы того или нет, но это противоречие неизбежно обнаруживается в нас, когда мы пытаемся соизмерить наши творческие устремления — как правило, очень земные — с содержанием православной веры и теми требованиями, которые она выдвигает перед верующим человеком. В каком-то смысле отлучение графа Толстого от Церкви явилось отлучением от Церкви всей секулярной русской культуры и тем самым явилось судьбоносным, раньше времени вскрыв на теле России рану, которая вскоре привела страну к разрушительной болезни. Не заслуживаем ли мы и вся наша современная литература отлучения от Церкви?

— Противоречие действительно существует. От него никуда не денешься, и следует его принять как оно есть. Но в контексте разговора о Толстом я считаю все же необходимым коснуться самого решения Священного Синода об отлучении Толстого от Церкви — не об «отпадении», а именно об отлучении. И вообще нужно отдавать себе отчет в том, что для проникновения в суть этой проблемы она не может не рассматриваться с канонической стороны.

Насколько мне известно, этот акт не был задуман Церковью как разрыв с культурой, как отлучение от себя всей светской русской культуры. Я допускаю, что такое толкование имеет под собой почву. Я допускаю, что можно приходиться к таким выводам, можно считать, что атмосфера нападок на Церковь, царившая тогда в обществе, повлияла на решение Синода. Но насколько я знаю, причем от самих членов тогдашнего Синода, кое с кем из которых я был лично знаком, никто из них не придерживался такой точки зрения. Я это знаю от митрополита Антония (Храповицкого), который был членом Синода как раз в то время — не старейшим, как митрополит Петербургский Антоний (Вадковский), который стоял за этой инициативой, но тем не менее.

Опубликована переписка между графиней Толстой Софьей Андреевной и митрополитом Антонием (Вадковским), и эта переписка довольно подробно освещает события тех дней. Письма Софьи Андреевны доносят до нас свидетельство о том, насколько люди не понимали, что это вовсе не было личным походом на ее мужа, как это толковала Софья Андреевна и как она с большим огорчением писала митрополиту Антонию. Этого не понимали даже люди, самые близкие к Толстому и ко всей проблеме. Это был вынужденный канонический шаг, необходимый для охраны истины православной веры, которая иначе не была бы защищена от нападок такой могучей личности, как Лев Толстой.

Но вы отчасти правы в том, что из-за настроения умов русской интеллигенции, царившего в те годы, которое в конце концов и привело к последующим событиям двадцатого века, перед Церковью стоял очень трудный вопрос — об отношении к обществу в целом. Можно предположить, что ее реакция не была бы такой жесткой, если бы это не был Толстой — человек, имевший на умы столь большое влияние.

В какой-то момент Церковь была просто вынуждена — ради верующих, ради того, чтобы защитить их, — обозначить свои позиции, высказаться определенно. Когда говорят, что Лев Толстой был отторгнут Церковью, проклят и т. п., это не соответствует действительности. Он был просто отлучен от причастия, что является каноническим актом. Если бы он пришел, предположим, на исповедь и все то, что говорил публично, сказал бы своему духовнику, последний мог бы ответить ему лишь одно — что не может допустить его к причастию с такими взглядами.

— Вчитываясь в полемику, разгоревшуюся вокруг решения Синода, трудно не удивляться резкости суждений, непримиримости оппонентов, причем и с той и с другой стороны. Обличительные суждения в адрес Льва Николаевича высказывались людьми настолько почтенными в нашем представлении, авторитет которых

настолько высок в наших глазах, что мы не вправе не прислушиваться к их мнению, как бы мы ни относились к сути полемики. Но резкость не может не озадачивать. Позвольте привести некоторые из этих суждений.

Митрополит Анастасий (Грибановский):

«Толстой занимает свое место в мировом процессе возврата к язычеству, подготавливая ему почву разрушением христианской веры, подобно тому как раньше „своим острым и глубоким литературным плугом он разрыхлил русскую почву для революции“, которая, по словам его сына Льва Львовича, „была подготовлена и морально санкционирована им“».

Святитель Феофан Затворник, обращаясь к одному из своих духовных чад, пишет:

«Вы помянули, что многие переходят в иную веру, начитавшись сочинений Толстого. Диво! У этого Льва никакой веры нет. У него нет Бога, нет души, нет будущей жизни, а Господь Иисус Христос — простой человек. В его писаниях — хула на Бога, на Христа Господа, на Св. Церковь и ее таинства. Он разрушитель царства истины, *враг Божий, слуга сатанин*» (курсив подлинника).

Отец Иоанн Кронштадтский, в ответ на обращение графа Толстого к духовенству, пишет:

«Главная магистральная ошибка Льва Толстого заключается в том, что он, считая Нагорную проповедь Христа и слово Его о непротивлении злу, превратно им истолкованное, за исходную точку своего сочинения, вовсе не понял ни Нагорной проповеди, ни заповеди о непротивлении злу. Первая заповедь в Нагорной проповеди есть заповедь о нищете духовной и нужде смирения и покаяния, которые суть основание христианской жизни, а Толстой возгордился, как сатана, и не признает нужды покаяния и какими-то своими силами надеется достигнуть совершенства без Христа и Благодати Его, без веры в искупительные Его страдания и смерть, а под непротивлением злу понимает потворство всякому злу, по существу — непротивление греху или поблажку греху и страстям человеческим, и пролагает торную дорогу всякому беззаконию и таким образом делается величайшим пособником дьяволу, губящему род человеческий, и самым отъявленным противником Христу...»

Архиепископ Никон:

«Церковь, наша снисходительнейшая Церковь, не понесла такого богохульства и отлучила Толстого от общения с собою. Что же наша мнящаяся интеллигенция? Да она будто не заметила совершившегося суда Церкви над богохульником... Теперь спрашиваю: ужели имеет право эта интеллигенция называться после сего „христианскою“?»

Если дело не в личном походе против графа Толстого, чем объяснить такую непримиримость? Откуда такая буря негодования у людей, которые, казалось бы, призваны примирять вражду? Не слишком ли Церковь, обличая Льва Толстого за его отступничество от догматов, была беспощадна?

— Когда вопрос касается веры и внутренних убеждений, редко какой человек, живущий на этой земле, способен удержать себя в известных рамках. Вспомним, что было во времена борьбы со старообрядчеством. Вспомним самих старообрядцев и их отношение к русской Церкви. Вспомним, что было во времена арианских споров, — я имею в виду имеющиеся у нас сведения, хотя они исторически и не проверены, о том, как во время заседания Первого Вселенского Собора святитель Николай подошел к Арию и дал ему при всех пощечину. Согласно преданию, Собор осудил Николая и даже приговорил его за это к аресту...

Недаром же считается, что религиозные войны, особенно в Средние века, были самыми жестокими. Это, конечно, не означает, что мы все это оправдываем. Это просто говорит о том, что люди есть люди. Конечно, лучше быть выше всего этого, выше этих возбуждений. Лучше быть на высоте Самого Христа Спасителя. Но увы. Очень часто христиане забывают, что их вера, за которую они так рьяно борются, есть, в сущности, вера в человека. Ибо Он стал человеком в полном смысле этого слова. Он, Который пошел на крест.

Он, Который никому не противоречил и Который молился о тех, кто Его распинал. В этом смысле я мог бы согласиться с тем, что резкость позиций была ошибочной. Но если пытаться разобраться в том, что и как было с точки зрения исторической, то следует учесть, что даже такие люди, как Иоанн Кронштадтский, не могли сдерживать своих чувств, когда речь шла о защите веры в том виде, как они ее понимали.

— Если вам удастся сдерживать свои чувства, почему это не удавалось им?

— Я не могу сказать, что я нахожусь в равном с ними положении. Тогда все это было насущно. Мы же говорим сейчас о минувших событиях, глядя на происшедшее с исторической точки зрения, и мне проще. Не знаю, что бы я сказал, если бы передо мною сидел сам Лев Толстой. Возможно, я бы не сдержался.

— Так все-таки не пора ли Церкви снять с Толстого анафему?

— Я не могу согласиться с тем, что Церковь относится к Толстому предвзято. Речь идет не о позиции Церкви, а о церковном общественном мнении. Это разные вещи. Ревнителю не по разуму — вот кто отвергает творчество Льва Толстого. Они считают, что в числе прочего идеи Толстого послужили наступившим позднее преследованиям Церкви. Но это, конечно, очень упрощенный взгляд на вещи. Особенно он свойственен людям малообразованным, мало осведомленным в светской жизни и в светской культуре. На деле же если не Церковь официально, то многие верующие, многие православные люди уже давно молятся за Толстого, а не проклинают его. Я с этим сталкиваюсь повседневно. Сегодня все это дело прошлого, и нам проще. Читая святых отцов, особенно alexandрийских, которые были известны своим пылким отношением к вопросам веры, вы обнаружите, что некоторые их писания отличает большая резкость. Более того, некоторые из этих писаний не всегда отвечают духу Христову. Увы, это так. И тем не менее у нас нет причин отказываться от этого святоотеческого наследия.

— Проще говоря, вы находите возможность примирять крайности. Позвольте тогда привести пример из жизни: молодая талантливая девушка как-то обратилась к своему духовному отцу, настоятелю одного из московских храмов, с вопросом, должна ли она читать книги Льва Толстого, которые производят на нее сильное впечатление. Ответ был категоричный: воздержаться. Батюшка назвал книги Толстого «ересью». В полной растерянности моя знакомая обратилась за советом ко мне, в надежде услышать от меня, от писателя, более снисходительное мнение — мнение с «нюансами». Не зная, что ей ответить, я принялся объяснять, что на всех нас, кто верует или считает своим долгом верить в Бога, но живет в светском обществе, возложена определенная ответственность: мы должны оставаться детьми своего времени, должны пропускать мимо ушей слишком резкие выпады, слишком резкие проявления ханжества, чтобы вера усилиями тех, кто отказался ради нее от жизни в обществе, кто живет сугубо интересами Церкви или своего прихода, не превратилась в привилегию для избранных, в членство какого-то закрытого клуба.

— Если быть справедливым, то можно понять обе стороны. Можно понять пастыря, который заботится о своей пастве и хочет оберечь ее от тех или иных искушений. С другой стороны, можно понять и эту девушку, которая не видела ничего страшного в том, чтобы просто ознакомиться с тем, с чем она по своей вере не согласна. Надо сказать, что этот подход иногда более правилен, чем резкий совет: не соприкасаться вообще — даже читать, мол, не надо, и так все ясно.

К тому же обобщать всегда опасно. Святого князя Владимира мы почитаем как равноапостольного крестителя Руси. Но раньше Владимир был, подобно апостолу Павлу, гонителем христиан. Церковь в своем богослужении срав-

нивает раннего Владимира (гонителя христиан) с Павлом до обращения (Савлом, который тоже был их гонителем), и она, естественно, отвергает их грешное прошлое аналогично тому, как она отвергает грешное прошлое Марии Египетской, почитая всех их как святых уже после их покаяния и обращения... Что касается Льва Толстого, с ним случилось обратное, и нам неприятно именно поздний Толстой. Возьмите его ранние произведения — «Детство», «Отрочество» и «Юность». Перечитайте, например, главу «Исповедь» в «Юности», и вы поймете, что это совершенно не тот Толстой, что десятки лет спустя. Не тот — в смысле убеждений. Какие замечательные у него есть описания явлений жизни христианской! Они встречаются даже позднее, даже в «Анне Карениной». Уж не говоря о некоторых мыслях княжны Марьи, которые мы находим в «Войне и мире». От всего этого мы не можем отказываться.

Поэтому, когда обобщают и говорят: что бы то ни было написанное Толстым нельзя читать, — это неправильно. Пока Толстой еще не был тем, кем он стал впоследствии, он во многом может нам помочь. Даже такие трудные и сомнительные произведения, как «Крейцера соната», в конце концов, ничего страшного в себе не несут. Ведь Толстой просто вскрывает человеческую природу такую, какая она есть — здесь, на этой земле. И если бы он старался все сгладить и показать, что этого как бы нет, он впал бы тем самым в ересь, в самое обыкновенное пелагианство.

Суть пелагианской ереси заключается в утверждении, что грехопадение в человечестве ничего не изменило, что оно осталось прежним, непорочным. Так ли это? Нет. Изменилось очень многое! Если Толстой показывает все это, то под определенным углом зрения это может быть даже полезным. Можно соглашаться или не соглашаться с послесловием «Крейцеровой сонаты», где он развивает мысль, что нельзя рожать детей, потому что это связано со страстью и т. д., и что уж если вы хотите иметь ребенка, вы можете усыновить чужого. С этим нельзя не спорить хотя бы потому, что это уводит от истин христианского отношения к браку, которые сам же Толстой умел так замечательно передать в «Анне Карениной», когда противопоставил там одну семью другой.

А вот позднее у Толстого уже никогда не было той искренности, которая отличала его ранние произведения. После выхода в свет «Воскресения», которое невозможно отнести к произведениям, делающим славу художника, — если бы Толстой написал только «Воскресение», он вряд ли стал бы известен как большой писатель, — после «Воскресения» Толстой совершенно окончательно определился в своих антицерковных настроениях. Все то, что у него было в «Детстве» подлинного, искреннего, чистого и даже, я бы сказал, литургического, стало отступать на задний план. Произошел отход от церковности и от основных догматов церкви. Параллельно его писательская деятельность из художественной стала постепенно превращаться в публицистическую. Толстой, в сущности, потерял себя. Но будучи большим художником и хорошим психологом, он и сам это прекрасно понимал...

— Но ведь известно, что в молодости, до того, как стать зрелым человеком и известным писателем, Лев Толстой вел бурный образ жизни, не отличался последовательностью взглядов, не всегда соблюдал заповеди, а иногда совершал поступки, о которых позднее годами сожалел и стыдился их.

— Как и Пушкин, как и многие другие... Все это являлось характерной чертой тогдашнего общества, это был, к сожалению, общий тон. Мои предки жили точно так же, чему удивляться? В то время в России было огромное число людей, совершенно далеких от Церкви. Нередко случались такие сцены. Приходит человек высшего сословия в церковь и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а где здесь причастие?» Где-то вон там — ему показывают, куда пройти. Он подходит к батюшке, и тот его спрашивает: «Как ваше имя?» — «Князь Урусов. Очень приятно, батюшка. А ваше как?..»

Почти как сегодня. В этом отношении тогдашнее общество — я это прекрасно помню — жило двойной жизнью. Моя мать рассказывала мне, что на исповедь в ее кругу иногда ходили исключительно ради прислуги — вовсе не потому, что душа требовала очищения, а чтобы не ударить лицом в грязь перед остальными и в том числе перед собственной прислугой, среди которой, кстати сказать, часто встречались по-настоящему верующие люди.

— Как все это увязать с только что высказанным вами утверждением, что в период разбитной жизни — назовем вещи своими именами — творчество Толстого отличалось особой чистотой, искренностью, даже литургичностью? Возможно ли такое сочетание?

— Особого парадокса, на мой взгляд, здесь нет. Огромное различие между ранним Толстым и поздним заключается в том, что ранний Толстой умел каяться. Он знал, что такое грех. Он знал, что такое человеческая слабость. При этом он все же уступал себе. Хотя он был крепким и сильным человеком в одних отношениях, он был очень слаб в других.

— Существует множество примеров того, что люди, особенно в юном возрасте, приходят к Православной Церкви или просто к религиозности, как ни удивительно, именно через чтение книг Толстого, посредством какой-то углубляющейся благодаря ему любви к России.

— Да, с этим я согласен. Многие пришли к вере через Толстого, но через писателя, а не через мыслителя и публициста. В связи с этим мне трудно согласиться с батюшками, которые отговаривают от чтения книг Толстого. Не согласен я с этим по той простой причине, что это не настоящий пастырский путь.

Пастырский путь следует всегда ориентировать милосердия, любви, зова к внутреннему спасению. Резкий же призыв отказаться от соприкосновения с какими-либо вредными, скажем, явлениями — это вообще не типично для православия исторически. Это скорее типично для католицизма.

Нам не нужны радикальные методы. Силой любви, силой убеждения мы достигнем гораздо большего. За Толстого нужно молиться, а не проклинать его. Святые отцы говорят: «Люби грешника, но ненавидь его грех». К сожалению, наши сегодняшние старцы не всегда могут отличить одно от другого. Принимай грешника всякого — всякого! — с любовью. Но при этом будь абсолютно, стопроцентно верен своим принципам. Ненавидь его грех, его ошибки, его ересь и т. д. Но не соединяй одно с другим. Это очень трудно. Для этого необходимо самому хоть как-то возвыситься над собственной природой. Кто мы? Даже мудрейшие старцы, оптинские и какие угодно, очень хорошо знали по себе, какова наша испорченная человеческая природа. Нужно прежде всего понять это в себе самом. Тогда ты сможешь понять это и в другом.

Одним словом, можно принять Толстого раннего, как человека еще церковного, принять и его художественные сочинения, но не следует принимать его дальнейшие философские и прочие идеи. Это вовсе не значит, что его нельзя читать. Когда вы читаете, например, Достоевского, вы настолько остро соприкасаетесь с человеческим грехом, что можно было бы даже предположить, что это чтение опасно. И тем не менее многие, например митрополит Антоний (Храповицкий), едва не приравнивали Достоевского к некоторым из святых отцов — по конечным итогам его жизни. Митрополит Антоний знал всего Достоевского. Он даже написал замечательное произведение на эту тему — «Словарь», которое потом было названо «Ключ к творениям Достоевского». Прочитай все, знай все — вот в чем правильный подход. Как говорил апостол Павел: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволено, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6: 12).

— Вера в Бога, если она есть у человека, должна помогать ему находить правильные пути в реальной жизни, в реальном обществе — в том обществе, в котором, как нам известно, порок сидит на пороке и в котором мы вынуждены жить на каждом шагу идя на компромиссы, на каждом шагу сталкиваясь с уродством окружающей действительности. Это мнение разделяют не только люди несведущие и растерянные вроде той молодой девушки, которая не знает, нужно ли читать Толстого. Что, на ваш взгляд, важнее и правильнее — отстраняться от общества с его грязью или, напротив, воспринимать мир как данность и пытаться жить достойно посреди него?

— В Церкви есть, как мы знаем, два пути. Есть путь, описанный Достоевским на примере старца Зосимы, который говорит Алексею Карамазову: иди в мир и спасай окружающих тебя людей. Есть другой путь, противоположный первому. Вы упомянули Феофана Затворника. Почему же он ушел в затвор? Для того чтобы быть как можно дальше от соблазнов грешного мира. И именно благодаря этому он смог не отойти от людей. Он все время писал им из затвора письма, которые их спасали, спасали самым поразительным образом, именно в мире сем. Вспомните его книгу «Невидимая брань». Это «невидимая брань» постоянно происходит в грешном мире. И очень часто так бывает, что люди, максимально отошедшие от мира — ушедшие в монастырь или в полный затвор, — прекрасно знают этот мир и способны написать о нем вот такую книгу.

— Та же девушка, о которой мы говорили, спрашивала меня: может ли она одеваться изящно, не противоречит ли это требованиям Церкви? Мне так и хотелось ей ответить, что да, конечно может. Но, положив руку на сердце, я был в полной растерянности. Если бы этот вопрос был обращен к вам, что бы вы на него ответили?

— Все дело в том, для чего она к этому стремится. Если она хочет одеваться так или этак, потому что она тщеславна, потому что она желает выделиться во всех отношениях и по сравнению с другими людьми, то тогда это побуждение греховное. Но если она делает это просто потому, что хочет жить по норме окружающей ее жизни, не выделяя себя среди других, хочет обратить на себя внимание просто ради того, чтобы найти друга жизни и выйти за него замуж, если ее побуждения чисты, то в этом нет никакого греха. Недаром же апостол Павел говорит, что чистому все чисто. Противоречие возникает лишь тогда, когда побуждения уродливо гипертрофированы, такого рода люди, к сожалению, просто актерствуют.

— Личный друг и биограф Толстого Эльмер Мод пишет:

«Его убеждения медленно изменялись... По мере ознакомления с восточными писаниями (индийскими и китайскими) он в конечном итоге дознался того существенного, что лежит в корне великих религий, которые разделены и раздроблены суеверными верованиями. И он стал менее и менее придавать значение самой личности Христа, точной фразеологии и действительным словам Евангелия».

Характеристика, сделанная Э. Модом, вполне укладывается в рамки известного нам из других источников. В журнале «Теософ» от 16 января 1911 года было опубликовано письмо Толстого к художнику Яну Стыке, которое, как мне видится, содержит квинтэссенцию мировоззрения современного интеллектуала европейского типа. Отличительными особенностями этого мировоззрения является вера в универсализм — или, как еще говорят философы, в «однородность» мироздания, вера в демократию, в силу законов, в гуманизм, даже в какую-то разумную, высшую организацию, стоящую над общественными институтами. Адепта этих идей часто называют агностиком — это понятие прочно вошло в обиход. Но для наглядности процитирую строки самого Толстого:

«Доктрина Иисуса является для меня только одною из прекрасных доктрин религиозных, которые мы получили из древности египетской, еврейской, индусской,

китайской, греческой. Главное в принципе Иисуса — любовь к Богу, т. е. ко всем людям без исключения, была проповедана всеми мудрецами всего света: Кришна, Будда, Лао-Тзе, Конфуций, Сократ, Платон, Эпиктет, Марк Аврелий и между новыми: Руссо, Паскаль, Кант, Эмерсон, Чаннинг и многие другие. Истина религиозная и нравственная везде и всегда одна и та же, у меня нет предпочтения к христианству. Если я особенно интересовался доктриной Иисуса, то это, во-первых, потому, что я родился и жил между христианами и, во-вторых, находил большое умственное наслаждение в том, чтобы извлекать чистую доктрину из поразительной фальсификации, производимой Церквами».

Многие из нас вольно или невольно идут по тому же пути. Какой вывод мы должны сделать из этого опыта? Что, такой «универсализм» — плод широкой образованности агностика?

— Мой учитель Антоний Храповицкий — во времена моей молодости он был старцем, а впоследствии стал митрополитом — еще в то время, когда он жил в России и был архиепископом Харьковским, еще в то время, когда он был ректором-архимандритом Московской, а затем Петербургской духовной академии, отвечал на подобные вопросы прямо и определенно. Он говорил, что нужно быть образованным человеком во всех отношениях. Он говорил, что самые лучшие монахи — это ученые монахи. Он говорил, что его задача — восстановить в России ученое монашество. И он своего добился — в значительной степени. У него были такие ученики, как, например, Иларион (Троицкий), который сначала был профессором Владимиром Троицким, потом стал монахом, кончил архиепископом, был в Соловках, был мучим, и сейчас идет вопрос о его канонизации как новомученика (в Русской Зарубежной Церкви канонизация Илариона уже состоялась).

Вообще говоря, невежество, и в частности в монашеской среде, было, как мы знаем из истории Церкви, часто пагубным. Вспомним хотя бы монастыри Святой земли в VI и VII веках, когда большинство живших там монахов, неверно поняв Оригена, стали оригенистами и были иступленными приверженцами этой печальной ереси, осужденной на Пятом Вселенском Соборе. Примеров ревнования не по разуму очень много и сегодня. Некоторые монахи необразованны. Некоторые даже не знают святых отцов, а иногда высказывают мысли, с богословской точки зрения совершенно нелепые.

Но есть и другие примеры. Один совершенно необразованный монах, который, уходя в монастырь, даже писать не умел, — это был обыкновенный русский мужичок, — стал впоследствии Силуаном и всю жизнь, находясь на Афоне, преодолевал свою необразованность. Он никогда не поступал так, как поступали другие необразованные монахи по своей узости, — в особенности в том, что касалось отношения к инакомыслящим. В глубокой старости он достиг удивительного состояния образованности внутренней. Он превосходно знал святых отцов. Но что самое главное — он познал душу человеческую.

— И все же напрашивается вопрос: не противоречит ли знание вере? Почему вера русских старушек, переполняющих храмы, вера пастушков со старинных полотен, вера детей, вера несведущих кажется нам более убедительной, чем вера умудренного ученого, который, в сущности, и верить ни во что уже не может, ибо, как говорит астрофизик Хокинг, исследования которого вы разбираете в вашей книге «Теория распада Вселенной и вера отцов», «научная мысль, законы природы, логические следствия, будучи объективными, не оставляют места для Бога, тем более если Он Сам установил эту закономерность», — это цитата из вашей книги.

— Мой учитель Антоний Храповицкий, как уже говорилось, являл образец глубокого мыслителя, глубокого богослова и ученого. Но в то же время были такие, как Спиридон Тримифунтский: и в своем пастырстве он не оставил своих обычных овец, которых пас. Такие Спиридоны оказались в большинстве

на Первом Вселенском Соборе¹ и приняли не совсем, может быть, философски ясное им понятие *омоусиос* — что значит *единосущный*: простотой и чистотой своего необученного духа они смогли постичь главное — что это есть выражение подлинной и действительно сущностной любви Отца и Сына. Вера простого, неискушенного человека кажется нам более убедительной, потому что на его примере мы понимаем суть детского, чистого отношения к Царству Небесному. Необходимо и то и другое. Нужен Христос, Который есть Премудрость Божья, который есть Слово, Логос. Но тот же Христос, выражаясь по апостолу Павлу, в своей духовной нищете «опустошил себя», поверг Себя в такое унижение перед миром сим, что это можно назвать лишь *опустошением* — опустошением от той самой премудрости, носителем которой он является. Парадокс? Этот наш главный христианский парадокс спасителен для людей и является сутью христианства.

— «Бог есть неограниченное Все, человек есть только ограниченное проявление Его. Бог есть то неограниченное Все, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только Бог, человек есть проявление его в веществе, времени и пространстве...»

Эти строки, диктуемые Толстым дочери перед смертью на станции Астапово, конечно же, не являются откровением, но все же точно передают религиозные ощущения многих из нас. В чем эти строки расходятся с христианским подходом к делу?

— Расхождение в слове *Все*. Имея в виду весь наш мир, тот, в котором живем, мы не можем сказать о Боге, что Он есть *Все*, — если, конечно, Толстой понимал это именно так. А я думаю, что он понимал это именно так. В этом отношении приведенное высказывание Толстого является самой тривиальной философской идеей, которая носит название «пантеизм».

Основой же нашей веры является теизм. Да, Бог есть *Все*. Но не с точки зрения нашего мира. Между Творцом и тварью существует известная грань. Бог есть, конечно, источник *всего*, и, стало быть, можно сказать, что он есть *Все*. Но совсем не так, как это говорит Лев Николаевич, когда под этим *все* он понимает и облака на нашем зримом небе, и звезды, и Луну, и Солнце. Климент Римский еще в первом веке сказал, что Церковь была сотворена прежде Солнца и Луны, что Церковь — это образ Божий, образ Пресвятой Троицы, образ *Всего*, но не *Все*.

— «Однажды я спросил себя: верю ли я на самом деле? Верю ли я, что смысл жизни лежит в исполнении Божией воли, что это будет состоять в увеличении любви в нас самих и в мире и что, содействуя этому увеличению, этому слиянию всех предметов любви, я готовлю себе вечную жизнь? И инстинктивно я ответил, что не верю в такой ясной, определенной форме. „Во что же я верю?“ — спросил я себя и искренне ответил, что я верю, что надо быть добрым, нужно смиряться, прощать, любить. В это я верю всем существом».

Разве не был Лев Николаевич в этих размышлениях на пороге подлинной православной веры? Можем ли мы требовать от писателя большего?

— Последние слова из приведенной цитаты действительно подводят Льва Толстого к порогу православной веры. Но сказанное им вначале — о том, чего он не может принять, — свидетельствует о том, что толкует он все слишком рационалистически. Православная богословская мысль идет двумя путями: с одной стороны, это *катафатическое*, что означает по-гречески *положительное*, богословие, а с другой — *апофатическое*, то есть *отрицательное*.

¹ Этот Собор, проходивший в 325 году в Никее, положил начало православному Символу веры, дополненному на Втором Вселенском Соборе в Цареграде (Константинополе), в связи с чем он и носит название Никео-Цареградского.

О каком отрицании идет речь? Об отрицании нашего собственного разума, который не может понять все до конца ввиду своей ограниченности. И поэтому он должен уйти за пределы. Он должен ответить на некоторые вопросы обыкновенным «не знаю» и «не могу знать» — но верю, что это истина. Это и есть суть апофатического богословия, основоположником которого был в значительной степени Дионисий Ареопагит, независимо от того, кому в окончательном виде принадлежат богословские вероучительные сочинения, подписанные его именем. В Деяниях Апостольских есть сведения о том, что некто Дионисий состоял членом афинского ареопага. Отсюда и имя автора. Он был одним из немногих язычников, которые сразу поверили в учение, проповедуемое апостолом Павлом. Апостол Павел начал со слов: проходя и осматривая ваши святыни, я увидел один жертвенник, на котором было написано — «Неведомому Богу». Обращаю ваше внимание на тактичность апостола Павла. Адресуясь язычникам, он не сказал: «ваши идолы», хотя мог бы, а сказал: «ваши святыни», — уважив веру этих людей и их понятие о святости. «Тот, которого вы, не ведая, чтите, я проповедую вам...» Это и есть основоположение апофатического богословия.

Бог неведом, мы не знаем Его, но мы верим в Него. Внутренним нашим сознанием, внутренней любовью мы с Ним. Более того, Его можно проповедовать. Этой проповедью апостол Павел и убедил Дионисия последовать за ним и стать христианином. Отсюда родилась вся богословская школа Дионисия Ареопагита и других.

Здесь же кроется ответ и Льву Толстому. Ты не можешь утверждать, что ты знаешь о Боге положительно все. Нет, Всего ты не знаешь. Ты — человек. Человек слабый, ограниченный и грешный. Говоря о Боге, ты можешь сказать положительно — *Всевидящий Бог*. Но сказать, что ты знаешь Его и что Он *Ведомый*, — нельзя. Нужно говорить отрицательно, как Апостол Павел, — *Неведомый*. Это понимали уже язычники.

— История последних часов жизни Толстого трагична. К тому же правда о том, как все происходило, так вроде бы и канула в Лету, погрязшая в бурных распрях между последователями писателя и теми, кто осуждал его. Бегство Толстого от близких, болезнь, застигнувшая его в поезде, остановка в Шамордине, а затем в Астапове, но главное все же — попытка примирения с Церковью, — все это похоже на какой-то диковинный трагический вымысел, на который решится не каждый романист. Полагаете ли вы, что Лев Толстой одумался и искал примирения с Церковью?

— Все факты сегодня известны. Известно, что Лев Николаевич, уехав от семьи, приехал в Шамордино к своей сестре, монахине, — она, кстати, послужила прототипом для создания образа княжны Марьи в романе «Война и мир», — а затем пошел пешком в Оптину пустынь. Путь от Шамордина до Оптиной пустыни не близкий. Известно, что, когда Толстой пришел туда, он не решился войти в скит, где жили старцы. Он постоял и ушел. Он побоялся, что оптинские старцы не захотят с ним разговаривать. Все это Толстой говорил своей сестре, и она это записала.

— Он не смог пересилить в себе гордыни?

— Вероятно, это можно назвать и гордыней. Но мне думается, что это слишком сильное слово. Я бы сказал, что это была внутренняя застенчивость. Толстой как бы чрезмерно ощупывал себя. В этом психологически была причина всех его бед. На редкость умный человек, блестящий художник и мыслитель, он был вместе с тем маленьким человечком — в том смысле, что зависел от окружающих его людей. Что они о нем подумают? В каком виде он перед ними предстанет? Из-за этого постоянного ощупывания себя Толстой оказался врагом себя самого и рабом своих мыслей.

Но если это перевести на церковный язык — то были *помыслы*, по поводу которых любой оптинский старец сказал бы ему: «Не обращайтесь внимания на ваши *помыслы*. Они не ваши!» Вот обычный ответ в таких случаях... Но самое опасное начинается тогда, когда человек пытается спорить с этими помыслами, когда он вертится вокруг них и оборачивается вокруг самого себя, как стружка. Когда вы строгае рубанком доску, древесная стружка заворачивается вокруг самой себя. Что внутри нее? Пустота. Так и наша личность. Она часто оборачивается вокруг себя самой, в то время как внутри у нас, оказывается, ничего нет — ничего, кроме пустоты и замкнутости на себя. Все, что было необходимо Льву Николаевичу, — это раскрыться. Он не раскрылся.

— Некоторые люди, искренне стремясь к раскаянию, воздерживаются от конкретных шагов, полагая, что могут справиться со своим внутренним недугом самостоятельно, да и почитая за бестактность утруждать других такого рода личными затруднениями.

— Может быть, не знаю... У французов есть поговорка: «Que s'excuse, s'accuse»². Душой Льва Николаевича владело, скорее всего, именно это чувство. Эта черта была в нем очень сильно развита.

В Оптиной пустыни тотчас же стало известно о том, что Толстой приходил к монастырю. И его ждали. Ждали с нетерпением и с большим радушием. В Оптиной пустыни существовал такой подход: принимать всех, ко всем относиться одинаково открыто. В этом и была суть старчества. В данной же ситуации была налицо какая-то трагическая несогласованность между двумя мирами. Что интересно, в вопросе об уходе Толстого из дома вся семья Толстого оказалась на стороне Софьи Андреевны.

— Почему?

— Даже хорошо зная всех их лично, зная, что все они были церковными, убежденными православными людьми, я не могу ответить на этот вопрос. Факт остается фактом.

— Семья сыграла в жизни Толстого огромную роль — позитивную или негативную, трудно разобраться. Влияние семьи, отношения с близкими отразились и на последних решениях Льва Николаевича. На эту тему было сказано многое. Но вопрос остается открытым. На протяжении многих лет вы поддерживали дружеские отношения с покойной Александрой Львовной Толстой, дочерью Льва Николаевича, которая жила в США. Речь идет о той самой дочери Толстого, которая в ноябре 1910 года, в последние часы жизни отца, находилась в Астапове у его смертного одра и, по многочисленным свидетельствам очевидцев и биографов, не допустила к умирающему отцу старца Варсонофия³, приехавшего в Астапово из Оптинского монастыря по его вызову.

— В молодости, когда я жил в небольшом сербском городке, я был очень дружен с внуком Льва Толстого, Владимиром Ильичом, сыном Ильи Львовича. С ним дружила вся наша семья. Я был намного моложе Владимира Ильича, но это не мешало нам поддерживать теплые отношения. От него я много слышал о его отце, о деде и не переставал расспрашивать. С этого, собственно, началось наше сближение.

Это был на редкость интересный человек. Помню, как он пришел к нам в дом с первым визитом. Он был жизнерадостен, общителен, легок на подъем, любил выпить. Вот, помню, он сидит у нас, смотрит на мою мать и вдруг на-

² Извиняющийся ставит себя в положение виноватого (*франц.*).

³ Преподобный Варсонофий ныне причислен к лику святых. В описываемое время он был игуменом Оптинского монастыря.

чинает петь: «Я люблю тебя за это, что ты тетка Лизавета...» Один из гостей нагнулся к нему и прошептал: «Хозяйкино имя — Елизавета!» Мою мать действительно звали Елизаветой... Он был душа нараспашку. Отчасти благодаря этому я многое узнал от него о семье Толстых.

А затем моя старшая сестра вышла замуж за его двоюродного брата, которого тоже звали Владимиром, только не Ильичом, а Михайловичем, — за сына младшего сына Толстого. С этого дня мы буквально породнились с Толстыми, вошли в их семью. Через Владимира Михайловича я познакомился с Александрой Львовной, которая жила в то время в Няяке, на берегу реки Гудзон, к северу от Нью-Йорка. Близкие отношения с ней поддерживала и моя мать — они были одного поколения, и мать звала ее Сашей, а Александра Львовна называла мою мать «Эльвета».

Александра Львовна — для меня тетя Саша — в молодости была толстовкой. Революцию она пережила очень болезненно. Когда все это свершилось, она вдруг поняла, что идеи ее отца оказались своего рода толчком для разрастания революционных настроений, которые в конце концов смели все — и самого Толстого, и культуру, в которой он вырос. Перелом в ней произошел где-то в двадцатом году, как и у большинства. Прежние убеждения давали о себе знать и в американский период ее жизни, когда она жила под Нью-Йорком. Неподдалеку от себя она организовала толстовскую ферму. Впоследствии она же стала одной из основательниц Толстовского фонда, который приходил на помощь русским беженцам. Мало-помалу Александра Львовна вернулась к Церкви, на те пути, с которых ее увел отец, и даже построила у себя на ферме храм — церковь Преподобного Сергия. К тому времени она полностью отошла от идей своего отца. Но при этом она всегда говорила: «Отец для меня — святыня. Я знаю его. Я знаю, что это был за человек. Я никогда не соглашусь с тем, что о нем говорят. И никогда от него не отрежусь!»

Я исповедовал ее. Она исповедовалась у меня незадолго до кончины. Мы были очень близки. Благодаря этому я имел возможность быть посвященным в суть происходившего вокруг ее покойного отца во всей полноте. Я знаю, какой он был человек и з н у т р и. Я знаю, что и как было не только с точки зрения церковно-канонической и общественной, но и с точки зрения личной, семейной. Все эти точки зрения важны в равной мере.

— Сегодня мы знаем с достоверностью, что старец Варсонофий и сопровождавший его иеромонах Пантелеймон приехали в Астапово по просьбе самого Льва Николаевича. Сойдя с поезда в Астапове, Лев Николаевич послал в Оптину телеграмму, в которой просил послать к нему старца Иосифа, но на совете старшей братии монастыря было решено послать из Оптиной отца Варсонофия, так как старец Иосиф был слаб и не покидал своей кельи.

— Старца Варсонофия, который был прислан в Астапово Священным Синодом, не допустила ко Льву Толстому Александра Львовна. Я знаю это достоверно. Она же не допустила к отцу и мать.

— Вы считаете, что отец Варсонофий был послан Священным Синодом? Но сегодня принято опровергать эту версию. Считается, что основоположником «верноподданнической версии» является ротмистр Савицкий, присланный в Астапово властями присматривать за порядком. Версия причастности к делу Священного Синода подогревалась и самими толстовцами, которые не могли переварить «отречения» их кумира от своих идей, а сам факт вызова старца из Оптиной толстовцы всеми правдами и неправдами скрывали от русской общественности. Помимо этого распространялись слухи, что Толстой сам отказался принять старца Варсонофия, что опровергает текст письма отца Варсонофия, которое тот написал Александре Львовне после ее отказа допустить его к больному отцу:

«Почтительно благодарю Ваше Сиятельство за письмо Ваше, в котором пишете, что воля родителя Вашего и для всей семьи Вашей поставляется на первом пла-

не. Но Вам, графиня, известно, что граф выражал сестре своей, а Вашей тетушке, монахине матери Марии, желание видеть нас и беседовать с нами».

Остается добавить, что по сведениям того же ротмистра Савицкого, изложенным в его рапорте, отец Варсонофий якобы действительно написал Александре Львовне письмо, в котором предупреждал, что никаких разговоров о религии с ее отцом вести не будет и что желал бы только «видеть Толстого и благоволить». Игумен будто бы сообщил Савицкому, что если бы он услышал от Толстого одно слово «каюсь», то в силу своих полномочий считал бы его отказавшимся от своего «лжеучения» и напутствовал бы его перед смертью как православного.

— Что касается причастности к делу Священного Синода, мне трудно выступать в качестве чьего-либо оппонента. Данное представление — представление о том, что к поездке отца Варсонофия в Астапово имел отношение Священный Синод, сложилось у меня смолоду. Таково было мнение, царившее среди моих родных и близких. С другой стороны, нельзя, конечно, исключить того, что во всю эту историю были вовлечены какие-то очень личные, очень частные интересы. На мой взгляд, все это не имеет существенного значения. Важен факт: Александра Львовна не пустила отца Варсонофия к своему отцу.

— В этом вопросе важна окончательная ясность. Согласно одной из версий, старца Варсонофия не пустила к отцу Александра Львовна. Согласно другой версии — ее поддерживали толстовцы, — от встречи со старцем отказался сам Толстой. Трудно представить себе, что вам не приходилось говорить об этом с Александрой Львовной. Какая версия правильная?

Отца Варсонофия не пустила к отцу Александра Львовна.

— Если бы она не помешала встрече отца с отцом Варсонофием, примирился бы он с Церковью?

— Думаю, что да. Хотя не могу утверждать этого с полной категоричностью. Митрополит Антоний Храповицкий рассказывал мне — правда, с чужих слов, — что Толстой якобы уже на последнем издыхании говорил: «Ну вот, я умираю. И что с этого? Никаких ангелов нет. Ничего нет. Смотрите — просто умираю и умираю».

— Почему Александра Львовна помешала встрече Варсонофия с умирающим отцом? Вы можете этим поделиться?

— Я не вправе разглашать тайну исповеди. Все, что я могу сказать, — это то, что Александра Львовна не предала своего отца, но сама лично во всем глубоко раскаивалась. А последующим возвращением в Церковь она подкрепила свое безмерное человеколюбие и милосердие. Она помогла сотням и сотням людей. Она бесконечно любила отца, стояла за него, защищала его и молилась за него до самой смерти своей.

— Поразительные размышления о роли Толстого в истории России есть у И. Бунина в воспоминаниях о принце Ольденбургском, с которым он поддерживал отношения в период эмиграции во Франции. С большим надрывом этот благороднейший человек, некогда приближенный Николая II, рассказывал Бунину о том, что император был готов одно время встретиться с Толстым и побеседовать с ним о судьбах Российской империи, но что этого так и не произошло. По свидетельству Бунина, принц Ольденбургский был убежден, что эта встреча могла изменить ход истории России. Так ли это? Не строим ли мы себе иллюзии?

— Если бы на месте Николая II оказался, предположим, его предок Петр Великий, то такая встреча наверняка произошла бы и после нее было бы сделано, наверное, много важного. Если уж задаваться такой дилеммой, то, ко-

нечно, можно лишь сожалеть о том, что Николай II не пошел на встречу с Толстым. Действительно жаль. С другой стороны, можно понять и Николая II. Он был человеком своего времени, имел определенное воспитание и характер. И было бы нелепостью ожидать от Николая II того, чтобы он поступал, как Петр Великий.

В этой связи мне хочется привести зарисовку из жизни Льва Толстого, относящуюся к тому периоду, когда он сам стал толстовцем. Историю эту мне рассказал муж моей сестры, внук Льва Николаевича, Владимир Михайлович. Дома у Толстого был как-то Чертков — с Чертковым, кстати сказать, моя семья тоже оказалась породнена через мою вторую сестру, которая вышла замуж за Черткова, чей дед приходился двоюродным братом тому самому Черткову. Так вот, лысоголовый Чертков сидел в гостиной, когда вошел Толстой. Увидев на голове у Черткова огромного впившегося комара, Лев Николаевич подошел к нему и комара прихлопнул. Развернувшись, Чертков удивленно произнес: «Эх! Как вы могли это сделать? Ведь вы же погубили чужую жизнь!» Толстой посерел. Ничего не сказав, он ушел в свой кабинет, заперся и провел в одиночестве пять часов... Трудно сказать, что смог бы Толстой реально сделать в той ситуации, которая сложилась тогда в России.

ИЗАБЕЛЛА Ф. ХЭПГУД



ПРОГУЛКА ПО МОСКВЕ С ГРАФОМ ТОЛСТЫМ

Изабелла Флоренс Хэпгуд (1850 — 1928) — американский переводчик, критик, журналист. С детства увлекаясь филологией, в совершенстве изучила основные языки континентальной Европы, а также русский и старославянский. Необыкновенно работоспособная, Хэпгуд за один 1886 год выпустила в своих переводах сборник былин «Эпические песни России», имевший большой успех в Соединенных Штатах и Великобритании, главные сочинения Гоголя, а также повести Л. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Эту книгу она послала в Ясную Поляну с дарственной надписью «Графу Л. Н. Толстому с уважением и приветом от переводчицы. Бостон. 24 августа 1886». В 1888 — 1890 годах она перевела «Севастопольские рассказы», трактат «О жизни» и другие художественные и публицистические сочинения Толстого. Переводы Хэпгуд (в том числе прозы Пушкина, Тургенева, Лескова, Горького) отличались большой точностью и выразительностью языка; в то время она пользовалась репутацией лучшего переводчика с русского.

Весной 1887 года Хэпгуд вместе со своей матерью отправилась в длительное путешествие по России и провела здесь два года. Заветной ее мечтой было встретиться с Толстым. В Петербурге она просила В. Стасова познакомить ее с любимым автором. 2 декабря 1887 года Стасов писал Толстому: «Лев Николаевич, г-жа Гапгуд просит меня сказать Вам пару слов в ее пользу. Что я могу сказать?! Очень немного, но только все самое отличное в ее пользу. Эту Американку рекомендовал мне Рольстон¹, из Лондона. Я нашел сам, что она прекраснейшая женщина, в высшей степени интеллигентная и симпатичная; из англ<ийских> книг и журналов я также знаю, что ее считают лучшей переводчицей современных русских писателей на английский. Но всего лучше она переводит Вас и Гоголя (ее переводов у нас немало в публ<ичной> библиотеке). Не надо мне прибавлять, что Льва Толстого она — боготворит. Кланяюсь Вам. В. Стасов»².

Впервые Хэпгуд посетила Толстого 25 ноября 1888 года в Москве. В дневниковых записях Толстого упоминаются еще две встречи с переводчицей — 17 и 18 декабря того же года. По приглашению С. А. Толстой Хэпгуд со своей матерью гостила в Ясной Поляне летом 1889 года.

Хэпгуд посетила Толстого вскоре после перелома в его мировоззрении, когда искусство он стал называть «баловством», а свои художественные произведения считал, по свидетельству мемуариста, «результатом напрасно потраченной силы».

«— Отчего не пишете? — спросила Хэпгуд Толстого во время своей первой встречи с писателем.

— Пустое занятие, — отвечал Толстой.

— Отчего?

¹ Уильям Рольстон (Ролстон; 1828 — 1889) — английский славист, популяризатор русской литературы в Великобритании. Друг И. С. Тургенева.

² Рукописный отдел Государственного музея Л. Н. Толстого.

— Книг слишком много, и теперь, какие бы книги ни написали, мир пойдет все так же. Если бы Христос пришел и отдал в печать Евангелия, дамы постарались бы получить его автографы и больше ничего»³.

В статье «Толстой в жизни», где, в частности, речь шла о вреде табака, Хэпгуд приводит еще одно весьма характерное для того времени высказывание писателя: «Все, что я написал до сих пор, — говорил Толстой, — было создано под вредным влиянием табака. Поэтому я бросил курить. Все, что у меня издается с этого времени, — результат чистого умственного и духовного подъема». На это серьезное признание Толстого Хэпгуд ответила шуткой: «Лев Николаевич, очень, очень прошу Вас, начните курить немедленно»⁴.

После возвращения из России Изабелла Хэпгуд стала известна в Америке как близкий знакомый и посредник Толстого. К ней обращались разные люди с просьбой передать чувства симпатии и признательности русскому писателю, а редакторы журналов — с просьбой получить у Толстого материал для своих изданий. Редактор журнала «The Independent» через Хэпгуд даже просил Толстого написать статью о Джордже Вашингтоне.

Большую помощь оказала Изабелла Хэпгуд Толстому в 1892 году во время голода в России, вызванного неурожаем. Она организовала в Нью-Йорке Толстовский фонд, целью которого был сбор средств для голодающих крестьян России, причем сообщалось, что все пожертвования будут непосредственно направляться графу Льву Толстому. Вскоре в адрес Хэпгуд стали приходить денежные переводы — в основном от людей небогатых и даже бедных. Список жертвователей она аккуратно направляла Толстому и публиковала в американских газетах. В списке от 22 февраля 1892 года, направленном Толстому, среди многих жертвователей значатся: «Бедняки г. Пальмира, штат Нью-Йорк — 7,11 доллара; дети г. Аптон-Сити, штат Миссури — 2,50 доллара; друзья — 2,50 доллара, мисс А. Е. Киркленд — 5,00 долларов; заработанные маленькими детьми деньги — 1,00 доллар»⁵.

При сборе пожертвований для голодающих русских крестьян возникали непредвиденные трудности. В нью-йоркской газете «Evening Post» от 9 февраля 1892 года было напечатано письмо Хэпгуд к редактору газеты, где, в частности, сообщалось: «Сегодня я получила телеграмму от графа Толстого в ответ на свое письмо, в котором просила разъяснить широко распространенное в американских газетах сообщение, что правительство запретило ему заниматься благотворительной деятельностью и что он живет под строгим полицейским надзором в Москве. Телеграмма гласит: „Москва. Февр. 8. Неправда. Толстой”. Уже на следующий день на имя Хэпгуд поступило 520 долларов... Из писем Толстого к Хэпгуд видно, как глубоко был признателен писатель за оказанную помощь: «...сердечно благодарю вас за хлопоты, которые вы взяли на себя в этом деле, а также великодушных жертвователей, — писал он в конце июня 1892 года. — Я получил также ваш перевод моей статьи⁶ о нашем деле и восхищаюсь правильностью и изяществом вашего перевода», — и в следующем письме, от 4 сентября 1892 года: «Благодарю вас еще много раз за все ваши труды на пользу наших страдающих земляков. Еще и теперь продолжают на эти деньги столовые и приюты для детей»⁷.

Во время пребывания Хэпгуд в Ясной Поляне летом 1889 года Толстой, который в то время работал над «Крейцеровой сонатой», выразил надежду, что она переведет эту повесть на английский язык. Хэпгуд охотно согласилась. Однако, получив рукопись и ознакомившись с нею, она отказалась переводить ее. О причинах своего отказа Хэпгуд рассказала в статье «„Крейцера соната” Толстого», опубликованной в нью-йоркском журнале «The Nation» 17 апреля 1890 года. «Почему я не перевожу сочинение известного, вызывающего восхищение русского писателя? — спрашивала она себя и отвечала: — ...я уверена, эта книга не принесет никакой пользы людям, для которых она предназначена. Это именно тот случай, когда незнание есть благо и когда чистые

³ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 50. М., 1952, стр. 5.

⁴ Hargood Isabel F. Tolstoy as he is. — «Munsey's Magazine», New York, 1896, vol. 15, p. 558.

⁵ Рукописный отдел Государственного архива Л. Н. Толстого.

⁶ Речь идет о статье «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая».

⁷ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 66. М., 1953, стр. 233, 256.

умы подвергаются разращению, которого лишь немногие сумеют избежать <...>. Мне кажется, такая болезненная психология едва ли может быть полезной, несмотря на то что мне очень неприятно критиковать графа Толстого.

Точно так же Хэпгуд отказалась переводить трактат Толстого «Царство Божие внутри вас», переданный ей по просьбе автора отправившимся на международную выставку в Чикаго профессором Московского университета И. И. Янжулом для издания в Соединенных Штатах (поскольку писатель не надеялся на снисходительность российской цензуры).

О своем отказе Хэпгуд писала Толстому 28 апреля 1893 года: «...Мне очень жаль, но мои убеждения не позволяют мне переводить эту книгу. Я не стану говорить о ней в печати и вообще ни словом не обмолвлюсь о ней, даже если она будет кем-нибудь опубликована, за исключением того, что сказала вам сейчас; я не могу по совести согласиться с ней и поставить на ней свое имя...»⁸.

Несмотря на отказ Хэпгуд переводить «Крейцерову сонату» и трактат «Царство Божие внутри вас», переписка между нею и Толстым не прекратилась и продолжалась вплоть до 1903 года.

После того как газеты разнесли по свету сообщение о том, что Толстой работает над романом «Воскресение», Хэпгуд написала ему письмо, датированное 27 июля 1897 года:

«Милостивый государь Лев Николаевич!

Литературные бюллетени Америки и Англии недавно сообщили, что вы пишете новый роман. Надеюсь, что добрые вести достоверны, хотя совершенно нельзя верить тому, о чем пишут эти журналы.

После моего отказа переводить некоторые ваши произведения я, по сути дела, не имею никакого права говорить с вами о таких вещах. Но сейчас я это делаю, и делаю по просьбе некоего издателя. Он прочитал сообщения, о которых я говорила, и просил меня, если это возможно, получить от вас один из первых экземпляров книги и прислать ему. Я уполномочена передать эту просьбу вам, а ваш ответ ему. Поэтому не считайте, что мое письмо продиктовано одной дерзостью. Мы будем крайне признательны, если вы ответите в скором времени»⁹.

Ответ Толстого на это письмо неизвестен. Сведений о том, что Хэпгуд перевела роман «Воскресение», нет. Однако она вместе с другими переводчиками принимала участие в работе над двадцатидвухтомным Собранием сочинений Толстого, которое было издано в Нью-Йорке в 1902 году (переиздано в 1923 году в 24-х томах).

В 1891 году Хэпгуд опубликовала воспоминания «Прогулка по Москве с графом Толстым» в журнале «The Independent», которые затем вместе с другими путевыми заметками включила в качестве отдельной главы в книгу «Поездки по России», вышедшую в Нью-Йорке в 1895 году.

Здесь мемуаристка рассказывает о своих встречах и беседах с Толстым 17 и 18 декабря 1888 года. Факты жизни Толстого этих дней достаточно хорошо известны в настоящее время (см., например, подробную запись в его дневнике от 17 декабря 1888 года¹⁰). Однако этот «отчет» существенно дополнен рассказом Изабеллы Хэпгуд.

Неприятие Хэпгуд многих взглядов позднего Толстого выразилось в особом внимании американской посетительницы к «непоследовательности» русского писателя. В то же время Хэпгуд говорит о большой искренности убеждений Толстого, о крайне простом образе жизни великого писателя, опровергая тем самым ложные слухи о нем, бытовавшие в Америке.

Воспоминания Изабеллы Флоренс Хэпгуд «Прогулка по Москве с графом Толстым» переводятся на русский язык впервые и даются с незначительными сокращениями по тексту издания: *Harpo d Isabel F. Russian Rambles. New York, 1895, p. 134 — 147.*

⁸ «Литературное наследство». Т. 75, кн. 1. М., 1965, стр. 412. Здесь же Э. Г. Бабаевым опубликованы и другие письма Хэпгуд к знаменитому адресату.

Перевод трактата Толстого на английский язык был сделан Александрой Павловной Делано, русской по происхождению, жившей в Бостоне. Он вышел в Лондоне в начале 1894 года.

⁹ Рукописный отдел Государственного музея Л. Н. Толстого.

¹⁰ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 50, стр. 15.

— **В**ы когда-нибудь были в старообрядческой церкви? — спросил меня однажды вечером граф Толстой. Мы сидели за обеденным столом в доме графа Толстого в Москве. Я только что отведала маринованных грибов из Ясной Поляны, самых вкусных, какие я встречала в этой стране, где грибов едят много. Грибы и заданный вопрос послужили поводом для беседы. Дети спали. Взрослые члены семьи, несколько родственников и мы были заняты оживленной беседой; точнее, это я беседовала с графом, а остальные вступали в разговор время от времени. Мы заговорили о московских нищих.

— Я теперь понимаю их и то, что вы писали о них, — сказала я. — У меня нет лишних денег, и сердце у меня не каменное. Если я отказываю им в просьбах, я чувствую себя отвратительно. Если же я даю им пять копеек, то чувствую неловкость. Кажется, этого слишком мало, чтобы помочь им. Этих денег хватит им только на водку. А если я даю десять копеек, они держат деньги в протянутой руке, смотрят на них и на меня с подозрением. Тогда меня берет зло и я в течение нескольких дней не даю никому и медного гроша. Мне кажется, милостыня не приносит добра.

— Нет, — сказал граф Толстой озабоченно, — приносит. Давать деньги всякому, кто просит их, не значит делать добро, это просто дань учтивости. Если нищий просит у меня пять копеек, пять рублей или пять тысяч, я должен дать их ему из учтивости, и не более того, — если, конечно, они у меня есть. Тратятся же подавания, вероятно, почти всегда на водку.

— Но что делать? Когда человек просит деньги на хлеб, я иногда думаю, что лучше купить ему хлеба и проследить, чтобы он съел его. Но по странному стечению обстоятельств нищие никогда не просят денег на хлеб вблизи булочной. Я полагаю, было бы лучше для меня взять на себя труд найти кого-нибудь из нищих и дать ему хлеба.

— Нет, ведь вы только покупаете хлеб. Своего труда он вам не стоит.

— Ну а если, предположим, я испекла этот хлеб? Я превосходно умею делать это, только не здесь, где нет условий. Поэтому я вместо хлеба даю деньги.

— Если бы вы и выпекали хлеб, все же не вы бы выращивали зерно, пахали, сеяли, жали, молотили, веяли. Это был бы не ваш труд.

— Если так, то я только что сделала нечто ужасное. Я сшила несколько шапок для сосланных в Сибирь, находящихся в пересыльной тюрьме, на самом же деле было бы лучше, если бы их бритые головы замерзли.

— Но почему? Вы потратили свой труд, свое время. Вместо этого, вероятно, могли бы сделать что-нибудь другое; и это доставило бы вам больше удовольствия.

— Конечно. Но если докапываться до сути дела, то обо мне можно бы сказать: шапки были сделаны из остатков шерсти, которая была мне не нужна и только занимала место в моем чемодане. Я отказалась вручать их сама. Их положили вместе со многими другими шапками, которые кто-то сделал тоже из остатков шерсти, руководствуясь такими же низкими мотивами. Более того, я не пахала, не сеяла траву, не кормила овец, не стригла их, не пряла шерсть и не делала всего остального. Не делала я и спиц для вязанья.

Граф вернулся к своему прежнему утверждению, что единственно справедливым воздаянием соотечественнику является личный труд и что труд должен предоставляться совершенно безотказно, когда в нем нуждаются другие.

— Но не всегда правильно делать это не задумываясь. Всегда находится много людей, которые рады, чтобы работа была выполнена за них. Такова человеческая натура.

— Но это к нам не имеет отношения, — ответил он. — Если человек просит меня построить ему дом или вспахать его поле, я обязан выполнить эту просьбу, точно так же как я обязан дать нищему все, что бы он у меня ни попросил, если это у меня есть. Не мое дело, почему он просит меня об этом.

— Но предположим, что этот человек ленив или хочет, чтобы за него делали его работу, в то время как он бездельничает, весело проводя время, или зарабатывает деньги лишь на водку или что-нибудь в этом роде? Я не против

того, чтобы помогать слабым или тем, кто не уклоняется от работы, но надо проводить различие.

Однако граф Толстой настаивал на том, что человек, желающий выполнить свой долг, помогая своим братьям, не должен интересоваться причиной просьбы. Его рассудительная жена пришла мне на помощь и сказала, что она всегда сначала разбирается в деле, а только затем помогает — по той причине, о которой я говорила. Поэтому я перешла в атаку с другой стороны.

— Не следует ли каждому человеку самому делать для себя как можно больше, а не просить других, если только в этом нет крайней необходимости?

— Конечно.

— Очень хорошо. Я сильна, здорова, вполне способна обслужить себя. Но мне очень не нравится надевать калоши и тяжелую шубу. И я никогда не сделаю этого, если только можно этого не делать. У меня нет права просить вас надевать мне калоши, если рядом нет лакея. Но предположим, я попросила бы?

— Я бы сделал это с удовольствием, — ответил граф, его серьезное лицо расплылось в улыбке. — И я почию вашу обувь, если вы пожелаете.

Я поблагодарила его, сожалея, что моя обувь не требует починки, и продолжала развивать свою мысль.

— Но вам *надо отказать* мне. Ваш долг — научить меня обслуживать себя. Вы не имеете права поддерживать мои дурные наклонности.

Так мы спорили. Он стал утверждать, что надо следовать примеру Христа, который исцелял и помогал всем, не спрашивая о причинах или заслугах. Я говорила, что, в то время как Христос «знал сердце человека», человек не может познать сердце своего собрата — по крайней мере не всегда с первого взгляда. Хотя потом человек способен довольно хорошо разобраться, был ли он использован как орудие в руках другого. Но граф упорно придерживался своего учения «непротивления злу»; я же утверждала, что уже само слово «зло» указывает на нечто такое, чему надо противостоять — и проповедью, и действием. Вероятно, граф Толстой не встречался с определенными представителями рода человеческого, которых, к сожалению, мне пришлось наблюдать.

Затем граф со свойственной ему благожелательностью спросил:

— Были вы когда-нибудь в старообрядческой церкви?

— Нет. Мне говорили, что в Петербурге есть одна, но меня туда не пустят, потому что я ношу шляпу, а не платок и не умею правильно креститься и класть поклоны.

— Я возьму вас с собой, если хотите, — сказал он. — Мы будем гостями священника. Он мой друг.

Затем он поведал нам следующую историю. Много лет назад отряд казаков-староверов со своими священниками пересек границу и поселился в Турции по религиозным соображениям. <...> В прежние времена эти старообрядцы сжигали себя тысячами. В нашем веке этот отряд казаков просто эмигрировал. Потом началась Крымская война. Казаки отправились на войну, священник благословил их в поход и помолился за победу над Россией. Более того, они отправились сражаться против своих соотечественников и были захвачены в плен. Военнопленные, предатели церкви и государства — три их священника были осуждены на поселение в суздальском монастыре.

— Когда я служил в армии, то слышал об этом случае, — сказал Толстой. — Потом совершенно забыл о нем, как, очевидно, и все другие. Много лет спустя один старообрядец, купец из Тулы, рассказал мне об этом, и я узнал, что эти три священника все еще живут в монастыре. Мне удалось добиться их освобождения, и мы подружились. Позже один умер. Другой живет здесь, в Москве. Сейчас он глубокий старец. Мы пойдем и навестим его, но я должен узнать, когда начнется вечерняя служба. Вы увидите обряд таким, каким он был триста лет назад.

— Вы должны не произносить ни слова и не улыбаться, — сказал один из присутствующих. — Они подумают, что вы смеетесь над ними, и вас выгонят.

— Ну нет, — сказал граф. — Хотя все же лучше молчать.

— У меня уже есть небольшой опыт, — заметила я. — В прошлое воскресенье в храме Христа Спасителя я предложила своей матери поддержать ее тяжелую шубу. Она улыбнулась и сказала: «Не надо, спасибо». Один крестьянин услышал чужую речь, увидел улыбку и по-настоящему напугал нас своими свирепыми взглядами. Мы успокоили его гнев, делая низкие поклоны, когда появился священник с кадилом.

Так были составлены этот и другие планы. Когда мы спускались по лестнице, на верхней площадке, украшенной шкурой большого медведя, которая описана в одном из рассказов Толстого¹, появился граф и окликнул нас:

— Вы не будете стыдиться моего костюма, когда я зайду за вами в гостиницу?

— Мне неловко, что вы задаете такой вопрос, — ответила я.

Он засмеялся и ушел. Между прочим, как обычно, я позволила лакею надеть мне калоши и пальто.

На следующий день раздался характерный стук в нашу дверь, похожий на артиллерийский залп. Одним прыжком я пересекла комнату. В России слуги, почталыоны и другие люди подобного рода так редко предупреждают о своем приходе стуком, что в любой момент опасаясь увидеть дверь отворенной без предупреждения, если она не заперта. И даже не знаешь, что делать, услышав стук, когда посетитель тут же входит в комнату и называет себя. Это был граф Толстой. На нем был крестьянский тулуп из овчины <...> темно-желтого цвета, по которому разметалась его седая борода. Серые крестьянские валенки до колен и вязаная шапочка довершали его костюм.

— Сейчас слишком холодно для нашего похода, и я боюсь, что немного запоздал, — произнес он, снимая тулуп. — Я узнаю точное время службы, и мы пойдем в церковь под Рождество.

На улице было только 15 — 20 градусов ниже нуля по Фаренгейту², и я хотела было протестовать. Но с русским бесполезно спорить о погоде, и кроме того, я узнала, что весь долгий путь граф шел пешком и, по всей вероятности, боялся заморозить нас. Не совсем искренно, но вежливо я согласилась, что канун Рождества — более удобное время.

Он предложил пойти в лавку, где продаются книжки для народного чтения, выпущенные миллионным тиражом по цене от полутора до пяти копеек. У него там было дело в связи с популярным изданием шедевров всех времен и литератур³.

Температура в нашей комнате была 65 градусов⁴, а валенки графа и вязаный свитер, надетый поверх его обычного костюма из перетянутой ремнем блузы и синих брюк, стесняли его. Пока мы надевали шубы, он искал прохлады в зале. Единственное изменение в своей одежде, которое я сделала ради этого случая, — надела вязаную шапку вместо меховой.

Все равно мы выглядели необычным трио⁵ в глазах окружающих, начиная с простого мужика и слуги, которые с неодобрением сверлили нас взглядами из-за угла. Я не верила своим ушам: ни один из многочисленных извозчиков, стоявших перед гостиницей, не открыл рта, чтобы предложить свои услуги. Обычно нас встречал целый хор предложений. А сейчас люди просто выстроились в молчаливый, застывший от изумления ряд и пропустили нас спокойно. Я не думаю, чтобы что-то могло сдержать язык русского извозчика. Может быть, они не узнали графа? Сомневаюсь. Мне говорили, что в Москве все знают его и как он одет, но на мои настойчивые расспросы извозчики всегда давали отрицательный ответ. В одном только случае извозчик прибавил: «А господин он хороший и близкий друг моего приятеля».

¹ Речь идет о рассказе «Охота пуше неволи» («Азбука»).

² 26 — 29 градусов мороза по Цельсию.

³ Речь идет о лавке книгоиздателя Ивана Дмитриевича Сытина (1851 — 1934).

⁴ 18 с лишним градусов тепла по Цельсию.

⁵ Граф Толстой, И. Хэпгуд и ее мать.

— Вы хороший ходок? — спросил граф, усердно работая своей толстой палкой, по-видимому недавно срезанной в саду у его дома. — Я всегда хожу пешком; никогда не езжу, потому что у меня постоянно нет денег.

Я сказала, что я первоклассный ходок, только когда не обременена шубой и калошами, а затем добавила:

— Я надеюсь, что вы не заставите нас идти всю дорогу до церкви, потому что потом мы должны будем отстоять всю службу; ведь эти суровые люди едва ли предложат нам сесть.

— Потом мы поедем на извозчике, — ответил он. — Но это постоянное пользование лошадьми — пережиток варварства. Поскольку мы становимся более цивилизованными, лет через десять лошадьми совсем перестанут пользоваться. Я уверен, что в цивилизованной Америке ездят не так много, как мы в России.

Я была знакома с теориями графа Толстого, но эта была для меня новой. Я обдумала несколько ответов. Велосипеды я отвергла, потому что тут физические усилия как бы обесцениваются стоимостью стального коня. Я также не стала говорить, что мы начинаем смотреть на лошадей скорее как на устарелое, медленное и не заслуживающее доверия средство передвижения. Я не хотела слишком резко и безжалостно разочаровывать графа в американском образе жизни, поэтому я сказала:

— Думаю, что люди у нас ездят на лошадях с каждым годом все больше и больше. Если меньше вашего, то это оттого, что у нас нет множества таких превосходных и дешевых экипажей и саней. И как людям добираться до нужного места, как переносить тяжести и хватит ли человеку дня, если он будет повсюду ходить пешком? Должны ли быть лошади оставлены людьми на земле вместе с животными, которых мы сейчас едим и которых мы должны прекратить есть?

— Это уладится само собою. Только те, которым нечего делать, всегда в спешке ездят с места на место. У занятых людей хватает времени на все.

И граф продолжал развивать свою мысль. В основании, конечно, лежало все то же — опора лишь на самого себя, освобождение других от рабства своих желаний и прихотей. Этот принцип великолепен, но для многих из нас было бы легче следовать ему, оказавшись на необитаемом острове, нежели вести в современном городе жизнь Робинзона Крузо, заполненную разнообразным физическим трудом. Это почти единственный довод, который я могла выдвинуть против него.

Беседуя таким образом, мы шли по улицам Китай-города. Когда тротуар был узким, граф сходил на мостовую. Так мы подошли к старой стене и постоянно действующему базару, который носит разные названия — Толкучка, Вшивый рынок и так далее — и который, говорят, является прибежищем воров и скупщиков краденого <...>.

— Здесь только два истинно русских обращения, — сказал граф, когда мы проходили среди купеческих лавок, где женщины были одеты, как и мужчины, в тулупы, их выдавала едва видневшаяся из-под тулупа яркая юбка и платок вместо шапки на голове, в то время как некоторые торговцы были в пальто и картузах с козырьками из темно-синей ткани. — Если я сейчас обращусь к одному из них, он будет называть меня батюшкой, а вас матушкой.

Мы стали прицениваться к обуви, новой и старой, и слова графа действительно подтвердились.

— Вы можете купить здесь очень хорошую одежду, — сказал граф, когда мимо нас проходил человек с перекинутыми через руку рубашками. — Эти рукавицы очень прочные и теплые, — и он показал свои грубые белые рукавицы и указал на груды таких же рукавиц и чулок. — Стоят они всего тридцать копеек. А на днях я купил здесь превосходную мужскую рубашку за пятьдесят копеек, — (около двадцати пяти центов).

На это последнее я могла ответить тем же, чем ответил мне граф, когда я предлагала давать просящим хлеб, но я великодушно промолчала <...>.

Лавка нашего издателя оказалась закрытой согласно закону, который по воскресеньям позволяет торговать в помещениях только с двенадцати до трех часов⁶. По дороге домой граф выразил сожаление по поводу быстрого упадка республиканских идей в Америке и поразительного роста губительных «аристократических», если не сказать снобистских, настроений. Его знания были почерпнуты из статей, напечатанных в различных современных периодических изданиях, и из общего характера американских художественных произведений, которые попадали в его поле зрения. От других русских я много слышала о снобизме американцев, но они обычно отзывались о нем с неприязнью, а не как граф Толстой, с сожалением, что целая нация упустила блестящую возможность.

Увы, мы так и не попали в церковь старообрядцев, как и в другие места, которые намеревались посетить. Два дня спустя у графа начались боли в печени, расстройство желудка, вызванные, я думаю, длительными прогулками, вегетарианской пищей, которая противопоказана ему, и сильной простудой. Накануне Рождества мы были на службе в новом храме Христа Спасителя и уехали из Москвы до того, как граф смог вновь выходить на улицу. Перед отъездом мы навестили его еще раз.

Я знаю, что в последнее время графа стали называть «сумасшедшим» или «не совсем в своем уме» и тому подобное. Всякий, кто беседует с ним подолгу, приходит к заключению, что он никак не похож на такую персону. Толстой просто человек со своими увлечениями, своими идеями. Его идеи, предназначенные им для усвоения всеми, все же очень трудны для всеобщего восприятия, а особенно трудны для него самого. Это те неудобные теории самоотречения, которые очень немногие люди позволяют кому бы то ни было проповедовать им. Добавьте к этому, что философскому изложению его теории не хватает ясности, которая обычно, хотя и не всегда, является результатом строгой предварительной работы, — и у вас будет более чем достаточно оснований для слухов о его слабоумии. При личном знакомстве он оказывается необыкновенно искренним, глубоко убежденным и обаятельным человеком, хотя он не старается привлечь к себе внимание. Именно его искренность и вызывает споры.

Перевод с английского, вступительная статья
и примечания **Валерия Александрова.**

⁶ В воскресенье 18 декабря 1888 года Толстой сделал в своем дневнике следующую запись об этом визите: «Пошел к Наргоод и с ними к Сытину» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 50, стр. 15) и в дневнике от 19 декабря 1888 года, говоря о предыдущем дне: «Ходил к Наргоод и к Сытину. Опоздал. Насморк. Вечер читал» (там же, стр. 16).



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«НЕ ВЕРЮ В ПРОСТРАНСТВО, НЕ ВЕРЮ ВО ВРЕМЯ, РАЗДЕЛЯЮЩИЕ НАС»

Письма Л. Ю. Бердяевой к Е. К. Герцык

Лидия Юдифовна Бердяева (урожд. Трушева; 1874 — 1945), жена философа Н. А. Бердяева, принадлежит к плеяде воплотивших в себе лучшие черты времени женщин серебряного века, которых отличали поиск своих индивидуальных путей среди многих возможностей и жертвенное служение выбранной идее. На первых порах у молодой Трушевой такой идеей была революционность, служение народу. Бердяев писал о ней: «Она по натуре была душа религиозная, но прошедшая через революционность, что особенно ценно. У нее образовалась глубина и твердая религиозная вера»¹...

С 1910 года Лидия Бердяева начала писать стихи, о которых положительно отзывался Вячеслав Иванов. Три ее стихотворения были напечатаны в 1915 году в журнале «Русская мысль» под псевдонимом Лидия Литта.

В 1918 году она перешла в католичество, вступив в Москве в общину отца Владимира Абрикосова. Этому посвящено письмо от 23 сентября 1921 года — первое, отправленное Бердяевой в Судак, где жили Герцыки, после налаживания связи между Севером и Югом России, прерванной в Гражданскую войну.

Адресат писем, Евгения Казимировна Герцык (1878 — 1944), которую Бердяев называл «одной из самых замечательных женщин начала XX века, утонченно-культурной, проникнутой веяниями ренессансной эпохи»², сестра поэтессы Аделаиды Герцык, была близка кругу Вячеслава Иванова. Она много переводила — главным образом философскую литературу, — являлась и небезалапаным критиком, вступая иногда в полемику с властителями умов, как в статье «Бесоискательство в тихом омуте»³ (о книге Д. Мережковского).

Но в наше время Евгения Герцык известна прежде всего благодаря «Воспоминаниям», героями которых стали ее друзья — Л. Шестов, Вяч. Иванов, М. Волошин, Н. Бердяев, И. Ильин и другие⁴.

Весной 1911 года, возможно под влиянием бесед с Бердяевым, Евгения Казимировна переходит в православие из лютеранства (мать — лютеранка, отец — католик) и накануне крещения пишет Вячеславу Иванову: «...все значение Церкви собралось для меня в Литургии, и мимо тех врат я не хочу, не вижу пути»⁵.

Двух женщин связывала многолетняя дружба. Бердяевы неоднократно гостили у Герцыковых в Судак. Летом 1922 года, приехав из Крыма в Москву, Евгения Казимировна останавливалась у Бердяевых и стала свидетелем трагических дней ареста и высылки философа, провозжала друзей из Москвы в Петроград — на печально знаменитый «пароход философов».

Судьбы разошлись. До 1927 года Евгения Казимировна писала Бердяевым из Судак в Берлин, затем в Париж⁶. Позже связь поддерживалась через В. С. Гриневиц⁷, пе-

Публикация, вступительная заметка и примечания Т. Н. ЖУКОВСКОЙ (Музей М. И. Цветаевой).

¹ Бердяев Н. Самопознание. М., «ДЭМ», 1990, стр. 127.

² Там же, стр. 153.

³ Герцык Е. Бесоискательство в тихом омуте. — «Золотое руно», 1909, № 2-3.

⁴ Герцык Е. Воспоминания. Париж, «УМСА-Press», 1973 (в России — М., «Московский рабочий», 1996).

⁵ Герцык Е. Воспоминания. М., 1996, стр. 361.

⁶ Письма Е. К. Герцык к Н. А. Бердяеву (см.: Герцык Е. Воспоминания. М., 1996, стр. 366).

⁷ См. примеч. 11.

реписка с которой чудом продолжалась до 1939 года. Бердяевы находились в эмиграции в относительном благополучии, немецкую оккупацию они пережили во Франции. Евгения Казимировна доживала на родине в провинции (Крым, Кавказ, Курская область) в нужде и заботе о близких. Она тоже побывала в оккупации, но в глухой курской деревушке, и оставила об этом несколько дневниковых страничек 1941 — 1942 годов⁸.

Итак, небольшой экскурс в историю через письма: 1921 — 1925.

I

23 сентября 1921 г. Москва.

Так много нужно сказать тебе, друг мой далекий, что не знаю, с чего начать. Хочется на все заданные вопросы твои отозваться, а письмо как-то не вмещает. Здесь нужно сесть на большой теплый диван твой «под шубу» (помнишь, в Кречетниковском⁹) и говорить, говорить без конца...

Да, странник обрел дом свой. Ведь странствие не может и не должно быть целью: «Ищите и обрящете», — сказано нам. Я жадно искала и обрела дом мой, родину мою. Как пришла я к католичеству? В последнее время перед обращением меня все более и более томила жажда Вселенской церкви. Единой, нераздельной, воплощенной здесь, на земле, а не где-то там, за гранью земной. Книга Шмидт² жажду эту усилила, но не утолила. И вот заболеваю я воспалением легких, болею полтора месяца, за время болезни много читаю, думаю... Болезнь, отрывая от повседневности, помогает душе жить своей особой, таинственной жизнью. И эта болезнь моя, конечно, послана была мне свыше... Встав с постели, я еще долго не выходила из комнат и однажды, роюсь в библиотеке Ни³, нашла книгу св. Терезы⁴ (издание 17 века, привезенное Женей⁵ из Парижа из одного уничтоженного монастыря). С трудом начала читать ее (старое правописание французское) и не могла оторваться. Что-то такое родное, близкое, мое услышала там (*Histoire de ma vie*, «*Château de l'âme*», «*Chemin de perfection*»* и т. д.). Но, повторяю, читала с великим трудом и решила где-нибудь достать новое издание... Как-то Ни говорит: «Я иду на заседание Общества соединения церквей⁶, где будут православные и католики». Я заинтересовалась и, когда Ни вернулся, начала расспрашивать: «кто был? что было?» Помню, Ни сказал: «Как, однако, отличаются католические священники от православных! Какая культура, знания! А наши больше молчат». И еще: «Я познакомился там с одним очень интересным католическим священником русским отцом Влад. Абрикосовым⁷. Он католик восточного обряда. Приглашал меня посетить его церковь». «Русский, католик! Вероятно, у него можно достать св. Терезу», — мелькнуло во мне. «Пойдем вместе. Я хочу достать у него св. Терезу». И вот, выздоровев, я вместе с Ни была у обедни о. Владимира и поражена была всем. Дух и обстановка первохристианской общины. Просто, тихо, вдохновенно, молитвенно, чисто, глубоко. Поют сестры-доминиканки Третьего ордена. Это первый в России доминиканский орден восточного обряда⁸. Весь обряд — наш, лишь более строгий, уставный. Но дух — иной, высокой культуры, хорошей мистики... После обедни я зашла к о. Владимиру и попросила книгу св. Терезы. У него огромная библиотека мистиков на всех языках. Очень любезно обещал снабжать меня... И вот я всю зиму брала у него книги, говорила с ним и его женой⁹... Оба они — монахи 3-го ордена — доминиканцы. Русские, москвичи, бывшие миллионеры, долго жили за границей, где и перешли в католичество и с благословения папы Пия 10-го вернулись как миссионеры в Россию. Он — настоятель, она — старшая сестра общины. Люди большой духовной культуры, большого пути аскезы и мистики. Влияния на меня оказать им не пришлось, так как все во мне было уже готово для восприятия истинного пути, истинной жизни. Встреча с ними была лишь завершением того внутреннего пути, каким вел меня Господь мой! И вот три года

⁸ Герцык Е. Воспоминания. М., 1996, стр. 337.

* «История моей жизни», «Внутренняя крепость», «Путь к совершенству» (франц.).

тому назад, 7 июня, я стала католичкой, обрела в католичестве Путь, Истину и Жизнь, по которым так томилась душа моя... Расскажу тебе о чудесном событии, предшествовавшем переходу. По мере приближения дня его — буря сомнений, боязни ошибки, укоров забушевала во мне с такой силой, что все во мне заколебалось, смутилось. Помню час... (Можно ли забыть его?) Я сидела у письменного стола, и казалось мне, что все во мне потрясено, все рушится, нет опоры — тьма и ужас... И теперь знаю минуты эти, но не боюсь, ибо стою *на камне*, а тогда это было страшно. «Св. Тереза, помоги мне!» И в молитвенном порыве я раскрыла Евангелие, лежавшее на столе. «Лучше бы тебе не познать пути истины, чем, познав, вернуться назад!» — прочла я. Восторг охватил душу! Это ли не ответ на зов мой? С той минуты и до этой, когда пишу тебе, дорогой друг, сомнения в истинном пути не было у меня...

Ты говоришь, народ, Россия, русские святыни? Но я верю, что только *этот путь* и спасет народ мой от гибели (увы! не весь, конечно!). Нужно не идти за народом, а вести его за Христом, ибо, идя за народом, а не за Христом, придешь не к Христу, а к подмене Его. Не так ли шли Апостолы? Ведь иначе они остались бы с синагогой, где был народ их!

Восточный обряд сохраняет все ценности, накопленные душой народной за время блуждания в схизме. Св. Серафим и св. Сергий, конечно, будут признаны русскими святыми. Пока же, до присоединения России к Риму, нам предложено чтить их, не воздавая особого культа. О. Владимир — человек тонкой западной культуры, аскет, мистик, но в душе такой русский, русский... Он хочет создать из нас новый тип католиков востока, привить на лозе Рима розы востока с добротолубием, умной молитвой, но и культом Евхаристии (главное!) и строгой школой аскезы и мистики. Все это еще ново, многое впереди, но так радостно и волнующе-прекрасно жить в атмосфере такого творчества. С кем я? «Со всем приходом», но есть и отдельные более близкие души. У меня три крестницы взрослые и одна маленькая. В нашем приходе Кузьмин-Караваев¹⁰ (его знает Вера Степановна¹¹). Остальных ты не знаешь, но среди них много интересных, больше женщин. Есть теперь у меня духовная семья, и так радостно мне с ней встречать праздники за общей трапезой, вести беседы, слушать лекции. Смотрю на Ни, на Женю, и так жаль их! Как они могут жить без этого? Как это представить себе воскрешенье без Евхаристии, без общей трапезы, без беседы? И вот жизнь вне ритма церковного, вне жизни сверхъестественной? И какой счастливой чувствую себя. Боже, за что это мне?

Труден путь духовный, но зато какая награда, какое увенчание! Руководитель мой о. Владимир — это человек большого мистического пути, опыта, знаний, аскетического подвига... Его или ненавидят, или преклоняются перед ним. Можно быть или с ним, т. е. идти за Христом, как идет и он, или против него, когда путь этот не принимаешь. С каким наслаждением послала бы тебе гору книг, кот<орыми> так роскошно питаюсь у о. Владимира, но увы! — это ценность, кот<орую> нужно беречь как зеницу ока, ибо пока что книг мистических доставать новых негде. Пришлю то, что мне более близко, выпишу, и ты поймешь, чем питается душа моя, какой пищей... Пока же кончаю, дорогая, до следующего раза. Ах, почему ты не здесь, но верю, верю в близкое свидание наше. Молись о нем вместе со мной. Адю¹² обнимаю и напишу скоро. Всем привет. Письма Веры Ст<епановны> не получила. Мама¹³ наша с нами. Шура¹⁴ умер год назад. Твоя Лидия.

II

<Весна 1923. Берлин.>¹⁵

Христос воскрес, друг дорогой, далекий! В первый раз в жизни моей не слышу пасхального пения, не имею заутрени... Провожу эти светлые дни в большой отрешенности. Но дух просветлен и вознесен как никогда... Нет пути без жертв, без отрыва, без креста. Но каким легким делает его Господь тому, кто до конца принимает его, без оглядки, без оговорок... Да, я не была в эти

и страстные, и светлые дни в Православной Церкви, хотя праздную их вместе с вами (не с латинской церковью) и своей церкви здесь не имею. Не была потому, что могу молиться только на камни Истины... Идти же в такие дни для *быта*, для приятных и радостных впечатлений — считаю кошунством. Ты скажешь: мы братья, мы христиане — почему же не молиться вместе? Да, мы братья, но молиться мы должны каждый в своей церкви, той, которую каждый считает истинной. Только тогда молитва наша будет подлинной, серьезной и ответственной. Ты, друг мой, конечно, обвинишь меня в нетерпимости, узости и т. д. Заранее принимаю упреки твои. Но скажу: неужели мало хаоса, смешений, мути и двоений ликов и образов, чтоб не возжаждать четкости, ясности, граней? Мир погибает от хаоса... Не ты ли сама говоришь о близком конце и так остро чувствуешь его? Так вот, перед лицом Грядущего и нужна особенная строгость и к себе (прежде всего), и к окружающему, не в смысле осуждения, отлучения, а в смысле понимания, различия...

Я начала письмо прямо с размышления, а хотелось светло и радостно похристосоваться... Ну, уж так само вышло — очевидно, это на душе лежало и требовало выражения... Это время я часто думаю о тебе и открываю большое сходство в последних духовных этапах наших. Твое последнее письмо мне ужасно близко... Все оно говорит о конце, о радости конца¹⁶. А во мне чувство это так заострилось именно в последнее время, что я с каким-то недоумением слушаю людей, говорящих о будущих судьбах Европы, России, о каких-то перспективах истории, культуры и т. д. Когда сидишь на вокзале и ждешь 3-го звонка, можно ли садиться писать письмо, распаковывать чемодан, заказывать обед? И, видя, как люди вокруг делают это, не замечая или не желая замечать близости сигнала к отходу, — я с глубокой жалостью смотрю на них и говорю: «Поздно, поздно!» Еще одно сходство: мы обе живем в большой отрешенности и внутренней, и внешней. Здесь я духовно одинока, как никогда. Ты скажешь: как, а Ни, сестра? Но общение мое с ними всегда останавливается на известной глубине и до дна не идет, с Ни — глубже, с Женей — выше, но и там и здесь за известной чертой — мы друг друга уже не слышим... Церковный ритм жизни моей прерван окончательно... Я живу здесь ритмом нашей восточной общины, но общины не имею. И вот в результате — духовное некое пустынножительство. Письма о Владимира и мои к нему — вот и все, что мне дано здесь... Тоже и у тебя, и ты в пустыне духовной. И это так сближает нас с тобой... Прости, родная, «маркитантку». Это глупое слово как-то само напросилось, а думала я, конечно, не о ней, а о сестре милосердия... Хочу сказать несколько слов о внешней жизни нашей. Нового пока ничего. Живем в той же квартире, среди тех же людей. С немцами общения нет или скорее почти нет — плохо говорим. У меня есть маленькая белая комнатка, где я уединяюсь. Есть несколько женских душ, с которыми поддерживаю общения, но не для себя, а для них. Была у меня Шайкевич¹⁷ — она очень одинокая, живет бедно, шьет. Я постараюсь сделать для нее, что могу. Завтра буду у Марии Моисеевны¹⁸, кот<орая> очень ко мне расположена, и мне с ней приятно. Берлин по-прежнему провинциален, скучен, безвкусен и бездарен. На лето мечтаем к морю... Я физически слаба, но духом бодра как никогда. Обнимаю тебя с сестринской любовью, всегда молюсь о тебе. Ты это чувствуешь? Так ясно представляю себе жизнь твою суровую, строгую на фоне аскетических скал Судака, его песков, полины, рыжих камней... Часто бываю с тобой, незримо прохожу по тропинкам, холмам с тобой и Вероникой¹⁹. Твоя Лидия. Всем наш привет пасхальный.

III

28/15 июля 1923.

Дорогой, любимый друг. Я до слез огорчена была, узнав из последнего письма твоего (вложенного в письмо Ни), что ты не получила большое письмо мое с пасхальным поздравлением. Писала его с особенным чувством, мно-

гое сказала там... Не помню только, послала ли заказным... Письмо было в три листа. Главная тема: в земном плане не должно быть смешений. Истина — одна, и ее нужно охранять от подмен, от мути... Мы живем в опасное, грозное время, когда нужна особенная четкость, ясность пути и осуществлений. Сказать все в любви Христовой здесь в земном плане — нельзя. Это мы скажем — там. Здесь же каждый из нас несет ответственность за тот путь, каким он идет к Христу и ведет других за собой. Здесь — мы путники, а там — будем в доме Отца нашего. Важно не только идти ко Христу, но идти тем путем, какой Он указал, чтобы оградить нас от подмен и смешений. Отсюда — нетерпимость... Опасность терпимости больше, чем нетерпимости. Мы должны быть нетерпимыми к греху, ко лжи, к подменам, но терпимыми к людям, их слабости, их неведению, ошибкам... Вот тема письма в общих чертах... Теперь скажу тебе, дружок, о нашей новой жизни. Две недели тому назад мы приехали к морю, в небольшое местечко Pregelow, в 6-ти ч. от Берлина. Здесь хорошо, если б не такая осенняя погода. Лес большой, поля... Что-то напоминающее Россию... Живем в 3 ком<натах>, обедать ходим довольно далеко. Не хотели заводить хозяйство, чтобы дать отдых Жене. Вслед за нами сюда приехали Зайцевы²⁰, Муратовы²¹. На днях приедет Мария Моисеевна, с которой я всю зиму виделась. Она поглощена лечением больных, по-прежнему горит духовно и, к удивленью моему, выносит мою узость и нетерпимость терпеливо и даже с интересом прислушивается. Всегда спрашивает о всех вас и особенно о Любе²²... Собиралась написать ей... Я уже вошла в ритм деревенской жизни, но лишена церкви. В последний месяц в Берлине мы жили в пансионе как раз против санатория, где есть капелла сестер Vincente Paul. Я ежедневно бывала там, прикасалась к жизни их, вознесенной над миром этим. Это давало так много света и радости. Теперь впереди ждет меня, быть может, еще большая: поездка осенью в Рим. Ни получил приглашение (и кое-кто другой) читать курс лекций для Academia orientale, поездка будет оплачена, и поэтому могу присоединиться и я²³... Сейчас так ярко вспомнила встречу нашу в Риме!²⁴ Но тогда не был он для меня тем, что теперь! Не знаю почему, но живет во мне тайная мысль о свидании с тобой здесь. А у тебя? Все так фантастично вокруг, почему же и этой фантазии не сбыться... Буду верить несмотря ни на что. Так ясно видела тебя с посохом и сумкой на тропинках горных, в весенней зелени и брела рядом с тобой, напевая молитвы... Здесь любимое море мое, но вижу его изредка... Дом хотя и близко (10 мин.), но вида нет, закрыт деревьями, а погода уже неделю такая холодная, ветреная, что ходить на берег трудно. Мы понемногу оживаем, но Ни по-прежнему работает много, не оторвешь от книг и писанья... Письма с родины — увы! — в последнее время не приходят, и мы питаемся только газетами. За последнее время жизнь здесь бьется нервно, тревожно. Дороговизна растет, но мы так закалены, что ничем нас не испугаешь. Вера в волю Высшую, чем все измышления человеческие, — препобеждает и покоит. Я получила из Рима несколько книг и питаюсь ими. Ни с Афона получил «Путь к спасению» Феофана Затворника... Много есть там важного и нужного, но язык?! С большим усилием преодолеваю эту безвкусицу. А у тебя есть ли пища книжная? Вот содержание «Софии»²⁵ (ты просила): Ни: Конец ренессанса. Франк: Философия и религия. Ильин: Философия и жизнь. Карсавин: Путь православия. Лосский: Коммунизм и философское мирозерцание. Новгородцев: Демократия на распутье. Сувчинский: Мирозерцание и искусство. Кроме того во 2-м отделе: Ни: Живая церковь и рел<игия> возрождения России и «Мутные лики» (о Блоке и Белом). И есть еще хроника духовных тегеиш* в Гер<мании> и Росс<ии> и т. д.

На днях пишу Аде, давно хотелось... От Веры Ст<епановны> часто получаю, а Ни от Вадима²⁶. Она, видимо, тоскует без общения с близкими по духу... Ну, дружок, обниму тебя с нежной любовью, покрещу, предам хране-

* Объединений (франц.).

нию Пресвятой Матери Нашей, поцелую много раз и пойду на почту послать заказным. Авось дойдет и обрадует тебя весть моя.

Твой друг Лидия.

Адрес (до сентября): Pregelow (in Pommern) Pension Hanemann.

С сентября: Berlin W, Mogdeburger Strasse, 20. Ни, мама и Женя много раз целуют. Всем твоим большой привет.

IV

29 декабря. 1923. <Берлин.>

Друг дорогой! В эти рождественские дни с особой нежностью обращаюсь к тебе, ищу созвучия душ наших... С горячей лаской обнимаю тебя, поздравляя и с днем Святой твоей, и с Праздником Великим... Ты, знаю, давно с нетерпением и тревогой ждешь вестей, и я очень виновата... обещала по возвращении из Рима тотчас же написать, а вот только теперь исполняю обещание и желание свое... Начну с Италии... На этот раз видела ее в необычном одеянии фашизма... Увы! наряд этот так не идет ей... Мы приехали в разгар фашистских празднеств и были оглушены шумом, суетой... Если ты бывала на карнавалах, то нечто подобное, но в военном стиле происходило на тихих улицах Флоренции, на строгих площадях Рима... Тот Рим, кот<орый> мы так любим, на время как бы отошел в сторону, брезгливо сторонясь чуждого ему духа... И я с жадностью искала его там, ведь он вечен. Но признаюсь, так мешала эта атмосфера, что, как дурной запах, всюду проникала, все отравляла... Были сильные впечатления от службы на гробнице Св. Петра, от посещений мощей Св. Магдалены де Пацци (мощи видела я впервые в жизни), от службы монахинь «Adoratrices du St. Sacrement»*. Часто видела о. Владимира и нашла его очень просветленным, светящимся изнутри. Пребывание в Риме уводит его все более и более на Восток, и в беседах с Ни он более был с ним, чем со мной... Нет во мне духа восточного... Все более и более чувствую себя и вне Востока, и вне Запада, в какой-то полноте Христовой, ибо в Нем — Запад, Восток, Север и Юг... Понятно ли тебе и близко ли? Итоги Рима и Италии — жажда уйти в тишину, в себя, в свое... И потому возвращение в бедный, голодный Берлин не было трудным, а скорее манило. Там кроме общего шума было много людей, обедов, вечеров. Итальянцы так мило, по-детски ласково и просто принимали, угощали, слушали... Чувствовали мы, что есть у нас друзья, что это не официально, а подлинно. Но знаешь: отвыкла я от жизни легкой, опьяненной солнцем, цветами. Годы страданий приучили или скорее научили сверху вниз смотреть на праздники жизни. Здесь, в Берлине, чувствую себя дома, потому что и здесь жизнь — не праздник. Сейчас Берлин завален снегом... Ездят на санях, звенят бубенчики, и так чудится Россия, которой нет.

А вокруг меня много русских больных, измученных душ... И так радостно мне чувствовать в себе возрастающую любовь к душам этим, огненное желание дать им все, что могу, от духа своего. За последнее время встречи все учащаются, и порой устаю от несения в себе другого (ведь души носишь в себе, если отдаешься им). Но это хорошо, это возрастание в любви, это дает такой радостный свет и покой! Друг дорогой! Я до сих пор не сказала тебе о двух важных вещах из писем твоих. Первое — это о Богоматери. Ты скорбишь об умалении чувства к Ней, о некоем оскудении почитания Ея. Я много думала об этом и вот что хочу сказать. Чем выше в горы, тем воздух суше и холоднее. Так и в жизни духовной... Бояться этого не нужно. Таков путь наш. От чувственного к сверхчувственному, от души — к духу. Так сама Мать ведет нас к Сыну... А второе, что мучит тебя (ты знаешь, что именно), — это тот Крест, кот<орый> ниспослан тебе, это подвиг твой, искупающий все прошлое твое,

* «Почитатели святых Таинств» (франц.).

Будь это с любовью в тебе — не было бы и подвига, а нести его без любви к тому, <кто> с ним связан, — это и есть подвиг Креста твоего. Так внутренне открывается мне он. Не знаю, как ты примешь, как отзовешься на это? Как много еще могла бы сказать, но вот уж 11 ч., пора кончать. Горячо обнимаю тебя, родная. Нежный привет тебе от всех наших. Передай от меня всем твоим поздравления. Аде напишу скоро. Где Валерия²⁷? Как ее глаза? Остаешься ли в Крыму? Или где будете? У нас все благополучно. Квартира хорошая, уютная. У меня своя комната, диван, где ты могла бы так вкусно лежать под шубой и без конца беседовать со мной... Увы! А вдруг это сбудется. Вот чего желаю и требую у Нового года! Пока же поручаю тебя Пресвятой Матери нашей и всегда молитвенно с тобой. Твоя Лидия. Пишешь ли? И что? Что читаешь? Получила ли мои открытки из Италии?

V

<1924. Париж.>

Наконец-то весть от тебя, дорогой, любимый друг мой! Ты укоряешь меня в молчании, но пойми же, что все эти месяцы я не знала, где ты, куда писать? То письмо твое, где ты пишешь, что в Москву не едешь, — не дошло. И вот я уверена была, что тебя в Судаче нет, а куда писать в Москву, не знала. Адрес на Мерзляковском²⁸ забыла. И вот ждала и ждала, теряясь в догадках... За это время новая перемена в странническом житии нашем. Мы — во Франции!²⁹ Переезд готовился всю зиму, но до последней недели не знали, едем ли. Жаль покидать Берлин, где за последнее время образовались дружеские связи, общение, хорошая духовная атмосфера вокруг нас. Но... видно, не суждено нам «оседать»... И вот — Париж! Встретил он нас жарой, гулом, ревом автомобилей (извозчиков с изящными каретами уже нет, увы!), смрадом... После провинциального, чистого и тихого Берлина показался Вавилоном... Мы не выдержали и сбежали, воспользовавшись приглашением знакомой семьи, на виллу под Париж, где и жили почти 1,5 мес... К морю, т. е. к океану, увы! поехать не удалось — все было переполнено и дорого... После опыта жизни в Париже решили поселиться в предместьи. Нам повезло: нашли очень уютную виллу в 4 к<омнаты> с садом в Clamart. Сообщение очень удобное. От нас до центра Парижа на трамвае или по ж. д. всего 0,5 часа. Чудный воздух, тишина, дом тонет в зелени. Пока еще жизнь не вошла в обычную колею. Париж пуст... Сезон начнется лишь в конце октября. С лекциями, собраниями, встречами... Здесь же в Clamart'е живут кое-какие знакомые и есть даже церковь домовая православная... Маме будет здесь очень хорошо! При доме есть даже сад фруктовый и огородик, где она может копаться. Вот тебе, дружок мой, внешняя сторона жизни нашей. Внутренняя же моя идет по линии все большего углубления и вместе с тем большей простоты. Последний месяц, живя в деревне, провела очень созерцательно. Много читала по мистике... Здесь в этом отношении такое богатство! Глаза разбегаются, не знаешь, что брать... Что касается духовного общения, то пока я здесь в полном одиночестве. В Париже есть приход русских католиков, но я еще не успела завязать с ним отношений. Хожу в старинную церковь здесь XII века и в католический женский монастырь, где так хорошо, так светло! О бывшем моем приходе ничего не знаю. Если что знаешь — напиши. О тебе так часто задумываюсь. Так часто бываю около тебя и ежедневно молюсь о тебе и твоих. Так обрадована тем, что ты сейчас поправилась, бодра духом и телом. Какая ты у меня умница, какой молодец! Я всегда верила в силу духа твоего, но эти годы все же были слишком суровыми и могли сломить даже сильных... Как бы хотела побыть с тобой, поговорить. Помнишь? Так, как в лесу барвихинском?³⁰ О внутренних событиях писать так трудно или не умею... Но так жадно хочу узнать о тебе, о пути твоём. Куда идешь? Что видишь вдаль? Или стоишь и ждешь знака? О! Эти бесконечные пространства, отделяющие нас теперь! Иногда с такой болью

ощущаешь их! Кто тебе близок теперь, есть ли души живые, любимые? Как хорошо, что Адя с тобой! Скажи ей, что я, как и прежде, люблю ее и очень виню себя, что до сих пор молчала. Следующее письмо будет ей. Любе скажи, что я передала ее записку Марии Моисеевне и она обещала писать ей, но не знаю: писала ли? Адрес ее такой: Weestfalischestrasse 82, Berlin. Она бывала у нас, и мы хорошо говорили... Она такая же сильная, ясная... но я сравнила бы ее с озером, куда смотришь и не видишь дна, а лишь отражения... Отчего ни слова не написала о Валерии? Где она? Что с ней? Я так хочу все знать о ней! Не забудь, родная, в след<ующий> раз. Горячо тебя обнимаю, крещу с молитвой... Да хранит тебя Пресвятая Мать наша под белым покровом Своим. Всегда твоя. Лидия. Всех твоих целуем все.

VI

2 января 1925/20 декабря 1924.

Любимый, дорогой друг — сестра! Не удивляйся, если письмо это получишь позже Праздников. Мы до сих пор были уверены, что у вас по-старому все идет, и только сегодня из газет узнали, что праздники были по новому стилю³¹. Вот почему все наши поздравления на родину придут так не вовремя. А здешняя православная церковь живет по старому стилю. Ничего не разберешь! Это — предисловие, а теперь дай обнять тебя с нежностью тем большей, чем дальше ты от меня. Дай посмотреть в глаза и увидеть в них то, что мне так дорого в тебе, — духовное горение твое, вечную неутоленность духа твоего. Из письма твоего последнего слышу, как жаждет он выси горней, с какой тоской припадает к долу... Но, родной мой, таков путь восхождения: шаг вперед искупается мукой недвижности, пустынности. О, как стыдно мне сейчас перед тобой! Я только что вернулась из церкви (Vèrges³²). Ты знаешь: от *счастья, переполнявшего всю меня*, я не могла молиться! Но если б ты знала, какой ценой куплено это счастье! Два месяца муки. Родная, будь ты здесь — ты знала бы все. Ты единственная, которой могла бы я сказать все до конца. И это потому, что ты бы все поняла так, как понимаю и я. Верю, что раньше или позже — узнаешь. Верю в нашу встречу несмотря ни на что. А пока знай только, что Лидия твоя не знает, как и чем возблагодарить Бога и Пречистую Мать Его за безмерную милость, ниспосланную ей на пути ея...

Как много нужно сказать! Ты любишь детали... Ну вот... Представь себе: живем мы в небольшой уютной вилле, довольно уединенно. Пока еще бывают лишь поодиночке, по два, по три... Но с будущей недели хотим собирать для бесед (вроде московских)³³. Конечно, не больше 10 человек, т. к. квартира не московская... Я веду жизнь полумонашескую. В Церкви почти каждый день, частое причастье, исповедь. Бог послал мне здесь духовника, кот<орый> дает мне очень много, ведет дальше. Это — польский священник — мистик, философ, работающий в Nationale Bibliothéque над философ<ской> книгой. Он говорит по-русски. Я узнала его благодаря жене покойного Leon Vloy³⁴. Она — его духовная дочь. С ней мы дружны; она — большое, мудрое дитя... О. Августин³⁵ — весь горение... Соединение силы с тонкостью и нежностью души. Эти два человека много дают мне. Есть еще новые связи, но тем даю больше я, я для них — духовное питание. Недавно был здесь проездом из Англии о. Сергей³⁶... Он показался мне каким-то напряженным и духовно скованным. Это впечатление и других. Мне с ним душно было. Ожидала другого. Что читаю? Все эти месяцы жила с Leon Vloy. Теперь почти все перечитала и взялась за Ruysbrock'a³⁷. Но о. Августин находит большие пробелы в моем литургическом образовании. Дает мне в этой области много интересного... От о. Владимира получаю вести. Ждала его приезда к Празднику, но, видимо, он не придет. Судьба моих сестер меня не тревожит³⁸; они жаждали подвига и удостоились его. Им можно лишь завидовать. Говорю это, т. к. знаю, как они принимают

крест царственного пути своего. Родной мой! Как ты недостаешь мне! Как нужна мне особенно теперь нежная, чуткая, трепетная душа твоя! Как мучит меня твое одиночество, твоя оторванность от всего самого дорогого тебе! Но верь, только страданием восходим мы к блаженству. Эти два года пустынножитничества моего в Берлине выстрадали мне то, от чего теперь так безмерно счастлива я!.. Поручаю тебя Пречистой Матери нашей, Покрову Ея белому. Она — путь наш к Нему, к Небу, к блаженству запредельному. Горячо, нежно, любовно обнимаю, крещу. Твоя здесь и там Лидия. От всех моих всем твоим сердечный привет и поздравления. Журналы пришлем непременно. О. Сергей восхвалял Адю. Я ей напишу. Одно из писем моих, очевидно, пропало.

VII

24 июля <1925.>³⁹

Друг любимый, в эти дни скорби твоей так близка ты мне, так хотела бы окружить тебя лаской и заботой! Не верю в пространство, не верю во время, разделяющие нас. Знаю, что все это химера греховная. Но пока мы *здесь*, химера эта — тяжка. Наша Адя уже не знает ее. Она, легкая и светлая, издалека видит нас, хочет сказать многое, многое нам недоступное и непонятное, но химера отделяет и ее от нас, и лишь молитвы наши и ея сливают нас, уничтожая все преграды... Вот что хочу сказать прежде всего. А теперь буду просить тебя, родная, когда сможешь, скажи мне все о последних днях нашей Ади... Последние строки ея ко мне звучали такой лаской, и мне так больно, что не успела ответить на слова ея. Утешаю себя тем, что она и без слов моих знала, как мы близки несмотря на все годы разлуки... Я молюсь о ней всегда и всегда молилась — вот эта связь, и она чувствовала ее, как чувствуешь, знаю, и ты и все, о ком молитва моя ежедневная... Я пишу тебе с берегов океана, куда приехала на неделю раньше, чем Ни и сестра. Здесь будем август и 1/2 сентября. Не писала тебе так давно, т. к. не знала, где ты, и была уверена, что письмо до тебя не дойдет... Как хорошо, что Адя ушла из своего дома, а не из чужого Симферополя...⁴⁰ Но для тебя какая пустота будет в этом ея доме!.. Я знаю твое отношение к смерти, твое радостное приятие тайны ея, но разлука ранит больно, больно, дитя мое, и потому в эти дни я так хотела бы не отходить от тебя... Вот что: ежедневно в 12 ч. я читаю *Angelus*⁴¹. Читай вместе со мной, и мы будем в минуты эти вместе, мы сольемся в молитве. Посылаю тебе... Здесь мне хорошо. Церковь старая и великий океан, тишина и уединение... Господь слишком милостив ко мне. Дает мне так незаслуженно много! Эта зима была для меня одним из этапов духовных пути моего... Но об этом писать, друг любимый, — слов нет. Скажу одно: все больше и больше чувствую Руку, ведущую меня куда и как нужно... Да будет Воля Твоя! С бесконечной нежностью обнимаю тебя, сестра и друг любимый! Да хранит тебя Св. Сердце, раненное любовью. Твоя Лидия. Привет всем твоим. Ни писал тебе на днях большое письмо, но боюсь, что оно не дойдет. Он не знал о перемене тарифа на марки и мало наклеил. Знай, что он писал много, и очень жаль, если не получишь.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Зимой 1914 — 1915 годов Бердяевы жили в Москве, в квартире у Герцыков, по адресу: Кречетниковский пер., 13.

² Книга Шмидт... — Шмидт А. И. (1851 — 1905) — журналистка, автор религиозно-мистических сочинений. Возможно, речь идет о книге «Из рукописей Шмидт. С приложением писем к ней Вл. Соловьева» (М., «Биржевые новости», 1916).

³ Ни — домашнее имя Н. А. Бердяева.

⁴ Св. Тереза — Тереса де Хесус (1515 — 1582), монахиня, известная испанская мистическая писательница.

⁵ Ж е н я... — Имеется в виду Евгения Юдифовна Рапп (урожд. Трушева; 1875 — 1960), сестра Бердяевой, жила с семьей Бердяевых с 1914 года. По завещанию Н. А. Бердяева передала его архив в Москву, в РГАЛИ.

⁶ Идея объединения Католической и Православной Церквей прозвучала в журнале русских католиков «Слово истины» в 1913 году. Разразился скандал. Но после Февральской революции в мае 1917 года состоялся Первый Русский Католический Собор, где были приняты постановления, определившие каноническую структуру российской Греко-Католической Церкви. Патриарх Тихон публично объявил о своем сочувствии идее примирения Православной и Католической Церквей и благословил проведение открытых собраний с чтением лекций и дискуссиями на эту тему. В Москве до 1922 года проходили регулярные собрания, в которых принимали участие священнослужители католики и православные, а также ведущая столичная профессура.

⁷ Отец Влад. Абрикосов — Владимир Владимирович Абрикосов (1880 — 1966), пастор Русской Католической Церкви восточного обряда. В 1908 году перешел в католическую веру, в 1913-м принял монашеский постриг. В сентябре 1922 года был арестован и приговорен к «высшей мере». Однако этот приговор был заменен «бессрочной высылкой за границу». Жил в Италии, Ватиканом был назначен прокуратором экзарха.

⁸ ...доминиканский орден восточного обряда. — Главным условием Ватикана для Русской Католической Церкви восточного обряда стало требование «строго следовать и не нарушать законов греко-славянского обряда, не допускать никакого смешения с латинским или каким-нибудь другим обрядом». «Становясь христианами-католиками, мы остаемся православными как в литургической жизни, так и в миру: мы соединяем православие и католицизм», — говорил экзарх русских католиков о. Л. Федоров. Сестры-доминиканки могут жить в миру, соблюдая по возможности праведную жизнь, регулируемую определенным уставом, заимствованным у францисканцев.

С дореволюционных времен в Москве, в доме о. В. Абрикосова, действовала доминиканская община сестер-монахинь, после 1918 года начала создаваться доминиканская община братьев-монахов.

⁹ ...е го ж е н о й... — Отец Владимир с 1903 года был женат на своей двоюродной сестре Анне Ивановне Абрикосовой (1882 — 1936). А. И. Абрикосова училась в Кембридже, в Англии приняла католичество, в Ватикане вступила в 3-й Орден св. Доминика с именем Екатерины Сиенской. Добровольно оставшись в СССР, дважды была арестована: в 1923 и 1933 годах. Наказание отбывала в Екатеринбургском, Тобольском и Ярославском изоляторах. Умерла в больнице Бутырской тюрьмы 23 июля 1936 года.

¹⁰ Ку з ь м и н-К а р а в а е в Дмитрий Владимирович (1886 — 1959) — юрист по образованию, первый муж поэтессы Е. Ю. Кузьминой-Караваевой (урожд. Пиленко, в монашестве — мать Мария). В эмиграции стал католическим священником. См. о нем: «Литературное наследство». Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 3. М., «Наука», 1982.

¹¹ Г р и н е в и ч В е р а С т е п а н о в н а (урожд. Романовская) — подруга сестер Герцук, библиограф, занималась вопросами педагогики. Эмигрировала в конце 1921 года — сперва в Софию, затем в Париж. Сотрудничала в журнале «Путь». Выдержки из писем Е. К. Герцук к В. С. Гриневиц публиковались в «Современных записках» в 1936 — 1938 годах. Вокруг этих публикаций в эмигрантских кругах развернулась широкая дискуссия. Для конспирации корреспондент из СССР был назван «госпожой Х», и лишь в книге Бердяева «Самопознание», вышедшей в 1948 году, когда уже не было в живых ни Евгении Казимировны, ни Лидии Юдифовны, ни Веры Степановны, упомянуто, кто является автором «Писем оттуда».

¹² А д я — Аделаида Казимировна Жуковская (урожд. Герцук; 1874 — 1925), сестра Е. К. Герцук, поэтесса.

¹³ М а м а — Ирина Васильевна Трушева (ок. 1849 — 1939), мать Бердяевой и Е. Ю. Рапп.

¹⁴ Ш у р а — видимо, родственник Бердяевых.

¹⁵ После высылки из СССР семья Бердяевых первое время поселилась в Берлине, где Н. А. Бердяев принимал активное участие в издательской деятельности русских эмигрантов.

¹⁶ Видимо, это ответ на письмо Е. К. Герцук, которое сохранилось в архиве Бердяева в РГАЛИ, ф. 1496, оп. 1, ед. хр. 422. Е. К. Герцук пишет: «То письмо, дорогая, я получила вместе с двумя другими, когда шла, влекомая Вероникой, на холмы наши пустынные, где толпа девочек вела хоровод и пела какие-то старинные песни про „царев-

ну»: солнце огромное, вечернее висело над лазоревым морем, и этот хоровод — что-то было в этом эллинское, точно языческая весна земли была передо мною. А в письмах, которые я читала, во всех чувствовался христианский конец земли, и так радостно навстречу ему устремилась душа, не отвергая языческого начала своего, но как бы в исходный свой час вспоминая его как дальний сон. Это чувство крепко держится во мне. В новогоднюю ночь, открыв Евангелие, я прочла слова ап. Петра о том, что первый мир был создан водою и водою погиб, наш же уготовлен огню и кончится огнем, — в этих словах тоже говорится о двух природах мира. Для меня всегда большое значение имеют слова Евангельские, прочитанные в эту ночь: в эти страшные годы я вычитывала и предсказания и повеления себе. Так теперь и буду жить этот год и работать под знаком этих слов. Впервые в этом году, вслушиваясь в рождественскую службу, я услышала в ней мотив скорби, который я не подозревала раньше в этом считающемся радостным и светлым празднике, — скорби вочеловечивания Христа, — отсюда и печальный, минорный характер некоторых напевов Рождества. Мне кажется, что меня сейчас приближает к католичеству обострение во мне этого чувства конца, кот<орое> само как-то ближе приближает к сердцу печаль земной жизни Христа. В православии я больше чувствую его в вечности, в славе. Ах, родная, как тяжело быть лишенной возможности говорить, встречаться с близкими — и при этом письма, кот<орые> идут долго, без конца, да и доходят ли?»

¹⁷ Ш а й к е в и ч — личность не установлена.

¹⁸ М а р и я М о и с е е в н а — личность не установлена.

¹⁹ В е р о н и к а — Вероника Владимировна Герцык (1916 — 1976), племянница, дочь брата Е. К. Герцык.

²⁰ З а й ц е в ы — семья писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881 — 1972).

²¹ М у р а т о в ы — семья Павла Павловича Муратова (1881 — 1950), писателя и искусствоведа, с которым Е. К. Герцык была хорошо знакома. О нем см.: З а й ц е в Б. П. П. Муратов. — «Русская мысль», 1951, № 307, 3 января; З а й ц е в Б. Дни. Москва — Париж, 1995, стр. 172 — 180.

²² Л ю б а — Любовь Александровна Герцык (урожд. Жуковская; 1890 — 1943), жена брата Е. К. Герцык, тяжело болевшая более двадцати лет, уходу за которой посвятила свою жизнь Е. К. Герцык.

²³ Поездка в Италию группы русских писателей состоялась по приглашению Института Восточной Европы, организованному профессором Ло Гатто, осенью 1923 года. «В 23-м году П. П. <Муратов> устроил через Lo Gatto серию чтений в Риме, где и сам выступал, и я, и Бердяев, Осоргин, Вышеславцев» (З а й ц е в Б. Дни, стр. 177 — 178).

²⁴ Е. К. Герцык встречалась в Риме с Бердяевыми зимой 1912 года (см. об этом: Е. Герцык, «Воспоминания»).

²⁵ «София». Кн. 1. Берлин, 1923. Вышла единственная книга альманаха.

²⁶ В а д и м — Вадим Павлович Гриневиц, сын В. С. Гриневиц. Его письма к Н. А. Бердяеву находятся в архиве Бердяева (РГАЛИ, фонд 1496, оп. 1, № 439).

²⁷ В а л е р и я — Валерия Дмитриевна Жуковская (урожд. Богданович; 1860 — 1937), мать Л. А. Герцык, вступившая в католическую общину вместе с Бердяевой.

²⁸ В Москве по адресу: Мерзляковский пер., д. 16, кв. 29, жила В. Д. Жуковская вместе с другой своей дочерью. Е. К. Герцык иногда пользовалась этим адресом для получения корреспонденции из-за границы.

²⁹ Бердяевы переехали во Францию летом 1924 года, поселившись в пригороде Парижа Клараре.

³⁰ Последнее лето в России Бердяевы провели на даче в Барвихе, где у них гостила Е. К. Герцык и где было получено известие о высылке (см.: Е. Герцык, «Воспоминания»).

³¹ В 1924 году на новый стиль перешла Константинопольская Патриаршая Церковь. Бердяева ошибочно полагала, что этому последовала и Русская Православная Церковь.

³² Vêpres — католическая служба.

³³ По субботам в доме Бердяевых в Клараре проходили интерконфессиональные собрания, а по воскресеньям с 1928 года — традиционные чаепития, как некогда в Москве и Берлине (см.: «Дневники Л. Ю. Бердяевой». — «Знамя», 1995, № 10, стр. 140 — 167).

³⁴ L e o n B l o u — Леон Блуа (наст. имя Мари Жозеф Каэн Маршнуар; 1846 — 1917), французский писатель, критик, теоретик символизма и неоромантизма.

³⁵ О. Августин Якубисик (1884 — 1945) — польский философ. С 1920 года жил во Франции. Католический священник в церкви Сен-Медар в Париже, духовник Бердяевой. Сотрудничал в журнале «Путь».

³⁶ О. Сергий — Сергей Николаевич Булгаков (1871 — 1944), русский философ.

³⁷ Ruysbroek — Рейсбрук Ян ван (1293 — 1381), фламандский писатель и теолог. Основные сочинения — трактаты «Красота духовного брака» и «Зеркало вечного блаженства» (1359) — отмечены чертами пантеизма.

³⁸ Речь идет о судьбах монахинь из католической общины в Москве. С 12 по 16 ноября 1923 года в Москве была арестована группа русских католиков: три священнослужителя и десять сестер-монахинь; в марте 1924 года — еще тринадцать сестер. В мае 1924 года А. И. Абрикосова приговорена к 10-ти годам тюремного заключения, остальные — на ссылку от 3-х до 5-ти лет. Общее настроение соединенных перед этапом в пересыльной камере сестер передают слова А. И. Абрикосовой, записанные одной из них: «Вероятно, каждая из вас, возлюбив Господа и следуя за Ним, не раз в душе просила Христа дать ей возможность соучаствовать в Его страданиях. Так вот, этот момент теперь наступил. Теперь осуществляется ваше желание страдать ради Него» (О с и п о в а И. И. «В язвах своих сокрой меня...». Гонения на Католическую Церковь в СССР. По материалам следственных и лагерных дел. М., 1996).

³⁹ Письмо написано на известие о смерти А. К. Жуковской-Герцык, умершей в Судак в июне 1925 года.

⁴⁰ Последние годы А. К. Жуковская-Герцык жила в Симферополе, приезжая на лето в Судак к родным.

⁴¹ Angelus — католическая молитва, которая повторяется три раза в день.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



ИВАН ШМЕЛЁВ И ЕГО «СОЛНЦЕ МЁРТВЫХ»

Из «Литературной коллекции»

Иа жизни Ивана Сергеевича Шмелёва, как и многих общественных и культурных деятелей России ещё дореволюционного, а потом и послереволюционного времени, мы можем видеть этот неотвратимый поворот мировоззрения от «освобожденческой» идеологии 1900-х — 10-х годов — к опоминанию, к умеренности, у кого к поправению, а у кого — как у Шмелёва — углублённый возврат к русским традициям и православию. Вот

«**ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА**» (1911). Шмелёв исправно выдерживает «освобожденческую» тему (тут и разоблачительные фамилии — Глотанов, Барыгин) — и в течение повести уклоняется не раз к этой теме от ресторанной, такой плотно-яркой у него. (Концом повести вернулся.) А именно мещанско-официантское восприятие, ресторанный обиход — они-то и удались, они-то и центр повести.

В этом истинно мещанском языке, почти без простонародных корней и оборотов с одной стороны и без литературности с другой, — главная удача автора, и не знаю: давал ли такое кто до него? (Пожалуй — сквозинки таких интонаций у Достоевского.)

- Покоритесь на мою к вам любовь;
- желаю тебя домогаться;
- вместо утешения я получил ропот;
- в вас во-первых спирт, а во-вторых необразование;
- если хорошенькая и в нарядах, то такое раздражение может сделать;
- человек должен стремиться или на всё без внимания?
- для пользы отечества всякий должен иметь обзаведение;
- возвращаются из тёплого климата и обращаются к жизни напоказ;
- очень, очень грустно по человечеству;
- посторонние интересы, что Кривой повесился;
- почему вы так выражаете про мёртвое тело?
- хорошо знаем взгляды разбирать и следить даже за бровью;
- по моему образованному чувству;
- даже не за полтинник, а из высших соображений;
- если подаю спичку, так по уставу службы, а не сверх комплекта;
- теперь время серьёзное, мне и без политики тошно;
- для обращения внимания.

Но в этом же языке, при незаметном малом сдвиге привычного сочетания слов мы встречаем:

- так необходимо по устройству жизни;
- помогает обороту жизни;

— от них пользуется в разных отношениях, — (нет ли здесь уже корней платоновского синтаксиса? Он ведь не на пустом месте вырос).

А иногда в мещанском этом языке просверкнёт и подлинно народное:

— на разжиг пошло;	— шустротá;
— мне Господь за это причтёт;	— с примостью;
— не на лбу гвозди гнуть;	— срýбу (наречие).

И каково общее рассуждение о повадках и обхождении лакея! (гл. XI)

И — плотный быт ресторанный, и названия изощрённых блюд — верен быту, не соврёт. Хватка у него — большого писателя.

Впрочем и тут к освобожденчеству уже не без лёгкой насмешки: «Как много оказалось людей за народ и даже со средствами! Ах, как говорили! Обносишь их блюдами и слушаешь! А как к шампанскому дело, очень сердечно отзывались». Или: «Одна так-то всё про то, как в подвалах обитают, и жалилась, что надо прекратить, а сама-то рябчика в белом вине так и лущит, так это ножичком-то по рябчику как на скрипочке играет».

Задумывается и вглубь: «Так поспешно и бойко стало в жизни, что нет и времени понять как следует». По этой линии Шмелёву ещё много предстоит в будущем.

«РОССТАНИ» (1913). А вот это — уже проступает будущий сложившийся Шмелёв: величественно-медленный ход старика к смерти, без метаний, без терзаний, лишь с тоскою. И всё описано — с готовностью, покорностью и даже *вкусом* к смерти, очень православно. Весь дух повести — приятен. (Хотя она явно перезатянута.)

Эти травяные улицы, по которым почти не ездят. «Куковала кукушка чистым, точно омытым в дожде голоском». Ветхие деревья, похожие на стариков. Вот утренний рёв коров — может быть последние голоса, которые Данила Степаныч слышит. «Оставил он в прошлом все отличавшие его от прочих людей черты, оставил временное, и теперь близкое вечному начинало проступать в нём».

Ясные воспоминания его и жены Арины об их ранних годах.

Яркий быт — последних именин.

При смерти — звенящая под потолком оса. Кланяется умирающему Медвежий Враг (урочище) — и умирающий кланяется ему.

Арина вспоминает примету смерти: «Подошла как-то под окошко старуха, просила милостыньку, а когда подала Арина в окно, никто не принял. Смерть то и приходила». Мистика по-народному.

И панихида — в плотном быте. (Старики думают: чей теперь черёд?) И погребальное шествие: «Когда вступили в еловый лесок... казалось, поют как в пустой церкви... А когда пошёл березняк, стало весело... И было похоже в солнечной роще, что это не последние проводы, а праздничный гомон деревенского крестного хода». Как хорошо.

На том бы — и кончить. Но Шмелёв даёт ещё «шумные поминки, похожие на именины» (тоже, конечно, — необходимая правда русской жизни). И ещё, ещё главы — а не надо бы.

В языке:

— на припóр;	— выпот тела;	— смертная рубаха;
— ворохнjá;	— мурластый;	— тяжёлая ступь.

«Спорила в его бороде зола с угольком» (прелесть).

«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» (1918, Алушта). Рассказ — сборный и во многом традиционный, сюжеты такие уже читаны.

Современное вступление — и юмористическое, и лирическое, и интригующее. (Тут и 1905: «парни выкинули из гробов кости», барские.)

История о помещиках — правдива, конечно, но — в «социально-прогрессивном» духе. И в диссонанс с тем — увлечение монастырём, божественностью, иконописью.

из камня. И ничего другого — не надо, другого — и не спросишь с автора: вот такое оно и есть.

Однако некоторые места разговоров, особенно монологи доктора — с прямо-таки откровенным, непреодолимым заимствованием у Достоевского, это — зря, жаль. А такого немало.

Во второй половине строгость ужасного повествования, увы, сбивается, снижается декламацией, хоть и верной по своей разоблачительности. Разводнение риторикой — не к выигрышу для вещи. (Хотя — так естественно, что автор озлобился на равнодушных, сытых, благополучных западных *союзников*. «Вздохи тех, что и тебя когда-то спасали, прозрачная башня Эйфеля». И с какою горечью об интеллигенции!) К концу нарастает и число возвышенных отступлений, это — не украшает, размягчает каменность общего изваяния.

Сам повествователь поразительный идеалист: содержит индюшку с курами безо всякой выгоды, только к ущербу для себя (куры-собеседницы); часто делится последним с голодающими. — «Я больше не хожу по дорогам, не разговариваю ни с кем. Жизнь сгорела... Смотрю в глаза животных»; «немые коровьи слёзы». — И отчётливо пробуждение в нём веры.

Всё это — он ненавязчиво даёт и сильно располагает к себе. И заклинание уверенное: «Время придёт — прочтётся».

Но вот странно: по всему повествованию автор живёт и действует в одиночку, один. А несколько раз заветно прорывается: «мы», «наш дом». Так он — с женой? Или так хранится память о его сыне, расстрелянном красными, ни разу им не упоминаемом (тоже загадка!), но будто — душевно сохраняемом рядом?..

Тревожный тон поддерживается и необычными снами, с первой же страницы.

Начатая тоном отречённости от жизни и всего дорогого, повесть и вся прокатывается в пронзительной безысходности: «Календаря — не надо, бессрочнику — всё едино. Хуже, чем Робинзону: не будет точки на горизонте, и не ждать...»

— Ни о чём нельзя думать, не надо думать! Жадно смотри на солнце, пока глаза не стали оловянной ложкой.

— Солнце и в мёртвых глазах смеется.

— Теперь в земле лучше, чем на земле.

— Я хочу оборвать последнее, что меня вяжет с жизнью, — слова людские.

— Теперь на всём лежит печать ух о да. И — не страшно.

— Как после такой помойки — поверишь, что там есть что-то?

— Какой же погост огромный! и сколько солнца!

— Но теперь нет души, и нет ничего святого. Содраны с человеческих душ покровы. Сорваны-пропиты кресты нательные. Последние слова-ласки втопаны сапогами в ночную грязь.

— Боятся говорить. И думать скоро будут бояться.

— Останутся только дикие, — сумеют урвать последнее.

— Ужас в том, что о н и т о никакого ужаса не ощущают.

— Было ли Рождество? Не может быть Рождества. Кто может теперь родиться?!

— Говорить не о чем, мы знаем всё.

— Да будет каменное молчание! Вот уж идёт оно.

Приметы того времени:

Всеобщее озлобление голода, жизнь сведена к первобытности. «Рёвы звериной жизни». «Горсть пшеницы стоила дороже человека», «могут и убить, теперь всё можно». «Из человеческих костей наварят клею, из крови настряпают кубиков для бульона». На дороге убивают одиноких прохожих. Вся местность обезлюдела, нет явного движения. Люди затаились, живут — не дышат. Всё прежнее изобилие Крыма — «съедено, выпито, выбито, иссякло». Страх, что

придут и последнее отымут воры, или из Особотдела; «мука рассована по щелям», ночью придут грабить. Татарский двор, 17 раз перекопанный в ночных набегах. Ловят кошек в западни, животных постигает ужас. Дети гложут копыта давно павшей лошади. Разбирают покинутые хозяевами дома, из парусины дачных стульев шьют штаны. Какие-то ходят ночами грабить: рожи намазаны сажей. Обувь из верёвочного половика, прохваченного проволокой, а подошвы из кровельного железа. Гроб берут напрокат: прокатиться до кладбища, потом выпрастывают. В Бахчисарае татарин жену посолил и съел. В листки Евангелия заворачивают камсу. Какие теперь и откуда письма?.. В больницу? со своими харчами и со своими лекарствами. Горький кислый виноградный жмых, тронут грибком бродильным, продают на базаре в виде хлеба. «С голоду ручнеют, теперь это всякий знает».

«А в городишке — витрины побитые, заколоченные. На них линючие клочья приказов трещат в ветре: расстрел... расстрел... без суда, на месте, под страхом трибунала!..»

Дом церковный с подвалом пустили под Особотдел.

Как гибли лошади добровольцев, ушедших за море в ноябре 1920.

Один за другим, как на предсмертный показ, проплывают отдельные люди, часто даже друг с другом никак не соотносясь, не пересекаясь, все обдиночели.

Старая барыня, продающая последние вещи прошлого ради внуков-малолеток. И — няня при ней, которая сперва поверила, что «всё раздадут трудящим» и будут все жить как господа. «Все будем сидеть на пятом этаже и розы нюхать».

Старый доктор: как его грабят все, даже съёмную челюсть украли при обыске, золотая пластинка на ней была. Кого лечил, отравили ему воду в бассейне. Сгорел в самодельной избушке.

Генерал Синявин, известный крымский садовод. Матросы из издёвки срубили его любимое дерево, потом и самого застрелили. И китайских гусей на штыках жарили.

Чудесный образ «культурного почтальона» Дрозда, оставшегося и без дела, и без смысла жизни. Обманутая вера в цивилизацию и «Лойд-Жоржа».

И поразительнейший Иван Михайлович, историк (золотая медаль Академии наук за труд о Ломоносове), попавший с Дроздом в первые большевицкие аресты, там показал своё «вологоство»: чуть не задушил конвоира — вологодца же; а тот, на радостях, отпустил земляка. Теперь Ивану Михайловичу как учёному паёк: фунт хлеба в месяц. Побирается на базаре, глаза гноятся. Ходил с миской клянить на советскую кухню — и кухарки убили его черпаками. Лежит в чесучёвом форменном сюртуке с генеральскими погонами; сдерут сюртук перед тем, как в яму...

Дядя Андрей с революцией занёсся, приехал из-под Севастополя верхом. А тут у него корову матрос увёл. И сам он лукаво уводит козла у соседки, обрекает её мальцов на гибель, и отнекивается: не он. Та его проклинает — и по проклятью сбывается: коммунисты, уже за другое воровство, отбивают ему все внутренности.

И типы из простонародья:

Фёдор Лягун служит и красным и белым; при красных отнял у профессора корову, при белых вернул. «Кого хочу, могу подвести под мушку... Я так могу на митинге сказать... все трепещут от ужаса».

Безымянный старый казак — всё донашивал свою военную шинель, за неё и расстреляли.

Коряк-драгаль, всё надеялся на будущие дворцы. Избивает до смерти соседа, подозревая, что тот зарезал его корову.

Солдат германской войны, тяжкий плен и побег. Чуть не расстрелян белыми. Остался под красными — так и расстрелян, с другими молодыми.

Старый жестянщик Кулеш, лучшего жестянщика не знал Южный Берег. Раньше и в Ливадии работал, и у великого князя Николая Николаевича. Долго честно менял печки на пшеницу, картошку. Таскался из последних сил, шатаясь. «Жалуйся на их, на куманистов! Волку жалуйся, некому теперь больше. Чуть слово какое — подвал! В морду ливанвером». А верил им, простак... И вот — помер с голоду.

Ещё простак — обманутый новой властью рыбак Пашка. «Нет самого главного стажа — не пролил родной крови. Придёт артель рыбацья с моря — девять десятых улова забирают. Коммуна называется. Вы весь город должны кормить». Автор ему: «Поманили вас на грабёж, а вы предали своих братьев».

Оборотистый хохол Максим, без жалости к умирающим, — этот не пропадёт.

И — обречённые, с обострённым вниманием дети. И ребёнок — *смертёныш*.

И — Таня-подвижница: детей ради — рискует ходить через перевал, где изнасилуют или ограбят: менять вино на продукты в степи.

И отдельная история о покинутом, а потом погибшем павлине — таким же ярким, цветным пятном на всём, как и его оперение.

И — праведники: «Не поклонились соблазну, не тронули чужой нитки — бьются в петле».

Надо же увидеть это всё — глазами неподготовленного дореволюционного поколения. Для советских, в последующие вымаривания, — ничто уже не было в новинку.

Наконец — и красные.

Шура-Сокол — мелкозубый стервятник на коне, «кровью от него пахнет».

Конопатый матрос Гришка Рагулин — курокрад, словоблуд. Вошёл ночью к работнице, не далась, заколол штыком в сердце, дети нашли её утром со штыком. Бабы пели по ней панихиду — ответил бабам пулемётом. «Ушёл от суда вихлястый Гришка — комиссарить дальше».

Бывший студент Крепс, обокравший доктора.

Полупьяный красноармеец, верхом, «без родины, без причала, с помятой звездой красной — „тырцанальной“».

Ходят отбирают «излишки» — портянки, яйца, кастрюльки, полотенца. Пожгли заборы, загадили сады, доломали.

«Кому могила, а им светел день».

«Тех, что убивать хотят, не испугают и глаза ребёнка».

О массовых расстрелах после ухода Врангеля. Убивали ночью. Днём они спали, а другие, в подвалах, ждали. Целые армии в подвалах ждали. Недавно бились открыто, Родину защищали, Родину и Европу, на полях прусских и австрийских, в степях российских. Теперь, замученные, попали в подвалы. «Промести Крым железной метлой».

Спины у них широкие, как плита, шеи — бычачьей толщины; глаза тяжёлые, как свинец, в кровяно-масляной плёнке, сытые. ...Но бывают и другой стати: спины — узкие, рыбы, шеи — хрящевой жгут, глазки востренькие с бравчиком, руки — цапкие, хлёткой жилки, клещами давят.

И где-то там, близко к Бела Куну и Землячке, — главный чекист Михельсон, «рыжевый, тощий, глаза зелёные, злые, как у змеи».

Семеро «зелёных» спустились с гор, поверив «амнистии». Схвачены, на расстрел.

«Инквизиция, как-никак, судила. А тут — никто не знает, за что». В Ялте убили древнюю старуху за то, что на столике держала портрет покойного мужа-генерала. Или: ты зачем на море после Октября приехал? бежать надумал? Пуля.

«Только в одном Крыму за три месяца расстреляно без суда человеческого мяса восемь тысяч вагонов».

После расстрела делят офицерское, штаны-галифе.

И груди вырезали, и на плечи звёздочки сажали, и затылки из наганов дробили, и стенки в подвалах мозгами мазали.

И различие между большевицкими волнами. Первые большевики, 1918 года: оголтелые матросские орды, грянувшие брать власть. Били пушкой по татарским деревням, покоряли покорный Крым... Жарили на кострах баранов, вырвав кишки руками. Плясали с гиком округ огней, обвешанные пулемётными лентами и гранатками, спали с девками по кустам... Они громили, убивали под бешеную руку, но не способны были душить по плану и равнодушно. На это у них не хватило бы «нервной силы» и «классовой морали». «Для этого нужны были нервы и принципы людей крови не вологодской».

Про следующую волну красных пришельцев Кулеш: «его не поймёшь, какого он происхождения... порядку нашего не принимает, церковь грабит».

Пошли доглядывать коров: «Коровы — народное достояние!» «Славные рыбаки! Вы с честью держали дисциплину пролетариата. Ударная задача! Помогите нашим героям Донбасса!»

А ещё — и об интеллигенции:

«Плясали и пели для них артистки. Подали себя женщины».

По повесткам «Явка обязательна, под страхом предания суду революционного трибунала» — все и явились (на собрание). «Не являлись, когда их на борьбу звали, но тут явились на порку аккуратнo. В глазах хоть и тревожный блуд, и как бы подбострастие, но и сознание гордое — служение свободному искусству». Товарищ Дерябин в бобровой шапке: «Требую!!! Раскройте свои мозги и покажите пролетариату!» И — наганом. «Прямо в гроб положил. Тишина...»

Крым. И во всю эту безысходность вписан, ритмически вторгаясь, точно и резко переданный крымский пейзаж, больше солнечный Крым — в этот ужас смерти и голода, потом и грозный зимний Крым. У кого были такие последовательные картины Крыма? Сперва — сияющим летом:

- Особенная крымская горечь, настоявшаяся в лесных щелях;
- Генуэзская башня чёрной пушкой уставилась косо в небо;
- Пылала синим огнём чаша моря.

И — горы:

— Малютка-гора Костель, крепость над виноградниками, сторожит свои виноградники от стужи, греет ночами жаром... Густое брюхо [ущелье], пахнущее сафьяном и черносливом — и крымским солнцем.

Но:

— Знаю, под Костелью не будет винограда: земля напиталась кровью, и вино выйдет терпким и не даст радостного забытья.

— Крепостная стена — отвес, голая Куш-Кая, плакат горный, утром розовый, к ночи синий. Всё вбирает, всё видит, чертит на нём неведомая рука. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи. Время придёт — прочтётся.

Потом:

— Западает солнце. Судакские цепи золотятся вечерним плеском. Демержи зарозовела, замеднела, плавится, потухает. А вот уже и синеть стала. Заходит солнце за Бабуган, горит щетина лесов сосновых. Похмурился Бабуган, ночной, придвинулся.

А вот:

— Сентябрь отходит. И звонко всё — сухо-звонко. Сбитое ветром перекапти-поле звонко треплется по кустам. Днём и ночью зудят цикады... Крепкой душистой горечью потягивает от гор, горным вином осенним — полынным камнем.

— И море стало куда темней. Чаше вспыхивают на нём дельфины всплески, ворочаются зубчатые чёрные колёса.

А вот и зима:

— Зимние дожди с дремуче-чёрного Бабугана.

— Всю ночь дьяволы громыхали крышей, стучали в стены, ломались в мою мазанку, свистали, выли. Чатыр-Даг ударил!.. Последняя позолота слетела с гор — почернели они зимней смертью.

— Третий день рвёт ледяным ветром с Чатыр-Дага, свистит бешено в кипарисах. Тревога в ветре, кругом тревога.

— На Куш-Кае и на Бабугане — снег. Зима раскатывает свои полотна. А здесь, под горами, солнечно, по сквозным садам, по пустым виноградникам, буро-зелено по холмам. Днём звенят синицы, тоскливые птицы осени.

— Падает снег — и тает. Падает гуще — и тает, и вьёт, и бьёт... Седые, дымные стали горы, чуть видны на белесом небе. И в этом небе — чёрные точки: орлы летают... Тысячи лет тому — здесь та же была пустыня, и ночь, и снег, и море. И человек водился в пустыне, не знал огня. Руками душил зверьё, прятался по пещерам. Нигде огонька не видно — не было и тогда.

Первобытность — повторилась...

И в сравненье — прежнее кипучее многонациональное крымское население: тогда и — «коровы трубили благодатной сытью».

А вот и новинка:

— Ялта, сменившая янтарное, виноградное своё имя на... какое! издёвкой пьяного палача — «Красноармейск» отныне!

Автор сознаёт свой удел: «Я останусь свидетелем жизни Мёртвых. Полную чашу выпью».

Но «Чаю Воскресения Мёртвых! Великое Воскресенье да будет!» — увя, звучит слишком неуверенным заклинанием.

Из его слов, выражений:

— стúдно (наречие);	— выщегáливать;	— на прикóрме;
— гремя (ж. р.);	— словокрóйщик;	— пострада́ние;
— сверль (ж. р.);	— насулили-намурили;	— мальчушьё;
— с умóлчья;	— время ша́товое;	— облюте́ть.

«Слова — гремучая вода жизни».

«Мещанство — слово, выдуманное безглазыми».

* * *

И вот досталось нескольким крупным русским писателям после раздирающих революционных лет да окунуться в долго-тоскливые и скудные годы эмиграции — на душевную проработку пережитого. У иных, в том числе и у Бунина, она приняла окраску эгоистическую и порой раздражённую (на этакий недостойный народ). А Шмелёву, прошедшему и заразительное поветрие «освобожденчества», потом изстрадавшемуся в большевицком послебрангелевском Крыму, — дано было пройти оживленье угнетённой, омертвелой души — катарсис. И дано было ему теперь, споздна, увидеть промытыми глазами ту невозвратимую Россию, которую сыны её столькие силились развалить, а косвенно приложился и сам он. И увидеть ту неповторимую, ещё столь самобытную яркую Москву, упорно не опетербурженную (а потом и не враз обольшевиченную). И теперь, под свои 60–65 лет, взяться воссоздать, описать, чего не прилагалась, на что и не смотрела наша перекособоченная тогда литература.

Тут пошли один за другим милые рассказы: «Наполеон», «Москвой», «Мартын и Конча».

— «Пухлые колокола клубятся. Глеют кресты на них тёмным и дымным золотом».

— «Молись, а Она (Владычица) уже всю душу видит».

И — все запахи Москвы... (переулков, соснового моста).

Так Шмелёв втягивался в

«ЛЕТО ГОСПОДНЕ» (1927 — 1944) — 17 лет писал.

И ведь ничего не придумывает: открывшимся зрением — видит, помнит, и до каких подробностей! Как сочно, как тепло написано, и Россия встаёт —

живая! Правда, несколько перебрано умиления — но поскольку ведётся из уст ребёнка, то вполне соразмерно. Некоторые упрекают Шмелёва в идеализации тогдашнего быта, но ведь в детском восприятии многие тени и не бывают видны. А цельное изображение — уверенно добротное.

Вначале повествование малоподвижно, ход его — только от годового круга христианских праздников. Но потом включается сердечный сюжет: болезнь и смерть отца. В книге три части: Праздники (этот годовой круг) — Радости (тут дополняется пропущенное по первому кругу) — и Скорби.

И как верно начат годовой круг: Дух Поста («душу готовить надо»), постный благовест, обычаи Чистого Понедельника. Как «масляницу выкуривают» (воскурение уксуса по дому). Говение. — Образы подвижников (прабабушка Устинья). — После причастия: «Теперь и помирать не страшно, будто святые стали». — Крестят корову свечой, донесенной от Двенадцати Евангелий. На Великую Пятницу кресты на дверях ставят свечкой. — Пунцовые лампадки на Пасху. Куличи на пуховых подушках. Красные яички катают по зелёной траве. Радуница: «духовно потрапезуем с усопшими», покрошим птичкам — «и они помянут за упокой». — Описание разных церковных служб и примыкающих обрядов. Прощесия с Иверской Богоматерью. Крестный ход из Кремля в Донской монастырь («само небо движется»). — «На Троицу вся земля именинница» (и копнуть её — нельзя). На Троицу венки пускают на воду. — Яблочный Спас, ярмарка. — Мочка яблок к Покрову и засолка огурцов (с массой забытых теперь подробностей, молитва над огурцами). — Заговоренный стол перед Филипповками («без молочной лапши не заговень»), закрепощивают все углы: «выдувают нечистого!». Дом в рождественский вечер без ламп, одни лампадки и печи трещат. Ёлку из холодных сеней вносят только после всеобщей. Голубая рождественская скатерть и ковёр голубой. — Купанье в крещенской проруби. Святочные обычаи. После святок грешно надевать маски: «прирастут к лицу».

И все-все эти подробности, весь неторопливый поток образов — соединяются единым тёплым, задушевым, праведным тоном, так естественно давшимися потому, что это всё лётся через глаза и душу мальчика, доверчиво отдающегося в тёплую руку Господню. Тон — для русской литературы XX века уникальный: он соединяет опустошённую русскую душу этого века — с нашим тысячелетним духовным устоянием.

А своим кругом — сочно плывут картины старой Москвы. Все оттенки московской весны от первого таянья до сухости. Ледоколье — заготовка льда на всё лето. Дружная работа артели плотников. («Помолемшись-то и робяткам повеселей»). «На сапогах по солнцу» (так наблещены). — Пастуший рожок с Егорьева дня. Примета: лошадки ночью ложились — на тепло пойдёт. — Птичий рынок. Детали замоскворецкого быта, мебели, убранства. — Зимние обходы к Рождеству из Подмосквья, торговли из саней. «Товар по цене, цена по слову». Святочные обеды «для разных» (кто нуждается). — Раскатцы на дороге зимней, «саночки-шегольки». На масленицу «широкие столы» — для рабочих. «Наш народ пуше всего обхождение ценит, ласку». — Изобилие Постного рынка (уже не представимое нам), разнообразие постного стола. «Великая кулебяка» на Благовещение. Сбитень с мёдом и инбирём, лучше чая. Русские блюда, давно теперь забытые, тьма-тьмушая закусок и сладостей, все виды их.

А в последней части, «Скорби»: ушиб и болезнь отца. «После тяжкой болезни всегда, будто, новый глаз, во всё творение проникает». Хорошая баня, для лечения, с мастерами парки: «Бóлесь в подполье, а вам на здоровье. Вода скатится, бóлесь свалится». Благословение детей перед смертью. Соборование. — «Когда кто помирает, печей не топят»; «первые три дня душа очень скорбит от разлуки с телом и скитается как бесприютная птица». На ногах у покойника — «босовики» с нехоженными подошвами. Гроб несут на холстинных полотенцах. Поминальный звон. Поминовенный обед.

Чудная книга, очищает душу. Богатое многоцветье русской жизни и православного мировосприятия — в последние десятилетия ещё неугнетённого

состояния того и другого. И — то самонастоящее (слово автора), что и было Москвой, — чего уже нет, мы не видели и никогда не увидим.

Немало слов Шмелёва я включил в свой Словарь. Вот ещё несколько:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| — на подв́ар; | — примáн (м. р.); | — топлая лужа; |
| — прижа́рки (мн. ч.); | — ра́дование; | — чвокать зубом; |
| — на собла́з; | — не завиствуй; | — увóзливый; |
| — поглубе́ть; | — залюбованье; | — подга́нивают; |
| — насто́йный; | — в предшедшем году; | |
| — не обзеленись (об траву); | | |
| | — духотрясение; | |
| | — нищелюбивый; | |
| | — дрязгуны; | |
| | — онукивать лошадь; | |
| | — бырко (о течении воды). | |



О П Ы Т Ы

СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ



В РУССКОМ ЖАНРЕ

Стиль Герцена несопоставимо выразительнее стиля Гончарова, но Герцен не был художником, а Гончаров был. Одно это опровергает ходячие пошлости о стиле или словаре как преимуществе художника над нехудожником. Художественная проза создается не стилем и не словарем, а чем? Не знаю чем.

У Гончарова («Обыкновенная история») Наденька скрылась «в цветы и явилась с полной тарелкой ягод». И опять, и еще ягоды, цветы. У Достоевского это не остановило бы внимания, но Гончаров почему-то представляется точным, зримым, вещным, чуть не как Тургенев или Бунин. Но это не так.

Обращал ли кто внимание: два основоположника рев.-демократической критики носили фамилии:

БЕЛинский
и ЧЕРнышевский?

Ленин вроде бы был абсолютно лишен нормального литературного вкуса, примерами чего за последние годы нас засыпали. Но вот старый, самый хрестоматийный советский пример из Горького, где писатель видит на столе Ленина том «Войны и мира»: «Захотелось прочитать сцену охоты...»

Если верить Горькому, а не верить в этом случае как бы нет оснований, то Ленин ведет себя как заправский книгочей-гурман, а не утилитарист, пожиратель информации.

А может быть, причина не литературная, а охотничья: см. книгу саратовского писателя Ю. Никитина «Царские охоты», где описывается почти патологическая страсть вождя к забаве с ружьишком.

Ницшеанство молодого Горького могло бы выглядеть и комично, если бы не знать его последующую судьбу воистину сверхчеловека.

«Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде» (М. Горький, «Мои университеты»).

Есенин отлично сознавал, уже в девятнадцать лет, что для набора «высот» в искусстве надо творить подлости, «продать душу свою черту — и всё за талант. Если я поймаю и буду обладать намеченным мною талантом, то он будет у самого подлого и ничтожного человека — у меня <...>. Если я буду гений, то вместе с этим буду поганый человек. Это еще не эпитафия. 1. Таланта у меня нет, я только бегал за ним. 2. Сейчас я вижу, что до высоты мне трудно добраться, — подлостей у меня не хватает, хотя я в выборе их не стесняюсь» (письмо М. П. Бальзамовой, осень 1914 года).

Сколько глупостей и пошлостей наговорено о стихийности и непосредственности есенинской музыки. При огромной одаренности он имел и более

В этом своем «фирменном» жанре Сергей Боровиков неоднократно выступал в журнале «Волга», а также в «Новом мире» (1995, № 1). — *Примеч. ред.*

редкий дар: сознавать необходимость строительства таланта в определенном направлении; «на меченым мною талантом!» — аж мурашки бегут по коже: вот он, первый шаг к «Черному человеку», выбор пути и беспощадность, прежде всего к самому себе.

Два русских поэта в 1915 — 1916 годах служили санитарями в военно-санитарных поездах, ходивших маршрутом Петроград — Москва — Крым: Есенин и Вертинский.

В сущности, то, что поведал Катаев о Королевиче, можно было написать и не водясь с Есениным: выжимки из воспоминаний, черты поэта, хорошо известные, ну, и колорит нэпа. Даже сцена похорон вся черно-белая, из кинохроники. Не так ли и весь «Алмазный мой венец»?

В «Дневнике» Чуковского запись о том, как с Зошенко они рассуждали, что писатели злы как люди. «Быть может, всех ничтожней он...» сказано Пушкиным не для красного словца, и горе тому, ощутившему в себе талант, кто смолоду гонится не за ним (см. слова Есенина), а за порядочностью, уважением окружающих, семейным благополучием. И затасканные слова Чехова о Короленко, которому следует изменить жене, чтобы писать лучше, — туда же.

Федин узнал, что Зошенко прозвал его «Рабиндранат Тагор», и страшно обиделся (тот же «Дневник» Чуковского). А ведь Тагор — пример высокой духовности, но — как обидно!

Эволюция Константина Федина произошла, как ни странно, за границей, где он лечился в 1931 — 1932 годах. Всерьез лечился, болезнь была не уловкой. Пусть он, воротившись после четырехлетнего пребывания в Германии в первую войну, и редактировал красноармейскую газету, и даже вступал в партию, все же до поры оставался либеральствующим братом серапионом, осторожным и не более чем лояльным. Федин тридцатых годов — это уже Федин и всех последующих лет.

Презируемый всеми Федин: либералами за отступничество, патриотами за западничество, верхами за отсутствие лихости, читателями за скучность.

На пресловутую осторожность Федина можно взглянуть иначе, если сравнить его жизнь с жизнью современников, в том числе и серапионов. Константин Александрович всегда полагался только на себя. Он не кутил в двадцатые годы с чекистами, не имел с ними общих литературных дам. Не влезал ни в какую высокопоставленную родню. Не бросил свою Дору Александер. Не женился подобно Леонову на дочери издателя Сабашникова или подобно Кассилю и Михалкову — Собинова и Кончаловского. Не дружил домами с высокопоставленными чиновниками, а сберегал старую дружбу с единственным «Ваней», Соколовым-Микитовым. Словом, кроме осторожности, продиктованной чувством самосохранения, была еще и чистоплотность.

Удалым парнем, конечно, не был и таковым завидовал. Вот как ябедничает Горькому на юного Леонова, у которого выходит книга за книгой: «Он — зять Сабашникова, и поэтому — все его книжечки роскошно изданы».

«Федин, человек, которого я любил и наверное люблю больше всех на свете...» (Б. Пастернак, письмо Е. В. Пастернак, 16.IX.42).

А почему «Собачье сердце»? То есть не повесть почему, а сердце в названии? Псу пересадили яички и гипофиз Клима Чугункина, и в гадостном Шарикове действительно билось собачье сердце. Но акцент, а название — это всегда акцент, даже Акцент явно вступает в противоречие со смыслом повести, если сердце понимать не как «грудное череву, принимающее в себя кровь из всего тела», а, по Далю же, как «представитель любви, воли, страсти, нравственного, духовного начала». Ведь у пса было честное, преданное собачье сердце.

Попытка объяснения. Эффектное название могло возникнуть у Булгакова от стихотворения Есенина:

Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье моё.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в рукав лезвие.

Не напечатанный при жизни поэта альбомный экспромт 1916 года был опубликован в 1926 году в сборнике «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество» и мог быть прочитан Булгаковым.

А быть может, бывовала идиома, использованная ими?

В «Мастере и Маргарите», над текстом которого так долго работал писатель, встречаются фразы убогого, с конца пера упавшего словаря и самой пошлой интонации: «Лицо финдиректора было буквально страшно»; «Эти попытки ни к чему не привели бы, кроме того, что он был бы схвачен, а быть задержанным в этот день никоим образом не входило в его план» (Левий Матвей на Лысой горе).

Можно возразить, что у Достоевского... но создатель «Мастера и Маргариты» любил штучную фразу, порою он даже напоминает авторов «Двенадцати стульев»: «Официанты, торопясь, срывали скатерти со столов. У котлов, шнырявших возле веранды, был утренний вид. На поэта неудержимо наваливался день».

Дело же в том, что «Мастер и Маргарита» — бесстильный роман, у текста нет единых стилевых координат, он эклектичен. Интонация вообще не самая оригинальная черта Булгакова, он нередко берет ее напрокат, в «Мастере» — особенно откровенно гоголевскую. Самобытнее «Белая гвардия».

По радио процитировали К. Паустовского: «У любви множество аспектов». Прочитав в свое время достаточно этого писателя, не любя его и потому давно в него не заглядывая, решил все же посмотреть: может быть, а с п е к т ы — это исключение в языке писателя, которым так давно и так устойчиво многие восхищаются...

«Лидия Николаевна щелкнула выключателем. Вспыхнула люстра, и я невольно вскрикнул: комнаты были увешаны великолепными холстами, написанными смело и ярко, как то и подобает большому, хотя и неизвестному мастеру» (1960).

«Есть вещи, которые не оценить ни рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять там, в Петербурге, этим многомудрым государственным мужам, что могущество страны — не в одном материальном богатстве, но и в душе народа! Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает государство!» (1949) — пред нами мысли Петра Ильича Чайковского.

Из любой книги, включая пресловутую «Золотую розу» — о писательском мастерстве, этого признанного мастера слова страницами можно набирать и канцелярщину, и в еще большем объеме сладко-напевную литературную пошлость и в конечном счете с изумлением понять, что литератор К. Паустовский вовсе не обладал тем языком русского писателя, который есть как бы неперемutable условие существования в литературе в таком статусе.

В случае с признанием, а в известный период и славой К. Г. Паустовского мы имеем дело с феноменом сошедшегося воедино обаяния личности и привлекательности общественного поведения с потрафлением неразборчивому, то есть массовому, читателю эстетикой «мыльной оперы». В шестидесятые годы Паустовский подписывал протесты, власть его не награждала, как ранее, читатель читал (тиражи тогда вообще были гигантские), либеральная критика хвалила преувеличенно именно за протесты, а не тексты. Так создавался миф о выдающемся мастере.

«...негодяев — Валентин Катаев...» — сказано поэтом более для точной рифмы, чем точного определения. И хотя как бы всем ясно, что Чичибабин имел в виду, слово не то. Кто будет утверждать, что даже в самом первом ряду русской литературы все были в личном плане людьми порядочными?

Что Катаева отличало, так это особый цинизм в работе. Если его напарник даже и в «Хлебе» в частности пытался быть художником, а Леонов и славолюбия Сталину плел на том же ткацком станке, что и романы, то Катаев давал любые строки: какие угодно, куда угодно и когда угодно.

А кому угодно — это понятно, он, как персонаж Зощенко, мог о себе заявить: «Я всегда симпатизировал центральным убеждениям».

Советские писатели начиная с середины тридцатых годов напоминали выпущенных в заезд жокеев: несаясь кучей, они то и дело упускают то одного, то другого вперед. Катаев же особенно был неудержимо оголтел в стремлении не отстать, попасть в яблочко, ухватить ЦК за бороду. И если кто-то с возрастом утихомиривался, то он — никогда. Уже стариком, на двух страницах отклика на визит Хрущева в Америку, он ухитрился шесть раз процитировать Никиту.

Почему возник тандем Толстой — Катаев? Скорее всего из-за особой их бытовой благоустроенности и естественного конца. Пильняк был не меньший, чем они, дока по части благоустройства, но погиб. Все-таки в Чичибабине говорило внутрилитературное чувство. Что же, если переводить на примеры с трагическим концом, то Киришон должен быть не негодяем, а собратом Мандельштама?

Еще Катаев. Вариация на тему Липкина.

Одновременно появились статьи С. Липкина в «Знамени» и О. и В. Новиковых в «Новом мире» к столетию Катаева с единым пафосом: «пора выставить ведущим писателям уходящего века отдельные оценки за творчество и за политическое поведение» (Новиковы), «И Алексей Толстой и Валентин Катаев — крупные таланты, они останутся в великой русской литературе, и вполне возможно, что в будущих академических изданиях их сочинений, в примечаниях, будет упомянуто имя автора этого четверостишия» (С. Липкин) — Чичибабина.

Катаев Липкину говорит: «Меня Союз писателей ненавидит, — все эти напыщенные Федины, угрюмо-беспомощные Леоновы...» Но сам-то Валентин Петрович, он — ПЕН-клуб, что ли? Он, многолетний секретарь союза, охочий всегда до любой должности?

И все же он прав, что власть, ценившая и награждавшая его, полностью за своего не держала. Одесская эстетика Катаева изначально несла разрушение того, что утверждалось в стране. Катаев в этом смысле ничем не отличается от других одесситов. Доживи Бабель, Багрицкий, Ильф и Петров до пятидесятих — шестидесятых — семидесятых годов, они оказались бы в таком же отчуждении, несмотря на всю свою революционность. Дожили Олеша и Славин, но первый не печатался вовсе, второй сочинял что-то крайне бесцветное про Белинского без малейшего одесского акцента.

Антисемитизм? Не совсем. Антиодессизм советского руководства — это отрицание чужого, не нашего, не родимого. Пусть понятного и смешного, но в глубине враждебного и пугающего. Такие подойдут и осмеют. Не осмелятся? Сейчас не осмеливаются, потому что на всю жизнь напуганы, в верности клянутся, польку-бабочку перед барским столом пляшут... Сколько волка ни корми...

А Леонов, вовсе не понятный, непрочитаемый, угрюмый — свой. Но — вумный. Но еще с усатого было ясно, что — за нас. Не за коммунизм дурацкий, кулаком был, кулаком и остался, как мы сами, а за Россию, за порядок, чтоб всяк сверчок... Серьезный человек, заслуженный. Надо ему еще орден дать.

А в 1927 году Катаев с Леоновым с женами путешествовали по Европе в гости к Алексей Максимучу в Сорренто...

Но однажды Валентин Петрович покаялся. Когда в «Святом колодце» литературная Москва радостно угадала прототип «гибрида человеко-дятла с костяным носом стерляди, клоунскими глазами», блатмейстера, проходимца и подхалима, менее, думаю, было обращено внимание на муки автора: это «тягостный спутник... моя болезнь... двойник». Вглядываясь в долгий путь старого литературного грешника, понимаешь, что это покаяние дорогого стоит.

Быстро летит время: десять лет назад власть куда-то истаивала, разгоралась гласность, ползли вверх тиражи... эх, эх! Что мы там в «Волге» печатали в 1988-м? К. Бальмонт, Н. Бердяев, И. Вольнов, М. Зощенко, В. Набоков, А. Платонов, Б. Слуцкий, А. Чаянов, В. Ходасевич, В. Шаламов, И. Шмелев. Эх, эх! А также и Ю. Власов, и Б. Екимов, и Е. Попов, и Г. Айги, и, между прочим, первое явление читателю знаменитого писателя девяностых годов Алексея Слаповского с комедией «Бойтесь мемуаров!».

Процветала художественная литература и в других печатных изданиях нашего города. Областная газета «Коммунист» (ныне — «Саратовские вести») в промежутках борьбы с Демократическим союзом (самая страшная считалась в городе организация, в борьбе с нею почил тогдашний главред газеты, отданный на расправу демократам товарищами по обкому КПСС) печатала даже и поэмы на целую полосу. Например, «Поединок». Меж кем и кем? Да меж Чернышевским и Александром II. Снится императору сон, как гонится он за крамольником, замахиивается, а меч-то в руке картонный, «И все плотней за Чернышевским / Стеной вставали мужики <...> Воздел он руки и проснулся. / Мать пресвятая, никого! / И так он в радости взметнулся, / И так во злобе содрогнулся, / Что передернуло всего». Рассудок реформатора помутился, тем более что «царь, здравым смыслом обладая, с ним управлялся не всегда». И велел самодержец упечь великого демократа, но очень огорчался, что смутьян не желает каяться и просить прощенья: «Мечтавший выкорчевать смуту / И с тем взойти на пьедестал, / Он в эту самую минуту, / Казалось, ростом ниже стал. / Всех попросил он удалиться / И штоф заветный принести, / Не для того, чтобы напиться, / Но чтобы душу отвести». Откуда вдруг взялся штоф? Автор, спутавший, вероятно, Александра II с его крепко зашибавшим сыном, не случайно ввел в историко-революционное полотно водочный, точнее, антиводочный мотив: в разгаре кампания за трезвость, свирепствуют лигачевско-горбачевские циркуляры, и надо отметить. Императору штоф (1,23 литра, чисто кабацкая посуда, но да чего уж там!), а чиновники его, царские, «Пьют водку да в карты играют, / Так можно и жизнь проиграть. / Детишек учили хотя бы, / Чем пьянствовать, семьи губя», но герой «в угаре... как бы пьяном / (Хмельного он в рот не берет) / Всё пишет роман за романом...». Теперь этот поэт сочиняет что-то восторженное про церкви и губернатора, а еще раньше — про Брежнева, и сколько таких по российской поверхности людей «центральных убеждений», и каждой очередной власти они приносятся.

В советских поваренных книгах, которые именовались книгами о вкусной и здоровой пище, были разделы национальной кухни, очередность их — строго по числу жителей — от Украины до Эстонии. Потому же в «Кулинарии» 1955 года есть кухня карело-финская: была тогда шихнацкая союзная республика. Потому же при наличии рецептов таджикских и литовских в русской поваренной книге не было татарской, мордовской и, разумеется, еврейской кухни.

О происхождении Вс. Мейерхольда. Так укоренилось, что его лютеранство всегда остается за кадром. Конечно, есть документы, в частности, в прекрасном музее театра в Пензе, а вот живое свидетельство. В. Гиляровский, бывший в Пензе, остался в восторге от водки производства завода Мейерхольда-отца (лучше и «Смирновской» и «Поповской») и его описал так: «фигура такая, что прямо норманнского викинга пиши».

«Англичанин любит свободу, как свою законную жену; он владеет ею, и если обращается с нею не особенно нежно, то умеет при случае защитить ее,

как мужчина <...> Француз любит свободу, как свою невесту. Немец любит свободу, как свою старую бабушку». У Генриха Гейне нет сравнения для русского, да и могло ли оно быть, хоть в какую эпоху... разве что при Александре III любили свободу, как нелепую, надоевшую тетушку, с существованием которой приходилось считаться, и при Иосифе I любили свободу, как отца, который, придя с работы, может выпороть или принести кулек конфет — в зависимости от твоего поведения и его настроения.

«Благодаря своему доморощенному макиавеллизму он сходил за умного среди своих коллег — среди всех этих отщепенцев и недоносков, из которых делаются депутаты» (Ги де Мопассан, «Милый друг»).

«Политика есть вино, которое в России может превратиться даже в опиум» (В. Г. Белинский, письмо Д. П. Иванову, 7 августа 1837 года).

«Засыпает на рассвете, / Скомкав ёрзаньем кровать, / В час, когда другие дети / Бодро начали вставать» (В. Маяковский, «История Власа, лентяя и лоботряса»).

Кровать скомкать невозможно, возможно — постель. Здесь, как очень часто у В. В., все зависит от рифмы, диктуется рифмой. Но можно было потрудиться и найти уместную и на «постель». Предлагаю улучшенный вариант классика: «...скомкав ёрзаньем постель, / В час, когда другие дети / Собирают свой портфель».

Мне давно хочется написать о золотых звездах на синем небе. С чем-то из детства связана эта самая красивая красота: вырезанные из фольги и наклеенные на густо-синий картон золотые, чуть сморщившиеся от движения пальца звезды. Под ними сразу возникает острый столбик минарета, растекается плоский каменный простор ислама, орнаменты, мрамор, фонтаны, прохлада и еще что-то, что манит сюда.

Что-то — это, конечно, женщины, животы, шелк, смуглый вырез, ложбинки, родинки, пряди, ноготочки ног, сурьма, но все это куда позже, вместе с прыщами, чтением сокровенных описаний из 1001 ночи, и он посадил ее себе на грудь и начал сосать ей язык, и потек мед в его уста; за окном крик: «А таачить ножи-ножницы-бритвы!», тяжелое солнце, редкий шум автомобиля, пыльный запах мальв и бархоток из палисадника, сумрак низкого первого этажа, неслышное потягивание кота у ног, но все это позже, позже, когда уже все другое, а золотые, чуть съехавшие по синему звезды — вспомнил, журнал «Затейник» за 1952 год, откуда вырезывались елочные игрушки и — предел мечтаний — детский кукольный театр, как в «Золотом ключике», и главное, заветное, что, когда все будет склеено, исправлено, одето в бумажные костюмчики и платьица и возникнут как сказка декорации, уложить все в большую коробку и завтра утром, когда взрослые еще будут спать, подойти по ледяному полу еще нетопленной комнаты к коробке и открыть...

Но нет, вместо этого рождается другое, вроде: «Беременная старуха» или «На пляже лежат девицы с нежными атласными задницами и грубыми прыщавыми лицами» и т. д.

Благородный седоусый старик, перед какими совестно. Но чтобы таковым стать, надо иметь в предыдущей жизни Цусиму, революцию, сталинский лагерь или, во всяком случае, лишения, а не пустяки. Но я вижу, как все больше становится их, как таковые старики, теперь едва ли уже не моего поколения, делаются из ничего, просто потому, что жили.

Саратов.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПО ХОДУ ТЕКСТА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



ЧТО НЕ ДОЗВОЛЕНО УЧЕНОМУ. ПРОСТО НАПОМИНАНИЕ

П*ризнание в любви.* С детства любил отрицательных героев: миледи, Урия Гип, Смердяков, Молчалин, Швабрин. Отрицательные герои казались мне умнее и честнее положительных.

Мистер Хайд не лгал и не притворялся. Доктор Джекиль — лгал. Иван Карамазов — только рассуждал, «провокировал». Смердяков — действовал.

Отрицательный герой был одинок. Его никто не любил. Я жалел отрицательных героев. Я до сих пор убежден: в отрицательном герое спрятана очень важная частица души его создателя.

Простой тест: можно ли представить себе, чтобы самый разотрицательный герой Толстого доверительно сообщил бы: «Я всю Россию ненавижу». Нет. Невозможно. В самой глубокой глубине души Толстой не мог отыскать этого. А Достоевский — мог. Стало быть, это — «достоевская» мысль. Личная, мучительная, невыговариваемая. Доверенная отрицательному герою, лакею-отцеубийце Смердякову.

К отрицательным героям следует относиться с внимательным уважением и с уважительным вниманием.

Появление отрицательного героя. Поэтому, когда в мрачной книжке Зошенко «Перед восходом солнца» появился отрицательный герой, я обрадовался. Это был луч света в темном царстве доморощенного фрейдизма и советов «Вылечи-себя-сам-от-депрессии-и-истерии».

Это был поэт-нищий А. Т-в, до революции писавший блеклые и бледные эпигонские стихи, а после революции заговоривший нагло, весело, откровенно: «Проституточки-голубки, / Ничего для вас не жаль... / Все на месте, все за делом, / И торгует всяк собой: / Проститутка статным телом, / Я — талантом и душой».

Поэт в 20-х годах нищенствовал на углу Литейного и Невского. На груди у него болталась картонка с надписью: «Подайте бывшему поэту». Поэт объяснял Зошенко: «Унижения? Что это такое? Унизительно не жрать. Унизительно околоть раньше положенного срока. Все остальное не унизительно».

Зошенко еще предстояла поездка на Беломорканал в составе писательской бригады. Вопрос — не так ли? — что унизительнее: нищенствовать или принять участие в сборнике, прославляющем строительство Беломорканала?.. Поначалу я решил, что Зошенко просто выдумал А. Т-ва. Потом я узнал, что это поэт Александр Иванович Тиняков.

Что я знаю о поэте Тинякове? Родился 13 ноября 1886 года в селе Богордицком, Орловской губернии, Мценского уезда. В 1903 году бежал из дому, совершил паломничество в Ясную Поляну. Лев Толстой посоветовал ему вер-

нуться в семью и помириться с отцом. Печатался с 1903 года в «Орловском вестнике», «Весах», «Аполлоне». В 1916 году работал одновременно в черносотенной «Земщине» (под псевдонимом Куликовский) и в кадетской «Речи» (под собственной фамилией). В своих юдофобских статьях из «Земщины» к месту и не к месту поминал Иисуса Христа. После революции напечатал антирелигиозную брошюрку («Кое-что про бога»), сделался красным до экстремы, до... одобрения расстрела Гумилева. Ходили слухи (неподтвержденные), что Тиняков сотрудничал с ЧК. Профессиональным нищим стал с 1926 года. Умер 17 августа 1934 года в ленинградской больнице Жертв Революции. Выпустил три сборника стихов: один — до революции («Navis nigra»), два других («Треугольник» и «Ego sum qui sum») — после. Известен благодаря двум своим стихотворениям из последнего сборника: «Моление о пище» («Пищи сладкой, пищи вкусной / Даруй мне, судьба моя, — / И любой поступок гнусный / Совершу за пищу я») и «Радость жизни» («Едут навстречу мне гробики полные, / В каждом — мертвец молодой. / Сердцу от этого весело, радостно, / Словно березке весной»). Во всяком случае, кто бы ни писал о Тинякове, все цитируют эти стихи. Визитная карточка поэта. Его «Памятник». Увечный. Вечный. Как угодно, как вам это понравится...

Откуда я знаю про Тинякова Александра Ивановича? Из «Литературного обозрения» 1992 года, № 1. В этом журнале была опубликована повесть в документах Вардвана Варжапетяна о Тинякове. Повесть называлась «Исповедь антисемита». Это была всего только малая часть большой (около полутора тысяч страниц) работы о Тинякове. В. Варжапетян удивляется:

«Не знаю <...> почему мне так интересно копаться в жизни этого мерзавца, алкоголика, растлителя малолетних, лютого антисемита. Интересно — и все!.. Очень хочется вытащить эту персону со дна Леты, чтобы не только я, но и другие услышали его голос — одинокий, далекий, позабытый».

Чем мне интересен Тиняков?

1. *Социологически.* Черносотенец и антисемит, расист, рассуждающий об арийской расе и ритуальных убийствах, делается после Октября ярым большевиком, антирелигиозником и революционером. Феномен, знакомый до боли... Красно-коричневый, верно? Когда-то такое сочетание казалось нонсенсом, нелепицей, теперь — это общее место, штамп. В 1912 году Ленин провиденциально писал:

«В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно оригинальная и чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это — темный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий».

Тиняков объясняет свой большевизм таким образом:

«...свойственный мне демократический „мужицкий“ дух и мое искреннее недоверие к интеллигенции сделали для меня Октябрьскую революцию вполне приемлемой».

Еще раньше, в письме к Блоку, он так объясняет свое черносотенство:

«...под слоем косного сознания у многих „правых“ таится некая праведная основа, а именно: горячая и суровая любовь к простому народу, каковой любви совсем нет у высокомерного либерального общества».

Черносотенная, темно-мужицко-демократическая стихия Октября семнадцатого всегда интересовала меня. Эту стихию надеялся «использовать» Ленин; труд невозможный, труд напрасный — он всю ее носил в себе...

2. *Эстетически.* Рядом с великими поэтическими открытиями русского XX века разухабистые дактили и хорей Тинякова не более чем тупичок. И весьма обыкновенный, надо сказать, тупичок. Тиняков интересен своим по-

паданием во внешнеэстетическую ситуацию XX века. После Освенцима, по словам Адорно, нельзя сочинять стихи. Или это будет нечто похожее на стихи Тинякова. В двух самых знаменитых стихотворениях Тинякова нет цинизма в том же смысле, как нет цинизма в «Колымских рассказах» Шаламова, в «1984» Оруэлла, в признании французского режиссера Армана Гатти (узника фашистского лагеря смерти): «Жить — значит убивать». (Но о цинизме — ниже.)

3. *Психологически.* А. И. Тиняков — «интеллигент из пропойц (или пропойца из интеллигентов)», несчастный, озлобленный на весь мир талантливый неудачник — человеческий тип, о котором не скажешь с ходу, с полтыка: жертва? виновник?

Где-то я читал, как Оруэлл описывал свою встречу с пленным эсэсовцем весной 1945 года (цитирую по памяти): «Очки, худоба, нездоровый полубезумный блеск в глазах... Э, таких я немало встречал среди безработных лондонских интеллигентов. Ему больше подошло бы лечение, а не наказание».

...Поэтому мне всегда интересно, что напишут о Тинякове. Поэтому я с интересом раскрыл статью В. Богданова («Вопросы литературы», 1998, № 1) под названием «Все ли дозволено гению? Полемиические напоминания». На первой странице этой статьи имя: А. И. Тиняков. Ого! — сказал я сам себе. Вы знаете (уже), как я отношусь к Александру Ивановичу. Но назвать его гением? Крепко. Или это не он — гений? Тогда к чему это название?

Название — скажем так — двоясмысленно. Либо автор обращается к «гению» и «полемиически напоминает» ему: «Вам, любезнейший, не все дозволено», — либо к «хулителям гения» и уже им напоминает: «Учтите: гению дозволено все. Или — почти все...» Разберемся.

Зачин.

«История литературы богата примерами непростительного забвения писателей...»

Это категорическое утверждение В. Богданова требует, вопиет: примеры! Кого «непростительно» забыли? Графа Хвостова? Баркова? Бенедиктова? Современный поэт Максим Амелин издает сборник стихов графа Хвостова. Строфику барковской «Оды Приапу» исследуют крупные ученые. О неудачнике Кюхельбекере писал Тынянов, о Бенедиктове — Лидия Гинзбург. Я помню и замечательную статью о нем Рассадина, помню блестящее стихотворение Бенедиктова — обращение к музе: «Я гоню ее с криком, с топотом, / Не стихом кричу — прозой рубленой, / А она в ответ полусшепотом: / „Не узнал меня, мой возлюбленный?“» — которое цитировал Рассадин.

История литературы полна совершенно другими примерами: кто бы ни был литератор, а его рано или поздно вспомнят... «И как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я» — не так ли? Не будем придирааться. В. Богданов собирается спасти от «непростительного забвения» поэта Тинякова. Хорошее дело.

«Спасение».

«Тиняков печатался и в брюсовских „Весакх“, и в „Аполлоне“, и в других журналах. Он издал три сборника стихов и несколько книг литературно-критических статей, в частности „О значении искусства“ (1920). Но имя его окружено глухим молчанием и в дореволюционной, и в эмигрантской прессе. Нет его в литературных энциклопедиях и справочниках. И лишь совсем недавно Евг. Евтушенко включил три его стихотворения в антологию „Строфы века“ (1995). Но этого явно недостаточно для восстановления справедливости».

Позвольте восстановить справедливость! Во-первых, у Тинякова издано несколько сборников литературно-критических статей, а четыре брошюры, во-вторых, одна из этих брошюр называется «О значении искусств» (а не

«искусства») и представляет собой восьмистраничный «рассказ для ликбеза» про то, как возникло и развивалось искусство; в-третьих, ничего себе — «глухое молчание»! Об авторе трех тошненьких поэтических сборников и четырех брошюрок вспоминали: В. Ходасевич в очерках «Брюсов», «Диск», «Неудачники», Георгий Иванов в «Петербургских зимах», М. Зощенко в повести «Перед восходом солнца». В 1993 году на киностудии «Ленфильм» об этом изгое собирались ставить фильм под названием «Человек без левой щеки». И — наконец! — фрагмент работы В. Варжапетяна, напечатанный в 1992 году в «Литературном обозрении». Человек, который собрался писать о Тинякове, просто не может обойтись без этой работы. В ней — переписка Тинякова с Б. Садовским, А. Блоком, И. Рукавишниковым, А. Ремизовым. «Спасающий от непростительного забвения» поэта исследователь забыл (или не знал?), что поэта уже один раз «спасали»...

«Внешний облик» и «образ жизни».

«Ту фигуру умолчания, которая сопутствовала и сопутствует Тинякову, можно в какой-то мере — хотя „мера“ эта слишком наивна — объяснить его внешним обликом, образом жизни».

«Фигура умолчания»? — да нет же. Когда подразумеваемое и всем известное не называется, это «фигура умолчания». В. Богданов хотел сказать, что за малчивание Тинякова объяснялось его внешним обликом и образом жизни. Но и это не так. Именно внешний облик и образ жизни спасли поэта Тинякова от забвения.

«Модернистские редакции и салоны стал посещать молодой человек довольно странного вида. Носил он черную люстриновую блузу, доходившую до колен и подвязанную узеньким ремешком. Черные волосы падали ему до плеч и вились крупными локонами. Очень большие черные глаза, обведенные темными кругами, смотрели тяжело. Черты бледного лица правильны, тонки, почти красивы. У дам молодой человек имел несомненный успех <...> Кто-то уже называл его „нестеровским мальчиком“, кто-то — „флорентийским юношей“. Однако, если всмотреться попристальней, можно было заметить, что тонкость его не так уж тонка, что лицо, пожалуй, у него грубовато, голос деревенский, а выговор семинарский, что ноги в стоптанных сапогах он ставит носками внутрь. Словом, сквозь романтическую наружность сквозило что-то плебейское» (В. Ходасевич).

Это в годы декадентской символистской юности. А вот циническая нищенская старость:

«Он был красив. Его седеющая голова была почти великолепна. Он был похож на Иисуса Христа. И только внимательный глаз мог увидеть в его облике, в его лице нечто ужасное, отвратительное — харю с застывшей улыбочкой человека, которому больше нечего терять» (М. Зощенко, «Перед восходом солнца»).

Такое «двойничество» («сквозь романтическую наружность — нечто плебейское», «Иисус Христос» и «харя с застывшей улыбочкой») из памяти не выбрасывается. У такого «двойничества» — солидная традиция. Каждый, кто хоть немножко занимался биографией Гейне, помнит сказанное о парализованном поэте: «Человек с глазами Христа и улыбкой Мефистофеля».

Кое-что о «забвении». Впрочем, по всей видимости, В. Богданов совершенно искренно полагает, что забывают тех, кто «плохо» себя ведет. В самом деле, чего ради помнить такого вот монстра:

«„Грязный, оборванный, небритый“ — таким он запомнился Георгию Иванову. У Владислава Ходасевича особую неприязнь вызывал неприличный образ его жизни (после революции. — *Н. Е.*): „Его поселили в том же „Доме искусств“, в той части, которая была предназначена для не-

опрятных жильцов. Там он пьянствовал и скандалил. По ночам приводил к себе тех десяти-двенадцатилетних девочек, которые днем продавали на Невском махорку и папиросы»».

К сожалению, В. Богданов ошибается: забывают как раз тех, кто «хорошо» себя ведет. «Образ жизни» Тинякова — то, благодаря чему он остался, «зафиксировался» в памяти литературы. Прекрасно понял это Варжапетян, настоящий исследователь жизни и стихов Тинякова:

«Не оправдывая тиняковские гнусности, „тиняковщину“, замечу, что не будь их, Александр Иванович стал бы совсем иным человеком — чистеньким, приличным, трезвым, пахнущим одеколоном... и совершенно мне неинтересным. А истинный Тиняков мне с каждым днем роднее; пусть у него нет, как у великих, своего пространства в русской поэзии, но угол-то свой есть».

И то — в противном случае написал ли бы Б. Садовской Тинякову такое: «Читал недавно Лескова „Очарованный странник“. Нахожу в герое большое сходство с Вами? Один ли Садовской? Блок пометил в своей «Записной книжке»: «Обедал у нас Ал. Ив. Тиняков — он стоит пятидесяти Левберг и Тумповских, которых зовет к себе З. И. Гиппиус». Ю. Айхенвальд признавался в письме к Тинякову, приведенному Варжапетяном: «Остры, терпки, часто страшны Ваши стихи; собранные вместе, на какую-то умственную белену похожи они, — но я понимаю, что и белена имеет право на существование как в природе, среди других злых зелий, так и в поэзии. А поэзии Ваша жуткая книга («Треугольник», Петербург, 1922. — В. В.) принадлежит». Однако здесь уже речь пошла не об образе жизни, а о поэзии...»

О поэзии. О ссылках. О сносках. Главное дело поэта — стихи. «Спасающий от забвения» поэт прежде всего обращается к его текстам. Удивительно! — однако в статье В. Богданова нет ни одной ссылки на поэтические сборники Тинякова. Ни одной! Ссылки даны на собрания сочинений Зошенко, Г. Иванова, на книгу Ходасевича, на произведения Толстого, Достоевского, Варфоломея Зайцева, Чернышевского и Добролюбова... Позвольте... А где же сам «спасаемый от непростительного забвения»?

Стоило бы процитировать одну строфу из тиняковской «Весны» (в книжке «Треугольник», 1922): «Стали бабьи голоса / Переливной и страстнее, / Стали выше небеса / И темней в садах аллеи», — чтобы услышать источник бунинского названия «Темные аллеи» и уже хотя бы этим «спасти от забвения»...

Стоило бы процитировать поэтическое кредо Тинякова, чтобы разобраться с его «цинизмом»: «Мне уже не страшно беззаконье, / Каждый звук равно во мне звучит; / Хрюкнет ли свинья в хлеву спросонья, / Лебедь ли пред смертью закричит», — чтобы расслышать странно преломленный тютчевский пантеизм («час тоски невыразимой — всё во мне и я во всем»).

Ну, нет так нет... Почитаем то, что есть.

«Тиняков слепо подражает Брюсову и Бальмонту, наполняет стихи расхожими среди эпитетов символизма штампами <...> Но разразилась революция, гражданская война принесла с собой „голод, холод, бездежье“ (Тиняков, „Моим гонителям“). Поэт затосковал по сытой, спокойной, обывательской жизни и, как пишет Мих. Зошенко, „перестал притворяться. Перестал лепетать слова — ланиты, девы, перси... Он сбросил с себя всю мишуру, в которую рядился до революции“. „Сбросил мишуру“ — и опубликовал две книги стихов неожиданных, необычных для русской литературы: „Треугольник“ (1922) и „Ego sum qui sum“ („Аз есмь сущий“) (1924)».

На самом-то деле не слишком необычны и неожиданны для русской литературы стихи Тинякова. В русской литературе уже были и К. Случевский, и «Страшный мир» Блока, и Брюсов, и эпатажные стихи молодого Маяковского.

«Необыкновенность» стихов Тинякова заключается во времени и месте их появления. В советской России в 20-е годы уже отвыкли от такого рода стихов.

Сеанс черной магии с последующим разоблачением. Странности статьи В. Богданова на этом не кончаются. Читатель помнит, наверное, мое изумление: В. Богданов нигде ни словом, ни полсловом не поминает работу Варжапетяна о Тинякове.

Ну, не читал. Бывает. Нехорошо, конечно, но что поделаешь. За всеми публикациями о Тинякове не уследишь — я понимаю. Вот тут-то меня и начинают терзать смутные сомнения. Внимание! Я цитирую В. Богданова:

«Стихи (Тинякова. — *Н. Е.*), которые высоко оценивает и цитирует Мих. Зощенко, входят в сборник 1922 года, подаренный ему при их случайной встрече на улице. Сборник с дарственной надписью: „Михаилу Михайловичу Зощенко с уважением и приветом“. В воспоминаниях речь идет о сборнике 1922 года: в нем этих стихов нет».

Перед нами — сеанс черной магии. Зощенко не писал воспоминаний. Зощенко написал автобиографическую повесть «Перед восходом солнца», в которой описал свою случайную встречу с поэтом А. Т-вым на улице:

«Порывшись в своем рваном портфеле, поэт вытащил тоненькую книжечку, только что отпечатанную. Сделав надпись на этой книжечке, поэт с церемонным поклоном подарил ее мне <...> В этой книжечке, напечатанной в издании автора (1922) все стихи были необыкновенные...»

Откуда В. Богданов узнал про то, что написал на книжке Тиняков? Ссылка на печатный источник отсутствует. Стало быть — на спиритическом сеансе, через медиума. «Серой пахнет», как говаривала Аркадина по другому поводу. Одначе весь мистический туман, все запахи серы улечучиваются, если мы раскроем работу Варжапетяна. Он пишет в примечании:

«Видимо, Тиняков подарил Зощенко не одну книгу. Юрий Владимирович Томашевский показал мне экземпляр третьей книги стихов Тинякова, „Ego sum qui sum“ („Аз есмь сущий“), — Ленинград, издание автора, 1924. На титульном листе карандашом написано: „Михаилу Михайловичу Зощенко с уважением и приветом. Ал. Тиняков. 1.XI.1924 г.“».

Все объяснилось просто. В. Богданов читал работу Варжапетяна и даже кое-что из нее запомнил... но по какой-то причине не захотел сообщать читателю о ее существовании...

Снова о заглавии и подзаголовке. Господа! Граждане! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои... Мне ли решать, что дозволено, а что не дозволено гению? Мне ли «полемиически напоминать» об этом? Я слышал, что разбоем занимался Франсуа Вийон; слышал, Державин повесил двух пугачевцев более из «пиитического любопытства», — но мне ли «дозволять» или «не дозволять» что-либо гениям? Зато я очень хорошо знаю, что дозволено и что не дозволено ученому, исследователю. Непозволительно не знать, что до тебя уже исследовали заинтересовавшую тебя проблему. Еще непозволительнее не сообщать о труде предшественника. Спихивать его, так сказать, во мглу «непростительного забвения».

О цинизме. Посмотрим, как В. Богданов анализирует тиняковские стихи — «хрестоматийные», так сказать, с индивидуальным клеймом:

Пищи сладкой, пищи вкусной
Даруй мне, судьба моя, —
И любой поступок гнусный
Совершу за пищу я!..

.....
 В сердце чистое нагажу,
 Крылья мыслям остригу,
 Совершу грабеж и кражу,
 Пятки вылижу врагу.
 За кусок конины с хлебом
 Иль за фунт гнилой трески
 Я, — порвав все связи с небом, —
 В ад полезу, в батраки.

Это — «Моление о пище».

Едут навстречу мне гробики полные,
 В каждом — мертвец молодой.
 Сердцу от этого весело, радостно,
 Словно березке весной!

 Может, — в тех гробиках гении разные,
 Может, — поэт Гумилев...
 Я же, презренный и всеми оплеванный,
 Жив и здоров!

А это — «Радость жизни».

В. Богданов возмущается:

«Эти стихи для русской литературы — во всяком случае литературы XIX века, с ее прославленной нравственной целомудренностью, — кошунственны! Насмеяться над Богом, порвать с небом за-ради гнилой трески и куска конины — такого она не знала!»

«Прославленная нравственная целомудренность» — от одного только словосочетания сводит скулы. Хочется нарушить благообразие «прославленной» и «нравственной» хоть бредом, хоть истерикой, как в мандельштамовской «Египетской марке»: «...бородатые литераторы, в широких, как пневматические колокола, панталонах, поднялись на скворешню к фотографу и снялись на отличном дагерротипе. Пятеро сидели, четверо стояли за спинами ореховых стульев <...> Все лица передавали один тревожно-глубокомысленный вопрос: почему теперь фунт слоновьего мяса?»

Пафос нарастает: «Такого русская литература действительно не знала: цинизм предстал авторской позицией». Но позвольте — цинизм ли? Тиняков в этих своих стихотворениях сформулировал широко распространенное явление, понятное, прочувствованное окаянными XX веком: слой человечности в человеке очень тонок. Чуть увеличьте нажим на человека — и этот слой лопнет. Человек завопит в ужасе: «Не меня! Джулию! Мне все равно, что вы с ней сделаете. Разорвите ей лицо, обгрызите до костей! Не меня! Джулию! Не меня» (Дж. Оруэлл, «1984»). Человек застонет:

«Ежедневность. Булочки, булочки. Хлеба пшеничного... Мясца бы немного <...> Впечатления еды теперь главные. И я заметил, что, к позору, и господа и прислуга это равно замечают. И уже не стыдятся бедный человек, и уже не стыдятся горький человек. Приехав на днях в Москву, прошелся по Ярославскому вокзалу, с грубым желанием видеть, что едят <...> Один солдат, вывернув из тряпки огромный батон (витой хлеб пшеничный), разломил его широким разломом и начал есть даже не понюхав. Между тем пахучесть хлеба, как еще пахучесть мяса во щах, есть что-то безмерно неизмеримее самого питания <...> Устал. Не могу. 2 — 3 горсти муки, 2 — 3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц может часто спасти день мой» (В. В. Розанов).

Изумленный «цинизмом» Тинякова, В. Богданов не замечает, как о «сладкой и вкусной пищи» взыскует «циник»... «Кусок конины с хлебом» и «фунт гнилой трески» — это вопль несчастного изголодавшегося человека, мольба Иова; то, о чем позднее напишет Шаламов:

«Существенно для „КР” <...> то, что в них показаны новые психологические закономерности, новое в поведении человека, низведенного до уровня животного, — впрочем, животных делают из лучшего материала, и ни одно животное не переносит тех мук, которые перенес человек».

Между цинизмом и идиотизмом. Разоблаченная тайна советских писателей. Между тем Тиняков предвидел упреки в «цинизме» и умело отвел их в авторском послесловии к своей третьей книге стихов, «Его sum qui sum»:

«В моей книге высказана некая несомненная правда. Но правда не есть Истина, — это читатели должны помнить, во-первых. Во-вторых, — я предвижу, что иные читатели, брезгливо улыбаясь, будут говорить: „Это автор про себя писал!” Не совсем так. Конечно, я писал и о себе (что бы я был за урод, если бы мне были чужды переживания, изображенные в моей книге!) — но все же больше я писал о тебе, — читатель-современник».

Современниками Тинякова были В. Катаев, С. Городецкий, Н. Тихонов, Вс. Рождественский.

Встает вопрос: кто ради «сладкой и вкусной пищи» (уж во всяком случае не ради конины и гнилой трески) вылизал «пятки врагу» — Тиняков, вставший с протянутой рукой на углу Литейного и Невского, или ученики расстрелянного Гумилева, ставшие советскими классиками?

(Совсем недавно появился фантастический роман. Главный герой в этом романе — Гумилев, чудом оставшийся жить. Роман плох тем, что авторы отсекают, отбрасывают самый драматический, самый мучительный вариант — Гумилев видит, как обрюзгший, старый Николай Тихонов поднимает тост за великого Сталина.)

В чьих строчках больше безнравственного — тиняковских: «Может, — в тех гробиках гении разные, / Может, — поэт Гумилев... / Я же, презренный и всеми оплеванный, / Жив и здоров!» — или в строчках Городецкого: «И стал, слепец, врагом восстания, / Надменно смерть в неволе звал. / В мозгу синела Океания / И пела белая Москва. ...О, как же мог твой чистый пламенный / В песках погаснуть золотых? / Ты не узнал родного знамени / Или поэтом не был ты?»

Тиняков честно (голыми, отвратительными словами) сообщает читателю: «Я рад, что в разгар террора — я уцелел, я — боюсь смерти. Хочу жить и поэтому радуюсь, что убили на этот раз — не меня» («Скоро, конечно, и я тоже сделаюсь / Падалью, полной червей, / Но пока жив, — я ликую над трупами / Раньше умерших людей». Городецкий тот же страх гибели, ту же жажду просто существования заваливает, забрасывает «мишурой красивых слов»: «пламенный», «пески золотые», «Океания», «родное знамя», — да бросьте вы... какое там «родное знамя»... «Сладко сытому лакею, и горька без пищи честь».

Валентин Катаев, нахлебавшийся страха, голода и холода во время Гражданской войны, объяснял Ивану Бунину: «Что бы ни случилось, одно я знаю твердо — я не буду голодать».

Современники Тинякова, вырвавшиеся из ада Гражданской войны, хотели хорошо есть, спокойно спать — об этом и написал Тиняков. Цинизм? Если и цинизм, то в философическом, античном смысле. Цинизм Диогена, Антиффена, цинизм безумного короля Лира почетен, а не позорен. Впрочем, если человек не признается в том, что ему нужна «сладкая и вкусная пища», а пишет про то, что он — «сын трудового народа» или что-то в этом роде, — это тоже цинизм. Но много хуже. Циничнее.

Тиняков вполне мог «сделать», «сляпать» карьеру советского борзописца. Не стал... Выдал тайну «советской культуры» — и встал с протянутой рукой.

Впрочем, надо быть справедливым: «цинизм» — только один из полюсов советской культуры. Несчастный, загнанный в слепоту, в обездвиженность Николай Островский так же принадлежит ей, как и самоуверенный циничный богач Валентин Катаев.

Придется обозначить этот «полюс» словом обидным, словом оскорбительным — «идиотизм»... Но другого слова я не подберу. Хотя так ли уж обидно,

так ли уж оскорбительно это слово? Великий мудрец Николай Кузанский не боялся называть свои книги книгами «идиота» — «простеца»...

Между цинизмом и идиотизмом расположилась вся советская культура.

И если «разоблаченной тайной» циника Катаева можно считать нахальные строки Тинякова: «...торгует всяк собой: / Проститутка — статным телом, / я — талантом и душой», — то «разоблаченная тайна» «идиота» Н. Островского — трагичнее, безысходнее, прикосновеннее к основам бытия. Это — «Котлован» А. Платонова.

«Путь вверх и путь вниз — один и тот же». Непонятный гераклитовский афоризм становится понятнее, если приложить его к истории России XX века. «Путь вверх» — к человеку-богу (путь А. Платонова и Н. Островского) — оказался тем же, что и «путь вниз» — к перепуганному насмерть червяку, над которым занесен каблук государства.

Гений и злодейство. Однако я как-то свернул на обочину. Вернусь к тексту В. Богданова:

«Тиняков <...> поднимает свою тему — безупречной, интонационно упругой ритмикой, точно отобранной лексикой, экспрессивными предметными деталями — в сферу «почти гениальной» (Зощенко) поэзии! <...> Есть и другие многочисленные свидетельства возможности сосуществования злого „содержания” и прекрасного его изображения <...> И <...> Оскар Уайльд, и автор „Цветов зла”, и автор нашумевших романов Г. Миллер — писатели одного ряда».

По всей видимости, В. Богданов включает в этот ряд поэта-нищего Тинякова. Но это (как говаривал один мой приятель) «замного». Кафешантанные сатириконско-крокодильские стихи: «Пышны губки, алы юбки, / Лихо тренькает рояль... / Проституточки-голубки, / Ничего для вас не жаль...» — никакого отношения не имеют ни к Бодлеру, ни к Уайльду, ни (тем более) к Генри Миллеру. Эти стихи интересны не сами по себе, а только в соединении с биографией автора; в виде, так сказать, приложения к его судьбе. Вне этой судьбы эти стихи как литературный факт неприметны.

В. Богданов просто не понял Зощенко. Зощенко пишет о том, что настоящее искусство там, где художник не лжет. Если художник хочет жрать, то он и должен честно орать: «Мяса! Хлеба!» — а не сочинять «красивости» про «ланиты» и «перси».

Главное «злодейство» художника — ложь, «мишура», лицемерие. Тиняков, стоящий с протянутой рукой на углу Литейного и Невского, — никакой не «злодей». Он — циник, античный киник в XX веке. В. Богданов этого не понимает:

«Подобные парадоксы — гений и злодей — ставят нашу эстетику в тупик, поскольку она до сих пор уклоняется от решения ключевых вопросов <...> Она никак не осмелится ввести в загадочную формулу „И”, предпочитая ему спасительное „ИЛИ”».

Какую же эту «нашу эстетику»? Сейчас узнаем.

«Утилитаристы» и «эстеты». Собственно говоря, процитировав два стихотворения Тинякова и не то повозмущавшись цинизмом, не то повосхищавшись эстетизмом, В. Богданов больше к Тинякову не возвращается. А весьма путано излагает полемику между «разночинцами» и «эстетам» в 50 — 60-х годах XIX века. Разночинцев он именуется «критиками-утилитаристами» и ругает их ругает.

Получается, правда, забавный феномен. В. Богданов защищает «чистое искусство» таким негибким деревянным языком, что... Судите сами. В. Богданов цитирует Варфоломея Зайцева:

«Лучше не тревожить этого классического хлама, пока время не похоронит его вместе с теми тунеядцами, которым в жизни нечего делать, как только восторгаться ляжками Венер и профилями Аполлонов».

Фраза, разумеется, хамская, но... хорошо сбита, красивая, эстетская.

Рядом с этой фразой вялое лопотание В. Богданова прежде всего не-эстетично, не-красиво:

«Можно было бы посчитать эти разухабистые тирады издержками полемического пафоса. Но, насколько нам известно, противоположная сторона никогда не снижалась до такого тона. Советское литературоведение всячески пыталось отмежевать Зайцева от Чернышевского, Добролюбова. Но эстетические основания явно вульгарного подхода к искусству заложены учением Чернышевского о природе прекрасного».

Достаточно сравнить фразу Зайцева и рассуждение В. Богданова, чтобы понять, кто в данном случае — эстет, а кто — нет...

Для чего В. Богданову понадобилось рассуждать об «эстетях» и «утилитаристах» в статье, посвященной «гению и злодейству»? Для того, разумеется, чтобы объяснить, почему такой значимый поэтический феномен, как Тиняков, остался нерастолкованным, непонятым. Советское литературоведение, мол, по прямой происходило от разночинской критики и эстетики и потому было равнодушно к проявлениям чистого искусства, «искусства для искусства»...

Это — не так.

В советском литературоведении, в советской критике, вообще в советском художественном сознании не менее, а может быть, более весомой была эстетская, «уайльдовская» составляющая...

Эстетство советского художественного сознания было подспудным, под — так сказать — польным, необъявляемым, но тем более сильным.

Накануне революции Маяковский объяснял в своей статье о Чехове: «...писатель только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помой — безразлично. Идей, сюжетов — нет. Каждый безымянный факт можно опутать изумительной словесной сетью». Этому эстетическому кредо Маяковский оставался верен всю жизнь.

В конце концов, не все ли равно, что писать: шовинистические двустушия в издательстве «Сегодняшний лубок» или революционные частушки в «Окнах РОСТА» — «писатель только выгибает вазу».

Тест — простой. Расположите рядом В. Катаева и А. Солженицына, В. Шкловского и Ю. Карабчиевского — и ответьте на вопрос, кого из вышеперечисленных можно отнести к «эстетам», а кого — к «утилитаристам»? В «эстетях» окажутся советские писатели. Это и м было все равно, что «налито в вазу» и какого цвета флаг развевается над их крепостью...

Случай в Лиссабоне. Присягая (если можно так выразиться) на верность знамени чистого искусства, В. Богданов пересказывает статью Достоевского «Г.-бов и вопрос об искусстве». Ему кажется, что это самый убедительный аргумент в пользу эстетства. Цитирую:

«Достоевский воссоздает такую гипотетическую ситуацию. В Лиссабоне происходит разрушительное землетрясение. Жители города бросаются к газетам и журналам, чтобы узнать о масштабах катастрофы, о судьбах родных и близких. А вместо этих известий читают на первой странице „Меркурия“: „Шепот, робкое дыханье, / Трели соловья...“ Возмущенные лиссабонцы казнят поэта! Но проходит время, землетрясение уходит в прошлое — и лиссабонцы ставят поэту памятник, как бы мы сказали, за вклад в развитие лирического искусства! Вывод? „Выходит, что не искусство виновато в день лиссабонского землетрясения“. А кто? что? Лиссабонцы с их требованиями от искусства современности, сокращенной до актуальности, пользы сиюминутной и несомненной».

Пожалуй, Достоевский не согласился бы с этим выводом. Для него никто — ни лиссабонцы, ни поэт — не были виноваты. Каждый был по-своему прав. Но не в этом дело.

Достоевский был слишком человеком XIX века, чтобы представить себе другую ситуацию: наутро после страшного землетрясения никто из лиссабонцев не рвется развернуть газетный лист, потому что никаких сообщений о количестве жертв, о фамилиях погибших — ни-ни... Главный редактор получил ЦУ: «Никакой паники. На первую полосу дайте стихотворение. Чистое. Лирическое. Пейзажное. „Шепот, робкое дыханье...“? Годится».

Парадокс советского культурного сознания в том и заключался, что оно было принципиально двомирно, двулично. Под знаменем «утилитарной» критики собирались самые что ни на есть «эстеты».

Это Мандельштам клялся не изменять четвертому сословию и поминал разночинцев, которые «рассохлые топтали сапоги». А советский критик, литературовед, вообще деятель культуры влечение, род недуга испытывал к тому, что проклинал, критиковал, разносил в пух и прах. И, наоборот, то, чем он клялся, было ему в тягость, скучно, неинтересно. «Рассохлые сапоги» разночинца оказались задвинуты в самый дальний угол... Александр Македонский в каком-то там пернатом шлеме и обнаженные девы (формы, формы!) — и «в дымных тучках пурпур розы», и допуск в спецхран, а там такая красотища — вот счастье, вот права! — вот идеалы.

Тиняков и спор между «эстетам» и «утилитаристами». Читатель статьи В. Богданова в недоумении. Читателю непонятно: по какому «ведомству» собирается пустить Тинякова достопочтенный исследователь. «Цветам зла» вроде бы полагается произрастать на «эстетической клумбе», но представить себе, чтобы кто-нибудь из «эстетов» выдал бы «Лихо тренькает рояль», — невозможно. Между тем «Моление о пище» вполне могло бы появиться в «Свистке» Добролюбова. Почему бы и нет? Назначение этого стихотворения — вполне «утилитарное»: человека надобно кормить; от голодного человека нельзя требовать нравственности. Нет, нет: «гений и злодейство» — это не о Тинякове.

Читатель начинает понимать: Тиняков здесь сбоку припека.

Тиняков оказывается той «пуговкой», отстегнув которую можно с легкостью отбросить весь «утилитаристский» хлам, а уж следом приобретается подлинная эстетика, красота, изящество и прочая гуманитария.

«Ныне, похоже, времена меняются. Издана поэма И. С. Баркова о сексуальных подвигах Луки (? — Какая поэма? Какого Баркова? Профессор, снимите очки-велосипед! „Лука Мудишев“ — анонимная поэма середины XIX века. И. С. Барков жил и творил в XVIII. — *Н. Е.*) Изданы, наконец, у себя на родине „заветные“ русские сказки. Печатаются без купюр „Темные аллеи“ Бунина, „Лолита“ Набокова, которую не так давно и в спецхране непросто было заполучить. (А! Как обрадовался бы Набоков, прочтя это. Его нимфетка — в спецхране. И ее — не так-то просто „заполучить“! — *Н. Е.*) Посвящаются юбилейные статьи Вал. Катаеву, на долгие годы попавшему в опалу: не так писал о классиках советской литературы».

Впрочем, тут В. Богданов точен: Валентин Катаев в самом деле был самым ярким представителем чистого искусства в России.

Никакой не Тиняков (нищий, маргинал, неудачник), а Катаев (классик, остроумец, циник, богач) — вот кто живое воплощение парадокса «гений и злодейство». О нем и надо было писать статью под названием «Все ли дозволено гению?».

Тиняков — что ж. Нищий.

Нищему — все дозволено.

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

МАРСЕЛЬ И ОБЛОМОВ

Алексей Макушинский. Макс. Роман. М., «Мартис», 1998, 365 стр.

Существует некая граница между произведением и миром, лежащим вне его. Автор выхватывает из потока текущей жизни событие, долженствующее стать началом сюжета, узлом стягивающее на себя все — предшествующие и последующие — события, прерывающее собой естественную связь явлений, навязывая им новую, небывалую. Собственно, именно в этом, абсолютно-начальном, моменте произведения концентрируется — во всей силе — творческая воля автора, именно здесь он выступает как демиург, говорящий первое Слово. Логикой тут не возьмешь. Нужна вера. В какую-то уже-понятность мира, в возможность принять многое просто без объяснений.

Столь длинное вступление понадобилось мне, чтобы начать (вот она, проблема начала!) говорить о произведении странном, неуловимом и «неописуемом» (слово из текста) — о романе А. Макушинского (Рыбакова) «Макс». У этого романа есть — хотя и весьма условно — конец, а начала (в оговоренном выше смысле) мне так и не удалось обнаружить. И дело здесь совсем не в композиции (у «Героя нашего времени» начало имеется несмотря ни на что), а в самом характере повествования. Оно развивается в двух планах: план действия и план написания (сюжетный и авторский). Что само по себе вполне обычно. Но...

Автор-повествователь (персонаж, имеющий, впрочем, весьма сложные отношения с автором романного целого) удаляется в полузаброшенную деревушку «на берегу моря, на краю мира», чтобы описать некоторые события, участником которых он был. Описание этих событий видится ему облаченным в форму романа. Причем жанровая модификация, в которой воплотится его замысел, выбрана им заранее и вполне рассудочно: она должна (согласно его желанию) соотноситься с формой одного из великих произведений нашего века, о чем он неоднократно сообщает. (Белая с черными полосами на обложке книга, «одно из тех весьма многочисленных сочинений, в которых — при полном несходстве — я видел, и вижу, некое тайное, необъяснимое, скрытое и все-таки несомненное для меня соответствие — моей собственной (так думаю я теперь...) еще только приближающейся к осуществлению истории...» и т. д. Фраза в три раза длиннее, чем процитированный мною отрывок.) Длина фразы, темп, стилистика сразу же напоминают — и должны напомнить искусственному читателю — Пруста. Значит, книга эта — «В поисках утраченного времени». Значит, повествователь приехал к морю, в заброшенную деревушку на краю мира искать утраченное время. Но так ли это? Пруст воссоздал то, что философы называют «мир-для-себя», мир, удержанный в памяти, данный герою — он же у Пруста повествователь — в симультантности восприятий, утраченный и вновь обретенный в воспоминании. И оттого в настоящем (бисквиты, опущенные в чай) — точка отсчета, толчок к нему. Нет ничего, что было бы вне времени, вне сознания, вне восприятия. У Макушинского, при внешнем формальном сходстве (за что, быть может, с первых же страниц многие сочтут роман вторичным и недостойным чтения), все иначе.

Герой романа — Макс — отделен от автора, и это уже коренным образом нарушает прустовскую установку, выводит из внутреннего, временного, во внешний, пространственный, план. Да и, спрашивается, нужно ли было Марселю, дабы выполнить свою задачу, искусственно изымать себя из пространства действия? Нет, напротив, требовалось сохранить то же пространство, дистанцировав его во времени. Автор-повествователь романа «Макс» связывает возможность написания романа только с побегом в иное пространство. Его «теперь» имеет точную локализацию. Рефреном через все повествование проходит «теперь» и, как уточнение, «в

деревушке у моря, на краю мира». Так что если роман и основан на воспоминании о каких-то реально случившихся событиях, то эти события, отнесенные в прошлое, вступают с самой категорией «прошлого» в сложные взаимоотношения. «Отступая в прошлое, события и вещи меняют свою природу; очертания их кажутся воздушными, легкими — как очертания облаков, плывущих над морем; вся тяжесть жизни из них исчезает... Отдаляясь, вещи и события влекут и чаруют нас — издалека... Но есть... минуты, когда мы видим настоящее так, как видим обычно лишь прошлое, с той же отрешенностью, с тем же вниманием, как будто отсутствуя, но, может быть, именно потому присутствуя в нем...»

В пространственно-временном континууме для Макушинского главенствующим членом является (в отличие от Пруста) не время, но пространство. Временная дистанция в вышеприведенном пассаже воспринимается оптически, как пространственная. Сам процесс творчества он ощущает как вычерчивание в пространстве линий, соединяющих далекое и близкое, прошлое и настоящее. Время в романе не заострено, оно просто какая-то в целом малообязательная последовательность событий. Зато пространство и связанные с ним понятия присутствия, дистанции, видения занимают ведущее место. Отсюда такое настойчивое стремление автора-повествователя уехать. Позиция (как сказал бы Бахтин) «внеаходимости» завоевывается им буквально, физически. Но настоящей, смысловой (мы несколько схематизируем) дистанции по отношению к событиям у него нет. Они, выражаясь фигурально, наступают ему на пятки. У него есть замысел, порожденный этими событиями по мере того, как ему постепенно открывался их смысл. Но события эти таковы, что вне смысла и замысла, которые, увы, известны только автору (для краткости не прибавляю здесь — повествователю), они скучны и бессмысленны. Это, собственно, и не события вовсе (двое, идущие навстречу друг другу, девушка, сидящая с книгой — той самой — в конце тенистой аллеи, герой, говорящий: «Я поворачиваю обратно»). И автор попадает в так называемый «герменевтический круг», в котором часть нельзя понять, не понимая целого, а целое нельзя понять, не понимая его частей. Значит, ни одна из частей сюжета не может быть началом (абсолютным началом — в нашем понимании). Не может быть началом и сам исходный момент повествования — появление автора в деревушке «на краю мира», потому что для того, чтобы понять, как он сюда попал и что означало для него появление здесь, читатель должен прочитать весь роман (ведь именно главный герой романа, Макс, после всех — очень странных — событий, открыл эту деревушку для автора, пригласив его сюда. И сам приезд Макса в деревушку был итогом этих событий).

Итак, начала нет. Есть поиски начала, движение автора по кругу, постепенно размыкающемуся и принимающему читателя в себя. На протяжении многих первых страниц Макушинский показывает, как автор не пишет роман (привычная конструкция «роман в романе»), а описывает, как и что он собирается в роман внести. В ходе этой подготовки, кажущейся читателю бесконечной, Макушинский заставляет своего автора странными намеками, сбивчиво и путано, без попытки расставить акценты предварительно пересказать всю внешнюю сюжетную канву романа. Но читатель, даже самый благожелательный, не достигнет это намерение. Он поймет, что ему уже заранее все открылось, все стало известно, только дочитав роман до конца. К чему, в самом деле, относятся эти бесчисленные экивоки: «вот так мы и кружим в пространстве», замечает автор, говоря о своей первой встрече с главным героем в какой-то дачной местности, самой обыкновенной, но описанной так, будто она имеет исключительное значение. И это сочетание обыкновенности, доходящей порой до банальности, и в то же время необыкновенной значительности, приписываемой происходящему, остро ощущаемое читателем, кажется ему странным. «Медленно падал, я помню, один-единственный сорвавшийся с дерева лист, мокрый, первый и желтый, — так медленно, что казалось, ему вообще не долететь никогда до земли, — кружился, кружился, падал, не долетал, долетел...» Это не изысканная словесная лепка Пруста, нет, — Макушинский строит свое неимоверно сложное сооружение из грубого, простого, в буквальном смысле подручного лексического «материала». Что сказано здесь? Медленно падал первый желтый лист.. Фраза из букваря. Но построена она как своего рода замедленная съемка, за-

ставляющая пристально взглянуть в обыкновенное, делающая его значительным. Все дело в особенном ритме. Именно ритм, организующий видение — и авторское, и героев, — не дает распасться этой неимоверно сложной и странной конструкции, в которой является роман «Макс».

Но какие же, в самом деле, события-несобытия происходят в романе «Макс»? Одно из них, захватившее собой остальные, а именно — написание автором-повествователем романа о том, как был задуман роман, который пишется им в маленькой деревушке, мы уже отметили. Роман же был задуман о тех событиях, которые все-таки происходят внутри этой рамочной (а на самом деле — несущей) конструкции. Вот эти-то события и случаются с главным героем. Если начать пересказывать их, то получится... Ничего не получится. Вернее, почти ничего. Один молодой человек, окончив школу, приезжает в деревню, где он знакомится с другим молодым человеком. Они вместе изучают окрестности, размышляют, спорят. Потом уезжают в Москву и там расстаются на некоторое время. Макс бродит по улицам и бульварам города и находит некий «театр на маленькой площади». Знакомится с его режиссером — Сергеем Сергеевичем, с актерами — Фридрихом, Лизой, Марией Львовной. Потом как-то отходит от всего этого. Но ненадолго. Опять встречается с автором. Едет с ним в ту дачную местность, где и произошла их первая встреча (в августе, как сказано в романе, «в начале всего»). Затем начинает вести странную, рассеянную, многолюдную жизнь, в которой очень большую роль играет Фридрих. Ближе сходит с Лизой. Проведя лето с Фридрихом в Прибалтике, что-то поняв (что?), приезжает в Москву уже изменившимся; вдруг исчезает из поля зрения, становится затворником, даже берет в институте академический отпуск, мучается, близок к отчаянию. Но кончается зима, и он, не выдержав «беды и отчаянья», вновь приходит в театр, активно включается в его жизнь. В это время автор, которого Макс тоже знакомит с людьми из театра, пишет пьесу. Сергей Сергеевич берется ставить ее. Макс предстоит сыграть в ней главную роль. После премьеры Сергей Сергеевич приглашает их, Макса и автора, отпраздновать с ним Новый год (у себя на даче, в той самой местности, где протекали события августа, начала всего). И по дороге туда Макс неожиданно говорит фразу, с которой — формально — начинается роман: «Я поворачиваю обратно». И действительно поворачивает. И отказывается от дальнейшего участия в спектакле, вновь уходит в себя. В поисках — чего именно? — он, по совету своего друга Алексея Ивановича, уезжает в ту самую деревню. Некоторое время спустя приглашает туда будущего автора романа.

Вот и все. Или почти все. Других событий, связанных с главным героем, в романе нет. Нет тех подробностей, деталей, диалогов, внутренних монологов и проч., которые, при внешней бедности фабулы, составляют истинный сюжет классического русского романа, содержащего в себе множество пусть незначительных и частных, но стремящихся перерасти себя самих символически-многозначных событий. Те же несколько эпизодов, которые мы, заботясь об удобстве читателя, постарались перечислить, исчерпывают сюжет. Все происшествия учтены. Других нет. Для объема, превышающего триста страниц, маловато. Но принцип замедленной съемки срабатывает и здесь. Доля авторской речи в романе огромна. Создатель текста словно не доверяет вещам, не доверяет своим героям. Не подпускает их, движимый «пафосом дистанций и расстояний». Не позволяет и себе самому «войти внутрь», встать на место персонажа, увидеть мир его глазами. Не доверяет и читателю: налагает запрет на все внешнее, точное, общеизвестное (например, утверждает, что для него распался мир имен и названий, и вслух не произносит ни одного), на все то, что будет способствовать освоению и узнаванию мира, изображенного на страницах романа. Доминирует только один голос, только одна точка зрения — точка зрения автора, смотрящего на все извне, со стороны, тщательно, в соответствии со своим весьма своеобразным замыслом, сортирующего жизненный «материал». Этой, на первый взгляд, нормальной эпической авторской позиции, однако, не соответствует малособытийность романа. На внешние события — за редким исключением — налагается запрет, как и на мир имен и названий. Все действие перенесено во внутренний план главного героя. Но в силу всех описанных выше особенностей внутренняя жизнь Макса показана весьма своеобразно. Она

буквально изображена, увидена откуда-то со стороны, как это делается обычно в кино: «Макс, уже вечером, в сумерках, вышел однажды на улицу, — переехал, на троллейбусе, через мост — и пошел куда-то, почти не глядя и почти не думая, может быть, куда он идет. И что-то странное было в тот день на улицах, в городе, что-то особенно тягостное, возмущенное, тревожное, зыбкое... но он, Макс, отдавшись своим собственным тревожным, и зыбким, и тягостным мыслям... почти не смотрел, быть может, вокруг, — и только исподволь замечал... что-то особенное... на улицах, в городе — и как бы некий оттенок, лежавший в тот день: на стенах домов, на снегу, на машинах, на лицах, на стеклах». Вибрации внутреннего состояния героя — это вибрации увиденного им.

Нетрудно, однако, заметить, что даже те события, на которые не наложен запрет, выстраиваясь по порядку, образуют некую вполне поддающуюся законам логики последовательность, имеющую кризисный характер. Фабула романа подобна маятнику. Жизнь Макса постоянно колеблется между уходом в себя и выходом вовне. Но причина всех этих внезапных сломов и кризисов лежит вне фабулы. Фабула образована из тех событий (единственных не подвергшихся запрету), которые являются следствием (а не причиной!) динамики внутреннего мира героя. Сам же этот внутренний мир абсолютно автономен и ни от чего не зависит.

Есть в русской литературе герой, который на все резоны в пользу конкретной практической деятельности отвечает одно: «А когда же жить, когда же жить?» Этот герой — не кто иной, как Обломов. Поиск иной, подлинной жизни, помимо той, практической, имеющей понятную и близкую цель, к которой его пытается приобщить Штольц, приводит его к отказу от жизни вообще, приводит его к гибели. Обломов — первый герой русской литературы, мучающийся, говоря современным языком, экзистенциальными вопросами.

Макс — последний в ней (по времени) экзистирующий герой — происхождением своим обязан, скорее всего, в том числе и Гончарову. Собственно, главная тема романа — поиск жизни. Не смысла, не цели, не Бога (проклятые вопросы русской литературы), а жизни как таковой. Здесь Макушинский полемичен Прусту: его Макс мучается не поиском утраченного, ушедшего, а поиском жизни, понятой как полнота присутствия в настоящем, как четкое совпадение с собой в этом единственном моменте настоящего, совпадения в нем рефлексии и ощущения, видения и мысли. Осмысливая поиски главного героя, Макушинский создает художественную феноменологию настоящего. Настоящее связывается с состоянием особой ясности, собранности, ухода внутрь своего «я», внутрь своего «я-для-себя», когда отсекаются все моменты, в которых личность овнешняет себя — для других. В настоящем человек не физически, а абсолютно, то есть глубинно, одинок. Мир же других противоречит самой идее настоящего, ибо в любом случае связан с будущим, с тем «легким будущим», соскальзывание в которое так мучает главного героя. Это мир стремлений, целей, надежд, который не дает удержаться в глубине настоящего. Значит, для того, чтобы удержаться в истинном настоящем, нужно выйти за пределы этого мира. Нужно овладеть временем, задержать его. То есть превратить в пространство. Макс в поисках подлинности присутствия стремится к абсолютному одиночеству, но это удается ему лишь на мгновение. Он не может овладеть временем, постоянно соскальзывая в легкое будущее, в мир других, сначала метафизически — в мир возможного другого (бахтинская струя сильна в романе), — а затем и буквально. Там он и встречается Фридриха и Лизу (направляется параллель со Штольцем и Ольгой). Фридрих — своего рода альтер-эго героя. Он тоже не чужд экзистенциальных проблем, но не стремится найти их абсолютного решения и, будучи актером, решает их чисто пластически (особая продуманность движений и т. д.), мирясь с неподлинной жизнью, считая, что иной не дано. Он-то и замещает Макса на сцене после его отказа играть в пьесе (как в какой-то мере Штольц замещает Обломова в мире после его ухода со сцены).

Пьеса, написанная автором, — настало наконец время сказать о ней — это квинтэссенция всего повествования. Она об актерах, играющих пьесу о том, что они... играют пьесу. Один из них отказывается играть. Но понимает, что пока он на сцене, он все равно будет играть, что бы он ни сделал, что бы он ни сказал. Не играть он может, лишь уйдя со сцены, оказавшись в одиночестве. Только тогда он

сможет совпасть с собой, стать собой. Все это имеет прямое отношение к Максусу. Его проблему нельзя разрешить, живя в том пространстве, в которое он помещен, потому что это — пространство других. Москва — город всевозможных связей и обусловленностей — так и показана в романе. Нужно найти чистое пространство, очищенное от времени, пространство подлинного присутствия. Им-то и оказывается деревушка у моря, на краю мира, куда уезжает Макс (вспомним, что Обломов, потерпев окончательный крах, переселяется на Выборгскую сторону). Именно там ему удастся осуществить желанный синтез — отстраниться от всего, овладеть временем, совпасть с собой. Он испытывает катарсис от примирения всех противоречий и, овладев жизнью, начинает наконец просто жить. По сути, обретенная им экзистенциальная позиция совпадает с позицией автора романа о нем. Можно сказать, что Макс перестает быть героем некоторой нам рассказываемой истории и становится автором собственной, найденной им с таким трудом, жизни.

Может показаться странным то обстоятельство, что роман Макушинского представлен нами вне связи с течением современной литературы. Но это неудивительно. Пруст как-то не прижился на русской почве (если иметь в виду жанровый аспект его романа, а не сам роман как единичное явление и образец для подражания). Исключение составляет разве что Газданов. Но последовать за Прустом — значит разорвать связь с русской классической традицией. Макушинский, сблизивший две взаимоисключающие тенденции, в этом смысле уникален. Но в отдельных линиях роман безусловно имеет предшественников. Так, строение фабулы во многом сходно с фабулой повести Битова «Жизнь в ветреную погоду», где главный герой, подобно Максусу, ищет точку совпадения с настоящим и, подобно автору-повествователю, ощущает момент этого совпадения как момент начала письма, который и замыкает сюжет повести в своего рода кольцо (что соответствует «безначальности» романа Макушинского). Сравнение этих произведений, отделенных друг от друга промежутком в тридцать лет, думается, многое бы дало для понимания тех тенденций, которые объединяются под рубрикой «постмодернистских». Повесть Битова строится на непосредственном изображении жизневосприятия главного героя, тогда как роман Макушинского отягощен грузом культурной памяти и представляет собой сложную систему намеков и отсылок.

Итак, вот он, перед нами, хаотичный и стройный, захватывающий и трудночитаемый, не имеющий начала, но зато неумолимо, неминуемо движущийся к завершению первый (подписан к печати в ноябре 1997 года) роман этого года. События в нем отступают на второй план, а на первый план выходят события переживаемые онтологические проблемы. Схема классического русского романа, но с метафизикой вместо социологии и психологии, оказывается внутри модернистской конструкции а-ля Пруст. Все это выглядит неожиданным образом органично. Ведь «Макс» — первая, как сказано в аннотации, книга автора. Будем надеяться, что не последняя.

Евгения ВОРОБЬЕВА.



МЕЖДУ ТЕЛОМ И ТЕКСТОМ

В. Павлова. Небесное животное. Стихи. М., 1997, 255 стр. (Серия книг журнала «Золотой век».)

Книга стихов Веры Павловой ставит рецензента в затруднительное положение. Нельзя процитировать как раз те стихи, что намеренно резко обводят контуры ее творческого поля, делают его почти вызывающе различимым в сравнении с другими, соседствующими: «О чем бы я ни писала, я пишу о е...». Итак, приходится обходиться отточием. Не то чтобы Павлова злоупотребляла пресловутой лексикой. Напротив, *эти* слова потому и бросаются в глаза, что единичны. Малые, раздражающе острые вкрапления. По видимости, книга могла легко обойтись и без них — так, почеркушки про себя и знакомых. Ненавязчивость придает им значительность. Это жест, фиксирующий позицию.

О маркирующем статусе подобных вкраплений заставляет думать и присутствие совсем не обязательного для книги стихов персонажа. Авантитул сообщает, что книга составлена Борисом Кузьминским. Заботясь представить автора, составитель оказывается в какой-то мере со-автором. Своего рода куратором экспозиции отобранных текстов. Почему-то кажется, что это его решение. Возможно, что и правильное. Без раздражающих вкраплений *x* и *e* в привычно беглом первом прочтении книга рисковала бы потерять свою различимость. Маргинальные словечки попадают на глаза в нужное время в нужном месте и цепляют внимание. Вместе с тем они так отчетливо проговорены, так старательно артикулированы, так тщательно прописаны (курсив), что напрочь лишаются той колоритной сочности и полновесности, какую имеют, к примеру, у другого Кузьминского — Константина. Они провоцируют внимание.

Тем более женским стихам вообще нелегко отличаться без какой-то намеренно вызывающей жестикюляции. Изначала поле женской поэзии в России настолько намагничено именами Ахматовой и Цветаевой, что каждое слово, произнесенное стихами женщиной и о женском, с какой-то обреченностью попадает в притяжение то одного, то другого полюса. Свои отношения с А. и М. приходится выяснять и Павловой, но об этом позже.

Провоцирует читателя, кстати, и внешность книги. Густо-синяя обложка верже с серебряным тиснением тревожит легкую тень Елены Гуро («Небесные верблюда»), фронтиспис напоминает о Чехонине, потом это характерное обозначение года римскими цифрами... Все это почти навязчиво приглашает припомнить пряную московско-петербургскую эротику женской поэзии начала века. Даже имя автора начинает казаться стилизованным: припоминаются и воскрешенная Брюсовым Каролина Павлова, и Анна Павлова, и почему-то Надежда Львова. Ожидаешь привычной стилизации — а знакомство со стихами встряхивает, как контрастный душ. Начинаешь читать более внимательно. И находишь чтение интересным.

Между *телом* и *текстом* движется павловское письмо. Как подробно из стиха в стих она исчисляет тело, какой выстраивает внимательный, чтоб ничто не ускользнуло, перечень мужских и женских телесных «впадин, выступов, пазов»: «скуластенькие бедра», лобок, предплечья, соски, пупок, ключицы, локти, колени, небо, живот, «юное влагалище», язык, подбородок, ноздри, легкие, пальцы, кожа, поры, просто губы и малые губы. Вроде ничего не забыто.

Телесность оказывается и самым достоверным критерием жизни, мерой наличия чего бы то ни было: «Но чем летящее телесней, / тем убедительней полет». Хотя вообще путешествие в лабиринте тела предпочитается полету:

Ты сам себе лестница — ноги прочнее упри,
ползи лабиринтом желудка, по ребрам взбегай,
гортанью подброшен, смотри не сорвись с языка,
с ресниц не скатись, только потом на лбу проступай
и волосы рви. Ибо лестница коротка.

Тело неустанно исследует само себя, словно сомневаясь в своей наличности. Перед зеркалом (навязчиво возвращающаяся ситуация), мужчиной, или даже «надобны два зеркала или два мужчины». Тела утверждают друг друга касаниями: «Давай друг друга трогать, / пока у нас есть руки». Они сплетаются, вдавливаются, всасываются друг в друга в стремлении слиться, но не хватает для полного совпадения тех самых легко исчислимых «впадин, выступов, пазов». Как не позавидовать «зеленым водорослям и низшим грибам»: у них, оказывается, «сливаются не половые клетки, а целые особи».

Кульминация телесности — соитие. Тело — сплошная «эрогенная зона» — проецируется на весь мир:

соски эрогенны
чтоб было приятней кормить
пупок эрогенен
чтоб родину крепче любить
ладони и пальцы
чтоб радостней было творить

язык эрогенен
чтоб вынудить нас говорить

Впрочем, видимый праздник телесности у Павловой лишен рубенсовской убедительности и обделен языческой радостью. Погружение в тело явно не оправдывает когда-то на утре акмеизма радостно провозглашенных предвкушений путешествия по «девственному, дремучему лесу нашего темного организма». Павловская таксономия тела, вроде бы такого теплого и конкретного, «крапленного родинками и родами», отдает номинативностью словарных статей, справочников, учебников, что и демонстрируется остроумно рассеченной на строки анатомической справкой:

С. И. Гальперин, А. М. Васюточкин
Курс анатомии и физиологии человека.
Учпедгиз, 1950

Верхняя челюсть и скуловая кость
Вместе с лобной и клиновидной костями,
А также слезной и решетчатой костями
Образуют глазницу, представляющую костное
Вместилище для глаза.

Так упорно утверждаемое, неустанно проговариваемое стихами тело оказывается вдруг зыбким. Оно ускользает, превращается в текст. Даже *те* слова, со дна которых, казалось бы, можно поднять самую телесную суть телесности, чем более упорно и отчетливо артикулируются, тем невесомее становятся. «Однажды начав интонировать слово *люблю* / по-разному, как Якубович рекламную паузу, / вижу, как это слово стремится к нулю», — так аннигилируется телесность на празднике свободных означающих. Остается «свое крошить на буквы тело: / а — ять». Тело кодируется алфавитом, в нем не остается ничего несловесного. Даже такая надежная точка опоры, как «несложная мужская арматура», уравнивается с графемой: «Можно, губами сотру твой восклицательный знак?» — «фаллос скорее — минус». «Соитие лексем» убедительнее, чем соитие тел, которое оказывается паузой, прерывающей чтение: «*Читали Бродского, потом трахались... потом снова читали Бродского*». Собственное тело растворяется в тексте: «Так меня цитирует и правит / каждое твое прикосновенье».

Это вновь осваиваемое в стихах Павловой осциллирующее движение сознания между телом и текстом не открывает, однако, столь же новых переживаний. Эмоционально оно наполняется фундаментальным и поэтически-традиционным ощущением оторванности от простой наличности мира:

Соловей да ландыш — одна семья.
А я? А я в тисках алфавита —
а — я, а мне сам брат — не брат,
речью, как пуповиной, обвита
и задушена.

Мы попадаем в хорошо освоенный ряд литературных эмоций. А потому неизбежно цитируется и знакомое желание вернуться в блаженное безмолвие и самождественность, безусловную телесность кольцецов и усоногих («Дарвин, Дарвин, хочу назад!»), и столь же фундаментально литературный («как сердцу высказать себя») ропот на невыразимость, и, соответственно, старинная зависть романтического словесника к «Рихтеру, а еще больше — Нейгаузу».

Перечислительно-откровенная телесность в стихах Павловой а-эротична, и она спровоцирована скорее исследовательским, чем чувственным порывом. Ожесточенная сознательность текста вряд ли совместима с непосредственностью традиционных моделей женской эротики — саломеями, русалками, китежанками. Да и сам статус «женского поэта» стилистически настолько и столькими отрефлектирован, предопределен и разыгран (вплоть до Дмитрия Александровича в роли сверхженского поэта), что вряд ли может вновь стать непосредственной выразительной формой и формой самопознания:

Во мне погибла балерина.
 Во мне погибла героиня.
 Во мне погибла лесбиянка.
 Во мне погибла негритянка.
 Как много их во мне погибло!
 И только Пригов жив-здоров.

Возникает ощущение, что возможности целостного и непосредственного высказывания женщины о женском в поэзии едва ли не исчерпаны Цветаевой и Ахматовой. Магнетический характер соседства с этими сиренами женской поэзии сказывается мгновенно, как только Павлова рискует открыто примериться к их соседству:

Воздух ноздрями пряла,
 плотно клубок наматывала,
 строк полотно ткала
 Ахматова.
 Легкие утяжелив,
 их силками расставила
 птичий встречать прилив
 Цветаева.
 Ради соитъя лексем
 в ласке русалкой плавала
 и уплывала совсем
 Павлова.

Особенность этого группового снимка состоит в том, что если более чем предсказуемые лики Ахматовой и Цветаевой получились, то на месте Павловой вышло что-то вроде коллажа: кудри Марины, профиль Анны. «Соитъя лексем» не спасает от стилизации. Между тем чувство неизбежного соседства с музами женской поэзии Павлову действительно беспокоит и не отпускает. Реальные отношения проясняются не в прямых формулировках — они выражаются попутными замечаниями, цитатами, репликами. Особый сюжет книги составляют отношения с Ахматовой. Они нервные и отдают брутальностью антиахматовских реплик Юрия Кузнецова, в свое время показавшихся неслыханно смелыми. Другое дело — Цветаева. Павлова все-таки из ее стана.

По крайней мере близость к слову Цветаевой у Павловой очевидна. Она скажется и в таком характерном этимологизировании (*Агония, Огонь. / В огне плывущий конь*), и в стыках паронимов, и в особой отчетливости ритмического выделения слов, которое так выгодно подчеркивает их морфологическую фактурность. Оставив воздушно-огненные красоты цветаевской риторики, Павлова усвоила ее конструктивные принципы. При этом в очень экономном, сжатом словесном пространстве Павловой цветаевское обнаруживает тяготение к полюсу минимализма. Слово Павловой обживает нишу между поэтиками Цветаевой и Вс. Некрасова. Между

Ласка, распаяясь, станет золой,
 Ласка, повторяясь, станет скалой:
 ла-ска-ла-скала... С ее высоты
 вижу тебя и уверена: это ты.

Или:

Время, оно
 либо оно,
 либо оно — оно.

Это язык, расчленяющий любые заранее данные целостности, неожиданно сталкивающий и стыкующий их компоненты, конструирующий новые последовательности. Язык словесный по преимуществу, из слова выводящий любую реальность. Насколько приспособлен такой геометрический язык для выражения женского, телесного, органического — это вопрос. Может, и закономерно, что самыми завершенными, эстетически убедительными в книге оказываются стихи тематически не «женские», не «телесные» — бестелесные:

Начальник хора, кто начальник твой?
 Начальник тишины, глухой молчальник,
 глухонемой о нас о всех печальник,
 певец без слов, поскольку пенье — вой,
 поскольку отвечаем головой
 за песенку, что выдохнуло тело,
 а песенка подернется травой.
 А тишине ни дела, ни предела.

Владимир АБАШЕВ.

Пермь.

*

ОДИНОКО ПРОНИЗАННЫЙ СЧАСТЬЕМ

Игорь Шкляревский. Стихотворения. М., «Арион», 1997, 176 стр.

Трудно назвать другого современного поэта, у которого состояние счастья так прочно сплавлено с одиночеством. «Стою одинокий. Счастливый», — счастье вытекает из одиночества, как река из озера. Более того, поэт утверждает: «Где нет людей, там я не одинок». То есть не одинок именно в одиночестве. Впрочем, оксюморонов в стихах Шкляревского хватает — как прямых («студеный жар»), так и косвенных, на уровне мысли, ощущения, ситуации («владею всем, чего достичь не смог»; «Еще... от счастья заплакать не поздно»). Поэт очевидно тяготеет к парадоксальности — энергия его стиха во многом объясняется именно «оксюморонностью», постоянно создающей поле напряжения и удерживающей в нем читателя.

В какой-то мере одиночество Шкляревского напоминает классическое бегство «на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы». Но пушкинский поэт бежит — «звуков и смятенья полн», — чтобы предаться экстазу творчества. Шкляревский — чтобы ощутить экстатическое состояние счастья, полноты бытия. Стихи — лишь фиксация пережитого, максимально достоверная и лаконичная. Здесь снова напряжение — между напором чувства и сдержанностью формы. Две, три, реже — четыре, очень редко — пять строф. Если — исключительно редко — больше, то стихотворение расплзается, превращается в рифмованную прозу.

Одно такое оказалось и в данной книге — «Памятник». Оно относится к периоду недолгого увлечения Ю. Кузнецовым и должно было, вероятно, доказать, что и Шкляревский может не хуже. Но доказывает только то, что поэт — если он не бесхребетный имитатор — может так, как может, и никак иначе: пугать придуманным — не его амплуа. Для того, кто «отчаянье жизни постиг», реальность страшнее любых фантазий, и не только потому, что «солнце погаснет однажды», но и потому, что звонкий и разнообразный мир несет в себе, как косточку в мякоти, свою собственную гибель. Острое ощущение мгновенности всего существующего постоянно сопровождает поэта. В сущности, все его усилия сводятся к одному: остановить мгновенье в точке его цветения. Остановленное, оно не лишается своего вечного фона. У Шкляревского, как и во многом близкого ему В. Соколова, мгновенье всегда на фоне вечности. Но если Соколову хочется поймать переход времени в вечность, то Шкляревский ловит переход вечности во время, в мимолетную бренность. «О вечности я ничего не знаю, а на лугу мелькает мотылек!» Мгновенное — единственная форма существования вечного. Мгновенье всегда одиноко, от него дорога только к следующему, также одинокому и переполненному счастьем, мгновенью.

В отличие от Маяковского, осознававшего себя заводом по выработке счастья — для других, наступая на горло собственной песне, — Шкляревский одновременно с производством счастья является и его первым потребителем, ответственным дегустатором: наедине с водой, «курлычущей», «слово клин журавлиный», с плакучими ивами, с лебедями, которые «молча летят, прозрачное небо листая», с одиноким костром «у края озябшего лета», с болотами, лесами, пропахшими боровиками и земляникой, запах которой облагораживает даже наглуемую руку торговки, с рассветами, закатами, с «прохладно-золотой форелью», с «латунными язами», с

ключими звездами, наедине с небом и облаками. То есть со всем тем, что мы в обиходе нарекли природой. Именно пред ней каждый из нас не просто Петров-Сидоров, но представитель рода, человек. Только с прочным ощущением «человечество — это я» — когда все люди во мне и поэтому я не одинок в одиночестве — возможно создавать какие-то общезначимые вещи.

Одиночество поэта — залог обретения единства с миром, делающее возможным постижение его законов и ритмов. В какой-то мере «счастье», испытываемое при этом, — средство только подкрепляющее, не самоценное, только сигнализирующее, что желанное соединение с миром состоялось. Естественно, что при такой интенсивности духовных переживаний не до любви — ведь все уже совершилось, и ступенью выше.

Стою одинокий. Счастливый.
До города долго идти.
Вода и плакучие ивы...
Дорога блестит впереди.

Плывут, окликают, рыдая,
вечерние звуки вдали.
Прохлада. Дорога пустая,
И сердцу не надо любви.

Стихотворение, которое близко этому ощущению «одинокое счастья», — конечно, лермонтовское «Выхожу один я на дорогу...». Стихотворение Шкляревского — его современный, сухоовато-спрессованный, редуцированный вариант. (Возможно, в близком уже двадцать первом веке поэты будут обходиться не только без любви, но и без природы. Что ж, одиночество тогда станет идеальным — с полной атрофией мысли и чувства. То есть тем, что сейчас дают алкоголь и наркотики. А смысл жизни откровенно переместится из области религиозно-философской на территорию чистой химии. О водке как религии русского народа уже писал Вен. Ерофеев.)

Лермонтовская составляющая достаточно ощутима в творчестве Шкляревского. Это свидетельствует о классическом типе личности, сызмала усвоившей себе благодаря вольному общению с природой неложные представления о мире. Чего ждать от поколения нынешних детей, лишенных этого спасительного влияния? Вот что писал об этом Шкляревский еще в 1965 году:

Ваши дети от случайных браков
из унылых жэковских бараков,
из двухсотых и трехсотых блоков
не полюбят Пушкина и Блока.
Над судьбой Муму не зарыдают
и последних галок из рогаток,
как врагов заклятых, расстреляют,
чтобы в мире не было загадок.

Остается только надеяться, что с детьми не так все просто. Тем более, что и сам поэт дает для этого повод в более поздних стихах.

По всем, кто еще не родился,
по всем, кто живет на земле,
по всем, кто землю накрылся,
плачет ветер осенний в дупле.

Двенадцатилетний, счастливый,
стрекоз и козявок палач,
стою у кладбищенской ивы
и весело слушаю плач...

Мальчик весело слушает плач — потому что он на вершине индивидуального существования, все, что было до него, свершалось для него. Он в том возрасте — учитывая послевоенное недоедание, — когда еще не включились гормональные механизмы, поворачивающие человеческое развитие к любви и размножению, а значит, и к смерти. Он совершенен, как бог, и так же жесток.

Повторюсь: стихов о любви, этом «самом поэтическом» чувстве, у Шкляревского очень мало. Влюбленный в торжествующее мгновение, герой Шкляревского, вероятно, чисто бессознательно сторонится любви — как утечки не только плоти, но и духа. Возможно, сказывается и желание быть неуязвимым, не открываться до конца. Но, может, — и ощущение того, что в подаче этого чувства он рискует не удержаться на той высоте, которую достиг в стихах об «одиноком счастье», и впасть в обычную сентиментальность. Да, скорее всего, именно тяга к «одинокому счастью», к тем мгновениям, когда поэт достигает своего духовного потолка, и стоит на пути в его отношениях с женщиной.

Читая стихи Шкляревского, находясь в поле его переживаний и размышлений, не сразу замечаешь, что фактура их как-то слишком «проста»: нет в его стихах ни «убойных» метафор, ни виртуозных рифм, ни навязчивых аллитераций... На всю книгу два «как» и одно «словно». Он спокойно рифмует глаголы. Метафоры замаскированы, неявны («полная неба река»), звуковая организация естественна — «до города долго идти» — и последовательна: набор звуков задает обычно первая строка: «Моросит, моросит, моросит, / и прохладное солнце не злит. / Где-то музыка тихо играет, / близоручо моргают огни, / в эти грустные свежие дни / редко кто на земле умирает, / и в серебряных мокрых сиренях / остановлено время старенья...» Его стихи не бросаются на читателя, но сдержанно ждут его; в них обаяние естественности, нерукотворности. Но тем не менее стихи Шкляревского, именно вследствие их внешней простоты, — прежде всего для культурного читателя, выросшего на русской классике и владеющего набором устойчивых традиционных значений, символов. Цепочка приблизительно такая: Пушкин, Баратынский, Лермонтов, Тютчев, Фет, Блок, Есенин. С последним роднит его и та самая «ухватистая сила», а «Увядания золотом охвачен, / я не буду больше молодым» — это их общая печаль. «Когда друг друга мы любили, / в ночной вагон леса входили. / Навстречу нам текли поля, / мосты, вокзалы, тополя... / Не так молчим, как той весной. / И вместе едем, да не так. / К движенью поезда спиною / сажу, уставясь в полумрак. / Ты что, чтоб спросишь. Не отвечу. / Мосты, вокзалы, тополя... / Весь мир бежит тебе навстречу! / И убегает от меня».

В стихах Шкляревского (что проступает и на его портрете в книге) — сочетание ранимой нежности и жесткой готовности отстоять себя. Взятое по отдельности, каждое из этих качеств обладает сомнительной для поэта ценностью. Если «я по-прежнему такой же нежный» — гибнет человек. Если преобладает жесткость — гибнет поэт. Здесь же противоположности эти — опять оксюморон — спасительно соединились. Нежность, ограниченная жесткостью, — она и в чувстве, взнузданном строгой формой. Она и в знании границы и меры. А также — не смотря на подлинность таланта — в успешной литературной карьере. Она и в умении найти собственное положение в прокрустовом ложе политической реальности — с минимальным, вполне «интеллигентным» прогибом. Не исполненное Маяковским желание — «надо, чтоб поэт и в жизни был мастак!» — Шкляревский воплотил на практике. Хочется верить, что стихи от этого не пострадали.

Поэзия для Игоря Шкляревского — явление прежде всего внутреннее, несводимое к мастерству. Поэтому главной задачей поэта становятся поиски и достижение определенных душевных состояний, достаточно сильных самих по себе, чтобы слова, как опилки в магнитном поле, обнаруживали эту напряженность. На первое место выступает содержание личности. У Шкляревского это сочетается с аскетизмом формы — как писала критика, с уменьем «сказать меньше и глуше, чем чувствуешь, спрессовать пережитое в немногих словах». Эстетику его иногда определяют как «новый традиционализм». Это говорит о прочном ее фундаменте, о духовном здоровье. Истоки такой прочности — в послевоенном могиловском детстве, где веселая бедность людей, только что победивших в страшной войне и доверчиво устремленных в будущее, соединялась с роскошью бесплатной природы. Вероятно, поэтому он поэт абсолютно серьезный. Нет в нем никакой вертлявой амбивалентности. Напротив, есть что-то отрешенно-монашеское в служении своему призванию и своей теме. Поэт — это прежде всего тот, кто живет, как поэт, с той мерой свободы, которая только ему и доступна.

И я любил, жалел до слез
 всех, кто со мной живет на свете.
 И эту нежность темный ветер
 над голыми полями нес...

Валерий ЛИПНЕВИЧ.

*

ПОД ЧЕРНЫМ ЗНАМЕНОМ СВОБОДЫ

Василий Голованов. Тачанки с Юга. Художественное исследование махновского движения. М., «Март», Запорожье, «Дикое поле», 1997, 452 стр.

История терпит над собой любые надругательства. Нам ли, жившим в советскую эпоху, не знать этого? Сколько раз менялась «политическая ситуация», столько раз переписывалась история страны, получившей название СССР. И если в тех случаях, когда речь шла о временах давно минувших, историки оперировали все же реальными фактами, лишь рассматривая их с точки зрения «единственно верного учения» (при том, что любознательный читатель имел возможность ознакомиться, хотя и не без трудностей, со взглядами иными — Карамзина, Татищева, Соловьева, Ключевского), то все, что связано было с революцией и Гражданской войной, в значительной степени являлось плодом «проваренного в чистках» воображения. Герои превращались в предателей, мелкие революционные деятели в крупных (и наоборот), иные же и вовсе подвергались остракизму — буд-то их и вовсе никогда не было.

В последнее десятилетие мы оказались свидетелями очередной «переоценки ценностей». Ясное дело: каждая новая революционная эпоха, а именно таковую мы переживаем (или уже пережили?), всегда очень торопится переписать все в свою пользу, отчасти ради восстановления истины, отчасти ради своего собственного оправдания. Искренний порыв сказать наконец правду нередко приводит к новой лжи (пусть и не всегда нарочитой — «я сам обманываться рад»). Плюс меняется на минус. То есть все как бы повторяется. Только с одним принципиальным отличием: теперь каждый имеет право не только иметь, но и высказывать свою точку зрения (все-таки такой свободы слова в России никогда прежде не было — и одно это многое оправдывает в нынешней ситуации). Когда-нибудь, возможно, будет написана новая академическая история революции и Гражданской войны. Но боюсь, что лично мне она едва ли будет интересна. Ибо ее будут писать «специалисты». В той или иной степени «по обязанности». И все равно сей будущий фундаментальный труд опять же в большей или меньшей степени окажется идеологически подверстанным к эпохе его написания: «госзаказ» — вещь упрямая. В какой-то мере любое государство (с более или менее четко выработанной «национальной идеей» — а наше к этому явно стремится) в трактовке собственной истории более «зашорено», нежели отдельно взятая личность. Человек, мыслящий самостоятельно, всегда идет от частного к общему, от образа — к исследованию предмета, не претендуя на истину в последней инстанции (если он, конечно, не «идеолог» по сути).

Столь пространные рассуждения понадобились мне для того, чтобы объяснить самому себе, почему «художественные» сочинения на исторические темы вызывают в последнее время все больший читательский интерес в отличие от специальных. Но прочитываются они от корки до корки лишь в тех случаях, когда автор не только сообщает множество прежде неизвестных фактов, но и заражает той энергией, которая заставила его самого взяться за перо.

Именно к такого рода сочинениям и принадлежит книга Василия Голованова «Тачанки с Юга».

Подзаголовок ее, вынесенный на кроваво-черную обложку, с неизбежностью отсылает к другой знаменитой книге — «Архипелагу ГУЛАГ». Но это, как убеждаешься впоследствии, вовсе не рекламный ход, рассчитанный на «узнавание». Перед нами в некотором роде — продолжение солженицынского «опыта», этот опыт учи-

тывающее и развивающее в новом направлении. Ибо «Архипелаг» и «Тачанки» разнятся прежде всего тем, что Солженицын был реальным свидетелем почти всей той эпохи, о которой писал, Голованов же мог опираться лишь на доступные ему публикации, более чем немногочисленные воспоминания еще живых участников событий и собственную интуицию. В предисловии он признается, что «хотел написать эту книгу, как средневековую хронику, — устранив авторское „я“, изложить читателю факты в их хронологической последовательности. Это не вполне удалось. Хроники не получилось, получилась гигантская компиляция с авторскими вторжениями и трактовками. Архитектурно это — почти чудовищное построение». Отдадим должное скромности автора и попробуем разобраться, почему «не получилось» то, что изначально замыслилось — и что в конце концов все-таки вышло.

Хроника исключает «художественность» и личностное «соучастие». Но холодным фактографом не может быть автор, начинающий свою книгу так (прошу прощения за длинную цитату, но без нее просто не обойтись): «В годы юности, когда я порой ощущал себя мухой, завязшей в смоле, — из-за невыносимой неподвижности окружающего мира, словно бы остановившегося времени, словно бы омертвевшего языка и навеки застывшего казарменного пейзажа за окном, — в воображении моем стал появляться образ. Это был образ отряда, нарушающего мертвенный покой времени, разбивающий его, взламывающий его огненной энергией взрыва. Я видел так: блестит река. Разбрызгивая сверкающую на солнце воду, ее переходят кони. Люди верхами. Широкие спины, потные, вылинявшие гимнастерки, ремни португепи, сабли, винтовки. С грохотом скатываясь с кручи, к реке спускаются тачанки. Одновременно голова колонны выходит на противоположный берег. Виден одинокий всадник, над головой которого полощется черное знамя». Таким автор впервые увидел отряд Махно.

Близкий газдановскому слог этого описания позволяет вспомнить о том феномене, который Гайто Газданов (юношей прошедший сквозь Гражданскую войну именно в тех местах, где «жил и работал» Нестор Махно) называл «ошибками воображения»: художнику самому порой кажется, что он «сочиняет», когда он в действительности говорит о том, что реально открывалось его ясновидению. Нечто подобное, как мне кажется, произошло и с автором «Тачанок с Юга». Именно поэтому книга и выстроилась несколько хаотично — то есть именно так, как только и могут выстроиться воспоминания о живых событиях с вкраплениями документов, «чужих» свидетельств и оценок происходившего. Кинематографическая стилистика с ее калейдоскопичностью, частой сменой планов и точек видения, неожиданными «наплывами», убыстрениями или замедлениями темпа, сочетанием «документальных» и «постановочных» кадров как нельзя лучше соответствует той задаче, которая возникла перед автором, а именно: рассказать все, что он знает о Несторе Ивановиче Махно — экспроприаторе и каторжнике, анархисте и революционере, орденоносном красном командире и бандите, народном герое и «предателе», мечтателе и изгнаннике, умершем в ужасающей нищете в Париже. Все эти определения почти в равной мере верны, кроме «предателя», которым он никогда не был, ни по отношению к народу, для которого хотел устроить простое человеческое счастье хотя бы в отдельно взятом районе, ни по отношению к себе. Это его предавали неоднократно — в первую очередь большевики. Иначе и быть не могло.

Автор специально подчеркивает, что он писал не биографию Махно: «Это книга о мистике истории. Об обреченности революционера-романтика, идущего на любые жертвы за народное дело. Поначалу этот образ казался мне привлекательным. Потом выяснилось, что это — образ убийцы. И самоубийцы. Ибо, кроме самоубийства — явного или скрытого, — бунтарю нечего противопоставить становлению новой Системы». Которая, как известно, всегда пожирает своих создателей (подобное, хотя и не в столь кровавых подробностях, мы наблюдаем и сегодня).

Перед нами вовсе не апология батьки Махно, но искренняя и глубокая попытка понять, как могло случиться с Россией то, что произошло в истории название Гражданской войны. И эта попытка предпринята потому, что автора когда-то заворожил загадочный и страшный образ, о котором нам так нагло и безбожно врал. И историки, и Всеволод Иванов в романе «Пархоменко», и Алексей Толстой в «Хож-

дени по мукам», и Эдуард Багрицкий в «Думе про Опанаса», и множество фильмов о Гражданской войне. Правда, в последние годы изданы и «Воспоминания» самого Махно, и немало исследований как отечественных, так и зарубежных (наш автор на них ссылается, где-то соглашаясь, где-то полемизируя). Но сколько бы ни появилось новых публикаций на тему, книга Василия Голованова останется в своем роде уникальной и будет все равно стоять чуть в стороне от «основного потока» исследований. И не только потому, что автор, как мы уже выше говорили, сумел взглянуть на ту давнюю трагедию проницательным взором истинного художника, но еще и по той — несколько парадоксальной на первый взгляд — причине, что он, Василий Голованов, так и не понял, как и почему эта трагедия случилась. Не понимаю этого и я. Да и никто, и в первую очередь те, у кого на все вопросы есть ответы. Ведь на то и существует мистика истории, чтобы человек помнил, сколь мало от него лично зависит. И сколь много. Особенно если он в этом маниакально уверен и обстоятельства сами ему потворствуют. Не случайно история ничему не учит. Хотя все мы и рады обманываться — как в том же августе 1991-го, о котором вспоминает (уже как прямой свидетель) и Василий Голованов.

И если уж все-таки говорить об уроках истории, особенно отечественной, — то смысл их прежде всего в том, чтобы научить нас хотя бы когда-нибудь не бесконечно бороться друг с другом, а просто жить. По-человечески. На родной земле. Именно об этой простой «малости» и мечтал батько Махно. И проиграл, усеяв свой путь трупами и таких же мечтателей, и политических циников. Которые вроде бы и «победили». Батько не мог — да и должен ли был? — тогда, в свое время, отказываться от борьбы с этими «победителями»; не нам его и его «методы борьбы» судить.

Ведь порой и в наши дни по-детски хочется представить себя во главе некоего мистического отряда, выходящего на другой берег реки под хотя бы и черным знаменем, чтобы вступить в последний бой за недостижимую окончательно свободу...

Игорь КУЗНЕЦОВ.

*

ОППОЗИЦИИ В ИСТОРИИ И ЯЗЫКЕ: КОНФЛИКТНОСТЬ КУЛЬТУРЫ

Б. А. Успенский. Избранные труды. В 3-х томах. М., «Школа „Языки русской культуры“». Т. 1. Издание второе, исправленное, переработанное [и расширенное] — 1996, 607 стр. Т. 2. Издание второе, исправленное, переработанное [и расширенное] — 1996, 780 стр. Т. 3 — 1997, 800 стр.

Введение в труды. Перед нами «Избранные труды» известного филолога, историка культуры, профессора Бориса Андреевича Успенского. 43 работы — итог тридцатилетней деятельности ученого — размещены в трех томах общим объемом около ста пятидесяти печатных листов. Впечатляющая новизна этих трудов — в выявлении структурных механизмов истории.

Первый том посвящен семиотике истории и семиотике культуры, второй — языку и культуре, третий — общему и славянскому языкознанию. Каждая статья снабжена подробнейшими и подчас интереснейшими примечаниями, объем которых сопоставим с величиной основного текста, а списки цитируемой литературы поражают своей обширностью.

Подвижнический труд Успенского носит энциклопедический характер. В сферу интересов исследователя входят языкознание, семиотика, славистика, этнография, история. Ключевым же понятием для автора служит *язык*, именно он объединяет собранные работы, ведь «язык, которым пользуется человек, моделирует как воспринимаемый мир, внеположный человеку, так и воспринимающего субъекта» (из «Предисловия» к т. 1, стр. 6). В языке неизбежно отражаются те противоречия (те оппозиции), что движут историей, та борьба противоположных устремлений, что ответственна за конфликтность культуры.

Итак, аналитическое пространство Успенского — русский язык, тысячелетняя история и культура России в некоторых ее критических максимумах.

С сожалением опуская целые разделы «Избранных трудов» («Языческий субстрат обценного мира», том 2; «Структура поэтического текста», том 2; «Общее языкознание: типология языков», том 3; «История лингвистических учений», том 3; и ряд других), остановимся в основном на работах первого тома, относящихся к выбранному нами углу зрения: оппозициям в истории и языке.

Рецензент не считает себя вправе давать оценку значимости полученных автором научных результатов. Наша задача скромней. Этот отклик носит реферативный характер. Его цель — познакомить читателя с некоторыми аспектами творчества нашего современника, специалиста в области истории культуры.

Внимание Успенского — историка и языковеда привлекают, в частности, такие решительные моменты в формировании и утверждении русского самосознания, как:

- концепция «Москва — третий Рим»;
- религиозный раскол;
- реформы Петра I;
- русификация церковно-славянского языка.

Придерживаясь этой канвы, начнем, однако, не с чтения событийного текста, чем, по мнению автора, и занимается историк, а с отвлеченного, казалось бы, вопроса о нашем восприятии времени («История и семиотика...», т. 1, стр. 9 — 70).

Оппозиция восприятий: две модели времени. Каждый человек одновременно воспринимает две сосуществующие в нем модели времени: *космологическую* и *историческую* (т. 1, стр. 42, 43). Природа их противоположна.

Историческое время линейно, однонаправленно, у него нет истока. Оно предполагает эволюцию событий, обусловленную причинно-следственными связями нынешнего состояния с предшествующим. Иными словами, наше настоящее определяется нашим прошлым.

В отличие от этого *космологическое* время циклично, у него есть исток — божественный старт. Оно предполагает предопределенность всего сущего, повторение исходных форм, предначертанность событий, их эволюционную независимость, когда наше реальное настоящее определяется не нашим эмпирическим прошлым, а неизбежностью сакрально заданного, неотвратимостью провиденциальной воли.

Значит, первый конфликт лежит уже в нашем отношении ко времени, в восприятии его как философской категории. Это внутреннее противоречие каждого человека, но от того, как оно разрешается, зависит наше общее отношение к каждой переживаемой нами строке событийного текста.

На обширнейшем документальном материале Успенский убедительно демонстрирует глубинный конфликт культуры — оппозицию профанного и сакрального, земного и небесного в моменты ее максимального обострения.

«Новый Иерусалим» или «третий Рим»? Корни конфликта. Типичным примером космологического восприятия времени служат эсхатологические ожидания русских людей на рубеже XV и XVI столетий («Восприятие истории в Древней Руси и доктрина „Москва — третий Рим“», т. 1, стр. 83 — 123). Согласно тогдашнему представлению о том, что такому сакрально-вселенскому акту, как сотворение мира, может отвечать такая «точная дата», как 5508 год до Рождества Христова, легко сообразить, чем «грозил» человечеству год 1492-й от Рождества Спасителя, точнее — по истечении этого года. Именно тогда завершалась седьмая тысяча лет от сотворения мира. А поскольку «у Господа тысяча лет как один день», то седьмое тысячелетие буквально трактовалось как седьмой космический день, суббота Господня, «которой кончается история, когда по пророчеству ожидается „новое небо и новая земля“». С окончанием космического цикла и связывалось приближение конца света. Таким образом, здесь присутствовали все слагаемые космологической модели: божественный старт, цикличность, провиденциальная неотвратимость.

В этом напряженном контексте, на самом пике мистических переживаний, «глава русской церкви митрополит Зосима составляет „Изложение пасхалии...“, где

провозглашает Москву новым Константинополем, а московского великого князя (Ивана III) называет „государем и самодержцем всея Руси, новым царем Константином новому граду Константинову — Москве...”».

По мысли Зосимы, восьмое тысячелетие от сотворения мира символизирует начало нового космического цикла, «возвращающего православных христиан к началу церковной традиции», при этом Москва («новая земля») наследует «новоиерусалимскую» природу Константинополя как святого теократического города, любезного Господу.

Вместе с тем византийцы подчеркивали двойственное происхождение столицы Восточной Римской империи, ее функциональную расщепленность. Константинополь одновременно воспринимался ими и космологически — в качестве «нового Иерусалима», и исторически — в качестве «нового Рима», олицетворяя, помимо идеи святости, идею державности, то есть, в конце концов, единение священства и царства.

Подобно своему прообразу, второй Константинополь — Москва также мыслится в двух ипостасях: сакральной и профанной — как священный «новый Иерусалим» и как державный «новый Рим». Важно, что Зосима акцентировал теократическое начало. Однако уже в 1495 году, когда стало ясно, что ожидания светопреставления не оправдались, митрополит Московский Симон Чиж в переработанной пасхалии смещает акцент в сторону имперской составляющей, как это реально и было в Византии. Митрополит символически получает владичество из рук великого князя (а в дальнейшем — «царя»). При активном содействии светской власти спор мирского и священного сдвигает приоритет в сторону царства до такой степени, что в окончательной формуле теократическое полностью вытесняется имперским: «Москва — третий Рим», и никакой «новый Иерусалим» теперь уже не упоминается. Но в народной душе святой образ живет со всей религиозной силой. Так закладываются корни трагического конфликта между мечтой и явью, между небесным и земным, божественным и державным. Но кроме этого рокового разногласия возникает еще одно: прекословие внутри православия.

Возмущение в «новом Иерусалиме». В Древней Руси не только содержание православной веры (догматика), но и форма (семиотика, филология) понималась «как отражение Божественной истины, как непосредственное свидетельство о Боге» («Раскол и культурный конфликт XVII века», т. 1, стр. 477). Со временем у части верующих эта позиция стала смягчаться, другие же продолжали придерживать прежних взглядов. Известно, что именно поэтому изменение обрядов и исправление церковных книг при патриархе Никоне (1653 год) привело к расколу русской церкви, к разделению верующих на старо- и новообрядцев.

Сознанию современного человека трудно представить, что замена двуперстия троеперстием приводила к массовому самосожжению сторонников старой обрядности. Успенский замечает: «...в отношении к содержанию оба способа перстосложения абсолютно равноправны». Речь идет о перераспределении акцентов. У староверов подчеркивалась Божественная и человеческая природа Христа (отсюда — двуперстие). А новообрядцы делали упор на идею Троицы (отсюда — троеперстие). Таким образом, разногласие касалось не догматики, а семиотики, то есть носило знаковый характер. Обожествление знака староверами придавало конфликту полную неразрешимость.

Другим аспектом оппозиции стало правописание священных текстов. Порой исправлению подвергалась одна-единственная буква. Так, по-новому стали писать «во веки векоВ» вместо старого «во веки векоМ». Но уже это толковалось старообрядцами как ересь. Причина такой непреклонности таилась в отношении русского человека к слову.

Слово, ум и душа понимались им как неделимое триединство, «как одна из манифестаций Троицы». Считалось, что слово имеет два рождения: сначала постижимое в душе, а потом материальное в теле. Если ангельский язык — язык райского общения — на земле недостижим, то в дар от Господа получили мы язык церковно-славянский, приводящий к Богу. Поэтому любое человеческое вмешательство в этот язык предосудительно. Подобное отношение к тексту предполага-

ет неизменность не только его содержания, но и формы. Она не просто одна из возможных, а единственная. Такова восточнохристианская культурная традиция.

Оппозицию ей составила традиция западная, идущая от Польши, где Реформация уже давно относилась к сакральным текстам рационалистически, то есть заботилась не столько о выражении, сколько о восприятии: главное — понять смысл, а форма, в принципе, безразлична.

Эта религиозная драма, разыгравшаяся внутри «нового Иерусалима», подорвала его единство, истощила силы перед лицом чудовищного натиска со стороны «третьего Рима» — натиска, который предпринял император Петр.

«Третий Рим» против «нового Иерусалима». Петр I воспользовался двойственной природой Константинополя как теократической и вместе с тем имперской столицы. Идеал будущего развития России виделся царю во внедрении державного «римского» начала, а вовсе не в поощрении священного «иерусалимского». Он ориентируется уже не на восточный «второй Рим» (Константинополь), а на первый — древний Рим и как император наследует не Константину, а только кесарю Августу («Отзвуки концепции „Москва — третий Рим” в идеологии Петра Первого», т. 1, стр. 126). Петр ставит не на благое, а на властное; не на священство, а на царство. Знаком такого выбора явился Санкт-Петербург. «Город святого Петра стал восприниматься как город императора Петра». Святыней сделалась государственность. Это выглядело тем более вызывающе, что в отличие от Византии, где «монарх при помазании уподоблялся царям Израиля, в России... царь уподоблялся самому Христу» («Царь и патриарх: харизма власти в России», т. 1, стр. 187). Между тем до времени и патриарх пользовался правами, намного превышающими юридические. По сути, это были полномочия харизматические, то есть богоданные. Монарх и патриарх признавались «богоизбранной, святой и богомудрой двойцей» («Царь и Бог (семиотические аспекты сакрализации монарха в России)», т. 1, стр. 258). При Петре подобное равновесие было нарушено. Приоритет императора как символа царства над патриархом как выразителем священства стал абсолютным. Духовная власть издевательски пародировалась на Всешутейшем и всепьянейшем соборе, образ патриарха подвергался кощунственному осмеянию. Идея «двойцы» оказалась попорана реальным единовластием Петра, что нашло логическое завершение в отмене патриаршества.

Утверждая «римскую» державность и глумясь над «иерусалимским» началом в русской душе, царь-реформатор, уподобленный при помазании Христу, получил в народе имя Антихриста. Впоследствии Всероссийский поместный Собор 1917 — 1918 годов обмолвился, что для императорского периода русской истории правильно было бы говорить уже «не о православии, а о царславии».

Своеобразной лингвистической проекцией рассмотренных выше коллизий стал спор о языке, разгоревшийся в конце XVIII — начале XIX века. Однако он явился лишь кульминацией давно назревавших противоречий.

Конфликт языков: оппозиция церковно-славянского и русского. Особенность языковой ситуации Московской Руси, по определению Успенского, состояла в том, что русские люди жили в обстановке церковно-славянской/русской диглоссии, то есть сосуществования внутри одного лингвистического коллектива двух языковых систем со строго разграниченными сферами употребления на основе взаимной дополнительности функций («Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси...», т. 2, стр. 29 — 58).

Церковно-славянский язык — это язык священных текстов и Божественной литургии. Русский же язык понимался как испорченный церковно-славянский, но такая искаженность принималась за неизбежность, присущую всему грешно-земному. На русском не общались с Господом, на нем разговаривали друг с другом. Равно кощунственным почиталось молиться по-русски и беседовать по-церковно-славянски. Перевод с одного языка на другой воспрещался. Языки эти не просто взаимодополнялись — они функционально противопоставлялись. Сакральной природе церковно-славянской речи отвечала демоническая природа речи разговорной, подобно тому как слово *ангел*, произнесенное как *аггел*, означало уже не ангела небесного, но ангела падшего, то есть дьявола.

Итак, веками книжный церковно-славянский язык оставался стабильным, тогда как разговорный русский постоянно менялся, все более отходя от божественного канона. Живая речь насыщалась, например, метафорами, ставшими впоследствии важным поэтическим тропом, а церковная традиция этот прием отрицала вплоть до наказания провинившихся розгами, как отрицала она и всякую иную игру словами и понятиями, приписывая ее дьявольскому умыслу.

Между тем такая поляризация не могла продолжаться бесконечно долго. Кроме языка книжно-церковного, остро назрела потребность в языке книжно-светском, или литературном. И вот тогда Ломоносов предлагает компромиссную «теорию трех стилей»: «высокого» (церковно-славянского), «низкого» (разговорного) и «среднего» (макаронического, совмещавшего в себе первые два). «Архаисты» (Шишков) ухватились за «высокий» стиль. «Новаторы» (Карамзин) ратовали за то, чтобы литературный язык строился на базе разговорного («низкого»). В итоге же победил третий путь, практически проложенный Державиным («Язык Державина», т. 3, стр. 409 — 434) и Пушкиным.

В своем творчестве Державин отдал предпочтение «среднему» — макароническому — стилю, контрастно обострив противостояние «архаистов» и «новаторов», по существу смешав два языка в одном, но не так, как, теоретизируя, представлял себе Ломоносов, — не избирательно в жанрах «среднего» стиля, а в любом произведении. Самобытность Державина проявилась в том, что он не побоялся перенести оппозицию языков в плоскость стилистических диссонансов, когда торжественно-тяжелый

Седый собор Ареопага,

как-то по-стариковски потешно

На истину смотря в очки,

Насчет общественного блага

совершенно житейски

Нередко ей давал щелчки.

Это сообщило державинской поэзии неожиданную веселость, стремительную карнавальность. Стало очевидным, что новый светский книжный язык — язык русской литературы можно строить на макароническом принципе совмещения в одном произведении церковно-славянской и разговорной лексики.

Именно такой путь развития русского литературного языка продолжил Пушкин. Однако если Державин обыгрывал стилистические контрасты, порой заострял языковую оппозицию до гротеска, вызывая комические эффекты, то пушкинский гений сумел эти диссонансы нейтрализовать. По точному наблюдению Успенского, «для Пушкина... нет высокого славянизированного и низкого русифицированного слога, но есть семантические регистры, обуславливающие применение тех или иных средств. Литературным мастерством становится умение обоснованно пользоваться механизмом переключения этих регистров: литературный язык функционирует, в сущности, как музыкальный инструмент».

Так изящно решили Державин и Пушкин проблему оппозиции церковно-славянского и русского языка, переведя ее сначала из плана сакрально-демонического противостояния в план стилистических контрастов (Державин), а затем в план смысловой и стилистической уместности (Пушкин).

Таким образом, заметим, пушкинскому духу удалось, очевидно, то, перед чем спасовал дух Петра. Если император в политике оскорбительно-грубо подавил сакральное начало державным, то поэт в языке уважительно-тонко примирил и совместил их.

Об авторе. Выпускник, а потом сотрудник Московского государственного университета Б. А. Успенский — один из лидеров легендарной московско-тартуской школы, ведущий ученый-гуманитарий. В последние годы он работал в Гарварде и Берлине. Ныне занимает профессорскую должность в Неаполе.

Помимо безупречной компетентности, владения громадным фактическим материалом, кроме умения убедительно аргументировать свои построения, автор обладает еще и стилистическим талантом, необычайной крылатостью пера. Ни тени унылого «трактования» не лежит на этих страницах. Нет в них ни намека на пред-

взятость. Всюду печать ума, изобретательности, живого чувства, разнообразных дарований. Иногда авторский напор кажется даже чрезмерным. Я уже убежден, уже согласен, но позиция автора все обогащается и обогащается, иллюстрации-доводы сыплются как из рога изобилия, от произведения к произведению темы исследования неожиданны и непринужденно меняются. От вопроса «о сирийском языке в славянской письменности: почему дьявол может говорить по-сирийски?» автор переходит к «мифологическим аспектам русской экспрессивной фразеологии» (то есть попросту брани) и к «Заветным сказкам» А. Н. Афанасьева. От социальной жизни русских фамилий — к фонетической структуре одного стихотворения Ломоносова. От анатомии метафоры у Мандельштама — к спорам о языке в начале XIX века... Таковы лишь некоторые мотивы второго тома.

Третий том (целиком нового содержания) в основном посвящен весьма специфическим предметам вроде замечаний по типологии кетского языка или чтению еров, древнерусским кондакарям или доломоносовским грамматикам... Это, понятно, работы для специалистов. Однако и в третьем томе публикуются исследования, представляющие широкий интерес. Скажем, «История русского литературного языка как межславянская дисциплина» или уже упоминавшийся труд «Язык Державина».

Напоследок было бы справедливо вспомнить людей, осуществивших выпуск «Избранного».

Благодарность издателям. Радостью общения с таким собеседником, как Успенский, мы обязаны издательству «Школа „Языки русской культуры“».

За два с половиной года деятельности «Школа...» опубликовала 70 книг, в том числе Лаврентьевскую и Ипатьевскую летописи, трехтомник «Из истории русской культуры», дневники и письма классиков русского религиозного ренессанса — «Взыскующие Града», фолианты знатоков истории, культуры, языка — С. С. Аверинцева, М. Л. Гаспарова, Н. И. Толстого, В. Н. Топорова и других крупнейших ученых. Тексты сопровождает мощный вспомогательный аппарат. Они идеально набраны. В наборе рецензируемого издания использован, например, оригинальный кириллический шрифт, придающий современному начертанию тонкую прелесть старины. Марафонские дистанции в сотни печатных листов практически лишены опечаток.

Если учесть, что все предприятие осуществляет издатель Алексей Дмитриевич Кошелев с четырьмя сотоварищами — вот их имена: Михаил Козлов, Ольга Боголюбова, Ольга Захарова, Павел Костюшин, — то вклад издателей в отечественную гуманитарную науку становится просто рекордным.

Алексей СМИРНОВ.

Г. ГЕОРГИЙ ФЛОРОВСКИЙ. Из прошлого русской мысли. М., «Аграф», 1998, 431 стр.

Сборник ранней публицистики Георгия Васильевича Флоровского (1893 — 1979) с, прямо и сразу скажем, нелепым (уместным только для книжной серии) названием содержит многое не устаревшее и поныне, ярче и выпуклей высвечивает эту значительную фигуру Русского зарубежья. Флоровский известен нам в основном как автор «Путей русского богословия», написанных уже в 30-е годы — не светским историком и публицистом, но — протоиереем (Флоровский был рукоположен в сан священника в 1932 году в Париже митро-

политом Евлогием). Но если в своей самой прославленной книге он выступает со строгих «святоотеческих» позиций (впрочем, как метко подметила Евг. Иванова, почему-то записывая в «богословы» Гоголя, Леонтьева, Розанова и проч. — см. «Вестник РХД», № 165), то в сплотке статей данной книги это еще «вольный мыслитель», на первых порах — даже и евразиец, и политический полемист.

...Выброшенные революционным шквалом в зарубежье русские люди, оглушенные и униженные, пытались осмыслить и сформулировать — что же произошло. Одни вешали всю вину на большевистских заправил-инородцев, побеждавших с помощью чудовищного

террора, главными движками которого опять же были не русские; другие выводили все беды отечественной истории из не соответствовавшего мировому прогрессу самодержавия. Это — крайние полюса. В силовых полях между ними находились веховцы, ранние евразийцы, одинокие мыслители и публицисты, чье мировоззрение закалялось и трансформировалось в тигле исторической катастрофы, освобождаясь от штампов идеологии освободительного движения (которое — в свою очередь — возникло и развивалось как часть мировой борьбы с абсолютизмом, не отвечающим требованиям гуманистического прогресса).

«Русская революция, — писал в Софии в 1921 году Флоровский, — прежде всего русская — по происхождению своему, по смыслу, по своему объективному содержанию; и то, что в ней раскрывается, есть русская правда, правда о России». В то время — да и теперь — такое утверждение не просто шокирует, но и больно ранит русскую душу, ибо — объективно — наш народ стал жертвой на десятилетия растянувшейся революционной бойни и его потери в духе и живой силе невосполнимы. В таком педалировании слова «русский» в данном контексте есть публицистическая бестактность, но то, что говорит Флоровский далее, значительно объясняет дело: «...в революции совершился „суд истории“; „суд“ над определенным историческим периодом русской жизни, т. е. над определенным решением выдвигаемых жизнью задач. ...В революции потерпел крушение замысел обосновать русское могущество на воле и темпераменте „избранного“ меньшинства — помимо органического роста народного уклада. Разбилась утопия — вести народ к целям надуманным, а не тем, которые влекут его душу и постепенно проясняются в сознании из него выходящих лучших его людей». В наши дни у А. Солженицына, например, много и глубоко размышляющего об отечественной истории, язык бы не повернулся формулировать, что в «русской революции... раскрывается русская правда», но с последующим ходом мысли Флоровского он, пожалуй бы, согласился. И он, как прежде Флоровский, отнюдь не будучи «славянофильского направления», видит в нашей истории петербургского периода роковые изъяны.

От себя же добавим, что в революции не просто «потерпел крушение замысел», основанный на «воле и темпераменте меньшинства», и «разбилась утопия — вести народ к целям надуманным», но и то и другое достигло в ней предельно абсурдного воплощения. «Петербургская утопия» сменилась коммунистической, мировой — и воистину роковой для России.

Попытка осмыслить революцию глубоко и объемно и привела было Флоровского в стан евразийства, точнее, он стал даже одним из его отцов основателей (вместе с П. Савицким, П. Сувчинским и Н. Трубецким). В раннем евразийстве безусловно было некое истинное зерно: то, что Россия — Евразия, есть исторический факт, определивший нашу своеобычность, — право же, тут нам стесняться нечего. Однако в силу многих причин — как мировоззренческих, так и связанных с конкретным эмигрантским культурным существованием — евразийство скоро подверглось роковой для него диффузии. Если в 1921 году Флоровский писал П. Б. Струве, что «евразийская группа не есть ни политическая партия, ни секта фанатиков — в фразеологии наших дней для нее наиболее подходит имя „лиги русской культуры“», то уже через семь лет он вынужден был признать однозначно: «Судьба евразийства — история духовной неудачи». (Кстати, именно в этой работе — «Евразийский соблазн» — начинает отчетливо проявляться стилистическая зависимость Флоровского от Бердяева: это постулирующая стилистика, где каждое предложение-«постулат» интонационно словно расставляет все точки над *i*, что порою раздражает читателя.)

Суть данного соблазна мыслитель видит в историческом оппортунизме евразийства, в угодливой готовности отдаться исторической «закономерности», служить ей не за страх, а за совесть как единственной данности: в евразийстве — исторический учет и признание косвенно перерождаются в покорное и даже угодливое приятие творимой новизны. Евразийцы не допускают возможности неправедной истории».

Для христианина Флоровского такая позиция неприемлема. Одно дело — понимать исторические механизмы, другое — быть их покорной шестеренкой,

отказываясь от морального суда ради конечного результата. И как актуально это сегодня! И сегодняшние «евразийцы» (в общем, карикатура на прежних, если говорить прямо) оправдывают тоталитаризм и сталинщину: мол, коммунисты железной рукой собрали «великую и неделимую», которая — победы Февраль — распалась бы еще семь с лишним десятилетий назад. Сталин как спаситель и даже отстройщик новой России — вот чудовищный, но по-своему логичный итог евразийства, вынужденного из осмысления истории нравственное христианское чувство.

...Сборник статей Георгия Флоровского издан в философской серии «Путь к очевидности». В ее «редакционный совет» входят такие наши славные культурологи, как Ю. П. Сенокосов, Е. В. Барабанов, М. А. Колеров, и другие — они, как говорится, дурного не посоветуют, так что будем ожидать в издательстве «Аграф» новых культурных и актуальных книг.

«Ибо, — как писал Флоровский, — Россия это — мы, каждый и все, хотя и больше она каждого и всех. Ибо каждый из нас в своем подвиге собирает и созидает Россию и в своей косности и падении разоряет и бесчестит ее. ...В самих себе, каждый и все в круговом общении и поруке, должны мы напряжением творческой воли строить и созидать новую Россию...»

На фоне нынешнего измельчания духа звучит, пожалуй, высокопарно. Но без этой высшей точки отсчета нового общества не построишь.

П. АЛЕКСАНДР БОХАНОВ. НИКОЛАЙ П. М., «Молодая гвардия», «Русское слово», 1997, 479 стр. (Серия «ЖЗЛ».)

Не прошло и полутора лет после упразднения царской власти, как ее оппонент П. Б. Струве писал: «Один из... уроков русской революции представляет открытие, в какой мере „режим“ низвергнутой монархии, с одной стороны, был технически удовлетворителен, а с другой — в какой мере самые недостатки этого режима коренились не в порядках и учреждениях, не в „бюро-

кратии», „полиции“, „самодержавии“, как гласили общепринятые объяснения, а в нравах народа или всей общественной среды, которые отчасти в известных границах даже сдерживались порядками и учреждениями».

Но то, что стало «открытием» для Струве и многих его сподвижников еще в 1918 году, до сих пор закрыто для многих и многих нынешних политиков, идеологов, журналистов, не озаботившихся после окончания советских вузов — в течение жизни — углублять и наращивать свое миропонимание. «Столыпинские галстуки» и прочие вульгарные политические клише высказывают у них без запинки. Соответственно и фигура последнего русского государя ими ненавидима, презираема. Его как-то умудряются одновременно считать и «кровавым», и чуть не рохлей, ненавидеть за жестокость и презирать за слабость¹.

А с другой стороны — лубок и изображение царя сусальными красками, каких вообще у истории не бывает.

А. Боханов поставил перед собой правильную и единственно плодотворную задачу: адекватная историческая реконструкция — по его мнению — может быть осуществлена только «с позиции беспристрастного реставратора, осторожно срывающего последующие наслоения, чтобы воссоздать первоначальный подлинник».

В отношении Николая II, однако, эти «наслоения» нельзя даже считать и «последующими», ибо освободительное движение замазало его дегтем еще при жизни. И вся культурная челядь идеологически способствовала тому же. Так что освобождать образ царя приходится отнюдь не только от записей советского времени.

И автору это в большинстве случаев удается, в спорных же, так сказать, пунктах он принимает сторону своего героя. Царь не навестил, например, умирающего Столыпина, последние

¹ Да что говорить о здешних «мыслителях», вот и в просвещенном «Вестнике РХД» можно, глазам своим не веря, прочесть такое: «В контексте гуманного XIX века... его власть выглядела действительно кровавой» (Поспеловский Д. В. Вопрос о канонизации Николая II и Александры Федоровны. — «Вестник РХД», 1997, № 176).

сутки жизни которого были наполнены ожиданием этой встречи, ибо великому человеку было что сказать государю. У Боханова объяснено это так: «Николай II, находившийся в театре в момент покушения, негодовал, и ему изменило самообладание: искренне пожалел, что полиции удалось вырвать террориста из рук разъяренной толпы, чуть того не разорвавшей. В последующие дни постоянно интересовался здоровьем раненого, и лейб-медик Е. С. Боткин уверял царя, что все образуется, „Столыпин выздоровеет”. Затем наступило 5 сентября, когда утром, вернувшись в Киев после поездки по окрестным достопримечательностям, Николай II узнал: Петр Аркадьевич скончался. Тут же поспешил в клинику, встал на колени перед усопшим и долго молился». Вот как оказывается, в их трагическом несвидании виноват доктор Боткин...

Ожидание Столыпиным Николая — проникновенные страницы в «Красном Колесе» Солженицына. (Но как это ни поразительно, ни у Боханова, ни в недавних размышлениях о Феврале В. В. Кожина «Красное Колесо» даже не упомянуто, что представляется нарочитым замалчиванием.)

Одна из тайн личности последнего государя — в его застенчивой сдержанности, которая на фоне крикливой, пестрой и распутной эпохи выглядит как «недовоплощенность». Впечатление, что Николай всегда что-то недоговаривал, был уклончив, царю не хватало, говоря современным языком, «коммуникабельности». Но феномен в том, что эта его черта воспринимается теперь не как раздражающий недостаток, но как целомудренное достоинство. Последний царь — одна из тех фигур, что — большая редкость — в исторической ретроспективе не умяются, но растут. Его благородство и честность не из нашего века. Последующая россыпь мировых политиков — скопище монстров по сравнению с Николаем. Как бессовестно они выпячивают, навязывают себя, к каким бесстыжим зомбирующим технологиям прибегают, какую пропаганду организуют! В Николае этого не было. И ныне дурное слово о нем кажется пошлостью. Те даже и выдающиеся литераторы и мемуаристы, что смели писать о нем гадости, только повредили себе в глазах потомков.

Александр Боханов — честь ему и хвала — напоминает, что пока весной семнадцатого Блок упивался «музыкой революции» и «солдатскими пикетами, которые проверяют документы, в чем есть свой революционный шик» (это в Светлое Воскресение), на той же Светлой неделе Марина Цветаева умоляла: «За Отрока — за Голубя — за Сына, / За царевича младого Алексея / Помолись, церковная Россия!..»

Послереволюционная судьба Николая, императрицы, детей — одна из самых потрясающих и наполненных горным светом страниц отечественной истории. Страна бесновалась, предали близкие, и только тут — новый религиозный рост и значение.

«Полезны тяжелые испытания, — писала царица в мае семнадцатого, — они готовят нас для другой жизни, в далекий путь. ...Господь так велик, и надо только молиться, неутомимо Его просить спасти дорогую Родину. Стала она быстро, страшно рушиться в такое малое время».

Началось спровоцированное революцией зримое выявление героев и негодяев. Боцман Деревенько, на руках носивший больного царевича и считавшийся своим в семье государя, перешел на сторону революционной черни. А матрос Клементий Нагорный добровольно отправился с узниками в Тобольск, потом в Екатеринбург, где его за месяц до убийства Романовых расстреляли.

Бездонная трещина прошла по России. Боханов трезво не хочет взваливать всю вину на иностранные (заокеанские и немецкие) деньги, на тяжелую роль инородцев и иностранцев. «Эрозия политических и религиозных чувств, убеждений, пристрастий, стремлений людей — вот где корень событий. Падению монархии предшествовало крушение монархизма как мировоззрения».

Василий Розанов четко констатировал окончательный диагноз: «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. Даже „Новое время” нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частных... Что же, в сущности, произошло? Мы все шалили. („Шалил” и сам Василий Васильевич. — Ю. К.) Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что

солнце видит и земля слушает. Серьезным никто не был, и, в сущности, цари были серьезнее всех... И, как это нередко случается, — „жертвою пал невинный"... Собственно, от чего мы умираем? Нет, в самом деле, — как выразить в одном слове, собрать в одну точку? Мы умираем от единственной и основательной причины: неуважения себя. Мы, собственно, *самоубиваемся*».

Какой безжалостный и точный диагноз.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

*

РОССИЙСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. М., Российская Академия Естественных Наук, Научный фонд «Еврейская энциклопедия», «Эпос». Т. 1 — 3. Биографии. Т. 1 — 1994, 557 стр. Т. 2 — 1995, 524 стр. Т. 3 — 1997, 525 стр.

Однажды я подарил одному своему приятелю, человеку уже немолодому, книгу. Пообщаться с ним в этот вечер так и не удалось. Пока я ел всякие вкусности, беседуя с его женой и детьми, он сидел уткнувшись в толстенный том, не проявляя ни к столу, ни к беседе ни малейшего интереса. Время от времени он всплескивал руками, хохотал и восклицал: как, и этот тоже?! Потом отрешался, чтобы через пять минут опять воспарить: ха-ха-ха! нет! ты только посмотри! и этот?! и этот?! ха-ха-ха! И даже сучил ногами. Число восклицательных знаков в этой тираде не преувеличено.

Книга, столь возбудившая моего приятеля, называется «Российская Еврейская Энциклопедия» (РЕЭ) и претендует на то, чтобы вобрать в себя пространство, образованное пересечением двух тем: Россия и евреи. История, география, наука, религия, экономика, политика, культура, спорт, быт — одним словом, «всё».

Структура РЕЭ довольно необычна: энциклопедия трехчастна, причем каждая из частей построена по собственному принципу и состоит из нескольких томов.

Первая часть — биографии (причем только еврейские; поэтому, к примеру, интересный для сюжета Василий Розанов пригласительный билет сюда не получил).

Вторая часть — история и география еврейских общин на территории России.

Третья часть — предметная. Она должна вобрать в себя все аспекты еврейской жизни в России: и с точки зрения собственно еврейского творчества, и с точки зрения участия евреев в российской жизни, и с точки зрения взаимодействия евреев с народами России и реакции этих народов на еврейское присутствие. Тут помянутый в качестве модели Василий Розанов может встретиться на разных путях: в статьях, посвященных антисемитизму, юдофильству, делу Бейлиса, русской литературе.

Фундаментальный методологический вопрос РЕЭ — вопрос дефиниции ключевых понятий. У интуитивно-понятных слов, с, казалось бы, очевидным смыслом, оказываются зыбкие границы, настоятельно требующие демаркации.

Термин «Россия» с географической точки зрения в понимании РЕЭ вбирает в себя все земли, входившие когда-либо в состав хотя бы одного из российских государств от Киевской Руси до нынешней России — то есть от финских хладных скал до пламенной Колхиды, включая также и Аляску, буде там обнаружатся некие выдающиеся евреи.

Теперь касательно «евреев» (беру в кавычки как энциклопедический термин). Вопрос дефиниции возникал неоднократно, причем интерес к нему был зачастую отнюдь не академический. Решать его приходилось для разных надобностей и приложений. Соответственно, существует масса определений: по Галахе (еврейское религиозное законодательство), по Нюрнбергским законам, по негласным инструкциям, которыми руководствовались кадровики и приемные комиссии престижных вузов в СССР, по методологическим разработкам переписей населения СССР, по Закону о возвращении и так далее, и так далее.

Согласно Галахе, евреем считается тот, кто отвечает хотя бы одному из двух критериев: либо у тестируемого мать — еврейка, либо он принял иудаизм. В соответствие с этим определением еврей — команда, в которую можно добровольно войти, но нельзя добровольно выйти (впрочем, выйти нельзя и недобровольно).

Учитывая, что две первые позиции среди отцов энциклопедии занимают

Герман Брановер (главный редактор) и Зеев Вагнер (его заместитель), известные как исключительно активные деятели еврейского религиозного движения в СССР, а затем и в Израиле, было бы естественно ожидать, что именно галахическое определение послужит методологическим инструментом РЕЭ. Однако это оказалось не совсем так. Галахические условия были смягчены, и в энциклопедийные евреи попадает тот, у кого хотя бы один из родителей еврей.

В связи со всем сказанным не может не возникнуть естественный вопрос: если самосознание, если культурная и религиозная идентификация, отливающиеся в творчестве и в общественной жизни, не играют тут вообще никакой роли, если РЕЭ раскрывает свои двери в том числе и таким персонажам, которые ни субъективно, ни объективно с еврейством никак не связаны, не превратится ли энциклопедия в этом случае в механический конгломерат ничем не объединенных лиц, по сравнению с которым «Союз рыжих» представляется верхом осмысленности?

Вопрос этот кардинальный. При положительном ответе на него РЕЭ (во всяком случае, ее биографическая часть) вообще лишается права на существование. Однако дело в том, что положительный ответ, несмотря на его (казалось бы) очевидную аргументированность, все-таки принципиально ошибочен.

РЕЭ демонстрирует поистине ядерную энергию, выделившуюся при распаде еврейской общины России. Частицы этого взрыва могут быть никак уже не связаны с ядром, могут вовсе позабыть о нем, но они продолжают нести энергию взрыва. Участие евреев во всех сферах российской жизни — грандиозно. В творческих взлетах, в преступлениях, в героизме, в создании военного, промышленного, научного, государственного, культурного потенциала России они стали ее неотъемлемой частью, в значительной мере повлияв, в особенности на протяжении последних полутора веков, на ее облик и судьбу.

Только что увидевший свет третий том РЕЭ, завершающий биографическую часть энциклопедии, показывает это с такой же обескураживающей наглядностью, как и два предыдущих.

Генрих Ягода, Иона и Петр Якиры; Емельян Ярославский и участник зна-

менитого солженицынского сборника «Из-под глыб», узник совести Феликс Светов; Моисей Урицкий, глава Петроградской ЧК, убитый Каннегисером — также персонажем РЕЭ; Семен Франк, Роман Якобсон, Юлий Харитон, Альфред Шнитке, Натан Эйдельман, Михаил Таль, легендарный руководитель «Красной капеллы» Леопольд Треппер... Корней Чуковский, Михаил Чехов. Антон Павлович устами Иванова предупредил сокрушенно: не женитесь на еврейках, — брат не услышал.

Третий том РЕЭ демонстрирует не только безоглядное участие евреев решительно во всех сферах российской жизни, но и национальное творчество, достаточно сильное, чтобы ассимилировать влияние русской и мировой культуры, и жизнь в собственном самодостаточном мире, и стойкость и упорство в сохранении своего национального лица в тяжелейших исторических условиях.

Разнообразие лиц и судеб: Шолом-Алейхем, Марк Шагал, идишитский поэт Ицик Фефер, расстрелянный по делу о Еврейском антифашистском комитете, Дов Шиланский — участник подпольного сионистского движения в СССР, подпольной организации в гетто, узник Дахау, участник Войны за независимость, писатель, депутат кнессета.

Том включает в себя статьи о двух последних лидерах любавичских хасидов: Йосефе-Ицхоке Шнеерсоне — организаторе подпольного религиозного движения в СССР, приговоренном к смертной казни, в самый последний момент замененной высылкой из страны, и его преемнике — умершем несколько лет назад Менахеме-Мендле Шнеерсоне, придавшем любавичскому движению невиданный размах и динамизм.

Я открываю энциклопедию в произвольном месте. Читаю подряд. Эффект поистине замечательный! Борис Шафиркин — один из первых разработчиков концепции создания единой транспортной системы СССР. Петр Шафиров — пленец гнезда Петрова. Даниил Шафран — виолончелист. Моррис Шаффер — американский вирусолог, родившийся в Бердичеве. Израильский раввин Элизер-Менахем Шах — одна из самых крупных звезд на небосклоне современного иудаизма, тоже из здешних мест. Борис Шахет — руководитель и режиссер Московского цирка. В каче-

стве смелого эксперимента он создал в цирке образ Ленина — ну чего только не придет в еврейскую голову! Ленин! В цирке! Это ж надо!

РЕЭ удовлетворит острый сиюминутный интерес относительно лиц, которые у всех на устах. Худшие подозрения оправдаются. И читатели, как и мой давешний приятель, будут восклицать: как, и этот тоже?!

Да, и этот тоже.

Михаил ГОРЕЛИК.

*

ИСТОРИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ «МЕМОРИАЛА». Выпуск первый. РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПОЛЯКОВ И ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН. М., «Звенья», 1997, 256 стр.

Многие поклонники таланта Анны Герман наверняка обратили внимание: звезда польской эстрады выросла в советском Казахстане. Какой попутный ветер занес ее туда в детстве и отрочестве?

То был не попутный — штормовой ветер, бивший в лицо, валивший с ног...

Еще в 1936 — 1939 годах под административный надзор НКВД в Казахстан было выслано 36 тысяч поляков. И вообще «польская операция» явилась в те годы составной частью Большого террора.

Следующую волну крупномасштабных репрессий вызвал тайный сговор Сталина — Гитлера и Молотова — Риббентропа, благопритествовавший разбойному нападению Германии на Польшу и отторжению в пользу СССР восточных польских территорий. «Символом цинизма и жестокости в политике СССР по отношению к Польше» стал в апреле — мае 1940 года расстрел 15 тысяч «польских военнопленных», содержащихся в «офицерских лагерях» в Катыни, Харькове и Калининне (см. мою статью «Правда Катыни: суд и покаяние» в «Российских вестях» от 28 ноября 1997 года). И еще более 7 тысяч человек (возможно, до 11 тысяч), заключенных в тюрьмы западных областей Украины и Белоруссии. (По польским источникам, в 1940 году спецотряды НКВД расстреляли 21 857 поляков.) И около 320 тысяч граждан довоенной Польши были в то время депортированы в северные и восточные районы СССР. (Среди этих ты-

сяч — семья моего друга, тогда ребенка, а ныне известного польского писателя Александра Минковского, рассказавшего о своем советском житье-бытье в одной из автобиографических книг.)

«Новая длительная репрессивная кампания» обрушилась на поляков после вступления в Польшу в 1944 году Красной Армии-освободительницы. Бессудными жертвами репрессий стали участники движения Сопротивления, антигитлеровского подполья, Варшавского восстания, то есть те патриоты-антифашисты, чья «вина» перед Советами состояла единственно в том, что они признавали легитимность своего национального, так называемого «лондонского», правительства. «Главный удар был направлен против подпольной Армии Крайовой (АК), входившей, наряду с польскими войсками за рубежом, в состав Вооруженных сил польского правительства в эмиграции». Тысячи, десятки тысяч репрессированных пострадали, таким образом, от освободителей не за какие-либо враждебные действия, а, по сути дела, только потому, что они поляки. «Преобладающее большинство репрессированных в 1944 — 1945 гг. польских граждан составляли не участники вооруженных отрядов, захваченные в ходе боев с войсками НКВД, а те, кто после прихода Красной Армии проживал у себя дома и в ходе массовых облав („операций по очистке тыла“), проводимых органами НКВД СССР и ПКНО (просоветским Польским комитетом национального освобождения. — В. О.), был задержан по обвинению в принадлежности к АК. Основную массу задержанных отправляли в глубь СССР в лагерь военнопленных в качестве интернированных. В начале 1945 г. к ним добавились задержанные органами НКВД жители вновь освобожденных Красной Армией польских территорий. Десятки тысяч интернированных поляков и польских граждан месяцами, а то и годами находились в лагерях в СССР без какого-либо приговора»...

Приведенные факты, комментарий к ним и их оценки заимствованы из предисловия «От Польской комиссии общества „Мемориал“», которым открывается рецензируемый сборник. В его составе 11 статей, авторы которых предпринимают строго документированное «изучение репрессивных кампаний против поляков в СССР как исторического явления».

О многом из рассказанного авторами сборника читатели узнают впервые. Или если не впервые, то куда точнее и обстоятельнее, чем знали до сих пор.

Например, о письме секретаря Исполкома Коминтерна Мануильского пока еще не сталинскому наркому, но уже секретарю ЦК ВКП(б) Ежову, где от правитель подобострастно просит обсудить совместно «вопрос о мероприятиях по проверке» польских политэмигрантов — главных поставщиков «шпионских и провокаторских элементов в СССР». И о записке Ежова Сталину, которой он информировал наставника и друга советских чекистов об ответных на сигнал Коминтерна мерах, какие принимаются против политэмигрантов, «подозреваемых в шпионаже, дела которых разрабатываются в НКВД» (В. Хаустов, «Из предыстории массовых репрессий против поляков. Середина 1930-х гг.»).

Об ускорившем аресты поляков ежовском приказе «О фашистско-повстанческой, шпионской, диверсионной, пораженческой и террористической деятельности польской разведки в СССР». И выкосившем их депортированные семьи его же приказе «О репрессировании жен изменников родины, членов правотроцкистских шпионско-диверсионных организаций, осужденных Военной коллегией и военными трибуналами». Надо ли добавлять то, что само собой разумеется: оба приказа, позволившие карательным органам взять поляков в «ежовы рукавицы», предвзвешенно читаны и одобрены Сталиным (Н. Петров, А. Рогинский, «„Польская операция“ НКВД 1937 — 1938 гг.»).

О бериевском приказе от 7 марта 1940 года, на основании которого Управлениями НКВД западных областей Украины и Белоруссии создавались оперативные тройки «для проведения выселения семей репрессированных». И о массовых выступлениях протеста депортированных поляков против произвола советских властей, происходивших в Новосибирской и Омской областях (А. Гурьянов, «Польские спецпереселенцы в СССР в 1940 — 1941 гг.»).

О шантаже и угрозах, сопровождавших вербовку особыми отделами лагерей агентурной сети в Армии Андерса, незадолго до ее формирования выпущенного из Внутренней тюрьмы НКВД на Лу-

бянке. О том, под каким непроницаемым колпаком НКВД находилась эта армия, контролируемая «также и с помощью засланных туда агентов Исполкома Коминтерна (ИККИ). В сентябре 1941 г. многие (из тех, кого не расстреляли. — В. О.) бывшие члены распущенной по указке Сталина в 1938 г. Компартии Польши были вызваны в Москву, прошли месячную подготовку в Кунцево, после чего их направили в польскую армию. До середины декабря туда был заслан 81 представитель ИККИ». Достоинно внимания развенчание легенд, связанных с Армией Андерса: они намеренно укоренялись в советском массовом сознании усилиями антипольской пропаганды. Не совершал генерал Андерс никакого предательства, осуществляя передислокацию своей армии, а действовал в согласии с советским руководством и по утвержденному Сталиным плану «эвакуации польской армии из СССР на территорию Ирана». И не уклонялась Армия Андерса от боевого участия во Второй мировой войне: переименованная во 2-й польский корпус, держала оборону на огромном пространстве — от Ирака и Тель-Авива до Египта. А «в январе — феврале 1944 г. по настоянию Черчилля 50-тысячный 2-й польский корпус был переведен в Италию и включен в состав союзных войск. В мае 1944 г. он в результате кровопролитного штурма овладел монастырем Монте-Кассино, превращенным гитлеровцами в крепость, блокировавшую союзникам дорогу на Рим. Год почти непрерывных боев в Италии 2-й польский корпус завершил в апреле 1945-го участием во взятии Болоньи» (Н. Лебедева, «Армия Андерса в документах российских архивов»).

Из многих уроков истории, актуально извлекаемых авторами сборника, выделим один, который сформулирован Н. Петровым и А. Рогинским: масштаб арестов — вот «отличительная черта польской от других национальных операций... Она была не только первой, но и самой крупной из всех национальных операций по числу жертв».

Тем, значит, больше у нас оснований, как и в случае катынской трагедии, к суду над своей историей и покаянию за ее преступления...

Валентин ОСКОЦКИЙ.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

ПИСЬМА ШВЕЙЦАРСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

GEORGES NIVAT. *Regards sur la Russie de l'an VI*. Edition de Fallois/L'Age d'Homme. Paris, 1998, 292 p.

ЖОРЖ НИВА. Взгляд на Россию в год VI.

Известный женевский филолог-русист, биограф Солженицына, разделяя гоголевское убеждение, что «надо проездиться по России», предпринимает такие поездки с 1992 года, который для него «год I», ибо с этой даты ведет начало посткоммунистическая русская история. Итогом поездок становятся книги смешанного жанра — отчасти путевой дневник, отчасти эссеистика и мемуары. Порой ясно дает себя почувствовать публицистический оттенок, но преобладает все-таки взгляд культуролога, привыкшего воспринимать текущее в перспективе движения конфликтов и идей, особенно много значивших для русской жизни на протяжении столетий.

Карамзин вспоминается читателю этих книг поминутно, тем более что соответствующие главы «Писем русского путешественника» и сегодня остаются, не говоря обо всем остальном, непревзойденным описанием Швейцарии. Похоже, эти «Письма» и впрямь стали для Нива примером, подразумевая тип повествования.

Подобно Карамзину, он всегда помнит, что первая обязанность описывающего свое путешествие — рассказать об увиденном по возможности подробно и выразительно. Маршрут Нива пролегал по русскому Северу и по низовьям Волги, по Украине, по Калмыкии. Десятки лет тесно связанный с Россией и знающий ее как мало кто еще на Западе, он тем не менее не перестает открывать для себя много необычного, даже диковинного. Читатель его книги не раз почувствует ноту изумления, которая звучала и у Карамзина, описывающего, например, предлинные рога, украшавшие головные уборы баденских женщин, «отчего все они кажутся похожими на сатиров», или надписи над домами обывателей, «иногда отменно глупые и смешные».

Но ни следа любования экзотикой нет ни у швейцарского, ни у русского автора. Карамзину даже самые живописные детали нужны главным образом как повод для сентенций. Приведя две-три «глупые надписи», он спешит обобщить: «В вольной земле всякий волен дурачиться и писать, что ему угодно». А восторг, вызванный видом «светлого, зеркального озера», немедленно провоцирует ассоциации, которыми создается обширнейший культурный контекст, — вот он-то и важен. Тут и «нежный Геснер» с его пастушескими идиллиями, и «душа бессмертного Клопштока», коя «наполнялась великими идеями о священной любви к отечеству», и Виланд, и Гёте, и даже «седой старец Гомер».

Хотя Нива не позволяет себе подобных поэтических воспарений, его основные усилия тоже отданы не живописанию, а размышлению. Пейзаж волгоградской окраины, где километр за километром тянутся корпуса оборонных гигантов — и ни дымка ни над одной из бесчисленных труб, — воссоздан у Нива так, что уже и сам по себе не может не впечатлять. Однако эта картина с примесью сюрреализма любопытна даже не тем, насколько красноречиво она свидетельствует о фантастических метаморфозах российской экономики в «год VI». Скорее она интересна навеваемыми ею мыслями о реальном результате имперских притязаний, не в советские времена зародившихся. И эти мысли сразу тянут за собой целый клубок «вечных» русских вопросов. Чаадаев, Герцен, евразийцы, нынешние как никогда актуальные споры о Руси и Поле (дорога, тянущаяся мимо этих мертвых заводских громад, ведет на Элисту) — давнее и злободневное оказываются совсем рядом, существуют в слитности.

Итак, конкретика все время перед глазами, однако логика интерпретации, выстраивающиеся ряды сближений и идей уведут от нее порою очень далеко. Нива — путешествующий интеллеktуал, а не турист, хотя бы и наделенный замечательной наблюдательностью. Самое интересное у него — точка зрения и комментарий, иными словами, позиция.

Она нескрываемо прусская — явление неординарное для западных сочинений о сегодняшней России. Чаще всего они представляют собой или разоблачительный репортаж с привкусом дешевой сенсационности, или бледное переложение наспех перелистанного де Кюстина, словно бы с 1839 года ничего существенно не изменилось на территории, и поныне занимающей одну седьмую мировых пространств. Абсолютно чуждый апологетики, наделенный взглядом трезвым и точным, Нива вместе с тем знает цену всем укоренившимся мифам о России. И решительно отвергает наиболее из них устойчивый — идею органической неприспособленности русского сознания к демократическим нормам и установлениям.

Для него бесспорно, что Россия, где наступило новое летосчисление, уже не может осознаваться вне европейской цивилизации, от которой ее так упорно стремились (и стремятся) отделить радикальные почвенники да и западные толкователи, как встарь, замечающие только необузданные диктаторские поползновения власти, гражданскую апатию масс, «азиатчину», «бескультурие» — и ничего больше. Этот образ России, по убеждению Нива, даже и в самые сумрачные советские годы не являлся, строго говоря, корректным. После крушения режима он, полагает Нива, и вовсе стал анахронизмом. Современная Россия принадлежит Европе, в то же время сохраняя свою «разумную обособленность», поскольку наделена «изумительной индивидуальной энергией», которая высвобождена реформами, — может быть, это пока их единственный весомый и зримый итог.

В России повсюду дает себя ощутить «поэтика недовершенности (касается ли дело общества, или архитектуры, или культуры в целом)». Повсюду «возникает такое чувство, что это лишь временное пристанище», — почему-то Нива не вспомнилась классическая формулировка, что «все перевернулось», хотя, пожалуй, она бы не совсем подошла: как явствует из книги, ничего еще даже не начало «укладываться». Нива не из тех, кого могут впечатлить европейского класса автозаправки, появившиеся на шоссе, по которым еще недавно можно было проехать только на грузовике, или вылощенные молодые люди с кейсами, которые деловито снуют по Невскому, украсившемуся западными витринами. Он не поленился заглянуть в соседний переулок, где трущобы, каких не вообразил бы и Достоевский, а проводил вечером случайную попутчицу на петербургской окраине — автобусы не ходят, — выслушает ее рассказ, удостоверяющий, что финальная сцена «Шинели» для России «года VI» не фантазмагория, но будничное происшествие. Он посетит психиатрическую лечебницу, располагающуюся в запущенном белозерском скиту, и ужаснется нищете, грязи, скотству — какой контраст, ведь когда-то в этом скиту жил Нил Сорский, один из величайших русских святых.

Много раз Нива повторит по разным поводам, что надежды, родившиеся 21 августа 1991 года, когда «в Москве была спасена едва народившаяся демократия», не сбылись (как, впрочем, не оправдались и ожидания, пробужденные падением Берлинской стены, — единая цветущая Европа так и не возникла). Он цитирует резкие, укоризненные суждения о новой России тех, кто, подобно В. Буковскому, ожидал немедленных радикальных сдвигов и, убедившись, что ожидания были беспочвенными, теперь демонстративно не признает, что демонтаж системы, продержавшейся семь десятилетий, все-таки свершился, пусть он еще не доведен до конца.

Понимая весомость аргументов, которыми обосновывается подобная точка зрения, Нива тем не менее отказывается ее принять. Для него сегодняшняя российская ситуация таит в себе «бездну притягательного... возможно, она открывает реальное будущее». И дело отнюдь не в том, что свершения юной демократии зримы, имея в виду политику или социальную сферу, — как раз это, мягко говоря, дискуссионно. Энтузиазм Нива (если это слово, несомненно требующее оговорок, все же определяет предложенный читателю «взгляд на Россию» точнее, чем другие) основан на вере в «индивидуальную энергию» или же, как сказано у него

далее, в «русский узус», который понят не в этнографическом смысле, а скорее как некий национальный менталитет или же как «особенный способ существования, предполагающего коллективность, семейственность, пронизывающую собою все»: труды и дни, верования, и праздники, и скорби. Страницей ниже Нива ссылается на Герцена, убежденного, что русскому характеру намного больше, чем европейскому, присущ артистизм, выражающийся не только в художественном инстинкте, но прежде всего в органичной способности воспринимать даже самые тяжкие невзгоды как в конечном счете преодолимые — причем не индивидуальными усилиями, а всем миром, соборно, — в этой невозможной для европейца «легкости», которая на поверку оказывается стойкостью духа и неистребимостью веры в добрый исход, пусть для нее как будто бы нет никаких реальных оснований. Видимо, именно такая трактовка русского национального сознания представляется Нива самой верной (не зря же он назвал «Былое и думы» настольной книгой для всех желающих понять различия между Россией и Западом). Трактовку, разумеется, можно и оспаривать, но несколько описанных Нива эпизодов путешествия заставляют, во всяком случае, не отметать ее с порога.

Особенно выразительны в этом смысле страницы, доносящие впечатления от Оптиной пустыни и от Ферапонтова. Оптинская главка занимает центральное место в разделе «Быть русским сегодня». Это очень понятно: помнящие, в каком состоянии находилась святыня всего несколько лет назад, и видевшие, как стремительно она возрождается, должны будут согласиться с тем, что российская «поэтика недовершенности» заряжена движением к лучшему и что это движение вправду осуществляется коллективным действием и, по-герценовски говоря, артистично. А Ферапонтово, где и сегодня все в руинах, поразило Нива встречей с людьми, наглядно свидетельствующими, что не перевелся исконный русский тип подвижника. Три скромные женщины в невозможных условиях сохраняют местный музей и вопреки всему не дают погибнуть фрескам Дионисия, сопоставимым с шедеврами Чимабуэ во Флоренции (какой поток туристов ринулся бы сюда, располагайся монастырь не на Бородавском озере, а в центре Европы!). Для Нива беседы с ними стали ответом всем плакальщикам над погибающей Россией: «Не знающие про Ферапонтово и про другие такие же места никогда не поймут чуда вечно обновляющейся русской культуры!»

В свое время «русский путешественник» не упускал ни единой возможности от частной перейти к умозаключениям обобщающего толка: какая-нибудь «девичья школа» в «Цирихе» тут же пробуждала у Карамзина охоту лишний раз порассуждать о том, что «роскошь бывает гробом вольности и добрых нравов». Нива похожим образом перемежает эпизоды реального путешествия экскурсами в интеллектуальную жизнь России последних лет, но от сентенций, как правило, воздерживается, а просто приводит мнения, выбор которых достаточно принципиален: все они так или иначе связаны с непрекращающимся спором о возможности или нереальности осуществления европейских моделей социального устройства в российских условиях, о сущности русского духовного опыта, об уроках отечественной истории, особенно тех, которые побуждают еще раз задуматься, была ли у России демократическая альтернатива.

Последние работы Н. Эйдельмана и книга Я. Гордина «Меж рабством и свободой», где осмыслена попытка ввести конституционное правление, предпринятая еще в 1730 году, конечно, должны были особенно заинтересовать Нива, все время возвращающегося к своему отправному тезису, согласно которому Россия вовсе не обречена на абсолютизм, возобновляемый во внешне изменяющихся формах. Но все-таки центральный пункт размышлений Нива — не политическое устройство российского общества после 1991 года, а русская духовность, русский национальный тип, модификации этих категорий в новых условиях. И поэтому Нива возвращается к уже давней по времени работе Д. С. Лихачева «Заметки о русском» (она когда-то публиковалась в «Новом мире»), а также к полемике вокруг нее, завязавшейся между культурологом Л. Баткиным и поэтом Д. Самойловым.

Этот принципиальный спор не слишком хорошо известен общественности (он велся в эпистолярной форме, и, кажется, не все письма стали достоянием печати). Напомнив, что в «Заметках о русском» определяющим свойством нацио-

нального характера была названа доброта, соединяющаяся с неистребимой пассивностью в делах, относящихся к сфере государственных и политических интересов, и с тяготением к святости, Нива приводит контрдоводы Л. Баткина, который полагал, что вся эта характеристика пропитана либеральным прекраснотушием и, уж во всяком случае, не должна вызывать умиления. Реальная русская история, согласно этому взгляду, говорит вовсе не об укорененной жажде святости, но о чудовищном насилии над неотъемлемыми правами человека, о подавлении чувства индивидуального достоинства, о непрерывной жестокости и о сервиллизме, пустившем глубокие корни в массовой психологии. Д. Самойлов не принял таких выводов, хотя не отрицал их обоснованности историческими фактами. И полемика развернулась главным образом вокруг слов, обозначающих как будто бы одно и то же понятие, но в действительности обладающих разной семантикой: «воля» — как сугубо русское представление о нестесненности, «свобода» — как категория, закрепленная правовыми актами, обладающими безусловной обязательностью во всем и для всех.

Какое из этих слов, только кажущихся синонимами, должно обозначить принцип, который станет фундаментальным для строящейся новой России, — вот, по мнению Нива, самая острая проблема, стоящая перед русским обществом и сегодня, когда со времени описанной полемики прошел уже добрый десяток лет. Швейцарский профессор воздерживается от рекомендаций, он лишь стремится к точности и объективности анализа. Русский путешественник высказывался намного более определенно и решительно: подъезжая к Базелю, он твердо знал, что находится «в стране живописной природы, в земле свободы и благополучия», и, с гордостью помышляя о человечестве, достигшем подобных высот, вдохновлялся надеждой, что к этому человечеству со временем будет приобщена его отчизна. Нива, путешествующему по России в «год VI», было бы странно повторить вслед Карамзину, что «дыхание мое стало легче и свободнее», когда он ступил на эту благословенную землю. Но как и Карамзин, покидающий Страсбург, чтобы ехать в Швейцарию, он мог бы сказать, что «путешествие питательно для духа и сердца нашего. Путешествуй, ипохондрик, чтобы исцелиться от своей ипохондрии!» — совет, к которому, пожалуй, стоило бы прислушаться нам самим, в отличие от Жоржа Нива так часто зараженным мизантропией относительно собственного отечества.

Алексей ЗВЕРЕВ.



Н Е К Р О Л О Г

ПОСЛЕДНИЙ УРОК

Юрий Яковлевич Глазов (1929 — 1998) — ученый, публицист, писатель, известный правозащитник. Окончил Московский институт востоковедения, работал старшим научным сотрудником в системе АН СССР по специальности структурная лингвистика и индология. Помимо интенсивной научной работы во второй половине 60-х начал активно заниматься правозащитной деятельностью (см.: «Ранний Сахаров». — «Новый мир», 1996, № 7).

Под давлением КГБ Ю. Глазов вынужден был в апреле 1972 года эмигрировать вместе с семьей на Запад (см.: «Адаптация». — «Новый мир», 1998, № 3).

С 1975 года жил в Канаде (Галифакс), где в Институте Дальхаузи вел курсы истории русской культуры и литературы, а также спецкурс по Достоевскому.

Автор мемуарно-философской книги о правозащитниках и поколении шестидесятников «Тесные врата» (Лондон, 1973) и нескольких историко-публицистических работ о советском и постсоветском обществе, изданных в США по-английски, таких, как «The Russian Mind since Stalin's Death» («Русская мысль после смерти Сталина»; Бостон, 1985), «To be or not to be in the Party» («Быть или не быть в партии»; Бостон, 1988), и других. В информационно-издательском центре «Истина и Жизнь» (Москва) скоро выйдут в свет автобиографические книги Ю. Глазова «В краю отцов» и «На чужой стороне».

Заметки Юза Алешковского «Последний урок» переданы в редакцию вдовой покойного Мариной Глазовой.

Такая вот в жизни пошла полоса: если не сам даешь дуба, то близких друзей хоришь и поминать их не устаешь...

Юрий Глазов умер в Галифаксе, Новая Шотландия, Канада. Царство ему небесное.

Последние пару лет, после выхода на профессорскую пенсию, он работал над вторым томом своих воспоминаний, совсем еще не догадываясь, что Время — час за часом, день за днем, месяц за месяцем — уже листает... листает и долистает утром 15 марта этого года последние страницы его жизни, отмеченные роком неизлечимой болезни и страданиями души. Ведь сердечная тоска ближних намного больнее для любящей души умирающего человека, чем боль родного своего и единственного тела.

Страдание... Все, что связывает наш опыт и воображение со словом и понятием «страдание», пугает, отвращает, вызывает вполне законный протест инстинктов жизни и здоровья, подрывает веру в спасительную силу Красоты и утверждает в мнении об абсурдной жестокости условий существования на Земле всего живого.

Но вот как помиравший друг просветил мой темный ум и обнадеежил душу, вновь потрясенную трагедией смертельной болезни ближнего.

В телефонных разговорах Юра — чуть ли не до последних своих дней — был неподдельно и даже легкомысленно, как показалось мне, весел. Но чуялось, как его психике, нагруженной болью и тоской расставания с любимыми людьми, немислимо тяжело взлетать к такому вот веселию души и духа с мрачных равнин уныния. Тогда же и понималось, что это легкомыслие — истинно, что оно есть результат превозмогания и преодоления душою сил тяготения земного уныния, что оно — прекрасное и завидное качество ее прощального парения вокруг покидаемой Жизни на все удаляющейся и удаляющейся от Земли орбите.

Именно поэтому я не воспринял душевное веселье Юры как плод невероятно-го напряга остатков его волевой энергии или как финал этического торжества человека мужественного и сильного над неизбежностью, над неотвратимостью, над

мукой, вызванной неосведомленностью о том, что ожидает душу за, так сказать, голубым бугром земных небес.

Мне вдруг открылось, что он — умирающий человек — являет собою не фигуру жертвы этого самого, черт бы его побрал, рока, но фигуру смертельно усталого обитателя Земли, нашедшего в себе силы выйти на последнюю свою страду, на страдание, а потому и страдающего, то есть радостно собирающего спелые (какими бы преждевременными ни казались сроки собирания) и ядреные колоски многих итогов жизни. А плевелы, а сорняки, а пыль бесплодную, заметную лишь в снопах солнечного света, — все это Ангелы в свой час развеют там, где всему бесполезному положено стать развеянным и как бы вовсе не бывшим...

Я знал, что иссыхает плоть телесная моего друга, изводимая к тому же болью, которая, слава Богу, унимаема в наши дни наркотическим питьем из чаши милосердной змеи фармакологии. Но «выглядел» он по телефону, да и со слов любимой подруги его жизни, Марины, личностью, радостно и весело доверившейся устрашающе тайным для человеческой психики и для разума человека смыслом Смерти.

Он, помирающий, подобно младенцу, вслепую впервые тянушемуся к материнской груди, уже тянулся слабыми руками вверить себя Лону Предвечного, откуда все живое призывается к счастливым бедам жизненной судьбы.

Странное дело, в этих разговорах человек определенно умирающий, как оказалось, поддерживал человека как-никак еще живого в сознательной и бессознательной его подготовке к будущей встрече с неминуемым. Именно поэтому помирение одного было уроком достойного умирания для всех остальных.

Сей урок явно превосходил мудрой надобностью своей все виды прижизненного терпения, мужества, героизма, мук и прочих дел такого рода, чаще всего замешанных не на ошибках и грешках отдельного человека, а на хитрых каверзах человеческой цивилизации и дичайшем абсурде взаимопожирания людских сообществ.

Известный тезис насчет того, что вера без дел мертва, всегда казался лично мне тезисом весьма лукавым. От него так и разит попыткой «разума возмущенного» взять да и соотнести нечто принципиально несоотносимое. Когда не нагло, то в высшей степени горделиво тезис сей ставит спасительно интуитивное наше чутье вечной значительности запредельных тайн в недопустимую зависимость от переходящих дел человека. Свободная вера, таинственно связующая наши души с Тем, Кого принято называть Богом, эдак вот лукаво и оказывается заложником этического, а временами и эстетического. Ведь если мы сами праведны и во многом, как нам кажется, совершенно замечательны, то бесы безверия угрюмо находят почвы произрастания в ужасах поведения других людей, в бесновании толп, рванувшихся на штурм Небес, в общей гнилости застойных времен и так далее. Где уж теперь бедной Вере спасать разуверившихся, когда сама она нуждается в срочном освобождении, если не в неотложном спасении!

И единственное из всех людских дел на этой Земле, истинно подтверждающих подлинность веры души в бессмертие ее связей с Духом Жизни Вечной, — это дело достойного, а следовательно, правильного, в смысле опять-таки этическом и эстетическом, помирения.

Именно так — с любовью к образам прошедшей жизни, с доверием к тайным смыслам смерти, с надеждой на скорое посвящение в некоторые из них — именно так помирал и умер Юра Глазов. Именно такими вот умираниями жива и свободна Вера, не поставленная в зависимость от любых похвальных дел, Вера, радостно помогающая человеку превозмочь в смертный час трагизм бытия и неопишимо мрачные уродства человеческой истории.

Спасибо тебе, страдалец, а вскорости и небожитель, за последний урок. Человек плохо обучаемый, вроде бы успел я его вызубрить. Вроде бы успел.

Но когда в присутствии любимых ближних и я вызван буду к светлой гробовой доске, то дай Бог и мне и мне помоги Судьба повторить без единой запинки все, заученное со слов помиравшего друга.

Юз Алешковский.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЧИТАТЕЛИ — О «НОВОМ МИРЕ»

В апрельском номере «Нового мира» за этот год мы напечатали некоторые из писем, поступивших в редакцию в ответ на обращение Сергея Павловича Залыгина к нашим читателям. Вот еще три.

Огромная благодарность всем, нашедшим время написать нам. Повторим еще раз: Ваши мнения, замечания и предложения очень важны для нас. Наш адрес: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский переулок, 1/2. Редакция журнала «Новый мир». Не забудьте указать Ваш возраст, образование, место жительства, специальность.

Вашим журналом я заинтересовалась после того, как прочла в нем «Не ... хлбом единым» Дудинцева. В каком это было году — не помню. Но после этого, с 1962 по 1998 год (на который уже подписалась), не пропустив ни одного года, я являюсь подписчицей вашего журнала (35 лет).

Из публикаций 1997 года особенно понравились и запомнились мне два произведения: Ирины Полянской «Прохождение тени» и Ирины Поволоцкой «Разновразие». Первое заинтересовало необычностью темы. Мы мало что знаем о слепых. Автор очень тонко раскрыла эту тему и, по-моему, очень талантливо описала. А автор «Разновразия» тоже в необычном ракурсе описала наше недавнее прошлое через видение человека из народа, человека очень интересного, умного, со своим отношением к окружающему миру и с своеобразным, красочным и выразительным языком. И это произведение, по-моему, тоже написано прекрасно.

С удовольствием прочла и другие произведения. Например, Марка Кострова «Рыбные дни...». Я вообще люблю его рассказы как бы о природе, а на самом деле — намного шире. Интересны материалы В. Шенталинского о семье Марины Цветаевой. Б. Екимова — «Отцовский двор спокинул я...» и другие ранее опубликованные его рассказы о деревне.

Из публицистики большое впечатление оставили статьи Ю. Каграманова — «Демократия и культура» и особенно — «Мировой Юг бросает вызов», С. Залыгина — «Культура, демократия и тоталитаризм», а из искусства — С. Файбисович, «Актуальные проблемы актуального искусства».

Хотя вы об этом не спрашиваете, но позволю себе высказать одно пожелание. Я хотя и не имею профессионального отношения к искусству, но люблю читать статьи о литературе, музыке, живописи. Но, к сожалению, некоторые авторы, помещая свои работы в «Новом мире», забывают, что это не их профессиональный журнал и что читатели не обязательно их коллеги. Они часто так перегружают свои статьи профессиональной терминологией и вообще иностранными словами, что иногда непонятно, на каком языке они написаны, так как русских слов там меньше, чем иностранных (Т. Чередниченко и другие). Читать такую статью скучно, не будешь же каждую минуту лазить по словарям...

Я лично соскучилась по таким писателям, как В. Астафьев, Ф. Искандер, Д. Гранин, Ч. Айтматов, с которыми редко можно встретиться на страницах вашего журнала. Хотелось бы также увеличить удельный вес фундаментальной художественной прозы, хотя, может быть, во времена нашей «смуты» для нее еще не наступил срок. Надо подождать, чем все это кончится.

Разнообразие в журнале, по-моему, достаточно. Не хотелось бы превращать журнал в арену для «драк». Мы устали от них на экранах телевизоров.

Полиграфическое оформление журнала я бы оставила таким, какое оно есть. Должно же хоть что-нибудь у нас быть устойчивое, традиционное. Всем известно, что «Новый мир» славен не обложками.

Ближайшее будущее толстых журналов, в том числе и «Нового мира», увы, не видится мне в розовом свете (я имею в виду его популярность среди читателей). При очевидном падении интеллектуального и нравственного уровней населения, при сумасшедшем увлечении детективами и эротикой рассчитывать на скорые перемены в психике основной массы читателей не приходится. Но и подыгрывать им, как это делают радио и телевидение, по-моему, не следует...

Успехов вам и благополучия.

С благодарностью

Степанищева Зинаида Гавриловна, 1913 года рождения,
доктор биологических наук, профессор.

Москва.

...Пишу вам с большим чувством благодарности за то, что вы есть.

Я постоянно читаю «Новый мир» с того времени, когда в нем был напечатан «Один день Ивана Денисовича», потом я стала его подписчиком и была им почти 30 лет, хотя подписаться на него было не так-то легко. И мои ученики, и взрослые знали, что этот журнал у меня есть (живу я в рабочем поселке, где всё про всех знают).

Помню потрясение от «Зимнего перевала» Е. Драпкиной, от произведений В. Тендрякова, Ч. Айтматова, Ю. Домбровского и многих других.

С 1995 года я не работаю учительницей литературы, но продолжаю регулярно читать журнал, беру его в районной библиотеке. Я не беру на себя смелость писать о недостатках журнала, я просто попытаюсь показать, как журнал помогает мне в новой моей работе (о ней потом).

Из прозы 1997 года мне понравились произведения Алексея Варламова, Бориса Екимова, Анатолия Наймана.

Всегда внимательно читаю «Крохотки» А. И. Солженицына и его статьи из «Литературной коллекции». Очень интересно, как писатель анализирует произведения другого писателя. И еще: поражает то, что писатель ТАК работает (читая, делает выписки) над чужим произведением. Я в этом случае вспоминаю, как в 1995 году А. И. Солженицын в музее Малышкина стал что-то записывать в свою тетрадь из рассказа научного сотрудника (уж что мы могли ему такого рассказать?). Видимо, сказалась привычка постоянно работать.

С истинным удовольствием прочитала статью поэта А. Кушнера «Среди людей, которые не слышат...». Умный поэт всегда поможет в стихах другого поэта открыть то, мимо чего прошла, не обратив внимания.

Заставила по-новому оценить личность А. А. Фета публикация Г. Аслановой «Навстречу сердцем к Вам лечу».

Из литературной критики не только прочитала, но и законспектировала статью И. Роднянской «Сюжеты тревоги. Маканин под знаком „новой жестокости“».

Но особая благодарность журналу за рубрики «Книжная полка» и «Периодика». Я всегда начинаю читать ваш журнал с конца и сразу делаю выписки, что и где мне искать. Так, о Маканине я стараюсь читать все (мы считаем его земляком, так как корни его рода из Сумарокова, села нашего Мокшанского района), и из рубрики «Периодика» я узнала, что о нем в 1997 году появились статьи в журналах «Звезда» и «Знамя». Поработала и с этими статьями.

Сейчас я работаю научным сотрудником в музее А. Г. Малышкина, вашего бывшего сотрудника (работал в редакции «Нового мира» с 1929 года до конца жизни — 1938 год). Работаю всего три года. Горько сожалею об упущенном времени. Не сумел музей связаться с Л. Леоновым, М. Шагинян и т. д., с которыми работал А. Г. Малышкин. Вот сейчас мы собираем материал о литературном окружении Малышкина. Может быть, у вас в архивах есть что-то о И. М. Гронском, В. П. Ставском, К. Тренине, Л. Сейфулиной, В. Инбер, Огневе, их отношении к

Мальшкину. Нам, сотрудникам маленького провинциального музея, невозможно в нынешних условиях выехать в Москву для работы в архивах...

С уважением

Безрукавникова Лидия Васильевна.

Мокшан, Пензенская обл.

...Мы всю свою взрослую жизнь провели с вашим журналом, и предложение сказать свое слово не оставило нас равнодушными.

Журнал мы начали выписывать около сорока лет назад, с 1959 года, когда еще жили в Казахстане. С 1995 года получаем номера непосредственно в редакции. Не знаем, понравится ли вам наше письмо, но оно — от души. Откровенно говоря, в последние годы задумывались, стоит ли продолжать подписку, до того однообразно серы большинство номеров. Сдерживают нас не отказываться от журнала многолетняя привычка, благодарность за прошлые радости и надежда встретить на страницах немногочисленных полюбившихся авторов.

В свое время «Новый мир» открыл для нас А. Солженицына, опубликовав «Один день Ивана Денисовича», Василия Быкова и Вл. Богомолова с их замечательной прозой о войне. Через «Новый мир» мы познакомились с «Доктором Живаго» Б. Пастернака, «Тишиной» Ю. Бондарева, «Полководцем» В. Карпова, хроникой И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» и многими другими хорошими работами. Часть из них мы сохранили в отдельных переплетах и даем читать родным и знакомым, заглядываем сами.

Из современных авторов, печатающихся в «Новом мире», безусловно первым для нас является Борис Екимов. Не боясь перехвалить, можно предположить, что многие его вещи, особенно рассказы о селе, войдут в классику о нынешнем времени. Так талантливо показать сложные и противоречивые явления, происходящие сегодня в деревне, удастся пока только ему. И художественно, и точно, и социально значимо. На многие вопросы, что ставит жизнь, и сам Б. Екимов не может ответить (а кто сумеет?), но так откровенно, тонко, с душой и болью может писать лишь человек, страдающий вместе со своими героями. Глубиной чувств его рассказы напоминают творчество А. Пушкина, А. Чехова, И. Бунина, А. Солженицына. Но Б. Екимов — автор самобытный, и думается, его талант еще будет и будет радовать нас на страницах журнала. Желаем ему здоровья и успехов, и если можно, то передайте большое спасибо за радость общения с ним!

Запомнилась в прошедшем году проза А. Варламова («Дом в деревне»), О. Ларина («Ехала деревня мимо мужика...»). За кажущейся простотой повествования — теплота, раздумья, понимание жизни. Понравилась работа И. Полянской «Прохождение тени». Из других разделов журнала хотелось бы отметить глубокие статьи Ю. Каграманова «Демократия и культура», «Мировой Юг бросает вызов». Не со всеми выводами автора можно согласиться, но написано добротное, аргументированно и интересно. Богатый материал попал в руки В. Шенталинскому, и опубликованные им в этом и прошлых годах работы очень познавательны, однако мешает их полному восприятию излишняя идеологизированность, предвзятость. Обработка исторических документов требует более отстраненного взгляда. Материал сам играет, требуется лишь дать ему соответствующую оправу. В свое время мы выписывали несколько толстых журналов, но пришлось отказаться от них в основном из-за идеологического давления, которое сквозило во многих, особенно публицистических, статьях, да и в прозе.

В прошлом году в «Новом мире» с удовольствием и пользой прочитали очерки опять-таки Б. Екимова «В снегах» и «Итоги „тринадцатой пятилетки“», а также работы А. Паникина «Записки русского фабриканта» и М. Кострова. Вот уж где, казалось бы, простор для того, чтобы кого-то заклеить и навесить ярлыки. Этого нет. Свободное изложение, знание дела, владение пером, самоирония...

К сожалению, приходится переходить к тому, что огорчило в прошлом году в журнале. А огорчило немало: В. Пьецух, «Городской романс»; И. Поволоцкая,

«Разновразие»; А. Мелихов, «Роман с простатитом»; Найман, «Б. Б. и др.»; А. Азольский, «Облдрамтеатр»; Я. Гольцман, «Островок...»; В. Исхаков, «Пудель Артамон»; Ф. Солянов, «Повесть о... самокипе»...

Общее впечатление от указанных романов и повестей — надуманность содержания, сложность, даже вычурность формы, заметная умозрительность ситуаций и сюжетов, натурализм в бытовых деталях. Конечно, авторы неплохо владеют пером, но это «искусство» иногда становится самоцелью. У многих переходит грань использование жаргона и, что неприемлемо для нас в «Новом мире», злоупотребление матерщиной. Наверное, А. Солженицын и Б. Екимов не меньше, а больше сталкивались с этим явлением, но как осторожно они обращаются со словом. Нам могут сказать, что как в жизни, так и в литературе. Можно ответить: тогда зачем литература, будем учиться только у жизни. Не хочется думать, но волей-неволей напрашивается мнение: авторы негативно отмеченных нами работ то ли в меру своих способностей не могут подняться до уровня интересной, умной и занимательной прозы, то ли сознательно хотят принизить уровень читателей до кинокартин «Ширли-мырли», «Особенности национальной охоты» и тому подобных поделок.

В самом деле, в указанных работах жизненные ситуации надуманны, доводятся до абсурда, герои поступают часто иррационально, почти нет добрых, душевных людей. Поступки героев, как правило, не вытекают из логики нашей прошлой и даже нынешней жизни, их быт часто утрирован до гротеска. Все-таки серьезная литература — это не эстрада и даже не водевиль. Думается, есть серьезный повод для редакции задуматься о позиции журнала, об ограничении желаний авторов стоять вверх ногами и показывать жизнь еще хуже, чем она есть. Тем более, что сегодняшняя жизнь задает такие реальные сложные сюжеты и ситуации, так богата новыми явлениями и процессами, характерами, отношениями, что настоящему писателю дает огромный простор для творчества. Такое же по насыщенности событиями время питало М. Булгакова, М. Шолохова, А. Солженицына, К. Симонова, А. Твардовского. Какие глубокие вещи дал В. Распутин, которого, к сожалению, почему-то не жалуют в редакции журнала, нет публицистики видных экономистов, пусть и имеющих разные точки зрения на развитие общества и его потенциала. Не появляются на страницах журнала статьи известных врачей (одних из наиболее интеллигентных во все времена наших сограждан), редко даются объективные и доступные большинству читателей обзоры театральной жизни, нет умного писательского слова о причинах деградации и поиска выхода из кризиса нашего кино. Что делается в школе, куда идет образование, как живет армия? Да разве мало тем, волнующих людей?

Возможно, стоит сократить объем публикаций воспоминаний, переписок малоизвестных широкому кругу личностей, общественная значимость которых оценивается узкими специалистами...

С уважением

В. С. Смышляев, Н. И. Мутерко.

Москва.



Ъ И Ъ Л И О Г Р А Ф И Я

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Английская литературная сказка XIX — XX веков. Составитель Н. Будур. М., ТОО «НОВИНА», 1997, 408 стр., 20 000 экз.

Г. Х. Андерсен. Собрание сочинений. В 2-х томах. Перевод с датского А. В. и П. Г. Ганзен. М., «Алгоритм», 1998, 7000 экз. Том 1 — 560 стр. Том 2 — 573 стр.

Сэмюэл Беккет. Моллой. Роман. Перевод с французского М. Кореновой. М., «Текст», 1997, 302 стр., 7000 экз.

Евгений Евтушенко. Медленная любовь. Стихотворения, поэмы. М., «ЭКСМО-Пресс», «Яуза», 1997, 462 стр., 10 000 экз.

И. Б. Зингер. В суде у моего отца. Люблинский штукляр. Романы. СПб., «Лимбус Пресс», 1997, 496 стр., 5000 экз.

Редьярд Киплинг. Книга джунглей. М., «РИПОЛ КЛАССИК», 1997, 528 стр., 20 000 экз.

Юрий Коваль. Суер-Выер. Пергамент. М., «Вагриус», 1998, 320 стр., 7000 экз.

Вячеслав Курицын, Алексей Парщиков. Переписка. Февраль 1996 — февраль 1997. М., «Ad Marginem», 1998, 126 стр., 1000 экз.

17 писем. Из Базеля и Кёльна (Парщиков: «Ну что тебе сказать о мире, где Бродского больше нет?») и из Москвы (Курицын: «Алеша, что же там произошло с Персеєм?», «В Рождество у нас свирепствовали морозы и таксисты»).

А. Ф. Лосев. «Мне было 19 лет...». Дневники. Письма. Проза. Составление, предисловие, комментарии А. А. Тахо-Годи. М., «Русские словари», 1997, 352 стр., 3000 экз.

Лотреамон. Песни Мальдорора. Перевод с французского Н. Мавлевич. Стихотворения. Перевод с французского М. Голованиевской. Лотреамон после Лотреамона. Составление, общая редакция и вступительная статья Г. К. Косикова. Комментарии С. Дубина. М., «Ad Marginem», 1998, 671 стр.

Впервые на русском языке отдельным изданием — полубогемный французский поэт Лотреамон (Изидор-Люсьен Дюкасс; 1846 — 1870), творчество которого было заново открыто молодыми французскими поэтами в 20-е годы. В книгу вошло все опубликованное поэтом при жизни. «Песни Мальдорора» и «Стихотворения» — это «первый пародийный интертекст, открывший путь „постмодернизму“ XX века и ставший классикой современной „культуры контестации“» (Георгий Косиков, «„Адская машина“ Лотреамона»). Третий раздел книги — «Лотреамон после Лотреамона» — составили воспоминания и эссе о поэте его современников и литературных последователей.

Александр Межиров. Апология цирка. Книга новых стихов. СПб., Библиотека альманаха «Петрополь» при участии Фонда Русской поэзии, 1997, 106 стр., 1000 экз.

Лариса Миллер. Сплошные праздники. М., «Глас», 1998, 256 стр.

Восьмая книга поэта — по сути, две книги под одной обложкой. Первая, «Судьбы картинки» и «Однажды выйти из судьбы», — лирическая проза, изредка перемежаемая стихами, — о детстве, юности, родных, о прожитом и проживаемом времени; вторая, «Стихи разных лет», — четыре лирических цикла, составивших новую книгу поэта.

Марина Палей. Месторождение ветра. Повести, рассказы. СПб., «Лимбус Пресс», 1998, 284 стр., 5000 экз.

Журнал намерен отрецензировать эту итоговую на сегодня книгу.

Письма М. И. Цветаевой к Л. Е. Чириковой-Шнитниковой. Составление, подготовка текстов, примечания Е. И. Лубянской. М., Дом-музей Марины Цветаевой, «Изограф», 1997, 168 стр., 1000 экз.

А. С. Пушкин. Стихотворения Александра Пушкина. Издание подготовил Л. С. Сидяков. СПб., «Наука», 1997, 640 стр. Серия «Литературные памятники».

Николай Рубцов. Вологодская трагедия. Составление, подготовка текстов Н. М. Коняева. М., «Эллис Лак», 1998, 464 стр., 11 000 экз.

В книгу вошли стихи из четырех изданных поэтом книг; стихи, не включавшиеся при жизни поэта в сборники, подбора писем Рубцова. Составитель сопровождает стихи публикацией выброшенных редакторами и цензорами строк. Значительная часть книги занята документальной повестью Николая Коняева «Путник на краю поля. Книга о жизни, смерти и бессмертии поэта Николая Рубцова». В последнем разделе книги — воспоминания о поэте Г. Горбовского, В. Кожина, А. Романова, В. Коротаяева.

Алексей Смирнов. Автопортрет в лицах. М., «Изограф», 1998, 120 стр.

После трех поэтических книг («Спросит вечер», «Даши Марго», «Рождественский дар») Смирнов предлагает читателю лирическую прозу о детстве, отрочестве, юности гордого мальчика из интеллигентной семьи.

Александр Солженицын. Один день Ивана Денисовича. М., «Русский путь», 1997, 176 стр., 5000 экз.

Черубина де Габриак. Исповедь. Составление В. П. Купченко и других. М., «Аграф», 1998, 384 стр., 3500 экз.



Блаженный Августин. Творения. Том 1. Об истинной религии. Перевод, составление, подготовка текста С. И. Еремеева. СПб., «Алетейя», Киев, «УЦИММ-Пресс», 1998, 742 стр., 2200 экз.

Н. Вовси-Михоэлс. Мой отец Соломон Михоэлс. Воспоминания о жизни и гибели. М., «Возвращение», 1997, 238 стр., 3000 экз.

Э. Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. Том 1. СПб., «Наука», «Ювента», 1997, 428 стр., 2050 экз.

Г. А. Гуковский. Русская литература XVIII века. Учебное пособие для вузов. М., «Аспект Пресс», 1998, 454 стр., 3000 экз.

Никита Заболоцкий. Жизнь Н. А. Заболоцкого. М., «Согласие», 1998, 592 стр. 3000 экз.

Первая в нашей литературе цельная биография Николая Заболоцкого, написанная человеком, лучше всех знавшим своего героя. «При написании этой книги автор стремился строго придерживаться действительного хода событий и опирался главным образом на анализ архивных документов, литературных материалов, устных и письменных свидетельств современников. Однако, будучи сыном поэта, автор иногда обращался и к собственной памяти, а при оценке тех или иных фактов — к представлениям, сформировавшимся у него под влиянием атмосферы родительского дома» (Никита Заболоцкий).

Борис Зайцев. Жизнь Тургенева. Литературная биография. М., «Дружба народов», 1998, 154 стр., 3000 экз.

Н. М. Карамзин. История государства Российского. В 3-х книгах. СПб., «Золотой век», «Диамант», 1997, 15 000 экз. Книга 1. Том I — IV — 624 стр. Книга 2. Том V — VIII — 720 стр. Книга 3. Том IX — XII — 704 стр.

В. Кормер. Крот истории, или Революция в республике S=F. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. О карнавализации как генезисе «двойного сознания». М., «Традиция», 288 стр.

Ю. И. Левин. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., «Языки русской культуры», 1998, 820 стр. 1000 экз.

Ю. М. Лотман. Сотворение Карамзина. М., «Молодая гвардия», 1998, 384 стр., 10 000 экз. Серия «ЖЗЛ».

Мейерхольд в русской театральной критике. 1892 — 1919. Составление, комментарии Н. В. Песочинского и других. М., «Артист. Режиссер. Театр», 1997, 528 стр., 2000 экз.

Э. Синецкая. Автопортрет китайского горожанина. М., Институт востоковедения РАН, 1997, 458 стр., 500 экз.

М. Ямпольский. Беспамятство как исток. (Читая Хармса). М., «Новое литературное обозрение», 1998, 384 стр.

«Жанр этой книги определен в данном мной подзаголовке: „Читая Хармса“... Мне... хотелось обратиться к чтению как свободному движению мысли внутри текста». «Поскольку опыт Хармса — это опыт переосмысления некоторых фундаментальных аспектов словесности и именно он по преимуществу интересовал меня, я позволял себе иногда уходить в сторону от главного персонажа книги и сосредоточиться на некоторых теоретических аспектах или решении сходных проблем другими художниками и мыслителями. Читатель держит в руках книгу о Хармсе, но и книгу о некотором рода „идеальной“ литературе как антилитературе, элементы которой разрабатывались и иными авторами» (из авторского «Введения»).

В. К. Ясный. Год рождения — девятьсот семнадцатый. М., ИНТЭК ЛДТ, 1997, 126 стр.

Книга воспоминаний о детстве и отрочестве в 20-е и 30-е годы, об учебе в ИФЛИ, аресте в 1938 году и последовавших потом лагерных годах в Мончегорлаге и Печорлаге.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«Арион», «Вестник РХД», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Звезда», «Знание — сила», «Иностранная литература», «Комментарии», «Кулиса НГ», «Наш современник», «Нева», «Новое литературное обозрение», «Октябрь», «Уральская новь»

Макс Адищев. Из воспоминаний. Вступительное слово Рустама Валеева. Послесловие Дмитрия Бавильского. — «Уральская новь», Челябинск, 1998, № 1.

Фрагменты записок Макса Викуловича Адищева, почти всю жизнь трудившегося на Челябинском тракторном заводе. Женится, дочь заболела, приобрел садовый участок, поехал на южный курорт и т. д. Эти воспоминания, по мнению Д. Бавильского, помимо несомненных литературных достоинств как нельзя лучше характеризует «что-то типа свода представлений» среднего советского человека 50-х годов.

Дмитрий Бавильский. Автономия настоящего. — «Арион». Журнал поэзии. 1997, № 4.

О поэзии Тимура Кибирова: постепенное освобождение от «концептуальности», полное приятие жизни. Афоризм: «Чем поэзия отличается от прозы? Проза должна быть понятной».

См. также путевые впечатления Д. Бавильского «Венеция. Письмо» в челябинском журнале «Уральская новь» (1998, № 1). Интересно, что в содержании номера автор этого текста обозначен как Б. Кончеев. Что бы это значило?

Василий Белов. Час шестой (хроника 1932 года). Роман. — «Наш современник», 1998, № 2, 3.

Начало романа см. в № 9, 10 «Нашего современника» за прошлый год. Цитата: «Отчаяние на секунду стиснуло горло, карандаш хрустнул в маленьком сталинском кулачке, книга Шмакова („Свобода и евреи“. — А. В.) полетела куда-то в угол. Нет! Не может быть, чтобы борьба была напрасной! Это Ленин служил евреям, и то не всегда. Он, Сталин, служить не будет».

Михаил Берг. Антиподы: писатель дневной и ночной. — «Новое литературное обозрение», № 28 (1997).

По мнению Берга, «дневной» шестидесятник Андрей Битов и «ночной» восьмидесятник Виктор Ерофеев олицетворяют два полюса, а именно — «два кажущихся сегодня

единственно возможными выхода из ситуации „конца литературы” — комментарий и пародийная цитата».

Прот. Сергей Булгаков. Дневник духовный. (Дополнения). — «Вестник РХД», Париж — Нью-Йорк — Москва, № 176 (1997).

Записи 20-х годов. Начало публикации см. в № 174 и 175 «Вестника РХД».

Тут же напечатано письмо прот. С. Булгакова к П. Ф. Андерсону от 13 марта 1939 года (публикация Н. А. Струве). В то время о. Сергей Булгаков, страдавший раком горла, готовился к тяжелой операции и считал необходимым написать ряд благодарственных писем к разным лицам.

Петр Вайль. Босфорское время. (Стамбул — Байрон, Стамбул — Бродский). — «Иностранная литература», 1998, № 2.

Литературный критик, журналист Петр Вайль (Прага) ведет в журнале «Иностранная литература» авторскую рубрику «Гений места» (1995, № 2, 4, 12; 1996, № 8, 11, 12; 1997, № 6, 7, 9, 11, 12).

Михаил Вайскопф. Семья без урода. Образ еврея в литературе русского романтизма. — «Новое литературное обозрение», № 28 (1997).

Выступление на семинаре «Евреи и русская литература XX века», проходившем 4 — 5 июня 1997 года в Иерусалиме.

В подборку «Еврейская тема в русской культуре» вошли также статьи Михаила Безродного «О „юдобоязни” Андрея Белого», Франциски Тун «О „непоправимой чужеродности” Бориса Пастернака», Л. Кациса «„...Палестинские отроки с кровью черной...” (О двух еврейских эпизодах у Марины Цветаевой)».

Соломон Волков. Разговоры с Иосифом Бродским. Санкт-Петербург: воспоминания о будущем. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 1.

Разговоры осени 1988 — зимы 1992 года. В частности, о хорошем знакомом Бродского — переводчике, литературоведе Геннадии Шмакове (1940 — 1988), с 1975 года жившем в США. А также о Луговском, Багрицком, Гладилине, Евтушенко, Вознесенском и других. Бродский: «Неизвестных гениев — нет».

М. Л. Гаспаров. Записки и выписки. — «Новое литературное обозрение», № 28 (1997).

Короткие записи известного филолога. Лучше иной «литературы». Продолжение растянутой на много номеров публикации (начиная с № 16, с перерывами). Опорные слова идут в алфавитном порядке:

«ДЕФОРМАЦИЯ речи в стихе, по ранним формалистам: кто помнит войну, тот помнит, как Левитан читал концовки сталинских приказов — с паузами не логическими, а ритмическими: „Вечная слава героям, / павшим в борьбе за свободу / и независимость нашей Родины”».

«ЕСЛИ. Завещание пожизненного президента Урхо Кекконена начиналось словами: „Если я умру...”».

«ИНТИМ. Вен. Ерофеев был антисемит. Об этом сказали Лотману, который им восхищался. Лотман ответил: „Интимной жизнью писателей я не интересуюсь”».

«ИСТОРИЯ не телеологична и не детерминирована, это бесконечная дорога в обе стороны до горизонта, русский проселок под серым небом».

И даже: «ЛОМОВАЯ МЫШЬ, родная мне порода...»

Венедикт Ерофеев. Записная книжка 1969 — 70 годов. Публикация Игоря Авдиева. — «Комментарии», Москва — Санкт-Петербург, № 13.

«Иди ко мне, подлюка, я с тобой поделюсь моей нехитрой девичьей тайной». Тут же — «купить», долги, цитаты, библиография.

Виктор Есипов. «К убийце гнусному явись...». — «Вопросы литературы», 1998, № 1 (январь — февраль).

О том, что крутое четверостишие «Встань, встань, пророк России...» не имеет никакого отношения к пушкинскому «Пророку», а скорее всего и к самому Пушкину. Поэт и декабристы. Поэт и Николай I.

Манук Жажоян. Последняя семиотика. Публикация и примечания Анны Пустынцевой. Вступительная заметка Виктора Куллэ. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 1.

«Фразеология», «Сплетня» и другие эссе безвременного погибшего критика и поэта, постоянного автора парижской газеты «Русская мысль».

Каким должен быть курс истории литературы? — «Вопросы литературы», 1998, № 1 (январь — февраль).

«Круглый стол» с участием Д. Затонского, В. Прозорова, Н. Анастасьева и других. Среди прочего запомнилось замечание В. Сердюченко о том, что и Павел Корчагин, и булгаковский Шариков списаны с одного «жизненного прототипа», но — с разных точек зрения.

Анатолий Ким. Мое прошлое. Повесть. — «Октябрь», 1998, № 2, 3. Автобиография известного прозаика.

Кирилл Кобрин. Наше всё. — «Октябрь», 1998, № 2.

Эссе о... Нет, о маркизе де Кюстине.

См. также статью Кирилла Кобрин «Три прозаика» в «Новом литературном обозрении» (№ 28). Эти трое: Андрей Левкин, Игорь Померанцев и Владимир Симонов. Одно замечание: автор статьи думает, что с точки зрения любого из толстых журналов, кроме, может быть, «Дружбы народов», Андрей Левкин «не существует». «Новый мир» прозу Левкина действительно не печатал, но откликнулся на его публикации рецензией Ольги Кузнецовой (1996, № 6).

Наталья Козлова. Сцены из жизни «молчаливого меньшинства». — «Знание — сила», 1998, № 1.

Автор статьи познакомилась в так называемом «Народном архиве» с интересным документом: тринадцать тетрадок дневника партийного и профсоюзного работника Н. времен ленинградской блокады с 27 января 1940 по 14 октября 1944 года. Драгоценные подробности. В марте 1942 года Н. (на тот момент — инструктор отдела кадров горкома партии Ленинграда) попадает в стационар горкома партии: «Каждый день мясное — баранина, ветчина, курица, гусь, индюшка, колбаса; рыбное — лещ, салака, корюшка и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао. Кофе, чай, триста грамм белого и столько же черного хлеба на день, тридцать грамм сливочного масла и ко всему этому по пятьдесят грамм виноградного вина к обеду и ужину... Да. Такой отдых в условиях фронта, длительной блокады города возможен лишь у большевиков, лишь при Советской власти».

Галина Козловская. Встречи с Ахматовой. Публикация Вадима Киселева. — «Арион». Журнал поэзии. 1997, № 4.

Годы эвакуации в Ташкенте. Первые послевоенные годы в Ленинграде. Фрагменты мемуарной рукописи Галины Лонгиновны Козловской «Дни и ночи одной прекрасной жизни», посвященной судьбе ее мужа — композитора и дирижера Алексея Федоровича Козловского (1905 — 1977). Ахматова за глаза называла его Козлик, но в уважительном контексте: «Наш Козлик — существо божественного происхождения».

Сергей Корнев. Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским и классическим? Об одной аванюре Виктора Пелевина. — «Новое литературное обозрение», № 28 (1997).

О том, что за маской честного постмодерниста коварно спрятался «русский классический писатель-идеолог», в данном случае — буддист. Долгожданное противоядие от «захлестнувшего нас всех штольцевского маразма». Следует ждать новую волну *русского буддизма*. Гениальный промыватель мозгов: «если бы такой человек помог Жириновскому написать его книгу, мы бы все на прошлых выборах голосовали за ЛДПР».

Тут же напечатана пародия Славы Сергеева «Чапаев и простота (роман в 2-х частях, с итогом и эпилогом)».

Вячеслав Курицын. Гагарина он не увидел. — «Октябрь», 1998, № 2.

Авторская рубрика «Записки литературного человека». О Федоре Панферове. С вниманием.

Валерий Ларин. Нейронный шок. Роман. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 1, 2.

Товарищи ученые.

Борис Любимов. Плотность творчества и объем жизни. Феномен публицистики Александра Солженицына. — «Кулиса НГ». Приложение к «Независимой газете». 1998, № 3, февраль.

Ярославское издательство «Верхняя Волга» завершило трехтомное издание публицистики Александра Солженицына. «Среди ровесников Солженицына (для которых 1998 — год восьмидесятилетия), вообще в его поколениях — ни среди писателей, ни среди ученых и мыслителей — не нашлось никого, кто построил бы столь „плотное и

объемное” здание своих убеждений, неторопливо и искусно, как Иван Денисович клал кладку».

Мать Мария. Типы религиозной жизни. — «Вестник РХД», Париж — Нью-Йорк — Москва, № 176 (1997).

Неизданная рукопись 1937 года, найденная в 1996 году Е. Клепининой-Аржаковской в архиве С. Б. Пиленко, а попросту говоря, в чемодане, завалившемся в погребе бердяевского дома под Парижем.

См. в «Русской мысли» (1998, № 4209, 12 — 18 февраля) подробный отклик Александра Кырлежева на эту публикацию.

В этом же номере «Вестника РХД» напечатаны «Новые сведения о последних днях матери Марии» (публикация, перевод и примечания Н. Струве), а именно — письмо Ж. Вердье, бывшей союзницы матери Марии, к Дмитрию Скобцову от 4 апреля 1945 года.

Александр Мелихов. Они были третьими. — «Нева», 1998, № 1.

Очерки нового русского предпринимательства.

Елена Михайлик. Другой берег. «Последний бой майора Пугачева»: проблема контекста. — «Новое литературное обозрение», № 28 (1997).

Известный рассказ Шаламова в контексте советской военной прозы. «Последний бой майора Пугачева» как героическая баллада — о людях, отказавшихся выживать (или умирать) в лагере, о «сражении, вынесенном за пределы лагерной вселенной». «В тот момент, когда Шаламов поставил себе задачу „запомнить и написать”, он, подобно Пугачеву и его товарищам, повел бой по своим правилам — из „Заклученного” стал „Писателем”».

Левон Мкртчян. «Так и надо жить поэту...». Воспоминания об А. Тарковском. — «Вопросы литературы», 1998, № 1 (январь — февраль).

Арсений Тарковский и Армения. 1967 — 1968 годы. Говорит Тарковский: «С Твардовским я в очень плохих отношениях. Он у себя печатает ужасные стихи. Он не понимает чужие стихи. Поэзии у него в журнале нет».

«Новые русские» в новой России. — «Знание — сила», 1998, № 1.

В подборку входят материалы Светланы Барсуковой «Кто такие „новые русские”?», Владимира Иваницкого «Персонаж в фольклорном интерьере», Льва Гудкова «Легенды и мифы современной России: нет у нас никаких „новых русских”» (записала И. Прусс), а также размышления некоего NN, эксперта «в маске», «Они упустили свой шанс. Правда, у них его никогда и не было» (записала И. Прусс).

Екатерина Орлова. Николай Недоброво: судьба и поэзия. — «Вопросы литературы», 1998, № 1 (январь — февраль).

Поэт Николай Недоброво *сам по себе*, а не только как друг и собеседник Ахматовой. «В литературном мире 1900 — 1910-х годов у него было свое, и довольно заметное, место».

Олег Павлов. Записки из-под сапога. — «Октябрь», 1998, № 2.

«Петушок», «Жилец», «Один грек», «Гнушин и Мария», «Мертвый сон» и другие рассказы из «Степной книги» об ужасах армейских буден. Рассказ «Петушок. История одного убийства» одновременно напечатан в «Литературной России» (1998, № 5, 30 января).

См. также большую статью Инны Борисовой «Схлест» («Дружба народов», 1998, № 2) — медленное чтение романа Олега Павлова «Дело Матюшина» («Октябрь», 1997, № 1, 2). Внутри статьи воспроизведен небольшой рассказ Олега Павлова «История водочной вышки».

Борис Пастернак. Из переписки с французскими писателями. Перевод с французского Е. Б. Пастернака. Вступительная заметка и комментарии Е. В. Пастернак. — «Дружба народов», 1998, № 2.

Переписка 1956 — 1959 годов с Борисом Пареном, Мишелем Окутюрье, Рене Шаром, Альбером Камю и другими. Подготовка издания «Доктора Живаго» во Франции. Отклики на его выход.

Михаил Пришвин. Дневник 1939 года. Вступление, подготовка текста, комментарии и публикация Л. А. Рязановой. — «Октябрь», 1998, № 2.

Вот уже девять лет «Октябрь» печатает дневники Пришвина. Фирменный знак журнала.

Рустам Рахматуллин. Робинзон Гулливер, или Лемюэль Крузо. Ключи к барокко вручены нам в детстве Свифтом и Дефо. — «Ex libris НГ», 1998, № 5, февраль.

Барокко возвращается. Барочный человек. Барочные вещи. Барочная мистерия. Барокко может примирить все или почти все.

Евгений Рейн. «Моя тема — это конец миропорядка». Беседу вел Виталий Амурский. — «Вестник РХД», Париж — Нью-Йорк — Москва, № 176 (1997).

«Действительно, мой мир — это тот странный старый, почти забытый советский мир коммунальных квартир, фокстротов, советских шлягеров, мир штопаных (но заграничных!) костюмов... Я ведь и сам никогда не одевался из советского магазина, я всегда бродил по комиссионкам, и иногда мне удавалось буквально за два-три рубля купить какой-нибудь старый американский пиджак в пятнах, и его с великим удовольствием носил. В своей компании я считался великим специалистом по барахлу, и, видимо, это барахло навсегда вошло в мои стихи. „Я — любитель вторсырья“, как я выразился в одном из своих стихотворений».

Владимир Рецетер. Истории читательских заблуждений. Последняя трагедия. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 1.

Пушкинская «Русалка»: загадки и разгадки. Все те же озарения дилетанта и скепис профессионалов.

Екатерина Садур. Праздник старух на море. Повесть. — «Дружба народов», 1998, № 2.

Москва. Ялта. Старые и молодые.

Давид Самойлов. Генуг. Публикация, вступление, примечания, комментарии Геннадия Евграфова. — «Комментарии», Москва — Санкт-Петербург, № 13 (1997).

Цикл полупристойных или вовсе непристойных (с матом) эпиграмм, обращенных к Геннадию Евграфову. Из приличного: «Съев таблетку баралгина, / Диссидентку барал Гена. / А она была невинна. / Это необыкновенно». Публикатор комментирует: «Какую диссидентку — не установлено. Диссиденток было много...»

Вадим Смиренский. Гамлет Энского уезда. Генезис сюжета в романе Каверина «Два капитана». — «Вопросы литературы», 1998, № 1 (январь — февраль).

В каверинских «Двух капитанах» трансформирован сюжет шекспировского «Гамлета». Но этого никто не заметил. Кrome В. Смиренского.

Андрей Соболев. Паноптикум. Повесть. Вступление и примечания Веры Калмыковой. — «Октябрь», 1998, № 2.

Повесть 1921 — 1922 годов полузабытого ныне советского прозаика, застрелившегося в 1926 году. Уже печаталась, но — в 20-е годы и «мизерным тиражом».

Галина Стальная. Булгаковские зеркала. — «Знание — сила», 1998, № 1.

Серьезные расхождения между ранними редакциями «Мастера и Маргариты» и каноническим текстом как свидетельство меняющегося мировоззрения писателя. В частности, в последней редакции романа Воланд *вдруг* утрачивает все очевидные атрибуты классического Сатаны — исчезают копыта, буква F на портсигаре (Faland — черт), из сцены с буфетчиком Соколовым вычеркивается «число зверя» — 666 и т. д. Галина Стальная утверждает, что нет никаких оснований отождествлять Воланда последней редакции романа «с кем бы то ни было внутри христианской мифологемы». Интересное начинание, между прочим.

М. В. Строганов. О стихотворении А. С. Пушкина «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...». — «Новое литературное обозрение», № 28 (1997).

О том, что это известное стихотворение, написанное поэтом *до* женитьбы, вписывается в строй его интимных переживаний, но иначе, чем подчас предполагалось. «Если в нем и можно усмотреть какие-то намеки на Н. Н. Гончарову, то только в солагательном или повелительном наклонении: была бы ты такой/будь такой. Получается, что Пушкин не знает темперамента своей невесты, но, отталкиваясь от имеющегося у него опыта, рисует свой идеал».

А. А. Тахо-Годи. Из археологии (некоторые материалы лубянского архива А. Ф. Лосева). — «Вестник РХД», Париж — Нью-Йорк — Москва, № 176 (1997).

Тут же напечатаны «Фрагменты из „Добавлений“ к „Диалектике мифа и сказки“» (публикация А. А. Тахо-Годи), «Из разговоров с Азой Алибековной Тахо-Годи» (запись Геннадия Зверева), а также статья Елены Тахо-Годи и Виктора Троицкого «„Духовная Русь“ — неосуществленная религиозно-национально-философская серия». Весной и летом 1918 года А. Ф. Лосев безуспешно пытался осуществить с помощью издателя М. В. Сабашникова выпуск книжной серии «Духовная Русь» (название было предложено Вяч. Ивановым), включающей имена Н. А. Бердяева, С. Н. Дурьлина, кн. Евг. Трубецкого и других.

См. также в журнале «Знание — сила» (1998, № 1) беседу Ольги Балла с А. А. Тахо-Годи — об истории отношений России с античностью в XIX и XX столетиях, об изучении древних языков в дореволюционных гимназиях, о том, что читателю без знания

языка доступны только переводы, «которые сами по себе являются носителями добавочных, побочных смыслов».

Наталья Толстая. Рассказы. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 1.

«Иностранец без питания», «Инспектор русского языка», «Отцепленный вагон» — короткие рассказы петербургской писательницы, постоянного автора «Звезды», лауреата премии имени Сергея Довлатова за 1996 год.

Владимир А. Успенский. Почему на клетке слона написано «буйвол». — «Новое литературное обозрение», № 28 (1997).

Неожиданные наблюдения филолога. Заметки в рубрике «Экзистенция языка», объединенные темой, сформулированной в подзаголовке публикации: «...о словесных квипрокво (подменах текста) и их причинах». Не только полезное, но и увлекательнейшее чтение.

Илья Фоняков. Палиндромоны. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 1.

Например: «Лимузин ОМОН изумил». Или: «Кот учен, но как он нечуток!» Или: «Не дебил — и беден».

Е. Эткинд. Вопреки всему. О переводах французской поэзии: 1985 — 1995. — «Иностранная литература», 1998, № 2.

Нынешнее состояние поэтического перевода: нет оснований для пессимизма, считает известный филолог Ефим Григорьевич Эткинд, с 1974 года живущий во Франции.

См. также статью Виктора Топорова «30 лет спустя. Посмертная маска перевода» («Ex libris НГ», 1998, № 6, февраль), крайне резко оценивающего составленную Е. Г. Эткиндом антологию «Мастера поэтического перевода. XX век» (СПб., 1997), а впрочем, и всю «Новую библиотеку поэта», в рамках которой антология вышла, а заодно и все «старые» «Библиотеки поэта». Составитель характеризуется как «энтузиаст и пропагандист поэтического перевода, умершего ныне и как искусство, и как феномен, которое и который наш энтузиаст ухитрился не уразуметь, да толком и не освоить». Хотя «пропагандист он, разумеется, замечательный». После этой снисходительной оговорки идет заключительный аккорд: «Тридцать лет назад наши переводчики считали Эткинда ученым, ученые — переводчиком, писатели — диссидентом, а диссиденты — писателем...»

Составитель **Андрей Василевский.**



ПОПРАВКА: в № 6 «Нового мира» за этот год на стр. 250 (первая строка сверху) вместо «метаморфизм как первая любовь» следует читать «метаметафоризм как первая любовь» — *хрен редьки не слаще.*

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июль

30 лет назад — в № 7 за 1968 год напечатаны «Плотницкие рассказы» Василия Белова.

35 лет назад — в № 7 за 1963 год напечатан рассказ А. Солженицына «Для пользы дела».

50 лет назад — в № 7 за 1948 год началась публикация романа Василия Ажаева «Далеко от Москвы».

THE NEW REVIEW

Новый Журнал

«Новый Журнал» был основан в Нью-Йорке в 1942 году как продолжение парижских «Современных Записок» и с тех пор выходит без перерыва четыре раза в год. Средний объем номера — 336 страниц. Журнал распространяется в 32 странах. Основатели журнала — писатель М. Алданов и поэт, критик, писатель и меценат М. Цетлин. В 1945 — 1959 годах редактором журнала был известный историк проф. М. Карпович, в 1959 — 1986 годах — писатель и общественный деятель Р. Гуль. До 1994 года журнал редактировал писатель Ю. Кашкаров. С 1995 года главный редактор — поэт, историк литературы и поэзии Серебряного века проф. В. Крейд.

В «Новом Журнале» были впервые напечатаны многие произведения И. Бунина, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, М. Осоргина, А. Ремизова, В. Яновского и других писателей первой эмиграции. Из представителей второй волны, а также диссидентского движения в СССР в «Новом Журнале» были опубликованы произведения Л. Ржевского, Н. Ульянова, А. Солженицына, А. Белинкова, Л. Чуковской, В. Шаламова.

В журнале печатались стихи Г. Иванова, З. Гиппиус, М. Цветаевой, И. Северянина, М. Волошина, Вл. Ходасевича, И. Чиннова, Ю. Иваска, Н. Моршенина, И. Елагина, О. Анстей, И. Бродского.

«Новый Журнал» уделяет много места публикации воспоминаний и документов. Среди них — воспоминания выдающегося актера М. Чехова, художника М. Добужинского (журнал выходит в обложке его исполнения), композитора А. Гречанинова, З. Гиппиус, Ф. Степуна, Ю. Анненкова, Н. Евреинова, П. Милюкова, Е. Кусковой.

В недавних номерах журнала были опубликованы дневники писателя В. Яновского, письма П. Флоренского, Г. Иванова, Б. Пастернака, З. Гиппиус, Д. Кленовского, воспоминания В. Розанова, Э. Голлербаха, М. Волина, А. Даманской, В. Лурье.

Исторические материалы, опубликованные в «Новом Журнале», представляют большую ценность для всех интересующихся историей России, русской революции, сталинизма и послесталинского периода. Среди историков, писавших для журнала, можно назвать М. Карповича, Н. Тимашева, Б. Николаевского, А. Авторханова.

В критическом разделе журнала печатались статьи П. Милюкова, П. Сорокина, А. Керенского, В. Чернова, Ю. Денике, Д. Чижевского, Н. Бердяева, Н. Лосского, Л. Шестова, Г. Федотова, В. Вейдле, В. Ильина.

«Новый Журнал» продолжает оставаться ценным источником информации для всех, кто изучает Россию или интересуется прошлым и настоящим русской культуры.

Подписная цена в год на 4 книги — \$40.00

(пересылка в США — \$7.00, за границу — \$14.00)

В 1998 г. выйдут номера 210, 211, 212, 213

Заказы адресовать в редакцию «Нового Журнала»:

The New Review, 611 Broadway, Room 842, New York, NY 10012

Phone/Fax: (212) 353-1478;

e-mail: nreview@idt.net

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Marina Kudimova, Yevgeny Karasev, Tatyana Bek and Zinaida Palvanova.

We are publishing the narrative «The Merry Funeral» by Ludmila Ulitskaya, chapters from the book «Dovlatov and the neighbourhood» by Alexander Genis and the short narrative «A House on the Riverside» by Andrei Volos which continues the series of his short stories about Tajikistan of nowadays.

The section «Essays of Nowadays» presents the essay «Yugyd Va» by Oleg Larin.

In the section «Far Nearness» writer Vyacheslav Repin who lives in Paris has an interview with Bishop of Washington and San Francisco Vasily (Rodzyanko) on the topic «Lev Tolstoy's belief and disbelief». Here we are also publishing the memoirs sketch «A Walk about Moscow with Count Tolstoy» by American translator Isabella Haphood (translation by V. Alexandrov).

The section «Publications and Reports» contains letters by L. Berdyaeva, philosopher N. Berdyaev's wife, to Ye. Gertsik (publication by T. Zhukovskaya).

In the section «Writer's Diary» A. Solzhenitsyn continues his «Literary Collection». The new essay by this Nobel Prize winner deals with the works by Ivan Shmelev.

In the section «Les Essais» we are publishing the notes «In the Russian Style» by Sergei Borovikov.

The section «Literary Criticism» is presented by the polemical reflections «What Is Not Allowed to the Scientist. A Mere Reminder» by Nikita Yeliseyev.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

И. о. главного редактора А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Корректоры **Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова**

Редактор-библиограф **А. И. Фрумкина**

Компьютерная верстка — **И. Н. Колесникова**

Компьютерный набор — **Т. В. Дорофеева**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@deol.ru

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.03.98 г. Подписано к печати 25.05.98 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 14 110 экз. Зак. 4314. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

**ДО КОНЦА 1998 И В 1999 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Лопушок (роман);
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
 СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
 ЯН ГОЛЬЦМАН. Пустынные песни (повесть);
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.
 Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. Пиночет (повесть);
 «ЖМУ ВАШУ РУКУ, ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ». Переписка
 Максима Горького и Иосифа Сталина, 1932 — 1933 годы;
 НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ. Письма;
 АНАТОЛИЙ КИМ. Стена (повесть невидимок);
 ОЛЕГ ЛАРИН. Блудное лето (сцены из захолустной жизни);
 ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;
 АЛЛА МАРЧЕНКО. «С ней уходил я в море» (Блок и Ахма-
 това);
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Чернильный ангел (повесть);
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное
 повествование);
 ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Один в зеркале (роман);
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Главы из книги «Угодило зернышко про-
 меж двух жерновов. (Очерки изгнания)»;
 ВЛАДИМИР ТУЧКОВ. Русская книга военных;
 СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. Изречения Дарьи
 (записки, 1908 — 1911 гг.);
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Актриса и милиционер (повесть);
 ЮЛИУ ЭДЛИС. Аноним (роман);

а также романы, повести, рассказы ВИКТОРА АСТАФЬЕВА,
 АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КО-
 СТОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ,
 ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ДИНЫ РУБИНОЙ, стихи АЛЕКСАН-
 ДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯН-
 СКОЙ, АЛЕКСАНДРА МЕЖИРОВА, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ,
 ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА,
 АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕ-
 НАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЮРИЯ КАГРА-
 МАНОВА, АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ИРИНЫ СУРАТ и других ав-
 торов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**